свою соседку, ловко расставил её кресло и сел сам только тогда, когда она опустилась в кресло и придвинулась удобно к столу.

И. сказал мне, что этот человек поляк, простой рабочий, добившийся сам высшего образования и боровшийся не раз за освобождение своей родины. Имя его — Ян Синецкий, он не первый раз уже здесь.

Возле Андреевой я увидел человека небольшого роста, с прелестными, добрыми и детски наивными глазами. Окладистая серо-седая борода и такие же кудрявые волосы в сочетании с большими близорукими синими глазами — весёлыми и юмористически-плутоватыми — всё было так красиво и обаятельно, что даже очки не портили его лица. Щёки его были розовые, губы красные, зубы перламутровые, и весь он мог бы быть моделью для статуи добряка. Улыбка почти не сходила с его губ, и одет он был в лёгкий, безукоризненно белый костюм из тончайшего шёлка. От него так и веяло чистотой и аккуратностью, что ещё резче подчёркивало полный контраст с его соседкой.

Грубо высеченные черты волевого лица, необычайная живость глаз и пристальность взгляда, какая-то суровая сила, исходившая от неё, составляли полную противоположность с её соседом. Всё в ней было неряшливо. Кружевная белая косынка, покрывавшая её волосы, была наброшена небрежно. Платье было измято, книга, которую она держала в руке, потрёпана, из зонтика торчали две обнажённые спицы. Обе эти фигуры, такие контрастные, поглотили сразу моё внимание. Каждая из них показалась мне обаятельной по-своему, и я подумал, как бы разно ни мыслили эти люди — они могут решать какую-то задачу жизни сообща и вливаться в гармонию, дополняя друг друга.

Я только что хотел спросить И., не муж ли и жена они, как услышал громкий и весёлый смех Андреевой, которая сказала И. через стол:

— Я же говорила вам, И., что вашего чудо-шило-графа надо было сразу купать в холодном озере. Он уже нашёл тему для своего будущего романа, и бедный мистер Ольденкотт попал первым в его герои.

— Не думаю, Наталья Владимировна. Лёвушка так напуган вами, что скорее будет искать темы для своих работ в других секторах Общины, — юмористически поблёскивая глазами, ответил И.

Несмотря на внешнюю грубоватость, от Андреевой так и веяло мощью доброжелательства, когда она смотрела на меня. Я внутренне сразу с ней сдружился, чему и сам теперь удивлялся. Впервые я ясно понял, что у Андреевой не было внешнего такта; но её мудрость была выше, чем у всех, кто сидел с ней рядом. Я улыбнулся и, нисколько уже не боясь её глаз, сказал:

— Не знаю, что было бы, если бы И. приказал мне искупаться в холодном озере. Но тёплое озеро породило во мне одно желание: сделаться вашим пажом.

Не только И., Ольденкотт, Синецкий и леди Бердран, но и сидевшие подальше за нашим столом не могли удержаться от смеха. Кастанда, подошедший к И. спросить, какой диетический стол он мне назначит, смеялся до слёз. Наталья Владимировна выждала, пока её соседи успокоились, и снова сказала своим чётким, резковатым голосом, необыкновенно молодым для её лет:

— Лёвушка, запомните хорошенько этот день и этот смех. Он мне будет большим оправданием, когда Али приедет сюда и спросит меня, что я сделала для чело-

Конкордия Антарова

Две жизни

Том 3 (Начало)

Содержание:

Приезд в имение Али. Первые впечатления и встречи первого дня 3

Второй день в Общине. Мы навещаем карлика. Подарки араба. Франциск 28

Простой день Франциска и моё сближение с ним. Злые карлики, борьба с ними и их раскрепощение 54

Я знакомлюсь ещё со многими домами Общины. Оранжевый домик. Кого я в нём видел и что было в нём 67

Моё счастье нового знания и три встречи в нём 93

Франциск и карлики. Моё новое отношение к вещам и людям. Записная книжка моего брата Николая.....109

Записная книжка моего брата 121

Обычная ночь Общины и что я видел в ней. Вторая запись брата Николая. Моё бессилие перед "быть" и "становиться". Беседа с Франциском и его письма 134

Третья запись брата Николая 148

Ночное посещение новых мест Общины с Франциском. Новые люди и мои новые встречи-уроки 166

И. принимает учёного. Аннинов и Беата Скальради. Наставление мне и Бронскому.....186

Мы читаем книгу в комнате Али. Древняя сказка 209

Беседа с И. Мы продолжаем читать сказку. Отъезд Беаты и последнее напутствие ей И. и Франциска 228

Мои размышления о новой жизни Беаты. Мы кончаем чтение древней книги. Профессор Зальцман 250

Первые опыты новой жизни профессора. Его беседа с И. Сцены из его прошлых жизней. Франциск и ещё раз карлики 271

Я читаю маленькую книжку Герде. Наш отъезд из Общины. Первый день путешествия по пустыне. Оазис, встречи в нём. Ночь, проведённая у костра. Прощание И. с профессором. Последние его наставления учёному.....293

— А я что же? — рассмеялась леди Бердран. — У меня ни шил, ни колёс, ни дырочек сверлить не умею, к какому же рангу смертных причисляюсь я?

— Вы, леди, вы звезда удач. Я уверен, что встреча с вами несёт всем удачу. И ваша печаль происходит от того, что вы у всех берёте скорбь и бросаете им взамен свою доброту.

— Пощадите, И.! Вам надо было вашего друга купать сразу в нижнем озере, — расхохоталась Андреева.

И. взял меня под руку, весело поглядел на дам, ещё веселее засмеялся, назначил им свидание в столовой и побежал, увлекая меня за собой, как бегают школьники.

Опять пришлось мне поразиться. Положительно с моим водворением в Общине я только и знал, что удивлялся. И., такой серьёзный, степенный, так редко смеявшийся, а только улыбавшийся, был здесь совсем другим. Я не мог себе вообразить, что И. может бегать и шалить со мною, как мальчик.

Через несколько минут я взмолился и попросил И. перейти на самый медленный шаг. От моего прохладного купанья не осталось и следа. Я был мокр, и пыль набилась в мои сандалии, И. же имел вид вышедшего из гостиной.

— Не огорчайся, Лёвушка, приучишься к климату и выучишься ходить и бегать так, чтобы не подымать пыли. Иди, меняй своё платье, возьми душ, скажи Яссе, он тебе поможет. Я буду здесь тебя ждать.

И. сел в тень на скамью возле крыльца, и не успел я подняться на верхнюю площадку, как он был уже окружён большим кольцом людей.

Ясса посоветовал мне взять холодный душ, что я с восторгом исполнил, дал мне свежий хитон и сандалии и сказал, что утром все ходят в одном лёгком хитоне и только к обеду надевают два. Обед бывает здесь рано, в два часа.

Я удивлялся, как можно есть в самый зной, но не сказал ничего. Ясса же, точно поняв мои мысли, объяснил мне, что утренняя столовая, куда мы пойдём сейчас, — западная. Обеденная — в самом конце сада, у речки, она северная, открытая, обвитая вся лианами и плющом, а чайная — на восточной стороне парка, у самой скалы. Жарче всего не в обеденной столовой, зелень которой всё время поливают водой и где дует ветер вееров, а в чайной, где даже устроен в скале грот для тех, кто плохо переносит жару. В гроте всегда прохладно, и многие даже занимаются там в полуденный жар.

Я сошёл вниз как раз с ударом гонга. И. познакомил меня с некоторыми из своих собеседников, взял меня под руку, и мы пошли всей группой к столу.

Я посмотрел по сторонам с беспокойством, думая, что мои новые знакомые дамы запаздывают к завтраку. И здесь мне был суждён сюрприз. С противоположной стороны парка шли Андреева и леди Бердран. Очевидно, была ещё другая, кратчайшая дорога от реки прямо в парк.

Теперь я мог лучше рассмотреть обеих дам. Андреева шла довольно тяжёлой походкой тучных людей. Её глаза на самом деле походили на электрические шары. На меня она снова произвела впечатление намагниченного человека. Мне казалось, что её спутница умышленно держится подальше от неё. Леди Бердран улыбнулась нам и села за соседний стол, где уже сидел немолодой человек, очень красивый, живой, с прекрасными манерами, бритый. Я принял его за француза. Он приветствовал

И. смеялся и угрожал познакомить меня с одной американкой, очень богатой дамой, которая не любит юношей-затворников и превращает их в своих пажей. Я возмутился и просил принять к сведению, что в Америку ни за какие блага не поеду и знакомиться буду только с русскими. Едва я успел договорить фразу, как за купальней послышались голоса и смех.

— Это что же значит? — услышал я весёлый, очень молодой женский голос, говоривший по-английски. — Лорды всё ещё на озере? Разве не пробило семь?

— Нет, милостивые леди, — отвечал И. — Ещё три минуты в распоряжении лордов. А кроме того, один русский граф, только что приехавший, опоздал специально, чтобы скорее познакомиться с американской леди. Он так много наслышан об её уме и воспитательских талантах, что мечтает попасть в число её пажей.

Всё это И. говорил кому-то на мостике купальни и говорил, так уморительно перехватив интонацию женского голоса и чуть неправильный акцент, что я крепился, крепился, да сорвался и залился своим прежним мальчишеским хохотом. И. распахнул дверь купальни, вытащил меня на берег, и... я замер, превратившись в “Лёвушку — лови ворон”.

Передо мной стояли две женщины. Одна была полная, среднего роста, с сильно вьющимися волосами, некрасивая шатенка. Но глаза её, огромные, серые, навыкате, беспокойные, с властным выражением, точно не вмещались в это плотное тело. Этим глазам, казалось, всё надо было знать, во всё вмешаться, во всё вникнуть. Ей было на вид лет тридцать.

Рядом с ней стояла девушка, совсем юная и тонкая, болезненного вида, с тёмными волосами, прехорошенькая, предобрая и... довольно печальная. Я не мог ничего понять. Очевидно, голос принадлежал молодой? Но вот заговорила старшая — и нечто вроде мороза пробежало по моей коже: голос принадлежал ей. Кому же это И. наметил меня в пажи? Этим электрическим колёсам, а не женским глазам, должно быть, никак не угодишь.

Старшая дама улыбнулась — точно дырочку просверлила в моём сердце — и вновь сказала:

— Будь моя воля и не мешай моё величайшее преклонение перед вами, доктор И., я бы запретила детям раньше семнадцати лет являться в Общину. Особенно таким нервным, как ваш спутник.

— Ничего, Наталья Владимировна, мой друг уже опередил многих. А главное, пришлось бы начать запрет с вас. Ведь вы-то приехали сюда, когда вам ещё не было полных семнадцать лет. И всё же вас приняли здесь с радостью, и жизнь здесь не повредила вам.

И. представил меня обеим женщинам, назвав одну Натальей Владимировной Андреевой, а другую леди Бердран.

— Через день всё равно будете звать меня Натальей, так уж можете и не запоминать отчества, — сказала Андреева, протягивая мне руку. И какая тонкая и приятная была эта рука! Я сразу почувствовал в ней друга и перестал бояться её глаз.

— Ну и шила же у вас вместо глаз!

— Бог мой, а я только что хотел сказать вам, что ваши глаза — электрические колёса! Должно быть, на дне морском гвоздь сыщут они. Я уже почувствовал, как вы просверлили меня ими, Наталья Владимировна.

Глава 1

Приезд в имение Али. Первые впечатления и встречи первого дня

Долго, очень долго странствовали мы с И., пока добрались до Индии. И. часто делал длительные остановки, желая дать не только отдых, но и предоставить все возможности понаблюдать жизнь народов и подсмотреть их нравы и обычаи.

Делая крюк за крюком, руководясь отчасти и своими делами, а чаще всего стремясь расширить “мои университеты”, он привёз меня в Багдад. Смеясь, он уверял меня, что мне необходимо понять прелесть реального Багдада, а не судить о нём только по сладким пирогам.

Наше путешествие, длившееся несколько месяцев, благодаря ежедневному влиянию и заботам И. закалило не только моё здоровье, но и весь мой характер изменило. Я почти перестал становиться “Лёвушкой — лови ворон”, внимание моё стало дисциплинированным, и — я не знаю сам, как это случилось, — я больше не впадал в раздражение.

Рассказать обо всех чудесах, что довелось мне видеть, так же невозможно, как невозможно вылепить в одной статуе всю сложную мысль, как жизнь современной эпохи народов. Могу сказать только, что, как ни готовил меня И. к тому, что я увижу в Индии, она меня поразила сильнее всех чудес, которые пришлось увидеть за долгое путешествие. Я знал, что мы едем к подножию Гималаев знал, что имение Али расположено в прекрасной и живописной долине — но я никак не ожидал, в какую волшебную красоту мы попадём.

Судя по тем домикам друзей И., в которых мы останавливались, я думал найти и в имении Али такой же маленький, чистенький коттедж, снабжённый единственным очагом и необходимой для жизни утварью. Как и во многом другом, здесь меня ждало разочарование. Дом в имении Али был прекрасный, каменный, из белого, похожего на мрамор камня, с многочисленными колоннами, с комнатами, изолированными друг от друга.

Нас с И. ждали две чудесные комнаты в верхнем этаже с балконами. И когда я вышел на свой балкон, открывшийся с него вид так меня поразил, что я всё забыл и, разумеется, превратился в прежнего Лёвушку и “ловиворонил” до тех пор, пока солнце не закатилось за горы. А я всё стоял, забыв обо всём.

Привела меня в себя мягко опустившаяся мне на плечо рука И. Ах, как он был прекрасен! Я ещё никогда не видел его таким чудно красивым, каким он стоял сейчас передо мной. Он был в хитоне оранжевого цвета; волосы его слегка отросли и спускались короткими локонами, а топазовые глаза могли поспорить со звёздами Ананды.

Я хотел закричать ему: “Как вы чудно прекрасны, И.!” — но не мог выговорить ни слова. В первый раз я почувствовал, как высок, как необычайно выше всего простого человеческого мой дорогой друг. Чувство благоговения, благодарности за

всё, что он для меня сделал, преданность и верность ему захватили меня. Я молча смотрел на него. Он понял мои чувства и, ласково улыбаясь, сказал мне:

— Я не тревожил тебя, Лёвушка, потому что знал, как действует на человека этот дом и этот вид из него, когда его видят впервые. Но сейчас наступит вечер, который здесь спускается сразу. Мы должны вовремя поспеть к ужину. Пойдём, я покажу тебе, где ванна и душ, познакомлю тебя с управляющим домом и со слугой, который будет у нас с тобой общим. Ты можешь надеть индусское платье, какое здесь носят все, или остаться европейцем, если тебе это больше нравится. Но точно являться к трапезам — это единственное правило, соблюдаемое всеми в большой строгости. Не беспокойся, ты поспеешь, — улыбнулся И., прочтя на моём лице опасение опоздать.

Мы прошли к управляющему домом, одетому также в белую индусскую одежду и, судя по лицу, бывшему типичным туземцем. Он был красив, ещё молод, тонок и гибок. Продолговатое лицо, тёмное от загара, тёмная бородка эспаньолка, тёмные глаза и белый тюрбан на голове. На моё приветствие он ответил по-английски, но с сильным акцентом и певуче. Голос его был мелодичен и мягок; взгляд добрый, но пристальный и внимательный, как будто бы он старался меня запомнить, что-то во мне изучить и понять. Но мне некогда было об этом раздумывать, я запомнил только, что звали его Кастанда. Меня очень поразило это имя, но тут же я вспомнил о ванной и помчался в неё с одной мыслью: скорее вернуться к И.

Меня ждал сюрприз за сюрпризом. Я думал увидеть какую-либо самодельную умывалку, вроде тех, что встречались нам по пути. Чаще всего просто огороженное в саду место с душем из нагретой солнцем воды. А попал в отличную ванную комнату с полом и стенами из плиток, с неограниченным количеством тёплой и холодной воды, лившейся из водопроводных кранов. К довершению моего удивления, не успел я раздеться, как в ванную комнату вошёл слуга-китаец. Добродушно улыбаясь, он заявил, что прислан Кастандой помочь мне. Не дав мне опомниться, он окатил меня из какого-то кувшина чем-то тёплым, оказавшимся жидким душистым мылом. В мгновение ока он растёр меня всего мягкой мочалкой, подвёл под душ, а затем завладел моей головой, так что мне оставалось только закрыть лицо руками.

Отфыркиваясь и не решаясь открыть глаза, я шёл за слугой, который тащил меня из-под душа куда-то настойчиво и очень осторожно.

— Садитесь теперь в ванну, монсье Леон, — услышал я по-французски. Я готов был ко всему. Но услыхав от китайца, который только что объяснялся со мной на плохом английском, французскую речь, я не выдержал и так расхохотался, что открыл глаза и напустил в них мыла.

Бросившись в прекрасную каменную ванну, такого же белого камня, как дом, я тёр глаза и продолжал хохотать.

— Вот Али-молодой говорила, что монсье Леон очень весёлая особа, — снова услышал я голос слуги.

— Разве вы знаете Али-молодого? — удивился я.

— Как же не знать? Я вырастил Али-молодого. Он и послал меня сюда для вас и брата И. И сам он приедет сюда. Тогда у меня будет три господина, — преуморительно коверкая слова, отвечал слуга.

Али и воображал себя героем маскарада. Мне показалось, что я даже не мог теперь и чувствовать так экспансивно, как в то время. Вспомнил я и своё отчаяние, одиночество, слёзы брошенного существа, что давали мне ощущение кладбища, — и ясно понял, что я переступил какую-то ступень сознания и уже больше не буду искать счастья жизни в той или иной форме жизни внешней.

Вероятно, я ещё долго раздумывал бы о всевозможных вопросах, которые выплывали по ассоциации воспоминаний, но меня отвлёк цветок, брошенный в окно. Я поднял цветок, вышел на балкон и увидел И., звавшего меня купаться в горной речке.

— Да ты, Лёвушка, не спал? Это никуда не годится, — говорил мне притворно грозным тоном мой дорогой друг и наставник. — Сегодня я буду знакомить тебя с большим числом моих друзей. Среди них будет немало прелестных дам, и мне вовсе неохота, чтобы они составили себе впечатление о скучном Лёвушке, который дремлет за завтраком.

Я уверил И., что не ударю лицом в грязь, спрятал письма, захватил простыню и быстро нагнал уже спускавшегося вниз И.

Мы шли теперь по той живописной долине, которую я наблюдал со своего балкона. Тропа круто свернула влево, мы обогнули небольшой сад, и я снова застыл от изумления. Горная речка текла издалека, падала уступами, бурлила и пенилась, но у песчаной отмели, куда привёл меня И., разливалась большим озером, как огромная чаша, и вытекала снова узкой, бурлящей по уступам речкой.

Вокруг озера росли пальмы и было раскинуто много купален. Озеро было глубокое, вода холодная. И только немногие, отличные пловцы и спортсмены, решались переплыть его. На другой его стороне тоже стояли купальни, и там я различал двигавшихся людей.

Было уже очень жарко, я мечтал поскорее окунуться, но И. повёл меня дальше, на следующий уступ горы. Здесь я увидел такую же точно картину, река образовывала озеро и текла дальше. Но это озеро было гораздо меньше и мельче. И. объяснил мне, что приезжающим впервые в Общину нельзя купаться сразу в нижнем озере, так как слишком низкая температура воды вызывает судороги и может даже смертельно повредить всему организму. Но, постепенно приучаясь к переходам от жаркой температуры воздуха к холоду воды в озере, воды, обладающей большими целебными свойствами, можно не только сбросить с себя кучу физических болезней, но и обновить весь организм.

Многие, прожив в Общине шесть-семь лет, уезжают помолодевшими на десятки лет и почти перестают болеть. И., не желая оставлять меня одного, купался тоже в верхнем озере. Не знаю, как бы я чувствовал себя в нижнем озере. Но вода верхнего меня пленила. После моря, в котором за время нашего долгого путешествия я часто купался, мягкая, совершенно прозрачная и приятно прохладная вода озера, где был виден мельчайший камушек, где дно было как бархат, где не плавало ни одной медузы, казалась мне блаженством. Я никак не мог решиться расстаться с озером, и только угроза И., что близится час женского купания и я задержу дам, заставила меня вылезти из воды, хотя я вздыхал и обещал И. завтра же найти себе ещё одно озеро, где бы можно было купаться сколько захочешь, не боясь дамского нашествия.

вокруг слишком много, что Милосердие Жизни могло бы больше позаботиться о радости людей. Нет, Лёвушка, не Жизнь раздаёт награды и удачи или наказания. А человек подбирает в своих днях то, что он сам разбросал своим творчеством в веках вокруг себя.

Выбросить, как ковшом вычерпать, мутную воду, что сам пролил в жизнь, — невозможно. Её надо пропустить через собственное сознание и труд. И только тогда вода, прошедшая через фильтр собственной доброты, всосётся в землю, оставив на её поверхности вокруг человека кристаллы чистой Любви. Эти сверкающие кристаллы уже не могут ни замутиться, ни разбиться. Это кусочки твоей вечной Любви, что живут в тебе и каждом. Они легки, чисты и сыплются с нас, как алмазный дождь, лишь только мы двигаемся к труду по земле в своём простом дне, думая не о себе, а о встречных.

Чем больше любви в сердце, освобождённой и очищенной, тем чище и шире вокруг нас блестящий ковёр, на котором встречает своих ближних каждый человек. Когда только ещё подходишь к человеку, ощущаешь уже издали аромат атмосферы его ковра. И тот человек, чья атмосфера очаровывает нежностью и энергией силы, всегда много-много раз уже умирал своими страстями раньше, чем они переросли в кристаллы освобождённой любви.

Тебе, Лёвушка, пришлось много выстрадать. Но перед тобой ещё огромная, долгая-долгая жизнь. Всё ещё встретится тебе на пути. Но ты знай одно: нет таких ступеней совершенства, которые сваливались бы с неба на плечи человеку сами собой из рога изобилия, что держит чья-то рука, усыпая путь цветами. Каждый цветок — собственный труд человека. Каждая удача — твоя победа в тебе самом.

И “удача”, которую ты назовёшь этим словом, — это будет твоё знание, твоё достижение на пути освобождения. Это будет внутренняя мощь и победа, а не те внешние блага, что обыватели зовут удачами, стараясь вырвать их себе чужими руками и трудом.

Если временами тебе будет становиться особенно трудно и тяжело, знай твёрдо, что проходишь одну из ступеней своего освобождения, что в тебе умирает какая-то часть иллюзий. Их умирание всегда переносится трудно организмом земли, наделённым сознанием, силами и чувствами двух миров — неба и земли.

Зная это, вспоминай, когда страдание обовьётся вокруг тебя, и льни тогда к людям вроде И., чей ковёр любви разросся в огромное яйцо, охватывает самого И. и всех, кто к нему подходит. Дядя Али говорил мне, что пошлёт меня к тебе в Общину. Я там был уже два раза и буду счастлив, если встречусь там с тобой.

Прими мой сердечный привет, дорогой друг. Не стоит и говорить, как я буду рад, если ты не откажешь мне в твоей дружбе и будешь мне писать. Я же всегда с тобой в мыслях и дерзаю назвать себя твоим верным другом.

Али Махмед».

Это было второе письмо, полученное мною от Али-молодого. Я поневоле вспомнил, как я караулил сон Флорентийца и читал в духоте вагона его первое письмо.

Как сравнительно мало прошло времени, ещё и года не истекло с нашей первой встречи с Али, а сколько уже мелькнуло событий. И таких событий, которые закрыли собою того мальчика, что приехал в К. Я улыбнулся сам себе, когда представил себе того наивного, ежеминутно раздражавшегося Лёвушку, который шёл на пир

Выскочить из ванны, растереться и одеться в костюм, который был уже мне знаком, — было делом одной минуты. Сердечно поблагодарив китайца за помощь, я спросил, как его имя. Он немного замялся и ответил:

— Как имя — это другое дело. Вы зовите меня Ясса — так зовёт меня Али-молодой и зовут все здесь.

— Я буду звать вас Ясса, но с тем, чтобы вы звали меня просто Лёвушка, как меня зовёт Али-молодой и как будут звать все здесь.

Китаец рассмеялся и сказал:

— Будет так, если И. велит.

— Велит, велит, можете быть уверены.

И я бросился было бежать к И., но понёсся в совершенно противоположную сторону и только с помощью опять всё того же Яссы нашёл И. в его комнате в беседе с Кастандой.

— Я не опоздал, И.? — весело воскликнул я, вбегая в комнату.

— Ещё только через четверть часа будет гонг, — ответил мне Кастанда. — Не удивляйтесь, пожалуйста, если ваш и И. приборы будут украшены цветами. Али Махоммет, наш дорогой хозяин, предупредил нас о приезде его друзей. И каждый из живущих здесь сейчас пожелал выразить чем-нибудь свой привет вновь прибывшим гостям. Сам же Али-старший приветствует вас подарками, которые вы также найдёте на своих приборах.

Кастанда нас покинул, и И. сказал мне:

— В столовой, как и здесь, царит простота, Лёвушка. Но это не значит, что человек лишён комфорта. Сейчас у тебя ослеплены глаза. Ты рассеялся и не знаешь, куда и на что смотреть. Завтра ты лучше рассмотришь окружающее тебя. Мы пойдём сейчас ужинать, не смущайся большим числом незнакомых тебе людей. Ты встретишь немало и женщин.

У меня сжалось сердце. Точно живая, пронеслась перед моими глазами Анна. О, как остро я почувствовал её горе в эту минуту. Она могла быть здесь с нами. Ананда сам мог привезти её сюда, и вот одно мгновение сомнений и ревности — и всё пропало.

— Анна не безвозвратно отошла, — тихо и ласково сказал мне И. — Она укрепится и будет здесь. Её бури ревнивых сил не вспыхнут больше. Но будет она здесь только тогда, когда сюда приедет и дочь Али — Наль, со своим мужем, твоим братом. К этому времени Али сам привезёт сюда Анну. Не тоскуй о ней. Помогай ей мыслями радостной любви. Посылай ей каждое утро и каждый вечер помощь бодрости и мужества. Ничем более активным ты в данную минуту ей помочь не можешь. Но ты не думай, что это так мало. Это очень большая помощь. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельс для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать.

Ударил гонг. И., как всегда угадавший моё смущение, взял меня под руку, и мы сошли вниз.

Уже было почти темно, очень тепло, почти жарко. Зал, называвшийся столовой, был ярко освещён, к моему удивлению, электричеством. Несколько дверей в нём были настежь открыты, окна были завешены мокрой кисеёй, и под потолком враща-

лись десятки огромных вееров, создававших прохладный ветерок. Но всё же было душно.

Я понял, насколько я окреп. Я не мог бы вынести ни минуты такой жары раньше. Перед этой жарой духота Константинополя казалась шуткой. Несколько месяцев тому назад я немедленно упал бы в обморок, а сейчас мне было просто душно. Мой индусский костюм и сандалии на босу ногу очень мне помогали.

Мы вошли одними из первых. Кастанда сейчас же подошёл к нам и проводил к нашим местам. Они оказались за крайним столом, на котором было много приборов, как и на других столах. Многие из входивших приветствовали И. как старого знакомого. Некоторые кланялись нам обоим издали как вновь прибывшим друзьям. Здесь все, очевидно, были знакомы друг с другом и никто никого не стеснялся.

Когда все заняли места за столами, на каждый стол стали подавать кушанья очень своеобразным порядком. На небольших, очень пропорциональных и красивых столиках, которые катили слуги, стояли миски и блюда, и каждый брал себе то, что хотел и сколько хотел. Такие катящиеся столики свободно проходили между обеденными столами. Наш стол был крайним к окнам, и тележка прикатила к нам со стороны окна.

И. предложил мне выбрать блюда для него и себя, а я не мог решить, что и как здесь едят. Заметив на одном из блюд салат из помидоров, на другом картофель, на третьем цветную капусту, я принялся снабжать ими И., как вдруг увидел чудесную дыню. Вспомнив, что “мудрец без дыни невозможен”, я уже хотел положить туда и дыню, но И., смеясь, сказал:

— Тележка-стол, Лёвушка, опять приедет, как только мы с тобой справимся с овощами. Обрати лучше внимание на цветы, которые перед тобой, и ещё кое на что. Быть может, привет Али тебя тронет.

Я стал рассматривать цветы и увидел, что передо мной в высокой зелёной вазе стояла белая лилия. Очевидно, у Али и здесь были оранжереи. Но я положительно не мог ни на чём сосредоточиться. Сколько передо мной было лиц — мужских, женских, молодых, средних и старых, — и каких лиц! Мне хотелось их хотя бы вскользь рассмотреть, но каждое лицо, на котором останавливался мой взгляд, казалось мне замечательным, и я с трудом отрывал взгляд от него.

— Нет, Лёвушка, и не пробуй сразу разглядеть всё и всех, — услышал я смеющийся голос И. — Здесь более ста человек, ты их узнаешь постепенно. Кушай, осмотри свой прибор и сосчитай хотя бы тех, кто сидит с нами за одним столом.

Я вздохнул, поняв, как далеко мне до И., который мог видеть сразу сотню людей и в несколько минут определить полную характеристику каждого; мог каждому сказать именно то, что ему нужно, и поддержать в каждом энергию одним словом или взглядом.

Меня уже не поражали эти свойства в И. Я их достаточно видел во Флорентийце и Ананде. Меня что-то поражало в этом переполненном людьми зале, которых я видел за последнее время так много. Но в этом зале было что-то особенное, чего я ещё нигде не наблюдал. И это “что-то” относилось не к внешнему своеобразию самого зала, а людям в нём. Оно относилось к внутренней стороне, к ничем не бросавшейся в глаза, но остро чувствовавшейся духовной культуре. Я воспринимал сейчас эту толпу людей совершенно по-другому. Здесь нельзя было себе представить

вершинами, облитый розовым светом, открывался на дальнем горизонте. И до самого хребта тянулась широчайшая долина с живописными селениями, переплетающимися садами, полянами и лесами. Я только тогда отошёл от окна, когда увидел садовников, выходивших из дальних построек Общины.

Одновременно во многих местах дома началась жизнь. Я видел, как фигуры в белом с мохнатыми полотенцами на плечах шли купаться к горной речке. Я сел в кресло и стал читать второе письмо.

“*Мой дорогой Лёвушка, мой милый брат*“, — писал своим мелким и необычайно красивым почерком молодой Али. Глядя на этот характерный почерк, я особенно ярко представил себе Али. Я вспомнил его в первые минуты встречи, когда он, не видя нас, высаживал из коляски ворчливую тётку и украдкой улыбался Наль. Я вспомнил его и в ту минуту, когда Наль дала цветок брату Николаю... Я видел его в индусской одежде на даче у дяди Али. Как должен был тогда страдать этот человек, даже буквы почерка которого ложились ровной лентой, как гармонично сплетённое кружево. Какая стойкость воли и любви должна была жить в этом гармоничном существе, чтобы после смертельного удара вновь жить полной жизнью, улыбаться и радоваться. Сейчас для меня было ясно, что именно в тот момент, когда Наль подала цветок не ему, а брату Николаю, Али умер. Умер беззаботный, влюблённый Али; умер жених, мечтавший о любви и семье, и остался жить новый человек, воин, строитель жизни, подле Али-старшего уже навек забывший о себе.

Я не спрашивал себя сейчас: “Зачем столько страданий в мире?” Я знал теперь, зачем они, знал, что через них люди идут к знанию и на препятствиях растут и закаляются. Я снова стал читать письмо.

«Передо мной мелькает вся твоя тревожная жизнь последних месяцев. Не раз сжималось моё сердце за все твои муки, и я хотел бы обменяться с тобой ролями и взять на себя твой подвиг, предоставив тебе спокойную жизнь подле дяди Али. Но... путь себе не выберешь. Путь стелется там и так, как сам человек его соткал.

В письме не передашь всего, что хотелось бы излить из сердца. Да и слова наши малы для того огромного, чем я хотел бы поделиться с тобой. Одно мне необходимо тебе сказать: не печалься ни обо мне, ни о твоём брате.

Видишь ли, цель жизни на земле — освобождение через труд. Но мы так созданы, что, приходя на землю, приносим и растим в себе такое количество страстей и предрассудков, которые опутывают нас, как цепкие лианы. И чем прекраснее цветы наших иллюзорных лиан, тем яростнее мы к ним привязываемся и за ними гоняемся. Когда же настаёт момент нашего внутреннего созревания, нам приходится разрывать цепи иллюзий. И если цепи глубоко вросли в наше сердце, то в тот момент, когда мы их вырываем, — мы умираем. Умираем иногда целыми частями своего существа, чтобы на месте связывавших нас страстей вырастала радость освобождения.

Не могу тебе сказать, чтобы я завоёвывал свои ступени роста и освобождения легко и просто. Я уже много раз умирал под вцепившимися в меня лианами страстей и много раз снова оживал, всегда благословляя Жизнь за посланный ею урок освобождения.

Я вижу, как свалились на тебя сразу целые десятки уроков. Я вижу, как стоически ты их выдерживаешь, мой дорогой друг Лёвушка. Тебе кажется, что страданий

Та Община, где ты сейчас живёшь, — это спасительная сеть, где куются бойцы для борьбы со злом, с награблением, с разжигающими страстями. Здесь закаляются сердца тех, кто хочет жить для общего блага, для мира и радости людей.

Знание — двигатель жизни, и радость — масло для него. С той минуты, как ты вошёл под кров моей Общины, осознай новый порядок вещей и пойми в нём новый подарок, который тебе дала Великая Жизнь.

Перед тобой период в целых семь лет абсолютной раскрепощённости от всех забот практической жизни. В полной освобождённости от бытовых тягот осознай свою величайшую внутреннюю свободу. Осознай, что твоё Я, освобождённое от страстей, может сдвигать горы, если верность твоя цельна до конца и никакие сомнения и страхи не могут пробить в ней бреши.

Прими, друг, бодрое пожатие моей руки и иди по жизни в простой доброте. Как только доброта твоя станет ежедневным, привычным двигателем твоей жизни — ты каждую встречу сумеешь начать и кончить в радости и мире.

Верь мне — всё, чего должен достичь человек в своих встречах, это начать и кончить *каждую* из них в мире, милосердии и доброте.

Время — семь лет, о которых я упомянул, что кажутся тебе сейчас целой вечностью, — мелькнёт как одно мгновение. И, покидая гостеприимный кров Общины, ты будешь сам себя уверять, что ещё не чувствуешь себя в силах идти в практическую жизнь, чтобы строить людям пути к общему благу и миру.

Но... каждому *его* момент современности, *его* момент творчества, *его* момент развития и действия героических сил.

Кто спешит — не достигает. Кто отстаёт и медлит — находит смерть. Мужайся, друг. Ты хорошо начал свой путь — продолжай его так же. Если в минуту разлада ты будешь нуждаться в моей помощи, крепко и уверенно думай обо мне, зови имя моё “Али”, и я отвечу тебе немедленно. Прими мой привет и мир,

твой друг Али Махоммет».

Я потушил лампу, взял в руки письмо и вышел на балкон. Ночь, тихая, тёмная, с небом, усеянным звёздами, окружала меня. Огромные пальмы едва вырисовывались волшебными контурами. Неведомые мне звуки этой ночи, какие-то шорохи, точно вздохи, очень отдалённый звук свирели, аромат роз и гвоздик... Всё слилось в какое-то кольцо ещё неиспытанных спокойствия и блаженства. Гармония царила в этой ночи и захватила меня. Я перестал чувствовать себя отдельным существом и ощущал радость бытия, счастье жить в этом очаровании вселенной, живым куском которой я себя сознавал.

Прижав письмо к губам, я благодарил Али за все его благодеяния мне и брату. Я прочёл письмо ещё раз не глазами и умом, но сердцем. Любовь моя к нему пролилась горячей волной, раскрыв мне великую мощь Али. Я увидел ещё один аспект, аспект любви, в фигуре моего высокого руга. И я захотел приблизиться к знанию, чтобы приблизиться к нему. Я так долго простоял на балконе, что звёзды стали меркнуть, восток зарозовел. Я вспомнил о письме Али-молодого и поспешил в комнату. Волшебная картина пробуждающейся жизни заставила меня отдёрнуть занавеси. Я распахнул одно за другим все окна настежь и стал наблюдать, как из-за горного хребта выплывала красная полоса, становясь всё шире и ярче. Внезапно выскочил краешек солнца, и я едва удержал крик восторга. Весь горный хребет, с белыми

вить, что вдруг в каком-либо углу зала прозвучит резкий выкрик, саркастический смех, злобная фраза...

И. снова отвлёк моё внимание и заставил меня есть, говоря, что тележка приедет скоро снова, а я отстаю. Я стал есть, не сознавая, что я ем, посмотрел на салфетку и обомлел. На моей салфетке было чудесное золотое кольцо с именем Али, выложенным из мелких зелёных камней и белых жемчужин.

— Ведь я говорил тебе, посмотри поближе к себе, — сказал мне И., снова улыбнувшись моей невероятной рассеянности.

Я захотел узнать, какое кольцо у И. ... И ещё раз обомлел. На его салфетке было кольцо из простого белого дерева, на котором из белого коралла была надпись: “Али”. Дальше шла надпись на неизвестном мне языке.

— Когда я ехал с Флорентийцем из К., — сказал я И., — я не понимал ни слова из того, что он говорил с туземцами. Я был всё время тогда раздражён и расстроен. Тогда же я дал себе слово изучить этот язык, непонимание которого доводило меня до исступления. Я ничего ещё не сделал, чтобы выполнить свой первый обет. Тем не менее я даю второй обет: узнать язык, на котором сделана надпись на вашем кольце, И. Я потерял способность раздражаться, меня не угнетает моё невежество. Пожалуй, в моём теперешнем самообладании я ещё яснее её вижу, мою невежественность. Поможете ли вы мне, И., выполнить мои два обета?

— Охотно, друг. Только, пожалуйста, не давай больше скоропалительных обетов, а то, пожалуй, тебе придётся прожить здесь, в Общине Али, годы и годы. А я привёз тебя сюда только на короткий срок, чтобы ты мог подготовиться здесь к дальнейшей жизни подле Флорентийца.

— Община Али? — совершенно изумлённый, спросил я.

— Да, но всё это я расскажу тебе после. Сейчас кушай, смотри, отвечай на вопросы, хотя, думаю, никто ни о чём тебя не спросит.

Так, прислушиваясь к разговорам за нашим столом, я стал внимательно рассматривать своих ближайших соседей. Я прикоснулся к цветам возле моего прибора и вдруг увидел среди них два небольших конверта. На каждом из них стояло моё имя. Я сразу узнал крупный, чёткий почерк Али-старшего и не менее чёткий, но гораздо более мелкий и женственный почерк Али-молодого.

Вместе с огромной радостью на меня нахлынула целая туча воспоминаний. Я вновь переживал пир у Али, разлуку с братом, встречу с Флорентийцем и отдельные эпизоды путешествия с ним. Любовь к брату была всё такой же сильной в моём сердце, но сейчас в моей памяти преобладающей нотой звучала не скорбь о разлуке с ним, а радость за него, радость, что он счастлив, в безопасности и живёт подле Флорентийца. Я думал об Али-старшем с большой благодарностью не только за то, что сейчас сидел под его кровом, но и за то, как много он сделал для брата, как, в сущности, оба мы были обязаны ему всем.

И вдруг я снова ощутил знакомое мне содрогание во всём организме. Мне показалось, что я вижу Али, стоящим у круглого окна вдали. Вижу его прожигающие очи и слышу сильную, чёткую речь:

—Учись, Лёвушка. Первой задачей стоит перед тобой полное самообладание, второй — бесстрашие и третьей — такт. Приобретя эти качества, можешь снова

выйти в мир для труда и служения людям. И. поможет тебе, я приму тебя в круг моих сотрудников.

Али исчез, мне показалось, что стало значительно темнее в комнате. Я опомнился потому, что И. заботливо помогал мне встать со стула. Я давно не впадал в болезненное состояние иллюзорных видений, считал себя совсем выздоровевшим от них и сейчас совершенно расстроился, поняв, как я ещё мало окреп.

Все вставали со своих мест, очевидно, ужин был окончен. Повинуясь руке И., я также встал с места и увидел перед собой Кастанду.

— Вы, вероятно, очень устали от дороги и жары, Лёвушка, я пришлю вам ваши цветы на балкон. А письма вы, конечно, захотите взять с собой сейчас же, — подавая мне письма, сказал Кастанда.

Я поблагодарил, взял оба письма, хотел взять и кольцо, но И. сказал, что кольцо мы рассмотрим завтра при дневном свете. Он познакомил меня с некоторыми из подходивших к нему друзей. Но я был как в тумане и едва различал лица, за минуту казавшиеся мне такими значительными. Мы вышли в сад. Я в первый раз мог наблюдать яркое небо на громадном просторе, но сил у меня было так мало, что я попросил И. сесть на первую попавшуюся скамью. Я приник к И. От него бежала ко мне живительная энергия. Я постепенно успокоился и почувствовал, что сердце моё бьётся ровно. Я сказал, что хочу пойти к себе и прочесть письма обоих Али.

— Скоро, гораздо скорее, чем ты думаешь, Лёвушка, ты научишься владеть собою и будешь слушать речь друзей на огромном расстоянии без всякого напряжения, — ласково говорил И., провожая меня домой.

Из всего окружающего меня сейчас, я мог только в одном дать себе отчёт: тишина ночи отвечала тишине во мне. По дорожкам сада двигались тёмные тени группами, парами, в одиночку. И снова, сталкиваясь с людьми, шедшими нам навстречу, я чувствовал — как в обеденном зале, — что от них льётся доброжелательство. В чём оно выражалось и как я мог его ощущать, я не знал. Но был определённо уверен, что здесь никто меня не судит, не разбирает по статьям, а очень просто и любовно принимает в своё общество.

И. вёл меня какими-то дальними путями, я понял, что он хотел мне дать возможность совсем прийти в себя. Мне стало вдруг даже смешно: неужели И. думает, что я прежний Лёвушка, что в какой-либо щели моего существа могло засесть раздражение?

— Мой дорогой И., я уже давно способен читать мои письма; голова моя в полном порядке. Неужели вы можете предполагать, что я сегодня был раздражён? Я уже забыл, как это делается, — весело заглянул я в лицо И. при ярко горевших звёздах.

—Я знаю, что для тебя стало невозможным раздражаться, Лёвушка, и если я так долго вожу тебя по саду, то только для того, чтобы в первую же ночь, как ты войдёшь в здешний дом Али, ты вошёл в полное равновесие сил и чувств. Мы в Общине Али. Каждый из нас, придя сюда, уже прошёл крестный путь жизни. Но не каждый прошедший его мог дойти до этого дома. Здесь ты увидишь только тех, кто просветлён в своём страдании, кто понял, принял и благословил свои обстоятельства, кто захотел жить, служа человечеству, думая об общем благе. Входя сегодня в этот дом, подумай, мой дорогой мальчик, обо всех, кого ты оставил в Константинополе. Обо всех, кто сейчас вокруг Ананды и Флорентийца, а также вспомни сэра Уоми и всех, кто с нами был и ушёл утешенным и обрадованным. Оба Али будут говорить с тобою в письмах; благослови день встречи с ними. Сбрось всю тяжесть прежней скорби и недоразумений с себя. Войди под новый кров Али свободным, лёгким и радостным. Не думай, что сулит тебе “завтра”. Но заверши своё “сегодня” такой полнотой чувств, чтобы весь твой организм мог воспринять слова, что пишет тебе Али-старший.

Мы вошли в дом, поднялись к себе, и я простился с И., чтобы наедине прочесть письмо Али, чудесное лицо которого я так недавно видел глядящим на меня из эфира в круглом окне.

«Друг, брат и милый сын!

Нет расстояния и условного разъединения для тех, чьё сердце горит неугасимой любовью. Нет смерти для тех, чьё сознание раскрыло человеку его живую Вечность, которую он в себе носит.

Сегодня ты вступил в мой дом на Востоке. Вступай в него не гостем, не другом, но равноправным членом моей семьи. Все, кого ты там встретишь, — всё твои братья и сёстры, идущие путём труда и совершенствования.

Тебе дано больше, чем многим из них. Ты обладаешь силой видеть и слышать в любую минуту и меня, и Флорентийца, и Ананду, и сэра Уоми. И. поведёт тебя, постоянно помогая развитию твоих психических сил, к высшей ступени знания. Ты будешь владеть силами в себе и вовне.

Что нужно от тебя, чтобы дело шло успешно и развернуло в тебе все силы творческого духа?

Нужна твоя верность. Что такое верность ученика своему Учителю? Это единение вечное с его трудом и путями. Если ты выкажешь героическое напряжение сил и мыслей, ты сольёшься с бурным пламенем творчества твоих Учителей. И Вечность раскроет в тебе все твои таланты. Но верность твоя — единственный ключ ко всему знанию.

Живи легко, бесстрашно и свободно. Кто не сумеет так жить свой день, для тех знание закрыто, хотя бы они даже переступили порог Общины. Можно жить среди совершенных людей — и всё же видеть только их внешние манеры. Можно жить среди таких же, как ты сам, несовершенных, но стремящихся к радости совершенства людей и видеть в них каплю огня Вечности. И тогда ты будешь стремиться не потревожить ничем этой капли огня в другом человеке, а принести ей помощь, чтобы она могла легче и проще, выше и веселее превращаться из капли в костёр. Повторяю, ключ к такому пути ни Община, ни люди, ни природа с её красотою никому не предоставят. Ключ — в тебе самом, в твоей верности.

Нет никаких “особых” знаний, которые раскрываются человеку упорством воли, в каких-то особо избранных местах, по особым ритуалам. Этими делами занимаются тёмные оккультисты. Знания их, приобретённые этим путём, ничтожны, в чём ты уже имел возможность убедиться. Но соблазн, который они вносят в мир, язвы, которые они оставляют в сердцах, страшны и разрушительны среди людей невежественных. Действуя на эгоистические страсти, тёмные оккультисты вербуют себе войско, сжигая в человеке волю к добру своим тяжёлым гипнозом.

детски засмеялся, что-то залопотал и защёлкал, что И. снова перевёл мне как изъявление его дружбы и удовольствия.

Хотя я был уверен, что найду дорогу, всё же старался очень внимательно запоминать все повороты дорожки.

— Я задержался здесь дольше, чем предполагал. Я уже не успею навестить других до завтрака. Хочешь ли ты, Лёвушка, быстро позавтракать и сходить вместе со мной ещё к двум больным? А затем ты бы мог снести лекарство Максе. Или предпочитаешь это время просидеть за книгами?

У И. был совершенно серьёзный вид, и никакой искорки юмора не сверкало в его глазах.

— Дорогой мой, родной И.! Если только можно мне быть подле вас, возьмите меня с собой. Я очень мало могу помогать вам, но разрешите мне быть вашим посыльным, вашим носильщиком. Я хочу идти в своей жизни здесь так, как вы видите и знаете. Если я так жажду учиться, то ведь только для того, чтобы скорее стать более достойным вас.

— Ты движешься вперёд, Лёвушка, очень быстро, быстрее, чем возможно для твоего организма. И только поэтому я тебя придерживаю. Хотя мы с тобой только что купались, но после этого больного надо и душ взять, и одежду сменить, раньше чем входить в общую столовую. Я тебе сегодня же расскажу, в чём здесь дело и кто такой Макса.

Пока И. брал душ, я стоял на балконе и издали видел, как женские фигуры, прикрытые длинными простынями, двигались под горячим солнцем к купальням. Жара мне показалась злее вчерашней, и я с удовольствием думал, как пойду тенистым, прекрасным лесом и увижу не менее прекрасную Алдаз. Наконец, приведя себя после душа особенно тщательно в порядок и подвергшись осмотру Яссы, я решил спуститься вниз, где слышал голос И.

Когда мы вошли в утреннюю столовую, почти все уже садились на места. К нам подошёл, торопясь, Кастанда, спросил о состоянии Максы и прибавил ещё одну просьбу: посетить Аннинова. Его слуга приходил и сказал Кастанде, что ночью у его господина был сильный сердечный припадок.

За соседним столом я увидел снова Андрееву и Ольденкотта, место же леди Бердран было пусто. Рядом с пленившей меня художницей Скальради я увидел новое лицо. И лицо это немедленно завладело всем моим вниманием. Человек, сидевший возле художницы, не был красавцем. Но где бы он ни был, кто бы его ни окружал — всюду он был бы заметен. Сложён он был так пропорционально, что высокий его рост даже не казался таким высоким, и, только когда взгляд падал на тех, кто его окружал, можно было отдать себе отчёт, как он на самом деле высок.

Голова с проседью, чёрные брови, большие голубые глаза с длинными чёрными ресницами, красиво вырезанный рот и безукоризненные зубы, хорошо видные при часто мелькавшей улыбке. Во всех его движениях, в манере слушать собеседника, в красивых руках — во всём было изысканное благородство. Что-то особенно меня в нём поразило. Человек этот был прост, очевидно привык привлекать к себе внимание и нисколько этим не смущался, но я ясно видел, что он скромен, добр, умён и нисколько не горд.

века, пожелавшего добровольно стать моим пажом. Общий смех моих друзей говорит о том, в какой тирании я держу моих юных приятелей. Но кончается дело всегда так, что юные приятели забирают меня в лапы, и я служу им объектом для их проказ либо забав.

Я мало понял, что скрывалось за общим смехом и в чём состояла соль слов Андреевой. И. весело смотрел на меня, заставляя меня есть салат из зелени, потом какую-то особенно вкусную кашу и, наконец, прекрасный кофе, по которому я соскучился за долгое время нашего путешествия, получая всюду какао или шоколад.

Рядом со мною сидел высокий, стройный, гладко выбритый молодой человек по имени мистер Черджистон. Он оказался по образованию математиком, но в данное время занимался историей. Он тоже был в Общине впервые и приехал сюда только несколько недель тому назад. Я почувствовал, что он ещё не освоился здесь. Мистер Черджистон имел от кого-то письмо к И., о чём я тут же сказал моему другу.

— Да, я знаю, мистер Черджистон, ваш друг писал мне ещё в Константинополь, что направляет вас сюда. Он просил меня быть вам руководителем здесь, что я с большой радостью беру на себя. Ананда тоже говорил мне о вас. Я привёз вам от него письмо и небольшую посылку, — ласково ответил он англичанину.

Никогда не забуду, что произошло с молодым человеком, когда он услыхал, что Ананда прислал ему письмо и посылку. Выдержанный, строгий англичанин вздрогнул, покраснел, уронил вилку и салфетку и с глазами, полными слёз, чуть слышно сказал:

— Неужели Ананда сам написал мне письмо?

— Да, мистер Черджистон, и не только сам написал, но и дал мне полные указания, как подготовить вас к свиданию с ним. Когда он сюда приедет, вы должны быть готовы его сопровождать в далёкое и долгое путешествие. Ананда просил меня передать вам, чтобы вы постарались побороть свою застенчивость, потому что вам придётся много жить среди больших суетных городов, среди людей, в постоянном общении с ними.

— Очевидно, мне не суждено жить так, как мне бы хотелось, — вздохнул мистер Черджистон. — Я мечтал о монашестве, а попаду в мир, да ещё в суету. Но, чтобы следовать за Анандой, я рад идти каким угодно путём.

Завтрак кончился, мы поклонились нашим соседям и новым знакомым и вместе с англичанином поднялись в наши комнаты.

— Я очень прошу вас, доктор И., и вас, Лёвушка, зовите меня Альвер, — сказал Черджистон. — Так звали меня самые дорогие мне люди. И я бы очень хотел слышать от вас обоих это обращение.

— Прекрасно, Альвер, мы так и поступим, — передавая ему письмо и посылку, сказал И. — И если это не нарушает вашей программы дня, приходите через полчаса в парк, к дальнему пруду у столетних пальм. Я намерен провести Лёвушку к подножию гор, ближних, зелёных, и познакомить его немного с окрестностями, а кстати чуть-чуть и с ботаникой.

— Как я счастлив, что вы возьмёте меня с собой! Я буду у пальм через полчаса.

Альвер вышел, унося с собой своё драгоценное письмо и небольшой ящик, довольно тяжёлый.

— Альвер много-много выстрадал в своей жизни, — когда мы вооружились лопатами, огромными войлочными шляпами, ножом и сумкой и вышли в сад, сказал мне И. — Его жизнь до последних двух лет была сплошным ужасом в семье мачехи и её детей, которых он содержал, работая без отдыха. Юноша уже готов был прийти в отчаяние, как его встретил один из учеников Ананды. Он привёл его к Ананде, когда тот был проездом в Дувре, и с тех пор Альвер ожил, Ананда же помог ему и сюда добраться.

— Ах, И., как трудно мне здесь собрать внимание. Я хотел бы сразу хотя бы увидеть всех, кто здесь живёт. А выходит, что, чуть взгляну на одного, — увязну в нём, забыв обо всех остальных. До сих пор я умел так сосредоточиваться, чтобы и человека — даже очень замечательного — видеть и не упускать из поля зрения всего окружающего. Здесь же моего внимания едва хватает на какое-либо одно лицо.

— Это не потому, Лёвушка, что ты стал рассеян. А только потому, что внимание твоё сконцентрировалось; и сам ты стал более тонко и глубоко воспринимать эманации и вибрации встречаемых людей. Твой организм, его психические и физические стороны закалились по сравнению с прежним, и ты глубже видишь человека. Если ты вспомнишь свои ощущения от встреч с самого выезда из К., ты заметишь, как тебя постоянно разбивали токи, исходившие от людей. Даже от общения с такими высокими и светлыми силами, как Али, Флорентиец, Ананда, тебя постоянно приходилось подкреплять соками трав и растений в виде конфет, пилюль, капель. Теперь же ты забыл о существовании всех этих средств в такой бурной встрече, как встреча с Андреевой. А между тем, именно она могла бы подействовать разрушающе на твоё спокойствие. И это ещё может случиться в дальнейшем. Заметил ли ты, что американка, давно уже живущая подле неё, старается держаться в некотором отдалении от Натальи Владимировны. Подле Андреевой с самого её детства все окружающие испытывали беспокойство, а предметы плясали, как только она к ним приближалась. Её и сейчас не впускают в электролечебные кабинеты. Электрические приборы от одного её приближения портятся, не выдерживая той колоссальной силищи электричества, которую излучает её организм. В ней обнажены все её психические силы. Она из тех, внезапно обновлённых людей, в ком Вечность сразу поглотила их животное начало и возвратила им все их прежние таланты и знания. Но сила божественного огня не течёт в ней в гармонии с огнём земли. Он вырывается из неё языками, хотя всегда огонь Света его превосходит и подавляет. Но потому, что оба эти огня не переплетаются в ней в гармонию, она и сама подвержена раздражению, и других может заражать неустойчивостью. И всё же ты остался перед нею в полном самообладании, хотя она увидела и прочла в твоей ауре все твои особенности.

К нам подошёл Альвер, которого мы уже несколько минут поджидали, стоя среди совершенно сказочной красоты, в тени столетних пальм, окружавших пруд и отражавших в нём свои огромные кроны. По воде плавали белые и чёрные лебеди, а между пальмами стояли красноватыми кучками розовые фламинго и ещё какие-то никогда мною не виданные птицы.

Вдали среди пышной зелени виднелось несколько домиков и расхаживали, важно распуская чудесные хвосты, белые павлины. Мимо нас проходили люди в белых коротких одеждах. Все они, очевидно, хорошо знали И., как и он их. Я поражался

Смех Алдаз разбудил карлика. Он открыл свои маленькие глазки, и ещё раз я превратился в соляной столб. Глаза карлика были красного цвета, точно два горящих уголька.

И., точно не видя ничего и никого, кроме своего больного, наклонился над карликом, боязливо на него смотревшим. И. сказал ему несколько очень для меня странно звучавших слов. Вот и ещё один язык, который я не понимал и который, вероятно, тоже надо было выучить. Если здесь живёт несколько родов карликов да ещё несколько сект индусов, наречия которых все разные, то, пожалуй, мне не догнать И. даже в языках.

Занятый этой мыслью, я отвлёкся вниманием от больного, а когда я снова посмотрел на него, то еле удержал крик ужаса. На маленьком обнажённом теле зияли три раны. Одна тянулась от бедра до самого колена, вторая — от горла до живота и третья — от ключицы до локтя. Тело на ранах было вырвано, точно чьи-то когти его терзали. И. дал несчастному пилюлю и капли. Обе сестры поддерживали тело маленького страдальца, а мне И. велел поддержать его головку, которая падала от слабости. Облив какой-то шипящей жидкостью развороченные раны, И. ловко наложил повязки. Очевидно, карлик не страдал от прикосновения его прелестных рук. Он немного окреп и улыбнулся своему доктору дружески. Когда его положили в другую кроватку, у окна, чтобы он мог любоваться видом поляны, он радостно поднял здоровую руку и, показывая ею на Алдаз, что-то сказал И. на смешном щёлкающем наречии. На этот раз я не обеспокоился своею невежественностью, так как обе сестры, как и я, не поняли ни слова и с удивлением смотрели на И.

И. объяснил сёстрам, что больной просит, чтобы весёлый колокольчик, как он прозвал Алдаз, не уходила от него. И. приказал сейчас же напоить больного тёплым молоком с бисквитами и обратился ко мне:

— Сможешь ли ты найти дорогу, чтобы принести после завтрака этому бедняжке лекарство? Или, если думаешь, что тебя съедят в лесу тигры, мне надо поискать другой способ доставки.

— Смогу найти дорогу и уже понял, что тигров здесь нет.

Я внутренне надулся: зачем И. смеётся надо мной в присутствии очаровательной Алдаз? Но Алдаз была вся поглощена тем, как развеселить больного, щебетала ему что-то, чего он не понимал, но интонация ласкового женского сострадания доходила до его сердца.

— Очень хорошо, Лёвушка. Через два часа, сестра Александра, мой друг Лёвушка принесёт вам новое лекарство. Вы его смешаете с молоком и мёдом и будете давать через каждые полчаса по четверти маленького стакана. Кроме шоколада, бисквитов, киселя и молока — никакой пищи. К вечеру я снова зайду. Если будет обострение болезненности, дайте снова вчерашнее лекарство.

Мы подошли к карлику, он протянул нам свою крошечную, горевшую от жара ручку, потом преуморительно приставил крохотный пальчик ко лбу и сказал: “Макса”. Он вопросительно уставился на меня своими красными хитрыми глазками. И. перевёл мне его слово и жест. Он спрашивал, как зовут меня, и объяснил, что его зовут Макса. И. велел мне приставить так же палец ко лбу и сказать ему моё имя. Когда я в точности всё исполнил и карлик узнал, что меня зовут Лёвушкой, он по-

— Не хочешь ли, Лёвушка, пройти со мной к нескольким больным, которых Кастанда просил меня навестить? Это недалеко, сейчас ещё рано, мы успеем вовремя вернуться к завтраку.

Я, разумеется, был очень рад и счастлив быть с И. всюду, где ему угодно, и, кроме того, стремился узнать новые места. Мы перешли через мост речку повыше озера и углубились по дорожке не в парк, а в самый настоящий лес. Но как этот лес был не похож ни на что, что до сих пор я привык называть этим словом. Стволы высоченных, толстенных деревьев, где ветви равнялись хорошей русской сосне или многолетней ели по своему объёму, несли здесь такие тенистые кроны, что на дорожке, по которой мы шли, было совсем темно. Местами лианы совсем сплетались такими плотными цветущими гирляндами, что образовывали непроницаемые завесы. Здесь было прохладно, как в гроте, даже сыровато. Я уже хотел сказать И., что, вероятно, такие леса полны тигров и шакалов, как дорожка перед нами сразу просветлела, расширилась и превратилась в большую круглую поляну. На ней стояло несколько белых домиков, похожих на украинские мазанки, как мне показалось сначала. Но подойдя ближе, я увидел, что они сложены из шершавого камня, пористого, с блестящими кристаллами, очень мелкими. Когда на них падал луч солнца, они напоминали вату, обсыпанную бертолетовой солью, под детскими ёлками.

Навстречу нам вышла женщина лет сорока, крупная, довольно миловидная, в белой косынке, белом платье и таком же полотняном переднике, на котором был нашит широкий красный крест.

— Здравствуйте, сестра Александра, Кастанда просил меня проведать вашего больного, которого вам доставили вчера. Дали ли вы ему лекарство, которое я вам послал?

— Да, доктор И. Бедняжка успокоился и заснул после вторичного приёма. Раны я ему слегка перевязала, как вы приказали.

Сестра Александра провела нас в самый отдалённый домик. В чистой просторной комнате стояло несколько белоснежных детских кроваток, но занята была только одна, и возле неё сидела тоненькая девушка небольшого роста, в такой же точно одежде, как и сестра Александра.

— Это наша новенькая сестра, только что окончившая курсы сестёр милосердия. — И сестра Александра представила нам очаровательное существо. — Сестра Алдаз — индуска, она умудрилась своими способностями покорить даже нашего милого старого ворчуна — директора курсов, не только всех преподавателей.

Алдаз посмотрела на нас своими тёмными глазами, большими, светящимися, и напомнила мне икону греческой царевны Евпраксии, которую я видел в одной из древних церквей и которой долго любовался.

Мы подошли к детской кроватке, на которой я ожидал увидеть ребёнка, искусанного собакой, судя по предшествующему разговору.

Каково же было моё удивление, когда на кроватке я увидел спящим маленького, сморщенного... лилипута. Он был такой старенький и несчастный, что я, разумеется, словиворонил да так и застыл. Я, должно быть, представлял собой преуморительное зрелище, потому что Алдаз, случайно оглянувшись на меня, не смогла сдержать смеха, и он зазвенел на всю комнату. Сестра Александра строго взглянула на Алдаз, но, увидав меня, и сама едва удержалась от смеха.

его памяти. Каждого он приветствовал по имени, каждому задавал вопросы совершенно разные. Но результат этих вопросов был всегда один и тот же: лица людей озарялись, на них, точно луч света, мелькали радость и бодрость.

Пока мы медленно проходили по тенистому парку, я мысленно вздыхал: какой колоссальный разрыв был между мною и И. в наших знаниях, силах, талантах, наконец, в любви! Где мог брать И. такой неугасимый костёр этой любви, чтобы не расточить и не опустошить сердца теми потоками внимания и теплоты, которыми он буквально обливал каждого, кто нам встречался.

— Ну, Лёвушка, в Общине нет места унылым мыслям. Сюда попадают только те, кто победил в себе все возможности отрицать и скорбеть, унывать и жаловаться. Брось всякого рода сомнения и приготовься к первому опыту пустыни. Как только мы выйдем из тени парка — зной набросится на нас со всех сторон.

И. надвинул мне глубоко на голову мою огромную войлочную шляпу и спустил сзади на плечи вуаль, которой я даже не заметил на шляпе. И действительно, лишь только мы шагнули за калитку сада, я почувствовал себя в огненной печи. Я оценил внимание Яссы, давшего мне высокие закрытые сандалии на толстенных подошвах. Песок, которого я случайно коснулся, был горяч как угли. Пот лил с меня градом, вся моя одежда была мокра, тут же высыхала, снова взмокала, от меня шёл пар. Я так ошалел, что едва доплёлся до подножия гор, с которых там и сям катились ручьи и били ключи, орошая прекрасную растительность, траву и цветы. И. указал мне несколько кустов дикой ежевики, громадной, спелой, под тяжестью которой свисали вниз ветви. Я набросился на неё и говорил, что в жизни ничего вкуснее не едал.

— Ну, а дыня? Разве ты не мудрец? — смеялся И.

Внезапно я вскрикнул, чуть не наступив на выползшую из-под моих ног змею.

— Это не змея, — сказал Альвер, преспокойно беря в руки отвратительно шипевшего гада. — Это уж, Лёвушка, он безобидный. Вот на днях я действительно был потрясён странствующим укротителем змей, которого Кастанда велел накормить обедом, и он, в благодарность, показал нам целый спектакль со своими кобрами и с большой гремучей змеёй. Змеи повиновались его заунывной игре на дудочке, сначала изображали нечто вроде танца, вытягиваясь вверх и качаясь на своих хвостах, что лично мне было отвратительно. Потом они стали все сразу набрасываться на своего хозяина. Многие из нас перепугались, думая, что хозяин будет задушен своими змеями. Но он преблагодушно продолжал играть, а змеи повисли на его шее, руках, ногах и бёдрах, как шевелящиеся ожерелья. Я смотрел как зачарованный и не мог постичь, в чём тут была власть человека над этими чудовищами, укус одного из которых нёс неизбежную смерть через несколько минут. Наконец хозяин отправил змей в корзины и мешки, оставил только одну змею и предложил кому-либо из желающих взять её в руки. Он уверял, что того, кто бояться не будет, змея не укусит. Ольденкотт уже протянул было руку, чтобы взять змею. Но Андреева резко схватила его за руку и не менее резко ухватила змею и бросила её хозяину. Всё это произошло так молниеносно, что никто и опомниться не успел. “Разве Али прислал вас сюда, чтобы вы учились шарлатанству?” — закричала Андреева таким громким и властным голосом, из глаз её так и брызнули искры, что многие из нас даже попятились. Змея, отброшенная так непочтительно, стала бешеной. Да и все остальные змеи начали грозно шевелиться в своих мешках, к счастью, уже завязанных. Хозяин

же закричал что-то Кастанде на непонятном мне языке, по всей вероятности, мало почтительное. Кастанда передал Андреевой, что хозяин упрекает её в том, что она разбудила злого духа в змее и что теперь, если она сама же его не укротит, змея непременно кого-либо укусит. Но вину он на себя не берёт, потому что над злым духом он не властен. Андреева вдруг сказала ему на его же языке несколько слов, которые нам перевёл Кастанда: “Бери сейчас же свою змею и убирайся сам немедленно отсюда. Если промедлишь пять минут, я посажу тебе на голову рога от того оленя, что бежит сюда”. Не описать никакими словами, что сталось с гордым и заносчивым хозяином змеи. В один миг он сгрёб бесившуюся змею, сунул её себе за пазуху, схватил мешки и корзины и стал улепётывать не хуже оленя. Он бормотал какие-то заклятия и с ужасом смотрел на Андрееву.

— Я бы очень просил вас, Альвер, бросить этого несносного ужа, — жалобно сказал я. — Я не Андреева, не могу властно кричать, но ваш уж мне так надоел, что я, чего доброго, побегу вроде хозяина змей.

Я насмешил своих спутников, но зато легко вздохнул, когда англичанин выпустил ужа в траву. Подойдя к И., я спросил его, почему он мне не сказал, что в горах много змей.

— Потому, Лёвушка, что здесь увидишь не только змей, но и тигров и львов, которых тоже научишься не бояться. А пока давайте-ка, друзья, срежем эту траву и вот эти цветы да соберём листья с тех дальних кустарников. Сегодня последний день, когда их можно собирать для лекарственных целей.

И. показал нам, как осторожно надо срезать траву, не задевая земли, как, наоборот, надо брать цветы с корнями и землей и как аккуратно срезать только молодые листья с кустарников.

Казалось, работа была лёгкая. Но раньше чем моя и Альвера сумки были наполнены, мы истомились до отказа. Если бы не боязнь змей, я бы давно уже улёгся на траве. Сумка же И. была полна, с трудом закрывалась, и сам он был свеж и прекрасен. Он поглядывал на нас, по обыкновению поблёскивая смеющимися глазами. Мне очень хотелось спросить его, что он думает об Андреевой, но он мурлыкал песенку, говорил, что пора мне учиться играть и петь, а то я останусь навеки музыкальным невеждой, и, не дав нам отдохнуть, заявил, что пора двигаться домой, не то опоздаем к обеду. Никакие мои мольбы об отдыхе не помогли. И., смеясь над моим страхом обратного перехода по зною, намочил мою шляпу в ручье, снова напялил мне её на голову и забавлялся моим жалобным видом.

— Да ведь это напоминает дервишскую шапку. А ну как я опять заболею?

И. ещё веселее засмеялся, схватил меня за руку и пустился бегом вниз. Только теперь я понял, почему я так устал, карабкаясь за травами вверх по горе. Трава была скользкая. Но всю её скользкость я понял сейчас, когда бежал за И. вниз. Я, собственно, не бежал, бежал он, а я скользил, как на лыжах, уцепившись за его руку и плечо. Спуск продолжался, вероятно, несколько минут, но они показались мне часом Дантова ада. Я так и думал, что споткнусь о какую-либо кочку и буду лежать со сломанной ногой или рукой. Когда мы преблагополучно остановились внизу, у И., щёки которого покрылись румянцем, глаза блестели не хуже солнца, был такой счастливый, радостный вид, что я не смог вымолвить ни одного слова упрёка, хотя собирался выпалить их сразу сто и заявить ему, что я так больше не играю, что ле-

ность: “здравствуй”, которое говорят люди друг другу, — кто же освободил тебя от этой общепринятой вежливости в Общине. Здесь ты ещё глубже должен понять это слово как привет любви, как поклон огню и Свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но остов твоего собственного доброжелательства, которым *ты* обливаешь всего человека в момент встречи с ним. Начинай, мой дорогой друг, через все привычные людям щели их условного общения друг с другом вносить своё высокое благородство. Становись звеном духовного канала, общаясь в тех формах, которые не отталкивают людей и не затрудняют им восприятие твоего образа, а привлекают их.

Мне было очень совестно за моё легкомыслие. Я взглянул на себя в зеркало и совсем переконфузился. Мои отросшие кудри торчали во все стороны и делали меня похожим в моей длинной белой одежде, надетой и подпоясанной кое-как, на юродивого. Что же касается И., к которому я ворвался как буря, не постучавшись и даже не извинившись, что я помешал ему заниматься, — то только сейчас я понял, как эгоистические мысли о себе одном закрыли всё, что меня окружало. *Мне* что-то понадобилось, *я* сорвался в погоню за ним, а что делалось вокруг — до того и дела мало. Я готов был уже броситься вон из комнаты, совершенно расстроенный, как ласковая рука И. меня обняла.

— Не спеши сейчас огорчаться, Лёвушка, как минуту назад спешил за книгой, забыв всё на свете. Чтобы победить и добиться чего-то, надо *видеть* каждую минуту всё вокруг себя, а не выключаться из окружающих условий, видя только один узкий сектор *своих* действий и рассматривая мир только с высоты своей колокольни, своего личного “я”. Все идут разными путями, но ступени духовного развития у всех одни и те же. Здесь с первых дней обрати своё внимание на неизменную вежливость. Ты и здесь встретишь немало людей, которые покажутся тебе и грубоватыми и чудаковатыми. Но на это не устремляй внимания, а помни, что твой путь сейчас — путь такта и обаяния. И чтобы его достичь, тебе надо развить вежливость и спокойствие, сделать их своей неизменной привычкой. Иди, мой дорогой, наведи красоту и приходи через десять минут. Я кончу письмо, и мы пойдём купаться.

Я убежал к себе, но теперь я уже так не доверял своим эстетическим способностям, что вызвал Яссу и просил его оглядеть меня с головы до ног.

— Ясса, миленький, я очень неуравновешенный человек. Не выпускайте меня из комнаты, пока не осмотрите меня хорошенько. Я никак не постигну, как завязываются эти сандалии, — молил я моего доброго слугу.

Ясса подал мне другие, закрытые сандалии, говоря, что в них не проникает пыль, да и застегнуть в них надо только две пуговицы. Он обещал мне упростить завязки в другой обуви, мигом подпоясал меня красивым шнуром и уверил, что теперь я причёсан и одет как самый настоящий кавалер. Я вздохнул, мысленно пожаловался кому-то, что вчера плохо закончил, а сегодня так же плохо начал мой день, — и постучал в дверь к И.

Через минуту мы шли к озеру, накинув на головы мохнатые простыни. Хотя я уже вчера шёл по этой дороге, пальмы, магнолии, лимоны и апельсины, бамбуки и гигантские тополя, кедры и платаны — всё было уже мне знакомо, но тем не менее я никак не мог взять в толк, что передо мной сама живая жизнь, а не могучая декорация. Наше купание совершилось без всяких помех и встреч.

Глава 2

Второй день в Общине. Мы навещаем карлика. Подарки араба. Франциск

Заснув с вечера с большим трудом, я проспал всю ночь так крепко, что даже ни разу не просыпался, пока Ясса не разбудил меня, сказав, что И. уже поджидает меня идти купаться.

Едва открыв глаза, сразу же впившись в чудесный пейзаж, я с трудом сообразил, где нахожусь. От длительного путешествия, превратившегося в привычную манеру жить, я научился считать, что каждый день — это только своего рода поход. А в эту минуту я сразу осознал, что приехал сюда надолго, что я наконец дома. Быстро надев свой более чем несложный туалет, я ясно отдал себе отчёт, что не могу и не должен терять ни минуты попусту, в бездействии. Что за весь вчерашний день, если не считать нескольких маленьких знаний по ботанике, я ничего не приобрёл и ровно ничего не выполнил из своих обетов по изучению восточных языков.

Что же касается надписи в комнате Али, которую я отчётливо видел перед собой, — стоило мне только сосредоточиться на ней мыслью, как всего меня наполняло чувство радости, что язык пали станет мне ключом к тому откровению, что написал Али на стенах своей комнаты. Весь под впечатлением желания скорей, скорей учиться я ворвался бурей к И., который что-то писал, сидя за столом, и выпалил сразу:

— И., дорогой, я уже весь вчерашний день потерял зря. Дайте мне скорее книги, чтобы я мог учить необходимые мне языки. Прежде всего, конечно, пали, а потом и остальные. Брат Николай говорил мне, что я способен к языкам. Я тогда, правда, не болел так много, но, может быть, мои способности не заглохли. Дайте только скорее книгу.

И. спокойно положил перо на стол, посмотрел, улыбаясь, на мои волосы, которые я забыл причесать, на небрежно подвязанные сандалии и ответил:

— Очень похвально твоё прилежание, Лёвушка. Но кто же тебя освободил от самых элементарных обязанностей быта, в условностях которого ты живёшь сейчас на земле? Твоя голова растрёпана, на тесёмки туфель ты наступаешь, и почему встречающиеся тебе люди должны страдать в своих эстетических чувствах, натыкаясь среди такой дивной красоты природы на неряшливо одетое, непричёсанное существо. В твоей комнате стоит большое зеркало не для того, чтобы ты проходил мимо него, а для того, чтобы ты выходил из своей комнаты на люди, приведя в полный порядок свою внешность. Это первая из условностей, от которой тебя никто не освобождал. Не о себе ты должен думать, оправляя перед зеркалом складки своего платья, но о людях, для которых твоя внешность может быть предметом раздражения, если неряшливость бьёт в глаза или ты смешон в своей одежде. Запомни, друг, что в нищету впадают чаще всего неряшливые. И даже высокоразвитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперёд в их духовном пути. Всякая неприбранная комната отвратительна высоко развитому и чистому человеку. Вторая условность с гор не желаю. И. оглянулся назад, куда посмотрел и я. Посреди горы, беспомощно держась за ствол дерева, стоял Альвер. Большой, широкоплечий, он, очевидно, застыл от изумления, наблюдая наш полёт валькирий. Вся его фигура, с широко открытым ртом была так уморительна, что я подскочил на месте и хохотал, забыв всё на свете.

И., как кошка, в одно мгновение очутился возле Альвера. Взвалив его на плечо, он побежал с ним вниз, как будто бы нёс птицу. От смеха я перешёл к молчаливому изумлению, потом снова к смеху, пока И. не сказал, что велит Альверу принести ужа, чтобы привести меня в равновесие.

Альвер сам был так ошарашен, что не мог прийти в себя, поэтому я не боялся его змей. Я уцепился за И. и почти половину дороги давился от смеха. Должно быть, воспоминания о картинах произошедшего на горе, их юмористичности и об ещё одном, неведомом мне доселе качестве И., вызвавшем во мне восторг, — его ловкости захватили меня, и я совсем забыл, что идти надо так далеко, что нас палит зной и засыпает пыль, поднятая проходившим караваном живописных верблюдов. Когда мы вошли в тень парка, И. повёл нас совсем другой дорогой. Альвер, удивлённо оглядываясь, сказал:

— Как странно, доктор И., я здесь уже вторую неделю, а совсем не видел ни этой части парка, ни тех прелестных домиков вдали. Они точно игрушечные, белые, блестящие. Что это за селение?

— Этой части парка вы не видели потому, что с большим парком она соединяется узкой тропой, через ущелье. Вы, вероятно, подходили к ущелью и думали, что тут конец всей Общине. Но тут-то, собственно, и начинается деятельность Общины. Ряд домов, о которых вы спрашивали, это первая детская колония. И таких колоний у Общины десятки. Они расположены вокруг парка и по течению реки. Дальше высится школа, а на самом краю селения, направо, больница. Налево — приют для глухонемых и их школа. Через некоторое время, когда вы оба с Лёвушкой попривыкнете к климату и езде верхом на верблюдах, я возьму вас с собой в путешествие недели на три-четыре, а может быть, и больше. Мы объедем всю Общину. Вы познакомитесь с трудом не только тех, кто проводит здесь ряд лет, но живёт постоянно.

Двинувшись дальше, мы очень скоро пришли к горной расселине, и мне показалось, что хода дальше никуда нет. Но И. обогнул огромный камень, и я увидел за ним прелестную тропинку, точно ложе высохшего ручья. Идя вдоль по ней, мы вышли к противоположной стороне расселины, представлявшей из себя сплошную стену. Вдруг И. нагнулся, шагнул в грот, видневшийся с левой стороны, и через минуту мы стояли у тех же столетних пальм, откуда начали наше путешествие, только совершенно с другой стороны озера. Я оглянулся назад и не мог решить, из какого же отверстия горы мы вышли. Целый ряд пещер, одинаково завитых лианами, розами и ещё какими-то вьющимися растениями, был за нами. Но раздумывать было некогда, так как, сойдя к пруду раньше нас, И. отвязал маленькую лодку, и мы переплыли пруд, причём ни лебеди, ни фламинго и не думали бояться нас.

Мы очень точно вернулись к обеду, успев взять душ и переодеться. Когда мы сели на свои места в обеденной столовой, которую я видел в первый раз, я заметил, что здесь все столы были круглые и соседи наши по столам были всё те же. За сосед-

ним столом я встретил пристальный взгляд Андреевой. Сцена со змеёй мне так ясно нарисовалась, особенно когда Ольденкотт серьёзно расставлял кресло своей соседке и заботливо собирал её вещи, всюду ею обронённые, и складывал их на специально для вещей приспособленные в стороне полки. Я заметил, что спицы больше не торчали из её зонтика, и с умилением подумал, что это он сам их ей пришил, как заботливая нянька.

Я забыл сказать, что креслица во всех столовых были одного типа — пальмовые или бамбуковые стволы были затянуты буйволиной кожей, легко складывались и раскладывались, были устойчивы и удобны. Они были довольно низки, как и столы. Все столы были покрыты белыми чистыми скатертями, всюду стояли в вазах цветы. Вазы были из керамики местного производства, все разные, и показались мне художественными. На каждом столе стояло по нескольку кувшинов с молоком, и кувшины не отставали в красоте от ваз.

Обед проходил спокойно, никакой суеты не чувствовалось, несмотря на огромное количество обедавших людей. Ни за одним табльдотом я не видел такого количества людей, и всюду была суетня. Здесь же у каждого стола были свои подавальщики, а за столом все обслуживали сами себя.

Ещё раз меня поразила особая атмосфера этой толпы людей. Манеры были далеко не у всех элегантны, как у польского рабочего Синецкого. Внешний вид людей был самый разнообразный. Но по скольким бы лицам ни пробегал мой взгляд, все они были значительны, на всех лежала печать духовности и от каждого из них веяло добротой и миром. Только несколько лиц, среди которых было и лицо прекрасной американки, леди Бердран, были печальны, даже более того, как-то скорбно прекрасны, что подчёркивалось радостностью остальных.

Не успел я отчётливо задать самому себе вопрос, почему эти несколько лиц носят такое особенно глубокое и вдохновенное выражение скорби, как услышал неподражаемый голос и своеобразный акцент Андреевой, говорившей мне:

— Советую вам, достопочтенный и любознательнейший граф, не забегать вперёд. Завтра, если вам угодно, я отвечу вам на ваше “почему” очень точно. А сегодня сосредоточьте ваше внимание на радостях. Если вам угодно, можете присоединиться к нашей экскурсии за дынями после обеда.

Тут я переполошился. Я уже привык, что на мои немые вопросы я получал мгновенно ответы И. или Флорентийца, Ананды или сэра Уоми. Но чтобы под мою черепную коробку заглядывала ещё и эта женщина со своими электрическими колёсами, я совершенно не желал. Я посмотрел на сидевшего со мной рядом И., но он, казалось, не слышал и не замечал моего к нему обращения.

— Мы с вами ещё не были представлены друг другу, — улыбаясь, сказал мне Ольденкотт. — Моя приятельница, Наталья Владимировна, говорила мне о ваших талантах. Вы не обращайте внимания на её шутки. Она ни в какие рамки общечеловеческих пониманий не умещается и иногда озадачивает людей. Но на самом деле она предобрая, если не относиться к ней как к обычной женщине, а признать в ней сразу нечто волшебное, то подле неё чувствуешь себя в полном спокойствии и безопасности. Правда, она не очень любит змей, но уж с этим надо примириться, — прибавил он, притворно вздыхая и бросая лукавый взгляд на свою соседку.

Аннинов внезапно умолк, взгляд его улетел куда-то в пространство, морщины на лице разошлись. Мудрость разлилась по его лицу, он как бы вслушивался во что-то недоступное другим. Глаза его ярко загорелись, на бледных щеках заиграл румянец. Он вдруг стал совершенно неузнаваем и прекрасен.

— Простите, дорогой, до завтра. Я слышу, меня зовёт моя муза. Вы вдохновили меня, я бегу писать. Приходите завтра вечером и приводите своих друзей. Я сыграю вам то, что сейчас шепнула мне моя муза-Гармония.

И Аннинов, проговорив торопливо эти слова и отставив чашку недопитого чая, быстро вышел из столовой.

Я сидел в самом глубоком состоянии “ловиворонства” и не мог оторвать глаз от двери, в которой исчез музыкант.

— Ну что же, шило-граф, — раздалось подле меня, и чья-то пудовая, как мне показалось, рука легла мне на плечо. — Я ведь говорила вам, что не надо упреждать событий. Гораздо лучше было бы пособирать дыни, чем резать шилами тончайшую материю. Вот вам дыня — первый сорт. И каждый кусок её прибавляет пуд мудрости.

Андреева продолжала держать руку на моём плече, я изнемогал под её тяжестью, даже пот покатился у меня со лба. Ещё бы минуту — и я, несомненно, упал бы в обморок. Я уже начинал чувствовать тошноту и головокружение. Но И. очутился подле меня, его нежная рука уже обнимала меня, он подносил к моим губам чашку.

— Лёвушка ещё не совсем окреп после тяжёлой болезни, Наталья Владимировна. Он не может ещё и не должен принимать ударов вашей силы. Вы же не всегда умеете защитить человека от тяжести ваших вибраций. Сегодня уже второй случай вашей неосторожности. Леди Бердран пришлось лечь в постель.

Голос И. был тих и мягок. Но мне чудилось, что Андрееву он бил тяжелее, чем давила меня её рука минуту назад. Мне было так жалко её, что я ухватился за руку И. и сказал ей:

— Мне теперь совсем хорошо, Наталья Владимировна. Виновата вовсе не ваша рука, а дервишская шапка, которую Али однажды напялил мне на голову. Я тогда заболел и с тех пор не могу ещё поправиться. Простите меня, пожалуйста, за причинённое вам беспокойство. Я буду рад поумнеть от вашей дыни.

— Дитя моё, прости, дружочек, — тихо и ласково сказала Андреева, и я чуть снова не впал в “ловиворонство”. Я и представить себе не мог, чтобы властный, резковатый, с повелительными интонациями голос этой женщины мог быть таким ласковым, мелодичным и непередаваемо добрым.

Всё же довольно долго я не мог ещё встать на ноги, и добраться до дому с помощью И. было задачей нелёгкой.

Ясса долго продержал меня в ванне довольно, растёр и уложил в постель. Я выпил капель, данных И., и был огорчён, что первый день моей жизни в Общине закончился для меня довольно печально.

Каждый из новых знакомых назвал меня “коллегой”, и по дороге в чайную столовую оба мои знакомые представили меня ещё двум молодым и одной пожилой даме. Но не молодые и красивые дамы поразили меня, а седая старая дама. Первой мыслью, когда я её увидал, была: “А говорят, что старуха не может быть красивой, женственной и обаятельной”.

На высокой, чуть полной фигуре красовалась — именно красовалась, я не подберу другого слова, — прекрасная седая голова. Загар не портил правильного лица, большие чёрные глаза и чёрные же брови подчёркивали седину. Морщин не было, лицо было моложаво. Но в глазах и улыбке было так много скорби, что у меня встали перед глазами слова Али, когда я шёл в его комнату: “Если встретишь скорбный лик ученика, идущего путём печалей, возлюби его вдвое и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь. Ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов Любви на земле”.

Я низко поклонился старой даме и горячо поцеловал протянутую ею мне руку. И эта рука, как рука Андреевой, была тонкая и дружеская. Но форма её была почти совершенна. Пальцы говорили, что она художница. И здесь моя догадка оказалась верной. И. назвал её Беатой Скальради и сказал, что синьора Беата художница, итальянка, взяла уже не один приз почти на всех выставках мира. Её картины висят во многих картинных галереях столиц. Пока меня представляли ещё нескольким дамам, имена которых не удержались в моей памяти, так я был поглощён впечатлением от художницы, из боковой аллеи к нам подходил худой человек с не очень молодым, измождённым лицом аскета. Он, очевидно, спешил к И. Швед Освальд Растен шепнул мне, что это крупнейший пианист и композитор мира, русский, Сергей Аннинов. Пока обе знаменитости шли по бокам И., возглавляя нашу группу, Жером Манюле шепнул мне:

— Сергей Аннинов живёт не в Общине, а в одном из маленьких домиков в парке. Али предоставляет ему не первый раз отдых здесь. Он очень нервен, приходит сюда очень редко. Но когда он играет по вечерам, он разрешает всем желающим не только слушать его, но и заказывать ему любые пьесы. И как же он играет! Лучше ничего представить себе нельзя.

И синьора Скальради и Аннинов сели за наш стол. Я не принимал никакого участия в общем разговоре. Сидя поодаль, я вглядывался в лица новых знакомых. Художница нравилась мне всё больше и больше. Её итальянская певучая и медлительная речь напомнила мне, как однажды Флорентиец представил мне, как говорят его соотечественники. Эта речь не была похожа на быстротечную скороговорку синьор Гальдони, которых я едва понимал. У синьоры Беаты я разбирал каждое слово, что ещё больше располагало меня к ней. Но Аннинов оставался для меня загадкой. Его аскетическое лицо, изрезанное морщинами, живые глаза, резкие движения, какой-то протест в лице, точно возмущение против чего-то, что его давило, — всё казалось мне таким далёким от гармонии, что снова я вспомнил Али, но теперь уже слова надписи на стене загорелись в моей памяти: “Сила-Любовь рождает человека и рождается в нём тогда, когда гармония его созрела”.

Я рассуждал сам с собой, что если он дивный, известный всему миру музыкант, то он должен творить в гармонии. Иначе ни его произведения, ни его исполнение не покорили бы мира. А разве это лицо может быть хотя бы спокойным?

Общий весёлый смех, а также просьбы нескольких соседей взять их с собой на дынное поле избавили меня от ответа. Я посмотрел на Альвера, который тоже смеялся и шепнул мне:

— Соглашайтесь идти собирать дыни. Это недалеко. Идти парком, поле почти рядом. Дыни превосходные, аромат замечательный. А главный интерес в том, как она их выбирает. Она сама будет сидеть в тени, почти не смотря на поле, и назначать, какие дыни снимать. Сам старший садовник и огородники поражаются, как она это делает, точно насквозь каждую дыню видит.

Я подумал, что моя новая знакомая этак, пожалуй, и сквозь землю видеть может. Вдруг И. повернулся ко мне и совершенно серьёзно меня спросил:

— А ты, Лёвушка, думаешь, что сквозь землю видеть нельзя?

Я оторопел и даже не знал, как мне принять и понять его вопрос. Тут все стали вставать с мест и убирать к стенкам свои кресла. Я уцепился за И., мне не хотелось никуда идти, а надо было побыть в тишине с моим дорогим другом или хотя бы одному, чтобы привести в порядок свои разбегавшиеся мысли.

— Я думаю, Лёвушка, мы с тобой не пойдём за дынями, а я покажу тебе любимую комнату Али. Когда Али приезжает сюда, он всегда там живёт. Туда вход никому не разрешён без него. Но Кастанда получил приказание Али дать тебе возможность проводить в его комнате времени столько и тогда, сколько и когда ты захочешь. Вот идёт нам навстречу и Кастанда, очевидно он несёт тебе ключ.

— Я получил приказ, Лёвушка, от моего любимого Учителя и господина этого дома вручить вам, на второй день вашего приезда, ключ от его комнаты. Вы можете там проводить столько времени, сколько вам угодно. За всё время моей жизни здесь — скоро этому будет двадцать лет — только второе лицо получает право свободного входа в эту комнату в первый свой приезд в Общину. Первым был Али-молодой, вторым являетесь вы. Очевидно, у Учителя есть веские основания для оказания вам такой великой чести. Примите мои поздравления и моё почтение и считайте меня в числе ваших усердных и радостных слуг. Я рад служить вам так, как я служил бы ему самому.

Кастанда низко поклонился, я же, совершенно сконфуженный и тронутый, воскликнул:

— Али не мне оказывает честь, а делает это из великого снисхождения ко мне и любви к моему брату. Я же ничем ещё не мог заслужить такой исключительной доброты Али к себе. Если сейчас мне оказывается это чудесное, исключительное внимание, то, очевидно, мой великий друг Флорентиец просил об этом Али. Мне было бы очень горестно, если бы вы подумали, что я достоин сам по себе этой чести. Я здесь только скромный слуга моего брата, самого Али и моего наставника И. Возьмите ключ, И., я буду пользоваться комнатой только с вашего разрешения.

Я подал ключ И., но он его не взял, а, наоборот, обнял меня и сказал:

— Дерзай, Лёвушка, учись нести бремя счастья и несчастья одинаково легко.

Мы подошли не к большому дому, а к маленькому двухэтажному коттеджу с башенкой и балконом, стоявшему среди могучих пальм, как на отдельном островке, куда надо было проходить по мостику над речкой, опоясывавшей весь островок кольцом. Самое место было очаровательно, уединённо, поэтично. Белый домик был сложен из какого-то особого камня, гладкого, блестящего и похожего на белый ко-

ралл. Кругом царила тишина и чистота, скакали белочки на высоких кедрах, чирикали птички. Белый павлин бежал нам навстречу, точно хотел нас приветствовать.

У подъезда дома нас встретил старый беззубый слуга в азиатском платье и чалме. Увидав в моей руке ключ, он распахнул, кланяясь, двери подъезда. Мы вошли в сени и поднялись по такой же, как наружные стены дома, лестнице на верхнюю площадку и очутились у двери, которую И. велел мне открыть ключом.

Слов, чтобы описать мои чувства, когда я открывал дверь, мне не найти. Я точно стоял у заветной черты и видел жгучие, живые глаза Али. Я как бы слышал его голос, говоривший мне:

— Есть жемчужины чёрные — то ученики, идущие путём печалей и несущие их всем встречным. То не твой путь. Есть ученики, несущие всем розовые жемчужины радости, — и тот путь тебе определён. Иди, мой сын, привет тебе, будь верен и чист.

Я думал, что вновь брежу, но прислушался чётче и явственно различил властный, с характерным тембром голос Али-старшего:

— Если встретишь скорбный лик ученика, идущего путём печалей, возлюби его вдвое и подай всю силу своей бодрости и энергии ему в помощь. Ибо путь его самый тяжкий из всех подвигов Любви на земле.

Сколько слов пришлось мне сейчас сказать, чтобы передать всё тогда понятое и услышанное. А на самом деле всё это промчалось как молниеносный вихрь сквозь меня, сотрясая мой организм, уничтожая всякое расстояние между мною и Али, сливая меня с его мыслью каким-то чудесным и не понятным мне тогда образом.

Наконец тяжёлая дверь распахнулась, и мы вошли в комнату. Сразу же против входной двери была широко открыта дверь на балкон и по обе её стороны были настежь открыты окна. Всё это разделялось такими узкими простенками, что возникало впечатление, будто смотришь сразу на весь мир. Широчайший горизонт на долину, горы, раскиданные селения, мечети, стада, сады, куда только хватало глаз — всюду била жизнь, всюду взор попадал на какую-либо красоту, от которой невозможно было оторваться. Долго стояли мы с И. молча на балконе.

— Посмотри на комнату, Лёвушка, и я переведу тебе надписи, которые ты увидишь на стенах.

Мы вошли в комнату. Несмотря на жаркий день, в ней не было душно, так как восточное солнце уже ушло, а от западного и южного она была защищена лестницей и башенкой. Гладкие белые стены внутри, такой же пол — ну точь-в-точь коралловый домик! То, что я принял за бордюр, оказалось надписями, сложенными из кусочков того же камня, что и пол, и весь дом.

— Запомни, Лёвушка, первую, главную надпись над балконной дверью и окнами. Здесь написано:

Сила человека — Любовь. И она мчит его из века в век

Сила-Любовь рождает человека и рождается в нём тогда, когда гармония его созрела

Любовь — Гармония, и путей человеческих к ней семь.

Пока знай только эту надпись. Ты дал слово себе изучить языки Востока. Кроме них, ты должен знать этот язык пали, на котором сделаны здесь надписи. Этот язык открывает дверь к знанию тем, кто в неё стучится.

Я с благоговением смотрел на загадочные знаки надписей и думал: найду ли ключ к двери знания?

По стенам комнаты стояли низкие белые диваны. У широкого окна, как и у камина, стояло по креслу. Кресло у камина поразило меня своей формой. Оно было прекрасно как художественная форма, без сомнения, очень и очень древнего происхождения, из грубых стволов какого-то тёмного, почти чёрного дерева. Оно одно только и выделялось тёмным пятном в этой девственно белой комнате. Обито оно было шкурами, должно быть, тоже очень старинными. Шерсть почти вылезла, оставив одну кожу толщины мною невиданной.

У окна с левой стороны стоял письменный стол белого дерева, закрытый прекрасной крышкой, очевидно, раздвигавшейся в стороны и похожей на большущие пальмовые листья. Я чувствовал себя здесь не совсем свободно. Меня сковывало благоговение, точно я стоял в храме. Я ни за что не согласился бы сесть на что-либо в этой комнате, так недосягаемо высоким казался мне сейчас её хозяин. Я даже говорить не решался, только потянул И. за рукав и показал глазами на дверь, молча приглашая его выйти отсюда.

Он улыбнулся, оглядел ещё раз всю комнату, как бы посылая привет всем непонятным мне надписям на стенах, и мы вышли, закрыли дверь молча и так же молча прошли через весь островок и парк к себе домой.

Белый павлин и восточный слуга провожали нас до мостика, и павлин на прощание распустил свой дивный хвост, сверкая его золотом и лазурью, и наклонил головку с хохолком, точно говоря: “До свиданья”. Когда мы вошли в наши комнаты, И. сказал мне:

— Приляг и отдохни до чая. Здесь тебе пока нельзя переутомляться. Надо постепенно закалиться для этого жаркого климата.

Я не возразил ни слова, хотя совсем не хотел ни лежать, ни спать. Сначала жара подавляла меня, но затем я заснул и проснулся только от зова Яссы, будившего меня к чаю. Я догнал И. уже внизу лестницы в обществе двух мужчин, которых я ещё не видал. Один был светлый блондин, типичный швед, каковым и оказался. Звали его Освальд Растен. Он на вид казался юношей, и я удивился, когда узнал, что он уже второй раз в Общине. Второй собеседник был брюнет, француз Жером Манюле. Насколько речь первого, его манеры, походка были размеренно спокойны, настолько второй был подвижен как ртуть. Походка, движения, речь — всё выказывало в нём огромный темперамент, но суетливости в нём не было никакой: всё дышало доброжелательством, весёлостью и лёгкостью. Глаза его были тёмными и не особенно большими, но красиво разрезанные, сверкали умом, часто пристально и внимательно вглядывались. Он мне показался писателем, что после и подтвердилось.

Швед был из купеческой семьи, вопреки желаниям родни выбрал научную карьеру и имел уже кафедру по истории в одном из немецких университетов. Когда И. познакомил меня с ними, оба одновременно воскликнули:

— Как? Капитан Т.?

— Нет, — ответил я. — Я его брат.

— Вы вскоре прочтёте рассказ Лёвушки и будете рады принять в число своих друзей ещё одного юного писателя и будущего учёного, — улыбаясь сказал им И.

нестерпимом одиночестве я счастлив сейчас, найдя человека, так нежно, братски меня встретившего.

Бронский говорил теперь по-французски, говорил медленно. Было видно, как под тонкой тканью его одежды колотилось сердце.

Араб взял футляр, что подавал ему Бронский, раскрыл его и покачал головой. Он рассматривал кольцо с большой чёрной жемчужиной, вделанной в круг сверкающих бриллиантов. Точно в блестящей чаше воды лежал чёрный камень, переливавший всеми цветами радуги. Араб переводил взгляд с жемчужины на измученное лицо артиста, покачивал головой и, держа кольцо у сердца, сделал глубокий восточный поклон.

Затем он так же глубоко поклонился И., точно спрашивал у него благословения на важный шаг, надел кольцо на мизинец левой руки, куда оно едва налезло, хотя было сделано для указательного пальца артиста по тогдашней моде.

— Я беру все твои скорби в своё сердце, все слёзы и бедствия разделяю с тобою с этой минуты, дорогой брат. Да прольются они ручьём в мой путь. Быть может, моя верность дружбе и нежная любовь к тебе помогут тебе перейти в путь тех, кто вносит во все встречи розовые жемчужины. Хвала Аллаху, поклон Твоему Богу и тебе. Храни в сердце память об этом дне, как о счастливом дне моей жизни.

Зейхед-оглы ещё раз поклонился И., поклонился нам и тихо вышел из комнаты. Я видел, что Бронский ничего не понял из того, что говорил араб. Сам же я понял, что несчастье артиста было в том, что он являлся вестником горя встречным и люди боялись его.

Снова в моей памяти загорелись слова Али, услышанные у его двери: “Встретив ученика, идущего путём печалей, возлюби его вдвое”. И как же я любил в эту минуту не только Бронского, но и того великого мудреца, который стоял только что здесь в виде простого жителя пустыни! Какое необъятное сердце носил он в груди, если радовался счастью принять на себя скорби другого! И. обнял Бронского, подал ему конфету и предложил взять у нас душ, сказав, что через пятнадцать минут он пойдёт в дальний домик к сестре Александре и возьмёт всех нас с собой.

Мне хотелось взять и моего птенчика, но И. не разрешил, сказав, что по дороге я пойму, почему этого не следует делать. Альвер, робко спросил И., можно ли ему идти с нами, на что И., улыбнулся и ответил:

— Конечно, друг, ведь я не сделал исключения, а сказал, что беру вас всех. Вообще с этого дня ты можешь, как и Лёвушка, считать себя в числе моих учеников. Завтра я укажу тебе твой новый распорядок дня. Оба вы должны знать, что здесь, в этих домах, живут люди, по тем или иным причинам проходящие первоначальные стадии ученичества. Вы видите здесь многих, уже не впервые посещающих Общину. И всё же они живут в этих домах неофитов. И наоборот, вы не видите живущими здесь тех, кого встретили в первый день, как, например, Освальда Растена и Жерома Манюле.

В комнату вернулся Бронский, освежённый, в чистой одежде, которую ему дал всемогущий Ясса, и мы двинулись в путь, взяв с собой аптечки. Зной всё ещё был сильный, я его ощущал очень остро, но спутники мои шли так, как будто бы было наше северное лето. И., заметив, что я иду тяжело, взял меня под руку и перебросил на себя мою аптечку, не внемля никаким моим мольбам.

Несколько раз он посмотрел на И. Я понял, что он знает, кто такой И., но с ним незнаком. Сидевший рядом со мною Альвер шепнул мне, что это один из знаменитейших артистов, имя которого знает весь мир, — Станислав Бронский, чех.

Мне казалось, что Бронский, с такой любезностью и вежливостью разговаривавший со своими соседями, всё чаще бросает взгляды на И., и к концу завтрака мне даже показалось, что на его подвижном и выразительном лице я подметил мелькавшее беспокойство. И я не ошибся. Когда мы окончили завтрак и уже выходили, за нами послышались ускоренные шаги Кастанды, который просил И. остановиться на минуту. Кастанда извинился, что так много беспокоит И. с самого вчерашнего вечера.

— Вы, конечно, не могли не заметить новое для вас лицо, доктор И. Это артист Бронский, его прислал сюда Флорентиец. У него есть письмо к вам, и он заранее был извещён, что вы приедете на этих днях. Он пришёл сюда из дальних домов Общины, вернее, примчался на мехари с одним арабом-проводником и со своим учеником, тоже артистом. Бронский просил меня познакомить его с вами. Я обещал сделать это тотчас же после завтрака. Но вторичный посол от Аннинова меня задержал. У Аннинова второй припадок, леди Бердран всё так же плоха. Андреева ухаживает за нею очень прилежно, но дело не двигается. Вдобавок и ученик Бронского заболел, выкупавшись в нижнем озере после путешествия по жаре. Я даже не знаю, о ком просить вас раньше.

У Кастанды был утомлённый вид. Я подумал, что он чем-то сильно обеспокоен и, вероятно, не спал ночь. Он с моль-бой смотрел на И., очевидно, чего-то не договаривал, но старался не выказывать своего беспокойства.

— Не волнуйтесь, Кастанда, прежде всего познакомьте меня с Бронским, так как его очень тревожит здоровье друга. Затем я пройду к леди Бердран, а тогда уже к Аннинову. Вы отпустите слугу пианиста, дайте ему для больного вот эти капли, пусть Аннинов примет их на сахаре и ждёт меня. Здесь как раз на один приём. При темпераменте Аннинова ему нельзя поручать самостоятельного лечения, он выпьет всё сразу и будет удивляться своей полусмерти.

И. подал Кастанде такой крошечный пузырёк, что, сопоставив его с огромным ростом музыканта и его громаднейшей рукой, я невольно расхохотался.

Мы повернули обратно и увидели у окна Бронского и Скальради, и я поразился, как печально было лицо артиста. Минуту назад полное жизни и энергии, оно было бледно и выражало страдание. Он всё так же любезно слушал свою собеседницу, но взгляд его погас, точно его постигла внезапная неудача.

Увидев, что мы подходим к нему, Бронский снова ожил, румянец разлился по его лицу, глаза загорелись, на губах мелькнула улыбка. Он сделал несколько шагов нам навстречу, низко поклонился И. и крепко, обеими руками, пожал протянутую ему руку И.

— Вы беспредельно любезны, доктор И. Не нарушила ли моя просьба распорядок вашего дня? Я так счастлив познакомиться с вами, но счастье моё было бы омрачено, если бы я вам в чём-либо помешал.

Голос Бронского был довольно низкий, металлический, в произношении шипящих букв была чуть заметная какая-то подчёркнутость, что придавало его речи неподражаемое своеобразие и не мешало прелести его манеры говорить.

Я смотрел и поражался, какая масса обаяния была в этом человеке! Белая индусская одежда очень ему шла, я так и представлял себе его верхом на мехари в бедуинском плаще. Вот была бы модель для художника! По обыкновению я зазевался и опомнился от голоса И., который говорил:

— Это мой друг — Лёвушка. Он писатель. Вы его простите за рассеянность. Держу пари, что он уже нарисовал ваш портрет в своём воображении, ввёл вас в какую-нибудь картину и забыл, где он и что с ним.

Бронский протянул мне обе руки, улыбаясь и говоря, что сам страдает такой же живой фантазией, часто ставящей его в неловкое положение, потому что он теряет нить разговора. Я радостно ответил на его крепкое пожатие и сказал смеясь:

— Это правда, я представил себе вас мчащимся на мехари через пустыню в бедуинском плаще и мечтал, чтобы вас так нарисовали. Что касается вашей любезности, когда вы сравниваете вашу и мою фантазию, то тут мне сравнения не выдержать. Я бегу по моим образам бесплодно. Вы же превращаете их в жизнь и даёте всему миру понимать через себя красоту и высокое благородство. Я преклоняюсь перед вашей энергией и трудоспособностью, о которых мне сейчас рассказали.

— Тот, подле которого вы живёте, не мог бы назвать вас другом, если бы не видел в вас творческой силы. В ваши годы я ничего ещё не сделал, а ваш рассказ я уже читал.

И. отправил меня за аптечкой и просил Альвера про-водить меня в тот домик, где жила леди Бердран. И когда мы с Альвером, взяв аптечку, вошли в холл домика, где жили Андреева и леди Бердран, мы увидели там И., Бронского и Кастанду, беседующими с Натальей Владимировной.

— Нет, дело так не пойдёт на лад, Наталья Владимировна. Леди Бердран только потому и больна, что вы с нею и она не может противостоять вашим вибрациям. Вы похожи на холодное озеро, и к вам подходить близко могут только очень закалённые люди. Не только применять ваш способ лечения к леди Бердран нельзя, но и ухаживать вам за нею пока нельзя.

И. говорил улыбаясь, но в серьёзности его слов никто не мог сомневаться. Андреева казалась не то опечаленной, не то недоумевающей и недовольной.

— Неужели вы находите, И., что Ольденкотт, который считает своею обязанностью чуть ли не весь день не отходить от меня, закалён против моих вибраций? Однако же он не болен? — сказала Андреева не очень спокойно, но, очевидно, сдерживая свой темперамент.

— О да, мистер Ольденкотт так сильно закалён в своей броне доброты и чистоты, что никакие — много сильнее ваших — вибрации ему не страшны.

Бронский молча наблюдал всё происходившее вокруг. Мне было совершенно ясно, что он хотел попросить И. навестить его друга, но не решался, как вдруг И. обратился к нему:

— Я попрошу вас подождать меня здесь. Отсюда мы пройдём прямо к вашему ученику. Вам же, Наталья Владимировна, на десять дней запрещаю посещать леди Бердран.

И. сделал мне знак следовать за ним, и, провожаемые Кастандой, мы прошли в самый конец коридора, поднялись по винтовой лестнице во второй этаж и постучались в одну из крайних дверей. Дверь нам открыла молоденькая девушка-туземка в

Араб ещё раз улыбнулся, протянул Бронскому руку и подал ему небольшой тёмный камень, вынув его из маленького кожаного мешочка.

— Это змеиный камень. Это амулет от укуса змей. Он останавливает кровоточивость ран, залечивает их быстро и спасает от смерти при укусе кобры. Но если его прикладывать к ранам от укуса змей, то силы его хватит только на четыре раза. После этого он теряет всякую силу и не годен больше ни для каких целей. Возьмите его в память обо мне. Он вам вскоре пригодится.

Бронский своею беспомощной растерянностью напомнил мне моего беспомощного птенца. Я залился смехом, так комично показалось мне это сопоставление.

— Берите, Станислав Николаевич. Будем вместе обязаны аге Зейхед-оглы. Авось надумаем, как его отблагодарить.

Тут Бронский выкинул такое антраша, что я чуть не выронил мою корзину из рук. Я ещё не успел договорить фразу, как Бронский обеими руками обнял могучую шею араба, целовал его тёмное лицо и говорил что-то так быстро, точно читал псалтырь, как плохой дьячок, торопящийся поскорее отбарабанить надоевшую ему службу. Но, несомненно, в скороговорке Бронского был какой-то большой смысл, который араб отлично понимал, потому что весело смеялся и отвечал кивком головы на упрашивания Бронского. Артист вдруг вылетел пулей из комнаты, оставив даже дверь нараспашку. Ну, как же тут было не словиворонить. Я был так озадачен, что счёл за лучшее сесть и поставить птенца на пол.

Глаза араба смотрели на меня с нескрываемым юмором. И. тоже поблёскивал глазами и хранил могильное молчание. И только один Альвер мог служить мне утешением, ибо был мне под пару. Разинув рот, он стоял точь-в-точь в том же виде, как на горе, когда наблюдал наш с И. полёт валькирий. Общее молчание, как мне показалось, длилось очень долго, и пауза становилась мне тягостной.

Араб подошёл ко мне, поднял с пола корзинку с птицей и поставил её на кожаный табурет у изголовья моего дивана. Он приподнял пуховый платочек и показал мне, как птенчик зарылся в пух гнезда, воображая себя под защитой крыльев и пуха матери.

— Вы не поняли ничего из слов вашего приятеля. Немудрено. Я и сам едва понял, хотя он говорил по-тюркски, а этот язык я хорошо знаю. Должно быть, я очень метко попал и подарил ему именно то, что ему хотелось иметь. Он просил меня принять от него кольцо в обмен на камень и побрататься с ним за ту ласку, что он нашёл в моих словах. По обычаям моей страны, я не могу взять подарок за подарок. Но в данном случае я не могу и обидеть этого человека, в котором так много детской наивности. Я вижу по его лицу, что он очень-очень много страдал и страдает ещё и сейчас. Если я унесу в его кольце часть его горя, я буду счастлив.

Последние слова Зейхед-оглы выговорил тише и медленнее, и лицо его стало так серьёзно, что я с удивлением взглянул на него. Лицо И. тоже было очень серьёзно, даже как будто немного печально. Наконец внизу послышались торопливые шаги, кто-то быстро взбегал по лестнице и через миг перед нами стоял Бронский. Он, очевидно, бежал туда и обратно, пот лил с него градом одежда промокла.

— Вот, прошу вас, возьмите в память о нашей встрече. Вы первый человек, проявивший ко мне полное доверие, увидев меня впервые в жизни. Обычно люди ждут от меня сильнейших впечатлений и встречают недоверчиво и холодно. В моём

Араб поклонился мне и подал корзинку. Я залюбовался необычайно сложным искусством плетения и, должно быть, немного резко повернул корзинку. Птенец жалобно пискнул, и этот слабенький звук сжал моё сердце какой-то неожиданной для меня самого скорбью. Я пожалел бедняжку-птенчика, которого потревожил так неосторожно. Я не знал, как его приласкать и чем загладить свою вину перед ним.

Я был так же беспомощен перед ним в его воспитании, как он передо мной в своей беззащитности. Я уже готов был возвратить хозяину его подарок, как он сказал мне на отвратительном, но совершенно понятном французском языке.

— Вы не смущайтесь, ага, всякое дело сложно, пока не поймёшь, как им овладеть. Я вам и корм для него приготовил, и расскажу всё: как его поить, и как водить гулять, и как ему спать. Он, видите ли, уже привык ко мне и жалуется, зачем я отдаю его вам. Эти птицы так понятливы, что и не каждому человеку чета. Вот я ему сейчас объясню, что вы его настоящий хозяин, а вы дайте ему покушать вот этой кашицы с вашей ладони, и он будет определённо знать вас как своего единственного хозяина.

Араб осторожно вынул птенца из корзинки, поставил его на широчайшую ладонь своей левой руки, а пальцами правой с нежностью матери поглаживал почти голую головку птенчика и так передал его мне, посадив его на мою левую ладонь, где он едва поместился.

Преуморительно, с какой-то важностью посмотрел на араба птенчик, потом клюнул мою ладонь, где уже лежала положенная арабом кашица, потом поднял голову, посмотрел на меня, ещё поклевал и пискнул. Но писк этот был уже не жалобный, а весёлый, точно он совсем примирился с новым хозяином.

Араб посоветовал мне положить птенца снова в корзинку и прикрыть пуховым платочком, который он вынул из своего бурнуса, так как, несмотря на жару, птенцу было холодно и он дрожал. Я сердечно поблагодарил араба за его подарок и высказал ему моё сожаление, что не знаю, чем его отблагодарить.

— Это не уйдёт. Вот на будущий год вы поедете осматривать пустыню, возьмите меня в проводники и заезжайте в мой дом передохнуть. Мой дом в оазисе, пути два дня пустыней.

Я ещё раз поблагодарил его, пожал ему руку и в обществе Альвера, Бронского и художницы Скальради, восхищавшихся моей птицей не меньше меня, я понёс её в мою комнату. Через некоторое время пришли И. и араб, и старик дал мне полное наставление, как ухаживать за птицей.

— Вы знаете, друг, — сказал арабу Бронский, — ваши наставления, конечно, очень замечательны и доказывают вашу любовь к птицам, но они не менее сложны, чем если бы дело касалось человеческого, а не птичьего детёныша. Мне думается, что Лёвушке одному не справиться, пока птенец так мал. Нельзя ли мне принять участие в уходе за птенчиком? Мне бы это было так приятно, а Лёвушку бы немного раскрепостило.

На лице араба мелькнула улыбка.

— Через несколько коротких минут и вы, и Лёвушка узнаете кое-что о некоторых из этих птиц. Тогда вы оба поймёте, почему они так по-человечески сообразительны и почему за ними должен быть особенно тщательный уход. Я думаю, если доктор И. разрешит, вам будет очень полезно понаблюдать жизнь птенца. Вы добры и чисты, птенцу вы будете милы. При таком друге он скорее разовьёт свои таланты.

холщовом белом платье, какие я уже видел на сёстрах милосердия, но без косынки на голове и с очень небольшим крестом, нашитым на переднике. Она оказалась дежурной ученицей курсов сестёр милосердия.

Леди Бердран была очень слаба и едва могла открыть глаза, когда мы с И. вошли к ней. Кастанду И. отпустил ещё в коридоре, сказав, что дальше обойдётся без него.

Больная лежала на диване в белом халате и была так бледна, что казалась привидением. И. осторожно приподнял её в сидячее положение и сказал что-то сестре на туземном языке. Та сейчас же вышла из комнаты. Мне же И. велел сделать смесь из нескольких пузырьков и капнул туда ещё чего-то сам из аптечки Флорентийца. Капли закипели, я приподнял голову больной, а И. влил ей в рот лекарство. Оно не понравилось леди Бердран. Она застонала, почти вскрикнула, чем так меня напугала, что я едва не уронил её прелестную головку.

— Будь осторожен, друг, мы поспели вовремя. Сейчас у неё будут судороги, но благодаря лекарству они не будут смертельны. Держи теперь крепко обе её руки, я придержу ноги, это не продлится долго.

Я едва мог удержать руки больной, которая вырывала их с такой силой, какой можно было ожидать, пожалуй, от мужчины. Пот лил с меня градом, мне казалось, что я уже не удержу рвущихся рук, как напряжение судорог ослабло, и И. велел мне оставить руки больной. Я опустился на стул, точно после долгих часов рубки дров. Теперь И. взял руку леди Бердран и спросил:

— Как вы сейчас себя чувствуете?

Леди Бердран открыла глаза, с удивлением посмотрела на И. и на меня, улыбнулась и ответила:

— Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Но минуту назад мне казалось, что я умираю. Да и все эти дни у меня было такое ощущение, точно из меня уходит жизненная сила. Особенно когда добрая Наталья Владимировна бывала близко ко мне, у меня кружилась голова и мне казалось, что все мои силы тянутся к ней. Я знаю, что это моя чистейшая фантазия, но иначе я не умею описать вам моё состояние.

— Если бы я предложил вам временно переселиться в тот корпус, где живём мы с Лёвушкой? Там есть отдельная и отличная северная комната, и мне было бы удобно наблюдать за вами. Согласны ли вы перебраться туда?

На её лице, и так всегда печальном, появилось выражение крайнего замешательства. Она ответила не сразу, очевидно борясь с чем-то и не решаясь высказаться.

— Я очень бы хотела исполнить ваше желание. Но я думаю, что это очень огорчит Наталью Владимировну, которая так ко мне добра, так много для меня сделала и помогла мне приехать сюда. Я не могу решиться принести ей огорчение. Я и без того приношу всем, кто сближается со мною, одни несчастья.

По её лицу скатились две крупные слезы, и, видя её страдания, я всей силой мысли припал к Флорентийцу, моля его помочь и послать мне силы не разрыдаться.

— Предоставьте мне всё уладить. Я уже до прихода к вам объяснил Наталье Владимировне, что вас надо очень закалить для того, чтобы общение с нею, с её бурными силами не истощало вас. Вы скажите только, желаете ли довериться мне и пройти короткий курс лечения под моим наблюдением?

— Не только желаю, я умоляю вас помочь мне, доктор И. Я с самой встречи с Натальей Владимировной поняла, что со мной происходит что-то неладное. Но в

последнее время я стала ясно сознавать, что умираю, — со слезами в голосе сказала леди Бердран.

— Ну, до этого ещё далеко, а закалить ваш организм и двинуть вас к систематическому знанию, как закаляться дальше самой, — необходимо.

В эту минуту возвратилась сестра и доложила И., что носилки и носильщики здесь. Это я понял из её указания на нечто вроде паланкина в коридоре. И. сам поднял больную и усадил её в полотняный паланкин, где всю её обложили подушками. Носильщики подняли больную и перенесли в наш дом. Немедленно был отыскан Кастанда, больная водворена в комнату под нами, и И. отдал самые строгие распоряжения об её диете и о том, чтобы к ней решительно никого не пускали. И мы помчались обратно в холл, где ждал нас Бронский, беседуя с Ольденкоттом. Домик, где сейчас жил Бронский, был довольно далеко, но зато очень близко от Аннинова.

Войдя в комнату ученика и друга Бронского, мы увидели, как мне показалось, даже не очень молодого человека, брюнета, похожего на грузина, но на деле он оказался румыном. Присмотревшись внимательно, я понял, что человек этот молод, но чрезвычайно истощён. Он лежал, что-то бормоча.

— Отчего вы позволили вашему другу, разгорячённому, опалённому зноем, броситься в холодное озеро? Ведь вы сами не только не сделали этого, но даже мылись в тёплой ванне.

— Я умолял Игоро не делать этого. Но румыны вообще упрямы и думают, что лучше понимают потребности своей природы. К тому же мать Игоро венгерская цыганка и приучила его с детства к постоянной смене холода и зноя. Он никогда не болел за всё время нашего знакомства. Насколько я должен был всегда думать о своём здоровье, настолько мой друг мог расточать его самым легкомысленным образом безнаказанно. Поэтому-то сейчас я так и обеспокоен его болезнью.

— Да, он очень, очень сильно болен. И если и выздоровеет, то не скоро. Вам придётся или покинуть его здесь на меня, или же остаться самому вместе с ним на долгое время, не меньше года, — осматривая больного, говорил И. — Я понимаю, что вам необходимо возвратиться к вашей деятельности. У вас, по всей вероятности, целый ряд контрактов, зовущих вас в разные города мира. Но о здоровье друга вы можете не беспокоиться, мы с Лёвушкой вам его выходим. И через год он вернётся к вам.

— Я не покину друга в беде, доктор И. Я знаю, что буду мало полезен, и не менее хорошо знаю, какое счастье для моего друга встреча с вами. Но и для меня встреча с вами в данную минуту жизни важнее всех дел и контрактов, важнее самого искусства, для которого я и жил до сих пор. Я уеду отсюда только в том случае, если вы меня выгоните. Я вас умоляю, не отправляйте меня отсюда, прочтите письмо того человека, которого я случайно встретил в Лондоне несколько месяцев тому назад. Он после долгого разговора в моей уборной в театре, когда я играл “Отелло”, дал мне письмо к вам, назвав себя Флорентийцем, хорошо вам известным. Он же объяснил мне дорогу сюда и дал в провожатые своего слугу, когда я — ни минуты не размышляя — решил ехать к вам сюда. Игоро не отпустил меня одного. И когда я познакомил с ним Флорентийца, сказав ему, что друг мой желает меня сопровождать, Флорентиец долго-долго смотрел на него и сказал: “Ну, быть тому. Но помните, что *я* его с вами не посылал. Вы можете его взять на свой страх и риск”. Мне

После обеда И. предложил мне пройти в комнату Али и приготовить заданный на завтра урок, что я с восторгом принял. Бронскому И. разрешил до чая провести время у постели больного друга, а Альвера Черджистона позвал в свою комнату, от чего лицо юноши засияло.

Старый араб-проводник подошёл к И. и, глядя на меня, что-то быстро говорил, чему И. смеялся. Ещё раз я пообещал себе с наивысшим прилежанием изучать языки Востока. Мне И. сказал только, что после чая араб принесёт обещанного молодого павлина и объяснит, как за ним ходить и чем кормить.

В самом счастливом настроении я отправился учиться. Как обычно, и сторож и его павлин встретили меня гостеприимными поклонами. Мне хотелось спросить сторожа, как зовут его и его чудесного павлина, но я был похож на того слугу, что вытирает пыль с драгоценных книг, не понимая их языка. Книги для слуги мертвы, а здесь передо мною были живые существа, а я не мог произнести ни одного понятного им слова.

Я стоял перед слугою с довольно растерянным видом. На лице его мелькнула улыбка, он похлопал меня по плечу, показал на свои уши и рот, и я понял, что он глухонемой. Теперь мне стало ясно, почему он пристально смотрит на рот говорящего с ним человека. Слуга ещё шире улыбнулся, погладил павлина по его прелестной шейке, затем постучал по своему лбу, показал на лоб павлина, важно покачал головой, развёл руками, и я понял, что он объясняет мне, как необыкновенно умён и понятлив его павлин.

Пока я разбирался в заданном мне уроке, всё мне казалось необыкновенно трудным. Но как только я усвоил его — мне захотелось учиться всё больше и больше. Язык становился приятным и понятным, меня охватывала всё большая радость, чем дольше я над ним сидел. Забыв обо всём, я пропустил гонг, не слыша даже, как вошёл в комнату И., и очнулся только от его руки, коснувшейся моего плеча.

— Я так и знал, братишка, что за тобой надо зайти, иначе ты обо всём забудешь. — Мой наставник безжалостно захлопнул книгу, закрыл стол и вывел меня из комнаты. — Как бы ни спешил ты выполнить данную тебе или взятую тобою на себя задачу, окружающее тебя и всё то, чем ты с ним связан, должно быть тобою уважаемо. Пища ждать тебя не может. И человек, обещавший принести тебе подарок, должен найти тебя ожидающим его. Говорят: “Точность — вежливость королей”. Для ученика его самодисциплина — высшая точность в поступках и словах, высшая вежливость по отношению к тем, с кем он встретился. Живой человек — твоя первая задача всюду. Он для тебя самое важное в дне, ибо в нём — цель действий твоих Учителей. Запомни, Лёвушка, и охраняй всю свою внешнюю аккуратность не менее внутренней.

Мы быстро пошли парком, где стоял сильный зной, совсем незаметный в комнате Али. Когда мы кончили пить чай в гроте, на пороге его появился мой новый друг, араб, закутанный с ног до головы в белый бурнус, под складками которого он нёс прелестную корзинку из пальмовых листьев, в которой было устроено гнездо. В гнезде сидел маленький и очень несчастный на вид белый павлин. Но я никогда бы не признал в этом длинношеем, почти неоперившемся птенце, жалком и безобразном с виду, будущего царя птичьей красоты.

рубила, говоря на этот раз по-русски. — Носите сокровище, за которое отданы сотни жизней, и ещё сотни были бы отданы, лишь бы его достать. И ему вы не радуетесь, а радуетесь глупой птице.

Глаза её сверкали. Блеск их, мне казалось, достигал самого камня на моей груди. Он был мне очень тягостен. Я закрыл плотнее свою одежду, прикрыл камень рукой и прижал его к сердцу, благоговейно моля Флорентийца научить меня лучше защищать его сокровище и суметь сохранить его до той самой минуты, когда мы с ним свидимся и я возвращу ему камень, который когда-то у него украли. И вдруг я услыхал дивный голос моего великого друга:

— Будь уверен и спокоен. Всюду, где ты идёшь в чистоте, иду и я с тобою. Осязай в своём пульсе биение моего сердца. Есть много путей знания, но верность у всех одна. Распознавай во встречных их скрытое величие и не суди их по видимым несовершенным качествам. Оберегай мой камень, ибо он не одному тебе защита.

Мгновенно спокойствие сошло в мою душу, я радостно взглянул на Андрееву, с которой произошло что-то мне непонятное. Она побледнела, вздрогнула, склонила голову на грудь и точно замерла в позе кающегося. Я посмотрел на И. Он был серьёзен, даже строг, и пристально смотрел на Андрееву. Когда та подняла наконец голову, он сказал ей очень тихо, но я уверен, что она слышала всё до слова:

— Стремясь пробудить в другом энергию и силу, надо уметь держать в повиновении собственные силы. Даже в шутку нельзя касаться того, о чём сам не знаешь всего до конца. Обратный удар может быть смертелен. И если он не был таким для вас сейчас, то только потому, что я его принял на себя.

Вокруг нас, где шёл общий и часто перекрёстный разговор, никто не заметил этой маленькой сценки. Да и вообще все так привыкли к эксцентричной манере Натальи Владимировны говорить и шутить, что её словам никто не придал особого значения. Я, хотя и не понимал всего до конца, всё же сознавал, что в словах И. таилось нечто очень значительное для Андреевой.

Её несколько презрительный тон, когда она возмутилась моею ребяческой радостью из-за подаренного белого павлина, огорчил меня. Я подумал, что совершенно невольно ввёл её в раздражение. И в то же время я вспомнил слова сэра Уоми, что каждый вступающий на путь знания должен стараться говорить так, чтобы ни одно его слово не язвило и не жалило.

Я ещё раз прижал к груди камень, подумал о словах из письма Али: “Всё, чего должен достичь человек, — это начать и кончить каждую встречу в мире, доброте и милосердии”, — и решил очень строго следить за собою сейчас, чтобы сказанное мне другими, — каким бы тоном оно ни было сказано, — не вызывало во мне горести или раздражения.

Во время обеда седой проводник несколько раз взглядывал на меня, и я читал в его глазах огромное дружелюбие к себе. Андреева сидела, опустив глаза вниз, была бледна и молча слушала, что говорили её соседи, изредка кивая головой. Мне казалось, что в ней происходит что-то особенное, для неё очень тяжёлое, что она пытается скрыть.

Бронский снова был обаятельным собеседником, но всё же я подмечал в его лице тревогу. Только спокойный взгляд И., казалось, вливал в него уверенность каждый раз, когда взгляд его скрещивался со взглядом артиста.

очень не хотелось, чтобы Игоро ехал со мной. Я всячески пытался его отговорить, но не сумел настоять, как и вообще не умею нигде и ни в чём, кроме одного искусства, проявить свою волю. Только в нём я целен и уверен до конца. Ему служу без компромиссов и в нём никто и ничто не может сбить меня с моего пути, раз понятого и принятого. Не отвергайте меня, — внезапно опускаясь на колени, с тоской и мукой в голосе закончил свои слова Бронский.

И. быстро подошёл к нему, поднял его, обнял и ласково сказал:

— Встаньте, мой друг и брат. Я с радостью принимаю вас в число моих учеников. Не беспокойтесь за вашего друга. Он будет жить, и характер его, так много тиранивший вас в жизни, очень изменится к лучшему. Но пострадать ему придётся немало, так как не только все корешки нервов у него воспалены, но и вся нервная система нарушена из-за недопустимой разницы температур, к которым он был одинаково непривычен, несмотря на кажущееся закаливание, к которому приучала его мать.

И. приготовил лекарство, с моей и Бронского помощью влил его больному, растёр его тело чем-то невыносимо остро пахнувшим и снова сказал артисту:

— Сейчас ваша помощь здесь совершенно не нужна. Больной будет долго спать, а потом всё равно никого узнавать не будет. У него род тифозной горячки, но на самом деле это только ужасающая встряска всего организма, которая могла бы окончиться безумием, если бы вы не встретили здесь меня.

Послав меня за дежурной медицинской сестрой, И. сказал Бронскому, чтобы он захватил войлочную шляпу и мохнатое полотенце в своей комнате и ждал нас у выхода.

Я вернулся в комнату больного с братом милосердия. И. сделал Игоро укол довольно толстой иглой и, дав дежурному все указания, обещал через два часа прислать фельдшерицу. Мы собрали аптечку, тщательно вымыли руки и сошли вниз к ждавшему нас Бронскому.

Жара была уже очень сильная. И. нахлобучил мне шляпу и спустил вуаль, посоветовав сделать то же самое и своему новому ученику, и мы, перейдя несколько дорожек, очутились в доме Аннинова.

Всё в этом доме было какое-то особенное. Сразу же меня поразило, что из небольшой передней выходила дверь прямо в большой белый зал, где посреди комнаты стоял белый рояль, а по стенам несколько диванов — жёстких и тоже белых, а на тумбе из чёрного мрамора какая-то небольшая статуя, показавшаяся мне портретом Данте. Потом я увидел, что это было изображение Будды.

Слуга провёл И. в следующую комнату через большой зал, а мы с Бронским остались ждать в зале. Он стал мне рассказывать об Аннинове, об его гении, успехе у публики и о его страданиях. Он давно покинул родину, очень страдал от тоски по ней, но никогда туда не возвращался, скитаясь по всему свету. Бронский не знал, что заставило музыканта покинуть родину, так горячо любимую. Но знал наверное, что большая часть его болезни сердца лежала в постоянной тоске по ней.

Довольно долго И. не возвращался. Бронский, видя мой восторг при описании его впечатлений от встречи с Флорентийцем, очевидно и сам находясь под сильным влиянием красоты и мудрости моего высокого друга, рассказал мне подробно, как он был в особняке Флорентийца в Лондоне, видел там моего брата, от него получил

мой рассказ. Он видел Наль и её подругу Алису, красотой которых был так поражён и восхищён, что до сих пор не знает, которая из них лучше. Что Алиса — это Дездемона, а Наль так юна и вместе с тем так величественна, что для неё он не находит имени в своём артистическом словаре. Что такой женщины он ещё не видел и готов был бы заподозрить в преувеличении всех, кто ему рассказывал бы об обитателях особняка Флорентийца.

— Я иногда и сейчас спрашиваю себя, не во сне ли я видел этих людей? Возможно ли такое количество красоты и доброты в одном месте Лондона? — Бронский задумался, точно куда-то унёсся мыслями, и тихо продолжал: — Когда я увидел И. входящим в столовую, я сразу понял, что это именно он, хотя никто мне этого не говорил. Помимо его исключительной красоты, в И. есть что-то, чего я не умею определить, но что совершенно определённо напоминает мне Флорентийца. Что это такое, я ещё не понимаю, но это нечто, никому, кроме этих двух фигур, не свойственное. Много я видел людей, и людей великих, но что-то божественное — до того оно высоко — бросилось мне в глаза и поразило меня в И. и во Флорентийце.

У двери послышались голоса, и в зал вошли И. и Аннинов. На щеках музыканта горели пятна, очевидно, или у него был жар, или он пережил очень сильное волнение. Он приветливо поздоровался с нами, предложил нам фрукты и прохладительные воды, но И. не разрешил нам ни того, ни другого.

— Итак, кончайте ваш труд, Сергей Константинович, и отложите концерт на несколько дней. С вашего разрешения, я приведу целую толпу народа, жаждущую послушать вас. Вы совершенно здоровы. Мало того, что вы сами здоровы, вам ещё придётся помочь мне лечить вашей музыкой двух больных. Без музыки в данный момент их не вылечить. Мы с вами выработаем программу и, я надеюсь, вернём им разум, — прощаясь, говорил И.

Тут уж я был поражён до полного ловиворонства. Лечить музыкой? Так я и ушёл, не собрав мозгов, и, если бы не жара, стоял бы, наверное, на месте. Но солнце жгло немилосердно даже сквозь вуаль, и И. набросил мне на голову толстенное мохнатое полотенце Бронского, которое смочил в фонтане, чем привёл меня несколько в себя. Дома И. велел мне полежать, пока он приготовит лекарство для Максы, а Бронского просил разыскать Кастанду.

Едва я лёг, как мгновенно заснул. Мне показалось, что я спал Бог знает как долго. На самом же деле оказалось, что спал я не более двадцати минут, а отдохнул чудесно. И. разбудил меня, дал мне превкусное питьё, сказав, что теперь пить можно. Я взял микстуру для Максы, ещё какие-то лекарства для передачи сестре Александре и должен был привести с собой обратно сестру милосердия специально для Игоро. Я радовался, что сейчас пойду чудесным лесом. Питьё И. делало меня мало чувствительным к жаре. Мне хотелось побыть одному и подумать обо всём пережитом за эти дни. Но возвратился Бронский и, узнав, что я иду в незнакомое ему место, так моляще посмотрел на И., что тот рассмеялся и, хитро посмотрев на меня, сказал:

— Там у Лёвушки завелась зазнобушка, Алдаз! Если он решится на самопожертвование и возьмёт вас, я буду рад. Для вас там найдётся многое, на что посмотреть.

— Лёвушка, я буду нем, как пень, услужлив, как раб, благодарен, как ребёнок. Возьмите меня.

Постепенно столовая наполнилась, заняли свои места и Бронский с художницей. Снова я заметил несколько замечательных лиц, но никак не мог охватить взглядом всех, кто сидел за столами.

— Не спеши узнать всех сразу, Лёвушка, постепенно ты познакомишься со всеми. Многих будешь иметь случай увидеть ближе у Аннинова завтра. А сейчас — я вижу, как тебя это интересует, — я тебе разъясню, о чём спорит Наталья Владимировна. Ей хочется посмотреть на развалины одного очень и очень древнего города. Со свойственным ей темпераментом ей хочется немедленно двинуться в путь, а старик-проводник отказывается ехать сейчас, уверяя, что это в данную минуту опасно. Пути туда почти восемь суток по знойной, безводной пустыне или же через глухие топкие джунгли, где много диких зверей и змей. Надо выжидать. Недели через три туда пойдёт караван, и можно будет, присоединившись к нему, проехать безопасно.

Лицо Андреевой показалось мне сейчас бурным ураганом. Ольденкотт несколько раз вздохнул и что-то тихо сказал своей соседке. Та рассмеялась, посмотрела на меня и сказала довольно громко мне через стол:

— Я собираю компанию бесстрашных людей, любящих путешествовать в пустыне. Не хотите ли проехать с нами осмотреть один интереснейший древний город, вернее, его развалины? Говорят, днём они мертвы, но с закатом солнца на развалинах появляются в такой массе тигры, львы, шакалы и обезьяны, что все здания кишат ими.

Я пришёл было в ужас, но потом решил, что надо мной смеются, и ответил в тон её насмешке:

— Мне не особенно хочется превратиться в уголь, пока я буду ехать по пустыне, и ещё меньше мне хочется провести ночь в приятном обществе тигров и львов. Я ещё не успел завести себе заклинателя, а без него, пожалуй, не обойтись в таком почтенном обществе.

Андреева рассмеялась и сказала что-то старику-проводнику. Тот послал мне восточное приветствие. Я вспомнил пир у Али. Приподнявшись, я отдал ему восточный поклон. Проводник, с лицом, до черноты сожжённым солнцем, в белом тюрбане и бурнусе, был своеобразно красив. Седая борода делала его похожим на пророка. Посмотрев на меня пронзительными чёрными глазами, он быстро что-то сказал И. Тот улыбнулся, кивнул головой и перевёл мне по-английски слова араба:

— Зейхед-оглы просит тебя принять его сердечный привет и говорит, что видит твой далёкий путь. Но путь этот будет ещё не скоро и вовсе не в пустыню, а к людям. Он просит тебя принять от него в подарок маленького белого павлина, которого он подобрал по дороге заблудившимся в лесу.

Я был в полном восторге. Иметь собственного белого павлина! Но что мне ответить, я не знал, так как отлично помнил, что за подарок, по восточному обычаю, надо было отблагодарить подарком, у меня же ничего не было.

— Поблагодари и согласись, — шепнул мне И.

Я с большим удовольствием исполнил совет И. и чувствовал себя счастливым обладателем сокровища. Но Андреева решила не давать мне спокойно наслаждаться моим инстинктом собственника.

— На груди у вас сквозь полотно сверкает камень. И цены ему нет, и красоты он сказочной, и значимость его даже непонятна вам, — бросала она мне, точно дрова

цем и стать сотрудником в общей с ними работе, когда научишься входить в полную сосредоточенность. Тогда ты разделишь их труд и будешь полезен в их работе всем тем, кто тебя окружает. Ты проникнешь в их творческий путь настолько, насколько верность твоя им будет скреплять тебя постоянно, легко и просто с ними, с их путём любви к человеку. Ты здесь не гость, чтобы обновить свой организм на несколько лет и снова уйти в труд, через который расточать перлы своего гения в утешение и помощь людям. Ты здесь гость Вечности, в Ней ты здесь встречен, с Нею уйдёшь. И каждый день твоей жизни — день дежурства у черты Вечности. Не в Общине ты "погостил" и не из неё уйдёшь, — здесь *весь смысл* твоего существования. Ты из Вечности пришёл, в *Ней* живёшь в форме временного Лёвушки на земле и к *Ней* уйдёшь, но уйдёшь обогащённый новым опытом, с открытыми глазами, постигая путь к совершенствованию и зная, как работать над собой, чтобы добиваться освобождённости. Ты увидишь здесь многих гениев, узнаешь их особый путь жизни на земле. Ты узнаешь здесь ещё больше простых людей, в которых раскрываются только некоторые черты их талантов. Их тяжкий или лёгкий путь становится таковым от количества предрассудков и личных слабостей, которые им удаётся с себя сбросить, то есть насколько они сумеют освободить от условностей заключённую в них Вечность.

Всё это говорил мне И., пока мы шли на островок Али, где нас снова встретили сторож и белый павлин. Поднимаясь в комнату Али, я был полон благоговения и благодарности к моему дорогому наставнику. Как-то особенно чётко ложилось каждое его слово сегодня мне на сердце. И в первый раз без всяких сомнений и сожалений о собственной малости и неспособности я дерзал, легко и просто подходя к книжным шкафам.

И. тронул какую-то пружину, и стенка раздвинулась, открывая за собою ещё ряд белых полок, полных книгами. И каких только книг здесь не было! И. вынул три небольшие книги, очень старинного вида, снова нажал невидимую мне кнопку, стенка сдвинулась, и я даже не мог различить, где она раскрывалась только что.

Подойдя к письменному столу Али, И. раскрыл его куполообразную крышку из пальмового дерева, изображавшую два больших листа латании. Он усадил меня за стол и стал объяснять мне шрифт и произношение языка пали. Мне всё казалось очень трудным, так как я, вообще не знал ни одного восточного языка, и потому корни и приставки, такие чуждые мне, озадачивали меня.

Но преподавательский талант моего мудрого Учителя был на такой высоте, что, когда ударил первый гонг к обеду, я уже мог свободно разбирать печатные слова. И. показал мне, как закрывать и открывать стол, задал мне урок к следующему дню, и мы спустились в парк, в обеденную столовую. Первое, на что я обратил внимание, когда мы вошли в столовую, была Андреева, беседовавшая с каким-то стариком на непонятном мне языке. Судя по интонациям, я понял, что она на чём-то настаивает, а старик не поддаётся и в свою очередь пытается её убедить. Сидевший рядом Ольденкотт, очевидно, тоже не понимал языка и беспомощно смотрел на И., когда мы вошли, как бы прося его вмешаться в их дело. Но И., взяв меня под руку, поклонился им и прошёл прямо к нашим местам.

Я даже подавился от смеха, такое необычайное выражение, вернее, целая гамма сменяющихся выражений промелькнула на его лице. Он выпрямился и громовым голосом, точно клятву на мече, выговорил:

— Буду нем, как пень. — Потом согнулся, точно весь сузился, точь-в-точь льстивый раб, и сахарным голосом произнёс: — Услужлив, как раб.

И вдруг, широко улыбнувшись, распустил все складки лица, только что сморщенного и подлизывающегося, и ясным, детским голосом, наивно глядя мне в глаза, очаровательно шепелявя, сказал:

— Благодарен, как ребёнок.

Всё это было для меня так неожиданно, что я, разумеется, всё забыл, бросился ему на шею и заявил, что теперь понимаю, почему он покорил мир.

Всё ещё смеясь, мы пустились в путь, к сестре Александре. Я хорошо запомнил дорогу, и, хотя Бронский был таким увлекательным собеседником, что легко можно было впасть в рассеянность, я чувствовал себя вдвойне ответственным и перед И., и перед моим новым знакомым, в котором так многое меня пленяло, был всё время настороже и не перепутал ни одного поворота.

Макса ещё спал, а сестра Алдаз на ломаном русском языке, который едва можно было понять, с помощью жестов и мимики своего прелестного личика старалась объяснить мне, что бедный Макса очень страдает. Я обещал передать это И. и прибежать ещё раз к ней, если И. даст что-либо облегчающее.

Повидав сестру Александру, захватив с собой данную ею сиделку для Игоро, мы поспешили обратно. Во время моего разговора с Алдаз Бронский не спускал с неё глаз и лицо его выражало полное восхищение. Взглянув на него теперь, когда мы вошли в лес, где я снова ожидал его увлекательных рассказов, я увидел печальное, углублённое в себя лицо совсем нового человека. С ним произошла полная метаморфоза. На лице лежало какое-то мудрое спокойствие, нечто похожее на то выражение, которое я часто подмечал на лице брата Николая. Но на лице Бронского эта мудрость носила сейчас печать скорби.

Его высокий лоб прорезала морщина, глаза точно не видели ничего окружающего, губы были плотно сжаты, как будто бы он решал новый, внезапно вставший вопрос. Я не посмел нарушить его сосредоточенности и даже старался идти медленно и бесшумно, чтобы не мешать его мыслям. Я представил себе, что вот таким мудрецом бывает Бронский, когда обдумывает наедине свои роли. Уже почти на опушке леса он глубоко вздохнул, провёл рукой по лицу и глазам и улыбнулся мне.

— Я так далеко был сейчас, Лёвушка. Иногда моя фантазия уносит меня от действительности, я впадаю в какую-то прострацию и рисую себе прошлое тех образов или людей, которых мне надо изобразить на сцене, или же тех живых людей, которые произвели на меня глубокое впечатление. Прав я или нет в своих сценических образах, — тому судьи люди, так или иначе воспринимающие созданные мною образы. Но самое странное в игре моего воображения — это то, что в прошлом живых людей, если только они меня целиком захватили, я никогда до сих пор не ошибался. Не знаю сам, как и почему, но я читаю их прошлое совершенно ясно, как ряд мелькающих передо мной картин. Сейчас весь внешний вид и мимика этой вашей очаровательной приятельницы Алдаз так меня пленили, что я впал в это состояние прострации и увидел много-много картин из её прошлого. Я увидел сначала малютку

индианку спящей в мешке за спиною у матери — индианки с тёмно-красной кожей. Рядом с ней шёл отец, неся на спине мешок с тяжёлым грузом. Потом я увидел ту же мать уже с девочкой-подростком, оплакивающими убитого отца. Дальше: высокий, страшно высокий красавец на коне подобрал обеих несчастных, сидевших в отчаянии ночью у костра. Потом я увидел мать и дочь с караваном верблюдов, пересекающих пустыню, потом нечто вроде школы, где я увидел Алдаз уже одну, лет тринадцати, и наконец больницу, где Алдаз давала лекарство какому-то старику. Меня поразила эта юная жизнь, такая безрадостная, монотонная, протекающая в лесах и дебрях, а ведь у неё крупнейший мимический талант. Судя по её движениям, необычайно пластичной походке и пропорциональности сложения, она должна танцевать как богиня, восхищать людей и пробуждать в них самое высокое и светлое чувство восторга. А она прозябает в глуши. Даже в древности и то она вынесла бы свой талант наружу, была бы жрицей, танцовщицей в каком-нибудь храме. Вот о чём я думал, и, как всегда, судьбы людей и их неописуемая сказочность потрясли меня и на этот раз. Надо же было в глухом уголке джунглей появиться рыцарю и спасти мать и дочь, уже смиренно приготовившихся быть растерзанными дикими зверями! И для чего же он их спас? Чтобы гениальный талант девочки погиб у коек больных!

Я стоял, разинув рот, у опушки леса, смотрел на Бронского и решал, кто из нас помешанный, а того не замечал, что сестра милосердия, тоже туземка, не понимающая русского языка, на котором мы с Бронским говорили, выражала все признаки нетерпения. Должно быть, потеряв его окончательно, на плохом английском языке она мне сказала:

— Скоро, скоро, господин, вперёд. Доктор меня ждёт.

Я извинился перед нею, бросился вперёд с такой быстротой, что мои спутники еле поспевали за мной. Сдав Кастанде сестру и Бронского, я поспешил к И. Конечно, я сейчас снова ворвался бы к нему ещё большей бурей, чем в первый раз, но, к счастью, встретил его у площадки лестницы шедшим мне навстречу. Он, очевидно, имел в виду сказать мне что-то другое, но, увидав моё лицо, спросил:

— Что с тобой приключилось, друг?

— Пойдёмте в вашу комнату, И., мне необходимо вам что-то сказать. Вы знаете, что Бронский колдун? Он может читать прошлое людей. И., миленький, вы можете знать, чем был человек до встречи с вами?

Я торопился, говорил сбивчиво, с очень серьёзным видом и всё же не мог не заметить, каким юмором сверкали глаза И. Он привёл меня в себя, и я рассказал ему всё, что говорил мне Бронский и как он прочёл прошлое Алдаз.

— Как бы я хотел узнать, правду ли видел Бронский о жизни Алдаз. И., дорогой, можете ли вы это узнать?! — я спрашивал, горя нетерпением, и никак не мог понять, как это И. может спокойно сидеть, когда я ему передаю такие потрясающие вести.

— Я думаю, что тебе проще всего узнать самому, Лёвушка, правдиво ли Бронский описал тебе прошлое сестры Алдаз.

— Как же это? Сколько бы я ни старался, я ещё ни разу не видел никаких картин. Или вы думаете, что я должен очень сильно думать о Флорентийце и спросить его? — выпалил я, снова впадая в азарт желания узнать истину или убедиться, что Бронский просто маньяк, одержимый определённым пунктиком.

И. засмеялся и, поглаживая меня по голове, что помогло мне мгновенно прийти в себя, сказал:

— Экое ты дитя малое, Лёвушка. Неужели я мог бы посоветовать тебе беспокоить твоего великого друга такими мелкими делами. Это всё равно, что обращаться к нему с вопросами, как тебе научиться правильно завязывать сандалии или ставить на их подошвы заплаты. Я имел в виду самое простое, ничуть не превышающее твоих сил дело, — всё так же ласково поглаживая мою голову и улыбаясь, говорил мне обожаемый, снисходительный друг. — Ты сам спроси Алдаз, когда вечером, после чая, мы пойдём накладывать Максе новые повязки. Кстати, возьми эту сумку, здесь всё, что нам будет необходимо при вечернем обходе. А теперь пойди возьми душ и ляг в своей комнате. Ты так бежал, что необходимо тебе прийти в себя. Если, возвратясь сюда через полчаса, я найду тебя спокойным, мы пойдём в комнату Али, и я дам тебе книги для первоначального знакомства с языком пали.

— О, И., какой же вы добрый! Я опять проштрафился, а вы мне даже выговора не сделали. Можете не сомневаться, вы найдёте меня совершенно спокойным денди!

— Смотри, вот тут-то и не проштрафься, — улыбнулся мне на прощание И.

Я не заметил, в какой пыли я был. Даже на блестящем полу я оставлял пыльные следы. С помощью Яссы я привёл себя в порядок, убрал комнату И. и стал поджидать моего друга, который немного задерживался.

Образ Бронского снова встал передо мной, и нарисованные им в лесу картины оживали в моей фантазии. Мне так и представлялся высоченный рыцарь с чёрной бородой, подхватывающий мать и дитя в своё седло в страшном, темнеющем лесу. Так как я никогда не видел живого рыцаря, а образ высоченного черноволосого человека жил в моей душе только один, то я связал картину Бронского с личностью Али.

Как хорошо всё укладывалось дальше в моей поэтической фантазии! Али подобрал несчастных мать и дочь и со своим караваном переправил их в Общину, где Алдаз и поступила в школу. Образ Али завладел мною. Я уже готов был позвать его и спросить, не подбирал ли он на дороге сирот, как дверь открылась, и И. окликнул меня.

— Я теперь знаю, кто был рыцарь, спасший Алдаз. Это был, конечно, Али. И дальше всё складно выходит, — не дав опомниться И., бросился я к нему.

— Али или не Али спас Алдаз — это не так важно. Но что ты всё же не проникся достаточным вниманием к моим словам и хотел беспокоить Али по пустякам, — это нехорошо. Делать сейчас такую печальную мину и огорчаться не следует, но обрати внимание на две вещи: ни одного лишнего слова не говори, пока окончательно не продумаешь то, о чём хочешь говорить или просить. Это одно. Второе: если я дал тебе задачу, а я сказал, что пойдём в комнату Али учиться, надо было приготовить себя, привести в себе всё в равновесие, чтобы твоё рабочее место оказалось в гармонии со всеми твоими творческими способностями. Мы пойдём в комнату великого мудреца, милосердие которого равно его мудрости. Милосердие его к тебе огромно. А твоё внимание, вообще очень ограниченное, собрано ли оно сейчас? Очистил ли ты его от мелких мыслей суеты? Проникся ли ты той великой радостью служить когда-нибудь человеку благодаря тем знаниям, что тебе решил открыть Али, посылая тебя сюда? Только тогда ты можешь встретиться с Али и Флорентий-

добра, притронулся к сердцу и горлу, провёл рукой по своей шее, как бы показывая, что ему отрубят голову его хозяева.

Снова сказал что-то Франциск, и снова его голос и глаза проникли в моё сердце так: “Приди ко мне, и я утешу тебя”. Теперь, казалось, карлик понял, что нашёл верную защиту, которая не предаст его. Он снова опустился на колени, завыл что-то миролюбивое и коснулся лбом земли.

— Лёвушка, собери все свои силы и выйди сюда, — услышал я голос И. Я с трудом, но всё же без особого напряжения, поднялся, сам поражаясь, как же это я не мог встать некоторое время назад. Я вышел из дома, и И. указал мне, как пройти между двумя рядами павлинов, со всех сторон бежавших мне навстречу.

Павлины сдвинулись в две плотные шеренги и образовали нечто вроде тропочки между мною и И., так, что я мог идти только по этой узкой тропе. Когда я подошёл к И., он обнял меня одной рукой за плечи и сказал:

— Ни я, ни Франциск не можем коснуться этих несчастных, потому что от нашего прикосновения они умрут мгновенно, как это случилось бы с теми, кого ты должен был коснуться в Константинополе по просьбе сэра Уоми. Там у тебя был верный помощник — храбрый капитан. Здесь ты один. Хочешь ли ты помочь мне и Франциску? Те люди, что стоят здесь, не могут нам помочь, каждый по своей причине. Помни, чтобы нам помочь сейчас, нужно не только полное бесстрашие, но и всё милосердие, вся радость, вся любовь к Богу в человеке. Надо забыть всё внешнее безобразие и проникнуть в заложенные в человеке Свет и Мир. Хочешь ли, друг, спасти этих несчастных?

— О, И., как можете вы спрашивать, хочу ли я. Вопрос в том, как смогу я быть вам полезным? И страха у меня быть не может, раз вы подле меня, и всем сердцем я хотел бы помочь этим бедным страдальцам, чтобы хоть на йоту отблагодарить вас за всё то, что вы для меня сделали и делаете. Призывая имя дорогого Флорентийца, я постараюсь собрать всё своё внимание. Я готов, я слушаю вас.

И. подал мне палочку, которую держал в руках:

— Держи палочку прямо против сердца бедного создания. Люби его так, как только может твоё сердце понимать это чувство. Радуйся, как радуется сейчас Флорентиец, видя твоё полное самоотвержение и желание спасти эти жалкие, злые создания. Когда я притронусь к твоей руке, *что* бы ни проделывал карлик, коснись немедленно его лба. Постарайся сделать это молниеносно и снова держи палочку на уровне сердца карлика.

Я взял палочку. Волшебное чувство счастья, радости охватило меня. Необычайно спокойным я себя почувствовал. Ноги мои, так слабо переступавшие, когда я шёл, точно приросли к земле, во всём теле я почувствовал такую силу, точно и конца ей не было.

И. стал говорить что-то протяжное на языке пали, какой-то гимн. Я теперь знал язык уже настолько, чтобы понять, что это язык пали. Иногда я понимал отдельные слова, но содержание всего от меня ускользало. Вдруг интонация И. резко изменилась. В голосе его послышались снова раскаты грома. Я крепче сжал пальцы вокруг палочки, посмотрел на карлика и едва не выронил палочку из рук. Он пытался, пронизывая меня своими страшными глазами, которые сейчас не влияли на меня никак,

— Я обещал тебе, Лёвушка, рассказать кое-что о карлике Максе. Думаю, что всем вам, друзья мои, будет полезно узнать о судьбе этого маленького человечка, так сильно сейчас страдающего. Если бы каждый человек *владел* всеми силами, что в нём заложены, не было бы в мире ни страданий, ни ошибок, результатами которых и являются все скорби людей. Страсти, которыми окружён человек, загромождают собою весь его земной путь. Они лишают его возможности ясно видеть и распознавать истинно реальное среди того моря временных, иллюзорных красот, которые манят его и влекут в кажущийся прекрасным мир личной жизни, личной любви и личного счастья. Человек не свободен. Он живёт в своих условных привязанностях, и, когда спадают с его глаз эти давящие телесные покровы любви, они спадают в великом страдании. Вся жизнь земли, по мере того как в человеке просыпается мудрость, есть не что иное, как великий путь освобождения. Если бы человек мог быть так воспитан с детства, чтобы весь его организм строился в гармонии, он, созревая, легко становился бы свободным, так как на его сознании, на его нервных сплетениях и сердце не нарастали бы бугры и глыбы всевозможных страстных извержений, которые зовутся в обиходе людей болезнями. И слух, и зрение развивались бы у человека не только физически, но и психически, рождаясь в полной гармонии организма. Сейчас мы увидим жертву борьбы страстей, борьбы добра и зла, опять-таки называя их этими словами бытовой лексики. Перед *Истиной* нет ни зла, ни добра. Есть только степень знания, степень освобождения, мгновение чистой любви и мира в сердце человека или мгновение бунта его страстей и невежественности. Среди глухих лесов, непроходимых, окружённых болотами, где безопасны только узенькие тропочки, живут люди, домогающиеся у природы её тайн. Они стараются путём знаний достичь умения владеть стихиями природы. Цель этих людей — владычество над миром. Их желания — обладать всеми благами для эгоистических целей, для порабощения людей, а не для труда на общее благо. Это тёмные оккультисты, нередко составляющие страшные секты со всевозможными сексуальными извращениями и нередко с человеческими жертвами. Завлекая людей через своих прислужников всюду, где люди одержимы страстями ревности, зависти, ненависти и алчности, где неуравновешенные легко поддаются раздражению, эти тёмные силы опутывают их сетями иллюзорных удач с тем, чтобы, предоставив им в пустяках несколько побед, уже не выпустить их из кольца змей, которое совьёт себе каждый из поймавшихся на эти крючки людей, поддавшись очарованию предложенных ему призрачных благ. Пользуясь своими относительно большими знаниями — “большими” до тех пор, пока они орудуют среди закрепощений греха, и ничтожными, когда встречают истинно свободных людей, они создали целое племя людей карликовой породы. Эти внешне исковерканные существа очень злы, воспитаны в вероломстве, обучены многим фокусам гипноза и магнетизма. Но злым преследователям личных целей путём оккультных знаний всё же не всегда удаётся до конца извратить всех несчастных, которыми им удалось завладеть. Нередко среди карликов живут страдальцы, которым мерзко зло, ненависть и лицемерие. Они пытаются бежать после неистовых страданий и наказаний за отсутствие любви ко злу и отказ совершать преступления. Великие труженики Светлого человечества часто выискивают таких

несчастных, спасают их и доставляют в Общину Белых Братьев. Одного из таких страдальцев вы увидите сейчас.

Мы были уже на половине пути. В лесу было темно, сыро, и я представил себе, как должны страдать несчастные карлики, которых заставляют жить во тьме непроходимых лесов всю жизнь в обществе бесчестных людей.

— Если великим труженикам Светлого человечества удаётся спасти такого схваченного злыми карлика, то его помещают в особо для него благоприятные условия, окружают самыми чистыми и ласковыми людьми, учат грамоте, всячески развивают и стараются поднять их забитый дух. Но всё же, проведя детство и юность в рабстве, побоях и полной невежественности, эти несчастные создания в своей духовной форме похожи на сморщенные, засохшие грибы. Они не владеют ни одной нитью духовных сил настолько, чтобы иметь возможность выбросить из себя искру огня и поджечь те наросты грубых тканей, что вплетены в их организм жестокими хозяевами через страх и боль. Для них невозможно более человеческое воплощение, где надо сразу достичь возможности поправить все очаги сил — и физических, и духовных. И милосердная Жизнь, видя их немощь, помогает им переждать одно воплощение в птицах. Они перевоплощаются в белых павлинов. Вот почему эти птицы так понятливы, часто понимают даже речь, если человек прилагает к этому усердие.

Крик изумления вырвался у каждого из нас.

— Но не думайте, что все без исключения белые павлины — непременно перевоплощённые добрые карлики. Тех, что пройдут такой путь, Жизнь вводит “всегда” в Общины Светлых Братьев, — продолжал И., как бы не замечая нашего потрясения.

— А мой птенчик, И., он тоже бывший карлик или это просто дикий павлин, которого Зейхед-оглы подобрал в лесу? — Я спрашивал, замирая от волнения, что моя птица простая, дикая и мне не дано оберегать драгоценную человеческую жизнь.

— Твой павлин доставлен к Зейхеду совершенно особым путём. Араб знал, что он должен передать тебе птенца, и для этого приехал специально в Общину. Ты узнаешь, как, чем и когда ты связан кармой великой благодарности с тем несчастным карликом, что теперь пришёл к тебе за нею в образе белой птицы и что в одной из жизней был твоим злейшим врагом и убийцей. Ты получаешь сейчас случай возвратить ему, в свою очередь, и уходом, и любовью благодарность за спасение твоей жизни в далёком прошлом.

Мы вышли на поляну, где снова было жарко. К нам навстречу шла сестра Алдаз с очень обеспокоенным лицом.

— Чудеса, чудеса и чудеса, — прошептал Бронский.

— Нет чудес, есть знание, знание и знание, — ответил ему И.

Сестра Алдаз, без всякого приветствия, сразу стала что-то говорить И. очень встревоженным голосом. Лицо её, на которое я теперь особенно внимательно смотрел после слов о ней Бронского, менялось точно в сказке. И вся она казалась иною, в зависимости от мимики лица. Вся её фигура то вдруг как-то тяжелела, то казалась воздушной в связи со словами, которые она произносила. Всё в ней было так гармонично, что содействовало выразительности, и мне было понятно, что карлик с чем-

подал его сосед. В ней карлик остался лежать у ног И. Теперь раздался вой из кустов, точно кого-то оплакивающий. В этом вое было столько страдания, что я весь внутренне сжался.

Франциск, стоявший до сих пор неподвижно, сделал несколько шагов к кустам, и птицы целой стаей двинулись за ним. Он остановился почти у самой клумбы и кому-то, мне невидимому, стал говорить.

Я не понимал ни языка, ни смысла того, что он говорил. Но интонация голоса, бездонная ласка, мир и доброта, которые слышались в нём, говорили моему сердцу, что его любовь в своей помощи не знает ни предела, ни отказа. Но что буквально разорвало мне сердце — это лицо Франциска. Ах, сколько раз в трудные и опасные минуты жизни, в минуты разлада и смертной тоски вставало передо мной это бледное лицо в экстазе любви и доброты.

Бледный, с огромными синими глазами, испускавшими лучи, с улыбкой радости он протянул вперёд руку. Всей своей позой Франциск говорил: “Приди ко мне, и я утешу тебя”.

Я увидел, как из кустов стал выползать на четвереньках второй карлик. Этот был ещё уродливее первого. Совершенно непропорционально сложённый, с огромной сравнительно головой, с длинной талией и коротышками-ножками, он поднялся на ноги с трудом и шёл прямо на Франциска, воя, точно собака по покойнику. Длинные руки его висели ниже коленей, челюсть с обнажёнными дёснами выдавалась вперёд, а была почти от уха до уха. Это страшное, невообразимое человеческое чудовище, задыхаясь, не дошло до Франциска шагов трёх. Я ожидал, что тот сейчас же возьмёт его, поднимет и приласкает. Но случилось иначе.

Первый карлик во всю мощь своей глотки стал что-то орать своему сподвижнику, показывая ему на стрелу, торчавшую посреди тропинки на поляне, и на те чёрные камешки, что он выбросил из своих бездонных карманов. Второй карлик сначала слушал внимательно, прикрыв уродливыми толстыми губами свою ужасающую челюсть, потом взглянул на Франциска, отпрянул назад и завыл, закрывая глаза руками.

Первый карлик заорал ещё настойчивее. Франциск махнул на него слегка рукой, и он замолк. И снова раздался голос, который я опять истолковал себе так: “Приди ко мне, и я утешу тебя”.

Карлик, так же молниеносно, как это проделал несколько времени назад его товарищ, выпустил стрелу, и она упала на землю, вонзившись рядом с первой. Тут оба карлика точно с ума сошли. Они стали так выть и кататься по земле, кусать даже землю вокруг, что Франциск взял сетку из рук своего соседа и нежно, точно ватой, прикрыл ею урода.

Так же как и первый, второй карлик запутался в сети. Голос Франциска, точно арфа, звучал нежно и кротко, когда он подошёл к бесновавшемуся уроду и говорил ему что-то.

Затих второй карлик. Вынул спокойно всё, что хранили его карманы, аккуратно сложил всё в кучу и сверху положил такие же чёрные камешки, какие выбросил первый. Потом он встал с коленей, пристально посмотрел в глаза Франциску своими красными глазами, и нечто вроде довольной улыбки раздвинуло его губы. Он моляще протянул руки к Франциску, показал на кучу своего аккуратно сложенного

Павлины сужали свой первый круг возле кустов жасмина и клумбы. Соответственно им и второй круг, где стояли друг против друга Франциск и И., также подвигался ближе к кустам. Одновременно и И., и Франциск подняли руки вверх, и тут же я остолбенел. Лицо И. было грозно и повелительно, так повелительно, каким я и представить себе его не мог. Он был похож на Бога силы, которому ничто противостоять не может. А Франциск был похож на Бога любви, и такой любви-силы, которой тоже ничто противостоять не может.

В кустах раздался дикий вой. Это был вой ярости, бешенства, протеста. Оттуда выскочил карлик и бросился бежать. Но павлины сомкнулись горой, распустили свои хвосты и встали друг другу на спины, образовав белую стену, преградившую ему путь.

Тогда карлик бросился в образовавшееся с другой стороны павлиньего кольца отверстие и понёсся во всю прыть своих маленьких ножек прямо на И., который схватил сетку, переброшенную ему ближайшим соседом, и опустил её на карлика, нёсшегося вперёд со всей яростью и доступной ему скоростью. Не ожидав преграды сверху, карлик упал на землю и дико взвыл — и как только могло так ужасающе громко и злобно выть такое маленькое существо! — и стал кататься по земле, всё больше запутываясь в сетке, которую он старался разорвать руками и ногами, грыз зубами и резал ножом, который появился в его руках, я не заметил, каким образом.

И. протянул руку к катавшемуся у его ног клубку и сказал что-то очень повелительным тоном. Карлик, застывший было на миг, принялся снова ещё ужаснее выть, плеваться и, очевидно, проклинать. И. подошёл ближе и опять что-то сказал. На этот раз в его тоне звучало предостережение. Карлик замолк и вдруг лицо его озарилось буквально дьявольской улыбкой. Он весь собрался в комочек, быстрее молнии натянул тетиву лука и пустил стрелу прямо в грудь И. Сестра Алдаз, юноша и я вскрикнули от ужаса. Алдаз закрыла лицо руками, я же попытался бежать на помощь, но не имел сил не только бежать, но даже не мог приподняться выше того, как сел в самом начале. Стрела взвилась вверх, и я ожидал увидеть её в темени И. Вместо этого она упала на поляну, как раз между И. и Франциском.

Снова раздался голос И., но на этот раз я не узнал дорогого мне чудесного и мягкого голоса. Это было нечто вроде громовых раскатов. Как будто бы эхо присоединялось к каждому слову, усиливало его стократно и сливалось со всей природой.

Карлик задрожал. Я увидел, что сеть, в которой он запутался, начинает краснеть, точно накаляться. Увидев этот ужас, поняв, что он сгорит заживо, если не исполнит какого-то приказания И., карлик принялся выбрасывать из своей одежды какие-то корешки, стрелы, порошки, сбросил лук, потом какие-то мешочки и посмотрел на И.

Сеть продолжала накаляться. И. ещё раз предупредил о чём-то карлика. Но тот отрицательно покачал головой. Тогда лицо И. стало бледно, милосердно, но... я понял по жесту его руки, что смерть карлика, не желавшего подчиниться требованию И. и отречься от зла, неизбежна.

И карлик понял, что обмануть И. ему не удастся, что на него идёт смерть. Он встал на колени — лицо его, серое от страха, ужасное, было омерзительно — и выбросил несколько чёрных камешков. Пламя сетки, уже подходившее к несчастному, погасло. И. подошёл вплотную к карлику, поднял сетку палочкой, которую вынул из-за пояса, отбросил её в сторону и накинул на карлика другую, которую ему снова

то или кем-то боролся, хотя слов её я не понимал. Он кого-то боялся и пытался убежать.

Когда мы вошли в комнату, где лежал карлик, сестра Александра держала руки метавшегося больного, очевидно бредившего. Долго возился с ним И., я получал приказания подавать то одно, то другое, пока наконец больной затих и стал дышать спокойно.

Дав ему немного отдохнуть и подремать, И. приступил к перевязке. Видев утром страшные зияющие раны, я приготовился сейчас к ужасному зрелищу. Но каково же было моё удивление, когда я увидел, что раны больше не кровоточат, а покрылись каким-то серовато-белым налётом. И. развёл кипящей жидкости, смочил ею заготовленный дома пластырь и покрыл им раны. Больной вздрогнул, но не открыл глаз, продолжая дремать. Только когда уж он был совсем перевязан и И. погладил его по голове, он открыл глаза, удивился, увидев вокруг себя так много людей, остановил взгляд на И. и улыбнулся.

И. взял его здоровую ручку и стал ласково с ним о чём-то говорить. Тот сначала словно не хотел отвечать, но затем заговорил быстро, жалобно, о чём-то умоляя и чего-то боясь. И. успокоил больного, отправил обеих сестёр ужинать и велел им привести с собой брата милосердия, который остался бы ночевать с больным и мог бы уйти от него только тогда, когда больной убедится, что его в обиду никому не дадут.

Через некоторое время пришёл брат милосердия. Лицо его меня поразило. Много добрых и светлых лиц видал я за это время, но такого потока любви, какой лился от всей фигуры этого человека, я ещё не видел.

Карлик едва на него взглянул, как заулыбался, что-то замурлыкал, протянул ему здоровую ручонку и старался привстать, что ему тут же строго запретил И. Брата этого звали Франциск. На наше приветствие он каждому из нас посмотрел в глаза и подал руку. Но как взгляд, так и жест, каким он здоровался с каждым из нас, — всё было так разно, что я немедленно стал “Лёвушкой — лови ворон”.

На Альвера он взглянул пристально, высоко поднял правую руку, улыбнулся и сказал на прекрасном французском языке, громко, чётко:

— Вы большой молодец. Идите как начали — далеко пойдёте!

На Бронского он смотрел долго, качал головой, поклонился ему низко-низко и тихо сказал:

— Довольно одиночества и скитаний. У вас теперь много друзей. Вы здесь оставите все слёзы и скорби и уедете в розовом плаще. А ваш, чёрный, ляжет мне на плечи. — И он снова низко поклонился ему.

Бронский превратился в соляной столб, не в силах, очевидно, воспринять всего происшедшего. Ко мне последнему подошёл Франциск, я стоял поодаль у стола и собирал аптечки, пока не словиворонил.

— Мир тебе, брат мой милый, неси людям радость. Так мало, так редко идёт ученик, имея счастье рассыпать радость и свет своим ближним. Не стой на месте, живи всюду. Но где бы ты ни был — неси мир. Твой талант может одухотворять сердца. Научись здесь выдержке — и ты войдёшь в гармонию. И ею будешь крепить людей.

Франциск подал мне обе свои руки, и точно волна тепла и мира пролилась в меня через его руки. Он сел у постели карлика, склонился к нему и стал его кормить. Красные глазки страдальца выражали полное удовольствие. Он забыл обо всём и радостно смеялся между глотками пищи.

И. помог мне собрать вещи, так как я положительно был никуда не годен, как, впрочем, и мои товарищи. И. пришлось всех нас приводить в себя и напомнить об элементарных правилах вежливости, ибо мы собирались уйти, даже не простившись. В последнем приветствии Франциск снова сказал мне:

— Ухаживай усердно за своим павлином, милый брат. Это много страдавшая душа. Чем больше внимания ты ей отдашь сейчас, тем выше он пройдёт потом. Мне будет приятно, если ты будешь меня навещать. Я научу тебя, как видеть “сквозь землю”, — чуть улыбнувшись, прибавил он.

Теперь уж я готов был превратиться в соляной столб, но И., смеясь, простился с Франциском и увёл меня из комнаты, как и всех остальных.

На обратном пути каждый из нас был погружён в свои мысли. Бронский, несмотря на прохладу леса, отирал платком лившийся градом пот. Англичанин шёл, — точно полк за собой вёл. А я плёлся шаг за шагом, поддерживаемый И., и не мог постичь, как неисчислимо разнообразие путей человеческих. То я вспоминал, что путей миллионы, а ступени у всех одни и те же. То я думал, что жизней человеческих неисчислимое множество, и *Жизнь* — одна. И я не мог понять, как же входят в ту гармонию, о которой сказал мне Франциск, такие маленькие люди, как я. Положительно всё путалось в моей голове.

— Ты, Лёвушка, думай о своём “сегодня”. Придём, покорми свою птичку, она, наверное, без тебя уже соскучилась. Собери внимание к текущим делам и вливай в них бесстрашие и благородство. А о завтра ты не думай, ты о нём будешь думать завтра, — ласково убеждал меня мой наставник.

— Ах, И., миленький, если бы я мог хоть в сотую долю быть таким заботливым другом для моей птицы, каким вы являетесь для меня, я был бы счастлив, что хоть в чём-нибудь выполнил мой урок. Как я хотел бы стать достойным ваших забот, — ответил я, вбирая в себя, по обыкновению, спокойствие, уверенность и мир от моего друга.

Дойдя до Общины, И. простился с нашими спутниками, напомнив им, что к ужину опаздывать нельзя.

Не успели мы войти в мою комнату, как мой новый сожитель встретил нас радостным писком. Я бросился к нему, осторожно вынул его из пуха и покормил на ладони. И. помогал мне напоить птенца, что составляло целую проблему.

Окончив процедуру кормления, я приласкал моё белое сокровище и снова уложил его в гнездо. Раздался звук гонга, и мы спустились в вечернюю столовую. Здесь было светло, веера создавали прохладу.

К И. подходило много новых людей. Художница, расставшаяся с нами после чая, спрашивала меня, где я был, что я видел за это время. Я ответил ей, что видел так много, что даже и вместить не могу.

Наш разговор перебил Бронский и сообщил, что его другу как будто чуть-чуть получше, но что к больному его не допустили.

Сколько я ни старался увидеть из окна, что так пугало Алдаз, что сердило юношу, я ровно ничего не видел, кроме чудесного лесного ландшафта.

— Твои глаза ещё не могут видеть “сквозь землю”, — усмехнулся Франциск, сев подле меня. — Но вот, посмотри туда, на кусты жасмина. Видишь ты, как чуть-чуть шевелятся несколько ветвей, тогда как все остальные стоят совершенно спокойно. Воздух неподвижен. Что может колебать некоторые ветви? Что-то может колебать их только снизу. Заметь направление, в котором идёт движение ветвей. Оно идёт прямо к окнам домика, откуда только что вынесли Максу. Теперь я уже слышу, как сюда быстро идут сторожа со многими белыми павлинами и ещё быстрее идёт И. Знаю, что ты не умеешь ещё сосредоточивать своё внимание, и потому говорю тебе: не отрывайся взглядом от клумбы с жасминами и цветами, и ты вынесешь сегодня большой урок жизни, гораздо больший, чем если бы я рассказывал тебе три часа подряд, что такое злая воля и злая сила в человеке.

Франциск ещё раз приказал всем нам не двигаться с места ни при каких условиях, даже если бы стрела влетела в окно, не менять положения и не прикасаться ни к чему, что может быть брошено к нам в окно. Он вышел из комнаты и стал в дверях сеней домика.

Я следил за кустами и цветочной клумбой, видел, что цветы и ветви продолжают нежно колебаться, и стал вглядываться ближе к земле, стараясь понять, что могло вызывать такое равномерное колебание. Раза два мне показалось, что я заметил какого-то ребёнка среди цветов. Но, сколько ни вглядывался дальше, ничего не видел. Вдруг в комнате, где лежал Макса что-то с сильным звоном упало и разбилось. Среди царившей тишины этот сравнительно небольшой шум показался мне грохотом пушки. Я боялся, что больные проснутся, но звук не произвёл на них никакого впечатления.

Я приподнялся и увидел, что Франциск теперь стоит на середине поляны лицом к кустам, спиной к бывшей комнате Максы. На его лице было всё то же выражение, точно он прославлял своё счастье жить. Он внезапно вытянул руку, и я вздрогнул так, что всю мою спину снова заломило: у самых его ног в земле торчала стрела. Я всем усилием воли смотрел на кусты и теперь увидел, как оттуда вылетела вторая стрела и впилась в землю рядом с первой. Я совершенно оторопел. Я не понимал, зачем Франциск стоит у кустов, где ему грозит смерть. И как может человек с такой безмятежной любовью на лице стоять у черты зла и смерти? Мои мысли прервал нёсшийся издали шум. Я никак не мог определить, что это за шум, мне казалось, что бегут несколько человек.

Внезапно, точно снежным облаком, вся поляна покрылась белыми павлинами. Несколько мужских фигур, сообразно указаниям Франциска, разместили птиц в три кольца. Одно кольцо охватило клумбу жасминов, второе — по обе стороны стоявшего в центре Франциска — защищало все входы в дома больницы, а третье защищало все выходы в лес.

Люди держали в руках нечто вроде блестящих металлических сеток и разделяли собой каждый десяток павлинов. Присмотревшись к мужской фигуре, стоявшей на лесной дорожке прямо напротив Франциска, я узнал в ней И. Зрелище было так захватывающе прекрасно и интересно, что мне надо было собрать все усилия, чтобы не оторваться вниманием от кустов и не словиворонить.

ём. Туда уложили больного, и Франциск сказал сестре Александре снова по-французски:

— Спешите, в лесу бродят два карлика, они злы и опасны. Ни маленький больной, ни этот силач не должны подвергаться их нападениям. Даже встреча с ними сейчас может быть опасна. Я буду стеречь моих больных и сестру Алдаз. Вы же спешите выполнить всё, что я сказал.

Когда сестра и юноша вышли, Франциск, сияя своим лицом, точно пучком лучей, переставил кое-какие вещи в комнате, и я понял, что он приготовлял место для кровати карлика. Глядя на него, я всё более и более изумлялся. Бог мой! Что это были за глаза, что это были за движения! Я ощущал всем существом, что Франциск не стул отставлял, а молился. Он не действовал на земле, делая какие-то самые простые дела, а прославлял Бога каждым движением. Улыбка не сходила с его лица, улыбка счастья жить. Он посмотрел на лежащего на кровати угрюмого и грубого силача, увидел, как по его огромным щекам вдруг покатились слёзы, подошёл к нему и таким ласковым голосом сказал ему несколько непонятных мне слов, что у меня в сердце точно сладость разлилась.

Погладив его лохматую голову, он помог ему повернуться на другой бок, и через минуту ровное и тихое дыхание сказало мне, что человек спит.

На руках Франциска всё ещё оставались багровые следы от тисков силача. Мне казалось, что они даже стали ещё страшнее на вид, вот-вот из них брызнет кровь. Я хотел сказать, что пора ему заняться самим собой, как сестра Алдаз внесла на руках прикрытого простынёй Максу. Юноша, на лице которого читалось теперь только восхищение красотой девушки, нёс кровать малютки. Он так и стоял посреди комнаты, приковавшись глазами к очаровательному личику Алдаз, держа в руках лёгонькую бамбуковую кроватку и окончательно потеряв соображение. Гамма стольких разноречивых переживаний за полчаса, очевидно, не могла уложиться в его мозгу. Он был так комичен, что я не мог удержать хохота, видя в юноше свой собственный портрет “Лёвушки — лови ворон”.

Моему смеху вторил Макса, не выдержала испытания на серьёзность Алдаз, а Франциск, взяв кроватку, поставил её на приготовленное место, сам положил в неё карлика и, точно про себя, сказал:

— Самое время, самое время.

Я этих слов не понял. Но, взглянув на юношу, увидел внезапную перемену в его лице. Он побледнел до серости, потом на лице отразилась ярость, он протянул руку, показывая Франциску на что-то в окне, и, быстро бормоча проклятия, хотел бежать из комнаты туда, но Франциск его удержал, спокойно объясняя ему что-то на его наречии.

Лицо Алдаз, поглядевшей в окно, тоже изменилось, она казалась испуганной и с тоской смотрела на Франциска. Он же, не переставая улыбаться, посадил её у постели Максы, которому сказал:

— Спи, дитя, надо спать, пока не придёт доктор И.

Макса закрыл глаза, и я был поражён, как безмятежно и мгновенно он заснул, даже смех его оборвался сразу. Франциск велел юноше сесть у постели отца и объяснил, что надо сидеть там, не сходя с места до тех пор, пока не придёт доктор И.

Я не вслушивался в разговоры вокруг. Есть мне положительно не хотелось. Я даже не замечал, что мне давали, но повиновался приказанию И., не освобождавшему меня от еды.

Как это ни казалось мне самому странным, но меня так клонило ко сну, что после ужина я прошёл прямо к себе. Приняв ванну, я закончил мой второй день в Общине, не заметив и сам, как заснул подле своего нового друга, белого павлина.

Глава 3

Простой день Франциска и моё сближение с ним. Злые карлики, борьба с ними и их раскрепощение

Много времени, должно быть, недели три-четыре прошло, пока я окончательно познакомился с огромным парком и прудами Общины. Теперь внезапно открывавшиеся виды или выраставшие за поворотом дороги домики стали мне хорошо знакомы.

Мой друг, белый павлин, которого я сначала всё носил на руках, стал теперь преуморительно бегать за мной всюду, требуя писком и комическим похлопыванием маленьких, едва растущих крыльев, чтобы я брал его на руки, когда он уставал.

Я каждый день навещал Максу один или с И., иногда — правда, редко — с Альвером, которому И. поручил часть ухода за Игоро.

Бронский чаще всего проводил со мною время между чаем и ужином, а весь день он был занят каким-то сложным трудом по своей специальности, в котором хотел передать своим ученикам всё, что открывал ему его гений артиста-творца.

Мои занятия в комнате Али шли успешно, настолько успешно, что И. дал мне изучать и арабский язык, так как мне очень хотелось понимать моего нового друга Зейхед-оглы и не страдать, иногда надрываясь от смеха, от его французской речи.

Каждый раз, когда я приходил в больницу к сёстрам Алдаз и Александре, я неизменно встречался с братом Франциском. Он или гулял со мною по лесу, если был свободен, или звал с собой в аптеку, где готовил лекарства, и я ему помогал, или вводил меня в свою комнату, комнату, которая поразила меня своим видом, когда я её увидел впервые. Из его балконного окна во втором этаже домика на опушке леса, где были срублены верхушки деревьев, открывался вид на дальние селения, была видна горная цепь, как и из комнаты Али.

Три ряда идущих параллельно друг другу горных цепей, так называемые зелёные, самые низкие горы, покрытые травой и прекрасными деревьями, начинались сразу у долины. На них паслись стада, виднелись работавшие люди. За ними тянулся хребет бесплодных, так называемых чёрных гор, до которых можно было добраться, уже пересёкши часть пустыни, и, наконец, снежный хребет, поражающий и ослепляющий, виден был во всей мощи и прелести из окна Франциска. Горы в этом месте делали полукольцо, точно углубление амфитеатра, и на этот-то амфитеатр выходил балкон Франциска.

Комната? Разве можно подобрать слова, чтобы описать комнату Франциска? Или его самого? В комнате было несколько шкафов с книгами, небольшой стол странной формы, довольно узкий, высокий, из белого мрамора с очаровательными красными прожилками, такими многочисленными, что самый мрамор казался алым. Над столом висел большой крест из выпуклых красных камней. Когда луч солнца падал на него, он горел горячим тёплым светом, точно смесь огня и крови, и часто привлекал моё внимание. Я часто думал, как прост и благороден этот крест, как

калёным железом в сердце мне стукнул. Я выпустил его ручонку, оба бросились бежать в глубь леса. Тут сын что-то сказал мне, я даже сейчас и не помню что. Но сразу я озлился и замахнулся на него дубиной. — Он помолчал, отогнул рукав своей одежды и показал на руке, около локтя, большое синее пятно, в центре которого зияла маленькая ранка, в булавочную головку.

Франциск склонился к его руке, с неожиданной силой поднял старика с дерева и быстро скомандовал:

— Сейчас же иди за мной. Смерть или кое-что ещё похуже грозит тебе.

Он подхватил меня на руки, юноша помог ему нести меня, и почти бегом Франциск бросился к больнице, приказав крестьянину идти впереди. Тот сначала шёл очень быстро, но уже у входа в комнату должен был опереться на сына и, едва войдя, почти без сил опустился в кресло.

Франциск положил меня на свою кровать — я всё ещё ощущал резкую боль в позвоночнике — и стал быстро приготовлять какое-то лекарство. Дав его выпить больному, он слегка приподнял крышку мраморного стола, достал какую-то палочку — как мне показалось, стеклянную, игравшую всеми цветами радуги.

Что меня особенно поразило; на конце палочки точно огонь горел. Этим-то огнём Франциск, что-то протяжно напевая, коснулся раны больного. Тот вздрогнул, но, вероятно, не от боли, так как лицо его осталось спокойным. Ещё и ещё касался Франциск ранки своим огнём, как бы высасывая своим огнём яд из ранки. Через несколько минут из ранки брызнула кровь. Но что это была за кровь?! Тёмная, запёкшаяся, она не лилась, а выскакивала сгустками, напоминая черноватые пробки. Франциск всё так же продолжал напевать свой протяжный гимн, и наконец из ранки полилась струйка алой крови.

На губах больного появилась пена, он кашлянул и изо рта его показалась кровь, которую Франциск быстро вытер полотенцем. Он положил палочку на место, с такой же осторожностью, с какой её вынимал, приподняв крышку мраморного стола, и велел юноше пройти в большой дом, разыскать старшую сестру и немедленно просить её прийти сюда. Тем временем он дал больному какое-то полосканье, подождал пока кровотечение остановилось, и тогда дал ещё капель. С необычайной ловкостью Франциск наложил повязку на ранку, подвязал руку больному на бинте к шее и сказал вошедшей сестре Александре по-французски:

— Больной нуждается в полном спокойствии. Кроме того, к нему, как и к вашему малютке-пациенту, никого впускать нельзя. Особенно строго оградите домик, где лежит малютка, и передайте брату Кастанде, что я прошу прислать двух сторожей с белыми павлинами в больницу. Он всё поймёт. Пошлите кого-либо к И., скажите, я прошу его немедленно сюда прийти. Он тоже сам будет знать, что ему захватить. И сейчас же, даже сию минуту, прикажите сестре Алдаз принести сюда её больного. Кто-нибудь, да хоть ты, мой друг, — обратился он к молодому крестьянину, настолько одуревшему от ряда неожиданных событий, что он стоял разинув рот. Перейдя на туземный язык, Франциск продолжал: — Пойди вместе с начальницей и принеси сюда детскую кроватку, которую тебе укажут. Отцу помоги дойти сюда.

Говоря, Франциск отодвинул в сторону нечто вроде ширмы, что я вначале принимал за стенку. Там оказалась ниша, в которой стояла кровать с чистейшим бель-

придётся умирать, потому что он владеет теперь моей жизнью, а я не смогу выполнить его завета.

Грузная, приземистая фигура отца, его огромная бычья шея, опущенная вниз голова, ничто не шевельнулось. Франциск подошёл к нему, тронул его за плечо, и глаза, полные ярости, бешенства и злобы, поднялись к глазам Франциска, а вместе с ними поднялась и его громадная ручища. Я снова готов был вскочить на помощь, мне казалось, что неизбежно сейчас случится катастрофа, как голова отца опять опустилась, рука упала на колени. Франциск подошёл к нему совсем близко, погладил его по голове.

— Разве ты безгрешно прожил юность? Чему ты удивляешься сейчас? Разве ты подавал пример доброты или ласки детям? Если ты действительно считаешь себя безгрешным, брось камень в сына. Если же знаешь, что много на сердце твоём тяжести, обними сына, он понесёт часть твоих тяжестей и снимет с тебя много страданий. Сейчас он просит у тебя прощения. Не ты ли должен трижды просить его у сына, ибо ты уже трижды обманул его?

Голос Франциска был ласков и радостен. Точно тигр вскочил человек с пня, схватил нежную руку Франциска в свои огромные лапы и дико закричал:

— Кто тебе сказал? Один я про это знаю. Где ты был? Ты за мной подсматривал? Ты подслушивал?

— Тише, отец. Разве ты не видишь, какие у святого тоненькие ручки? Ты сломаешь ему руку.

Силач выпустил руки Франциска, на которых остались сине-багровые полосы и отпечатки могучих пальцев. Я застонал при виде этих точно кровоточивших знаков. Сам силач, очевидно, не ожидавший такого эффекта от своего прикосновения, казался очень смущённым и прошептал:

— Прости, святой брат.

Взгляд его теперь смягчился, в глазах появилось человеческое выражение.

— Обними сына и отпусти его жить, как он хочет.

— Да ведь ты не знаешь, что он выдумал! Ему, видишь ли, учиться надо. Грамоту захотел знать. Сказочников на базаре наслушался да с арабом одним дружбу свёл, читать желает, — снова и всё больше раздражаясь, кричал, точно рычал, как дикий зверь, отец.

— А ты, в твоём детстве, разве не просил отца пустить тебя в школу? Разве ты не плакал, когда он отказал тебе? Но ведь он не бил тебя за твоё желание учиться. Почему же ты гнался за сыном, желая его убить? Вдумайся и сознайся: зависть и ревность к судьбе сына лучшей, чем была твоя собственная, — вот что разъярило тебя.

— Может, это и так, — скорее простонал, чем сказал человек. — Но ведь я не хотел убить его, я хотел только постращать. Всё последнее время я сам не свой и не пойму, что со мной творится. Вьются подле меня, шныряют два каких-то карлика, да такие отвратительные! И как только они появляются, ну точно бес в меня вселяется. Я на всё раздражаюсь, всех ругаю, становлюсь сам не свой. Вот и теперь. Шёл я с сыном, спокойно разговаривал, откуда ни возьмись — выскочили эти бесенята, да давай что-то лопотать, тыкать пальцами и показывать на дорогу в больницу. Я понял, что им нужно туда идти, да боятся беспокоить доктора. Взял одного за руку, чтобы его провести, а он как кольнёт меня какой-то остренькой палочкой — точно

пропорционален этот столик, но не мог решить, что же можно за ним делать. Писать? Высок. Есть? Малоудобен.

Но сам хозяин так поглощал моё внимание, что у меня никак не было времени спросить Франциска, что он делает за своим высоким столом. В комнате стояли ещё три креслица, если можно этим словом назвать три сидения, какие, пожалуй, могли быть только у пещерных людей. Сложенные из стволов пальм и кож, грубые — и всё же по-своему красивые, они были удобны для сиденья.

Вместо кровати у стены стояли козлы с натянутой на них парусиной. В любую минуту они могли быть превращены в постель, но удобно ли спать на подобной постели, этого я никак решить не мог. Простой рукомойник, с висевшей над ним стеклянной полочкой для умывальных принадлежностей и полотенец, письменный стол, камин — вот и всё убранство комнаты.

А между тем, как только я вошёл в неё, меня захватило очарование, почти такое же чувство счастья, какое я испытывал, входя к И., Ананде или сэру Уоми. Я видел глазами простые вещи, а ощущал всем сердцем не их, а того, кто здесь жил, кто наполнил всю эту комнату атмосферой мира и гармонии. Куда бы ни падал мой взгляд, я точно видел слова любви, вырезанные на всём сердцем Франциска.

От самого первого впечатления и до сегодняшнего дня обаяние этой личности для меня всё возрастало. Он не говорил мне никаких особенных слов, а я ясно понимал, *что* такое раскрепощённый человек, глядя на его поступки обычного, серого дня.

Каждый день, когда я его не видел, казался мне лишённым чего-то, какого-то луча, без которого я уже не мог считать свой день полноценным. И я видел, что и другие — от мала до велика — так же искали и чтили Франциска, дорожили каждой минутой его общества. Где бы он ни проходил, всё расцветало улыбками, ну точь-в-точь будто он шёл и цветочки сеял.

Сначала он озадачивал меня, читая насквозь чувства и мысли буквально каждого человека. Но очень скоро удивление моё перешло в экстаз благоговения. На его примере я впервые ясно понял, что такое любовь в человеке, любовь, льющаяся потоком, не спрашивая взамен ничего для себя лично.

Любовь Франциска лилась в его дела дня не потому, что он умом понял, как раскрепостить себя от личных чувств, но потому, что для него слово “жить” было синонимом “любить”.

Моя радость от свиданий с ним была не просто радостью. Во мне замирало всё эгоистическое, когда я бывал с ним. Я не думал, как мне себя *приготовить*, чтобы, войдя к нему, быть достойным его своей чистотой. Но, увидев его ещё издали, я заражался его атмосферой. Я всегда ясно чувствовал, как будто переступал какую-то грань, что Франциск близко, что струи его любви бегут ко мне.

Постепенно я постиг, почему Франциск мог так понимать каждого человека, точно знал его с детства. Ему ничто не мешало в нём самом. Он не знал перегородок между собою и человеком, перегородок, которые мешали бы ему принять человека таким, каков он есть, всего, без всякой личной к нему требовательности. Его сердце было настежь открыто такой мощью любви, что весь подходивший к нему человек, со всеми своими скорбями, слезами и сомнениями, вливался в эту мощь и оставлял в

ней свои страсти, получая мгновенное успокоение и облегчение. Человек оставлял ему свои горести и уходил утешенным и обрадованным.

Всё то мудрое и великое, что мне говорил И. и что я принимал всем умом и сердцем, но что считал для себя идеалом далёкого-далёкого будущего, я видел в простой доброте человека, в его повседневной жизни.

Мало того, что Франциск жил любя. Он своим примером обращения с людьми умел каждого так удержать в силе своей любви, что всякий смягчался, переставая раздражаться и неистовствовать.

Однажды я был свидетелем потрясающей сцены. Отец, похожий более на разъярённого буйвола, чем на человека, гнался за своим сыном с огромнейшей дубиной. Он уже настигал несчастного, уже дубина была поднята вверх, чтобы опуститься на голову сына, как Франциск в два прыжка очутился перед разъярённым отцом и закрыл собою юношу.

Я в ужасе закричал, бросился ему на помощь, но убегавший юноша, очевидно, совершенно потерял рассудок и подумал, что я хочу его задержать. Со всей силой ужаса от надвигавшейся на него смерти, он толкнул меня в грудь. Не ожидая с его стороны нападения, я упал навзничь; к счастью, я попал на завесу из лиан, запутался в них, но не особенно сильно ушибся. Но всё же я почувствовал резкую боль в позвоночнике и, вероятно, на несколько минут потерял сознание.

Когда я очнулся, Франциск стоял на одном колене и нежно держал мою голову руками. Рядом, закрыв лицо руками, рыдал, сидя на земле, юноша. Отец сидел поодаль на упавшем бревне и тяжело дышал, опустив голову.

— Мой бедный мальчик, вот опять тебе потрясение, а твоему организму так необходимо полное спокойствие. Не знаю, сможешь ли ты встать. Во всяком случае, вернуться в Общину к И. ты сейчас не сможешь. Я донесу тебя до своей комнаты.

Не знаю, как будто бы ничего особенного не говорил Франциск. Но тон его голоса, выражение лица, глаза, которые излучали бездонную любовь, мир, такой мир и спокойствие, такую ласку и благословение, точно никакой драмы не произошло только что, точно он созерцал рост цветов и трав, а не спасал от смерти человека, рискуя собственной жизнью.

Ещё никогда я не ощущал такого блаженства любви и радости. В меня как бы вливалась от Франциска струя тёплой крови. Я забыл о боли, о рыданиях юноши, которые не утихали, а стал весь лёгким, радостным, тихим.

Франциск положил меня удобно на землю, свернув свою и мою шляпы наподобие подушечки, подошёл к юноше и положил ему руку на голову. Юноша затих, отёр рукавами глаза, посмотрел на Франциска и сказал:

— Кто ты? Я тебя никогда раньше не видел. Почему ты побежал за меня на смерть? О, ты святой! Я видел у миссионера портрет такого Бога, точь-в-точь как ты. Это он, значит, тебя мне показывал? Что же теперь я должен делать? Ты, наверное, потребуешь, чтобы я стал монахом? Очень и очень мне этого не хочется. Но я знаю, что всё равно моя жизнь теперь принадлежит тебе и я должен жить дальше так, как ты прикажешь. Я повинуюсь, святой брат, приказывай.

Юноша стоял на коленях, сложив на груди руки, точно для молитвы. Но где же мне найти слова, чтобы описать лицо Франциска? Он глядел на юношу, как могла бы смотреть нежнейшая мать, лаская крошку сына. Он улыбнулся, и улыбка, как благословение, как луч света, озарила всех нас.

Для меня эта улыбка *звучала*. Звучала так же, как звучал до сих пор смех Ананды, который я называл звоном мечей, как смех сэра Уоми, который напоминал мне переливы очаровательных колокольчиков и шум весенних ручьёв. Эта улыбка в молчании сказочного леса звучала как неотделимая часть всей природы, как сила жить в счастье любви.

Я так погрузился в мои мысли, что опомнился, услышав Франциска, говорившего:

— Святым на земле нечего делать, мой друг. Они могут трудиться выше нас, где мы с тобой ещё не поместимся. Я так же грешен, как и ты. И жизнь твоя нужна не мне, а тебе самому, всем твоим родным, всей земле, по которой ты ходишь, всем людям, с которыми ты трудишься, и всем тем детям, что от тебя родятся. Жизнь каждого человека нужна и ценна тогда, когда сердце его потеряло способность бояться и раздражать людей вокруг себя. Ты не хотел жениться на той, что отец тебе выбрал. Ты мог просить его об отсрочке, и всё было бы благополучно. Ведь та, что выбрал тебе отец, плоха здоровьем. Она недолго проживёт. Ты же вместо мирного разговора, стал бросать отцу слова упрёка. Ты старался задеть его побольнее. Ты играл со страстями отца, силы которых ты не знал, и ввёл его в безумие. Если бы случилось сыноубийство — твой отец был бы менее тебя виноват. Вся твоя жизнь с этой минуты и до смерти должна быть одним уроком любви. Ни одного человека ты не смеешь раздражать, но каждого, с кем бы ты ни встретился, ты должен суметь успокоить. Вот и весь тебе мой завет, в нём вся твоя святыня. Иди, друг, подумай над тем, что я тебе сказал, и, если тебе будет плохо, приходи ко мне в больницу. Ты меня всегда найдёшь или тебе скажут, где я.

Франциск снял свою руку с головы юноши, но тот ухватился за его одежду и умоляюще сказал:

— Святой брат, положи ещё твою руку мне на голову, не прогоняй меня, возьми меня в слуги, я буду так счастлив жить подле тебя.

Снова, ещё шире прежнего, точно целая симфония любви, зазвучала улыбка Франциска, и он ласково сказал:

— Порыв твой прекрасен, как прекрасен этот цветок. Цветок отцветает через неделю, а порыв твоей красоты засохнет через пять дней, если ты останешься здесь. Твоя жизнь — земля в цвету тела. А дух твой ещё только зарождается, как почки на дереве. Живи, как живут твои отцы и братья, люби девушку, как любишь мать и сестру, и строй семью, как я тебе сказал, чтобы никто и никогда не слыхал твоего строгого или раздражённого голоса. Иди трудись и будь добр ко всем.

Юноша поднялся с коленей, поклонился Франциску и повернулся, чтобы уйти. Он шёл медленно, как бы нехотя, а Франциск смотрел ему вслед всё с той же улыбкой любви, которая заливала, казалось мне, всё пространство вокруг. Внезапно юноша повернул обратно, подошёл к отцу и с огромным усилием, побеждая себя, сказал:

— Отец, прости меня. Он велит мне жить в мире со всеми. Если не примирюсь с тобой, как же я буду жить в мире с другими, если всё ссорюсь с тобой? Тогда мне

Как странно я себя почувствовал сейчас! Впервые какое-то новое ощущение проникло в меня. Я ясно ощущал, что в меня от И. вливалась сила, точно раскрывались мои духовные глаза.

В первые минуты я ровно ничего не видел над балконной дверью. Обшитая жёлтым деревом стена казалась совсем однотонной. Даже намёка на орнамент не было, и никакого различия в тонах я не замечал.

Внезапно что-то слегка, как электрическая искра, мелькнуло у меня в глазах. Я подумал, что, очевидно, яркое солнце повлияло на моё зрение. Я хотел уже прикрыть глаза рукой и пожаловаться И. на прилив к глазам, как заметил, что искра на стене разгорелась, вытянулась в палочку и через миг вскрылась большая пылавшая буква, за ней другая, третья — и я прочёл целое слово. Вся моя душа наполнилась счастьем. Я не мог двинуться с места. Каждая вновь зажигавшаяся буква приводила меня в такой восторг, к ощущению такой чистой радости, какие я испытывал только в детстве на руках брата Николая. Я прочёл фразу:

Мщение, лесть, зависть и лицемерие кончены в сердцах тех, кто вошёл сюда. Тот, кто читает знаки огня, пробудил в себе огонь. Раз прочтя слово огня, ученик не может больше отдавать времени безделью. И язык его теряет жало осуждения и язвительности.

Надпись погасла. И. повернул меня влево, и я сразу увидел целый ряд горящих слов.

Путь — сам человек. Его труд — его жизнь веков. В каждое мгновение протекает его мир в сердца окружающих. Не разрывая огня ***в себе****, ученик передаёт свой свет каждому встречному, если овладел, любя, своим огнём. И гармония каждого устанавливается крепче, и растёт бесстрашие встречного.*

И росло моё счастье, моё благоговение, по мере того, как я читал. И эта надпись погасла. И. повернул меня вправо, и я увидел целый ряд слов, горевших не тем ровным жёлтым огнём, которым горели только что прочтённые мною надписи, а здесь я увидел целую феерию красок. Слова горели, как волшебный фейерверк, белым, синим, зелёным, жёлтым, оранжевым, красным и фиолетовым огнями.

Зрелище было так захватывающе прекрасно, огоньки дрожали и переливались, мерцая красками, точно проникавшими одна в другую. У меня не было сил оторваться от этого видения и, если бы не лёгкое прикосновение И. к моему лбу, которым он, вероятно, хотел мне напомнить, что я пришёл сюда не любоваться, а читать, я бы так и стоял “Лёвушкой — лови ворон”. Я перевёл своё восхищение на полное внимание и легко прочёл:

Нет людей — перлов чистой воды. Путь освобождения проходит по всем лучам, коих семь. В каждом сознании живут зачатки всех семи, но преобладает какой-нибудь один. Тот, кто имел силу пройти в дом света, носит в себе всякого луча оживший аспект и потому может видеть в каждом его свет и мир. Перед каж-

коснуться моей палочки, для чего встал во весь рост и тянулся что было мочи ко мне.

Но никакие его усилия не помогали. Он, точно приклеенный, не мог теперь двинуться с места. Я почувствовал прикосновение руки И. выше кисти, и в тот же момент я приложил палочку ко лбу карлика, который вскрикнул, хотел её схватить, пошатнулся и упал.

Я подумал, что он убит. И. продолжал свой гимн и снова прикоснулся к моей руке. Я опять приложил палочку ко лбу карлика, тот вздрогнул, вытянулся и застонал.

Моё зрение, должно быть, утомилось от напряжения на ярком солнце, но мне буквально казалось, что изо рта карлика шёл какой-то черноватый пар.

Голос И. поднялся выше, в нём послышались такие повелительные интонации, что даже все павлины опустили головы к самой земле. И. в третий раз коснулся моей руки. Я немедленно снова приложил палочку ко лбу карлика. Он сел, посмотрел с удивлением вокруг, встал на ноги, посмотрел на меня, на И. и вдруг, сморщив по-детски лицо, заплакал горькими слезами.

Сердце моё надрывалось. Я готов был обнять его, успокоить, но уже две другие руки сбросили сеть с бедняги и нежно гладили мохнатую голову. И. поднял карлика на руки и держал его, горько плакавшего, у своей груди.

Франциск сделал знак руками, что-то громко сказал птицам, и они все перебежали ко второму карлику, окружив его плотным кольцом. И. велел мне вложить палочку в чехол у его пояса и спрятать её в специальный узенький карман, совершенно не замеченный мною раньше в его одежде.

Теперь Франциск позвал меня к себе.

— Этот карлик добровольно оставляет своё грязное ремесло зла, Лёвушка. Пока я буду читать мою мантру, переноси всякий раз по моему указанию палочку с предмета на предмет во всей этой куче тряпья, что он сложил. Вот, возьми палочку. Когда вся куча распадётся в золу, подними сетку палочкой, возьми карлика за руку и выведи его сюда, совсем близко ко мне. И когда я тебе укажу, коснись палочкой его темени.

Я сделал всё, как приказал мне Франциск, и эффект от вещей, превращавшихся в золу, был почти тот же, что в Константинополе. Но только здесь всё ещё склеивалось, точно ком смолы. Как только я коснулся темени карлика, он также хотел схватить руками палочку, пытался даже подпрыгнуть, но, как и первый, не достиг никаких результатов. Но этот карлик не злобился, не плакал — он смеялся как ребёнок и выказывал все признаки удовольствия.

По указанию Франциска, я поднял палочкой сеть и подвёл к нему карлика, который бросился к его ногам, обнимая их и пытался выказать все признаки любви. Франциск поднял карлика на руки, как это сделал И., и велел увести всех птиц за исключением трёх, которых сам выбрал. Он велел также позвать сестру Александру.

Когда я передал Франциску его палочку и подошёл к И. — карлик мирно спал на его руках. К приходу сестры Александры, оба карлика уже спали и были унесены в ту комнату, где жил Макса.

Теперь поляна приняла свой обычный вид, все следы происходившей на ней борьбы Света и тьмы исчезли, и мы вошли в комнату Франциска.

Меня тревожили багровые пятна на руках его, но он сам их точно не замечал. Только я приготовился было сказать о них И., как услышал его голос:

— Сядь, Франциск, я перевяжу твои раны. Иначе ты снова сляжешь.

Франциск и раны? Где же раны? Я недоумевал, не представляя себе, чтобы безмятежный, сияющий, правда бледный, но такой сильный и спокойный Франциск мог страдать от ран. Не возразив ни слова, Франциск сел на стул и И. отвернул его рукава.

Выше тех мест, где были багровые пятна от рук крестьянина, на обеих руках Франциска были раны, точно обожжённые места, и на них уже выступали капли крови.

Никогда, ни до этого, ни потом, не приходилось мне переживать такого страдания. Франциск молчал, спокойно перенося муку, когда И. накладывал повязки на кровоточившие руки. Лицо его сохраняло такое выражение, точно он пел славословие всей вселенной, но я едва сдерживал рыдания.

Мне, как и крестьянам, которых он спас сегодня, Франциск казался святым. Почему же, зачем страдать святому? Мне хотелось подставить свои руки, только бы избавить его от страданий, только бы видеть это чудесное лицо в экстазе любви и доброты.

— Святым, Лёвушка, нечего делать на земле, я уже тебе это говорил. Могут быть на земле божественные посланники, но я не из их числа. Я — грешный человек. И всё, чем я могу помогать людям, это только, в буквальном смысле слова, меняться с ними кровь за кровь. Но выше счастья и нет для человека на земле. Я не водитель человечества. Я простой человек. Мой путь доброты ведёт меня так, как во мне живущая Гармония меня допускает. Не страдать ты должен, глядя на меня, но понять, что каждый путь есть вековая карма, от которой отказаться нельзя. Вот у тебя тоже карма: ты носишь дивный камень Учителя, который у него украли, он был опозорен и снова очищен. Знаешь ты или не знаешь — велика твоя помощь тому, кому ты его возвратишь. И все мы, тебе помогающие развить в себе психические силы носить его и вернуть его владельцу, все мы связаны огромной кармой благодарности и спасения с тем, кому ты должен возвратить камень.

Слова Франциска, как и всё виденное сегодня, не до конца были мне понятны. Но я ни о чём не спрашивал, я уже теперь знал, что И. скажет мне всё, что и когда я буду в силах понять.

Попрощавшись с Франциском, мы с И. покинули территорию больницы и возвратились домой.

Я шёл с трудом, И. поддерживал меня и уложил в постель, как только мы вернулись в наш дом.

Через час Ясса повёл меня в ванну. Сам И. давал ему указания, как применить массаж. Но и после ванны и массажа мне было не по себе. Пришлось снова лечь в постель.

Я даже не мог во всём происшедшем дать себе точный отчёт. Не мог сообразить, который сейчас час, меня всё больше охватывала слабость, озноб, и я забылся в беспокойном сне.

были видны маленькие домики, несколько озёр, а за ними снова лес до самых голых скал.

Пейзаж заканчивался сурово. В нём не было той радостности и мягкости, которыми я любовался каждое утро. Но очарования в нём было не меньше. Я, разумеется, обо всём забыл, вышел на балкон и ещё больше поразился, рассмотрев, как был устроен балкон и построен сам дом.

Балкон состоял из двух переплетённых стволами деревьев, близко росших к стене дома. А стена дома, как и весь он, оказывалась скалой, в которой были выдолблены и обшиты деревом комнаты. Чем-то вековым веяло от этого балкона. Я впервые видел такие деревья, которые служили комнате балконом. Огромные, мощные, корявые, они буквально были осыпаны цветущими ветвями. Большие душистые кисти напоминали сирень, но были много больше и цвет их был апельсиновый.

— Ты так поражён, Лёвушка, что даже не прочёл надпись над входной дверью. А между тем она не менее замечательна, чем дом-скала.

— Простите, И. Я так перехожу от одной неожиданности к другой, что упустил самое главное, хотя вы и говорили мне о надписях.

Я стал искать надпись, но, кроме художественных орнаментов, ничего не находил. Я уже хотел перенести внимание на другую часть стены, как мне показалось, что я начинаю различать два тона орнамента. Присмотревшись ещё внимательнее, я нашёл и третий тон оранжевой краски, и увидел ясно начертания букв пали. Но как связывались эти буквы, я никак сообразить не мог. Наконец я различил, что шли три надписи, одна над другой, и даже вскрикнул от радости, когда понял первые слова:

Не ищи понять глубину смысла там, где не находишь помощи в собственном самообладании,—

прочёл я медленно, но без запинки первую надпись, в самом низу, наиболее густого тона.

Глядя на человека, не меряй его дух и высоту, но открывай ему твоих святынь дары и радость,—

читал я вторую надпись.

Обмирая от страха, не входи в знание. Только бесстрашный находит вход в храм истины,—

закончил я чтение третьей надписи над входной дверью.

Я уже отвернулся от входной стены, а слова всё ещё горели в моём сердце. Точно так же, как в первый день, когда я вошёл в комнату Али, я всё сохранял слова его надписи, как огненные знаки, в своём сердце.

— Прочти теперь надпись над балконной дверью. Я думаю, ты сможешь прочесть её не менее легко, — сказал И., положив мне на плечо руку.

кольца. Совершенствование человека — это постепенное изменение его ауры. И аура изменяется только в труде серого дня. Вообразить себе, что обычный серый день земли — это серия тех или иных отношений людей к человеку; удач или неудач, зависящих от расположения к нему или предубеждения окружающих, имеющих власть помочь или помешать своей протекцией, — это самая низшая ступень, где ещё не вошло в движение по делам и людям *творчество* духа человека. Такой человек ещё только мастер, делающий свой труд в тех или иных масштабах по сноровке и знанию элементарных требований одной земной науки; но он не тот вдохновенный артист, вносящий *сам своё* творчество в день, для которого *вся вселенная* звучит. Звучит не радостью временного и преходящего, но любовью *Вечного*, где развязаны предрассудки жизни и смерти земли. А существует *одна вечная Жизнь*. Проходи день, видя в нём всегда этап к этому пониманию Радости, звучащей во всей жизни. И никакие тревоги и страдания людей не будут нарушать для тебя Гармонии, потому что твоя, *в тебе* живущая гармония будет прочней всех колеблющихся, неустойчивых сил, окружающих тебя. Храни об этом память. Этот дом — начало целого ряда домов такого же оранжевого цвета. Ты их увидишь разбросанными по парку, который ты издали принимал до сих пор за лес.

Всё это время мы стояли в большой комнате, направо от холла, назначения которой я не понимал. В быту я назвал бы её диванной или назначенной для курения. По всем её стенам тянулись диваны, обтянутые красивой оранжевой материей. У внутренней стены был сделан большой камин и стояло кресло, напоминавшее формой кресло в комнате Али. Пол был устлан циновками, очень красивыми по гамме оранжевых тонов и очень изящного плетения.

Я хотел спросить у И. о назначении этой комнаты, но он взял меня под руку и повёл по лестнице наверх.

— Какая чудесная лестница! — не удержался я от восклицания, лишь только мы вошли на первую площадку. Запах от дерева и цветов был такой приятный, свежий, точно в нововыстроенном доме, где дерево издаёт аромат чистейших эманаций солнца и воздуха.

— Здесь дерево кедров, эвкалиптов и камфарных деревьев. Все они вместе издают этот прекрасный запах. Сейчас ты войдёшь в мою комнату, Лёвушка, в такую же для всех закрытую комнату, как белая комната Али. Теперь ты настолько знаешь язык пали, что сможешь прочесть все надписи в ней.

Я был поражён. Я представлял себе, что Али имеет в Общине свою комнату, так как он был хозяином имения и мог располагать в нём всем, чем хотел. И вдруг у И. есть здесь тоже своя особая комната, куда запрещён вход!

Мы поднялись на самый верх, пройдя мимо второго этажа, где было много дверей по коридору направо. Мы же свернули налево и по узкой, такой же ароматной и украшенной цветами лестнице попали в нечто вроде мезонина, вернее сказать, башни.

Комната была круглая, окна овальные, с выпуклыми стёклами, точно фонари. Балконная дверь была настежь открыта. Когда я подошёл к ней и взглянул вниз, я так и остановился, прикованный на месте.

Аллея высоченных, развесистых, густых елей, такая длинная, что ей, казалось, и конца нет, делила с этой стороны парк на две половины. И сколько хватал глаз,

Глава 4

Я знакомлюсь ещё со многими домами Общины. Оранжевый домик. Кого я в нём видел и что было в нём

Я проснулся, как мне показалось, от какой-то тяжести на плече и лёгких толчков по руке. Не сразу сообразив, где я и что со мной, я открыл глаза и тут же вовсю расхохотался.

Мой маленький друг павлин, который теперь стал уже не таким крошкой, забрался на моё плечо и преуморительно будил меня. Привыкнув ходить с нами купаться в определённый час, он давал мне знать, что пора вставать. Мало того, умилительная птичка не удовольствовалась тем, что разбудила меня. Она соскочила с постели, подбежала к настежь открытой балконной двери, посмотрела вдаль и, выказывая признаки беспокойства, махая крыльями и издавая резкие звуки, как бы о чём-то молящие, вернулась к моей постели. Подёргав клювом моё одеяло, павлин снова подбежал к балкону и снова вернулся ко мне, издавая ещё более резкие звуки. Он старался дать мне понять, чтобы я посмотрел, что именно его беспокоит.

Весело смеясь, я поднялся и подошёл к балкону. Каково же было моё удивление, когда я увидел вдали, по дороге к озеру И., уже подходившего к скале, за которой он должен был сейчас скрыться. Я расцеловал моего заботливого друга, который радостно замурлыкал, чем ещё больше меня насмешил. Мигом одевшись и не забыв на этот раз красиво расчесать свои кудри, чему меня обучил Ясса, схватив в охапку простыню и павлина, я помчался догонять И.

Я чувствовал себя совершенно здоровым и в эти первые утренние минуты забыл или, вернее, не вспомнил о том, что было вчера.

Я уже настолько привык к жаре, что палящее солнце не составляло больше для меня мучения, как это было в Константинополе или у моего брата в К. Я теперь мог идти очень быстро. Я почти постиг искусство ходить по пыльной дороге не пыля и не уставая.

Когда я домчался до нижнего озера, я увидел И., стоявшего возле одной из купален с каким-то высоким человеком. Стройная фигура незнакомца и его лицо были примечательны. Он не походил на туземца, хотя был брюнетом. Орлиный нос с очень красиво выгнутой горбинкой — всё говорило мне, что это грузин, а по его походке, лёгкой, как бы танцующей, плавной, я угадал в нём горца.

— Лёвушка, — радостно обернулся И. на громкое приветствие моей птички. — Как это ты, соня, проснулся? Это надо отнести к разряду чудес, что нам с Яссой не пришлось тебя сегодня расталкивать, — смеялся И.

Он взял моего павлина на руки, а тот бесцеремонно взгромоздился ему на плечо и тёрся головкой о его щёку. Поглаживающий птичку по её чудесной спинке, рядом с горцем-орлом, на фоне синего озера, под ярким солнцем, И. был так прекрасен, что я не смог удержать порыва моего восторга, обнял моего друга и молил его:

— И., миленький, не откажите мне! Я хочу иметь ваш портрет именно таким, здесь, у озера, с моим павлином на плече, утром. Мне кажется, что ваша поза, вся ласковость и энергия точно благословляют весь день, всех людей, посылая им силы творить и любить. О, И., не откажите мне! Я попрошу Бронского, чтобы его приятельница нарисовала мне вас таким. Только согласитесь позировать синьоре Беате.

— Ненасытный Лёвушка, мало тебе моего постоянного присутствия днём? Ещё и ночью я должен висеть над тобой! И снова, мой друг, ты проштрафился, выражаясь по твоей манере. Приведи себя в равновесие, освободись от чрезмерного восхищения моей персоной и познакомься с одним из моих и Али друзей.

И. говорил так ласково, глаза его лили такие потоки любви и радости, каких, как мне казалось, я ещё не замечал в нём.

— Это мой старинный друг, Лёвушка, мой сподвижник во многих делах, которого я давно не видел. Зовут его, для тебя, Никито, а фамилия его Давшчвили. А это — Лёвушка, граф Т., — представил нас друг другу И.

На лице незнакомца изобразилось удивление, он оглядел меня с головы до ног, посмотрел на И. и вдруг я, точно что-то вспомнив и сообразив, закивал мне головой, очаровательно улыбнулся и протянул мне обе руки.

Его молчаливое приветствие, глубокое радушие которого я ощущал всем сердцем, меня, в свою очередь, удивило. Что-то было в этом человеке особенное, мне даже подумалось, что он глухонемой, так пристален был его взгляд.

Протянув ему так же обе руки, я посмотрел в его глаза, зная, что глухие и немые смотрят в рот человеку. Но Давшчвили смотрел мне прямо в глаза. Взгляд его был добрый, прямой, честный. Но был ли он глухим, я не решил и услышал смех и слова И.:

— Ведь ты больше не немой слуга в горах Кавказа, Никито. Твоя привычка многолетнего молчания поразила Лёвушку, ждавшего от тебя словесного привета. Он, наверное, решил, что ты немой.

— Простите, — сказал мне Никито, — я так привык долго молчать в одиночестве, что теперь не сразу могу пользоваться речью, чем сбиваю с толку людей. Но на этот раз я знаю, что не только моя молчаливость смутила вас. Я не сумел скрыть своего удивления, когда услышал вашу фамилию. А удивился я ей потому, что много лет назад свирепая буря в горах загнала под мой кров неожиданного гостя. Буря справляла пир чуть ли не целую неделю, дороги замело так, что путнику пришлось прожить в моей сакле всю эту неделю. Гость мой был офицер и фамилия его была такая же, как ваша.

В первый момент нашей встречи я не нашёл сходства между моим гостем и вами. Но несколько минут спустя я отчётливо вспомнил лицо моего гостя и могу поручиться, что он был вашим братом. Овал лица, разрез глаз и губ — всё одинаковое. Но кудри вашего брата светлые, как и глаза, вы же брюнет. У меня память на лица исключительная. Если бы И. и не назвал мне вашей фамилии, я всё равно сам спросил бы вас о ней.

Давшчвили говорил по-английски с сильным акцентом. Я подумал, что он и по-русски должен говорить так же нечисто. Мысль, что он был гостеприимным хозяином брата, быть может, спас ему жизнь, сразу сделала мне Никито близким и дорогим. Всё ещё держа его руки в своих, я горячо сказал:

— О, Учитель, если бы не ваше милосердие, если бы вы не подобрали меня, этой минуты свидания никогда бы не было. Простите мои слёзы, я снова показала, что недостойна того, что вы и дядя для меня сделали.

Теперь Лалия стояла близко подле меня, и я мог отчётливо видеть, что ей не могло быть более шестнадцати-семнадцати лет, а волосы её были... седые, совершенно, по-настоящему седые! Какую же драму должно было пережить это существо, чтобы волосы стали белыми!

За Лалией стояла вторая девушка и, тихо улыбаясь, смотрела на Никито, ожидая возможности приблизиться к нему. В её чёрных глазах светилась не только любовь. Я почувствовал, что преданности её нет границ. Отстранив слегка Лалию, Никито протянул руку девушке.

— Ты, Нина, всё такая же скала, какою была в восемь лет, когда я оставлял тебя на твою старшую сестру. Если я ни разу не пал духом за эти семь лет, что пробыл в разлуке с вами, в моём суровом горном ущелье, то образ девочки, ребёнка с горячим сердцем, был мне не последним прибежищем, где я черпал силы. Спасибо тебе. Возьми Лалию, я приду к вам обеим через несколько часов.

Никито передал Нине её сестру, которую та нежно обняла и старалась утешить всё ещё тихо плакавшую Лалию. На предложение И. отпустить её домой и вызвать на работу кого-либо другого, Лалия быстро отёрла глаза, низко, в пояс поклонилась И. и ответила:

— Простите ещё раз, Учитель, теперь я уже никогда не заплачу. Это были мои последние слёзы, слёзы вечно лежавшие камнем на сердце от скорби, что моё непослушание сломало всю линию жизни дяди Никито, спасшего нас с сестрой от смерти. Теперь я дышу легко, моё сердце освободилось от вечной печали о дяде. Я буду продолжать работать.

— Если бы все эти годы ты могла носить на сердце не камень скорби и раскаяния, а несла бы легко в мыслях образ дяди, посылая ему радость, бодрость и весёлый смех, дитя, ты бы сократила срок его жизни в горах, в разлуке с вами наполовину. Запомни это. И если находишь силы работать сейчас — работай.

Весь под впечатлением неведомой мне драмы я вышел из комнаты под руку с И. Моё радужное счастье, мир и спокойствие, испытанные мною при входе в этот дом, были потрясены точно грозой или грохотом снарядов. “Неужели же нигде в мире нет безмятежного спокойствия, нет гармонии, которые бы не потрясались драмами человеческих сердец?” — думал я и услышал слова моего друга, как всегда, заглянувшего под мою черепную коробку.

— Жизнь, Лёвушка, борьба и вечное движение в ней. Никакие стены не могут защитить от бунта страстей в себе. Раскрыть новую страницу жизни — это не значит дать обет и вступить в тот или иной орден, ранг или чин. Мир, безмятежный и незыблемый, приходит в сердце человека тогда, когда Любовь его раскрылась и он увидел, как в нём самом и в окружающих его людях, цветах, деревьях, животных мчится волна *Единой Жизни*. Тогда пропадает и временное, условное в понимании человека. И сердце его уже не может умолкать для *Вечного* ни на одну секунду, и воспринимает он встречного без этой оболочки на глазах. До этих пор все люди подвержены драмам и трагедиям, колебаниям между иллюзиями личного и радостью *Реального*. И всюду они вносят с собой свои взбудораженные аурические

Мне вспомнилась лестница с жёлтыми цветами и бирюзовыми вазами в доме сэра Уоми в Б. Вспомнилась Хава, о которой я давно не имел вестей, и... вспомнилась Анна, на плечах которой я видел однажды хитон такого же цвета, как эти цветы.

Мысли об Анне вообще не раз посещали меня, а сейчас я как-то особенно резко ощутил её в моём сердце, думая о её несчастье и о своём счастье. Ведь она могла бы быть здесь, рядом с нами, вместе с Анандой и жить этой волшебной жизнью, в которой купаюсь я.

— Уж не ждёшь ли ты, Лёвушка, чтобы наверху открылась дверь и сюда спустилась Хава? — оторвал меня от моего ловиворонства голос И.

— Вы не ошиблись, И. Комната и лестница действительно вызвали во мне воспоминания о Б., доме сэра Уоми и, конечно, Хаве. Но не о ней я задумался сейчас так глубоко, а об Анне. О милой, дорогой Анне, о её музыке, которой здесь так не хватает, и об её жизни в эту минуту. Мне кажется, я согласился бы прожить отшельником и молчальником года два, лишь бы Анна стояла в эту минуту здесь, рядом с вами. Этот домик производит на меня не менее сильное впечатление, чем дом сэра Уоми. Что-то в нём очаровывает, пленяет меня, и я чувствую на сердце такое же спокойствие, такую же радость, как при входе в комнату Али. Почему это?

— Скоро ты узнаешь этот домик ближе и, быть может, сам решишь этот вопрос.

Налево от холла была большая библиотека. Здесь было довольно много людей. Кое-кто перебирал каталоги, иные сидели за столиками и просматривали стопки книг, очевидно отбирая то, что им нужно. Иные расставляли книги по полкам, а некоторые читали, углубясь и не обращая внимания ни на что. Особенно меня поразили две совсем молоденькие девушки, выдававшие книги за красивыми конторками, украшенными цветами.

И эта комната-библиотека была прекрасна. В ней было три окна, больших венецианских окна, и вид из них на противоположную сторону и горную цепь был не менее прекрасен, чем из окон моей комнаты.

Девушки за конторками, получив требование на книги, бесшумно, точно скользя, проходили к полкам. Одна из них была совсем светловолосая, другая была шатенка, обе черноглазые, стройные и удивительно похожие. “Сёстры”, — подумал я и только хотел спросить об этом И., как та, что посветлее, увидела Никито и с криком “Дядя!” бросилась ему на шею.

Жизнь всей комнаты, такой оживлённой за минуту, замерла, точно по движению волшебной палочки. Все остановились в тех позах, как стояли или сидели. У меня тоже ноги пристыли к месту, а глазами я, как все, не мог оторваться от девушки, обнимавшей Никито и рыдавшей на его груди.

Что было в этом крике, так поразившем всех? Радость? Мольба? Нет, это был скорее вопль о прощении, счастье оттого, что беда миновала. И. подошёл к девушке, притронулся к её плечу и ласково-ласково сказал:

— Лалия, о чём же ты плачешь? Ведь теперь уже нет препятствий, что стояли перед тобой, раз дядя Никито вернулся. Если ты столько лет страдала от своей оплошности, то теперь видишь его живым и здоровым, выполнившим за тебя урок. Не создавай новой драмы, а постарайся забыть все скорби прошлого.

— Как я хотел бы слышать от вас, Никито, подробное описание тех дней жизни брата, которые он провёл с вами. Я так давно его не видел, так долго ещё не увижу, что был бы счастлив поговорить с вами о нём.

— Что же тебе нужнее в первую очередь, Лёвушка? — передавая мне павлина, спросил И. Мой ли портрет или описание жизни брата Николая у Никито?

— Конечно, И., ваш портрет мне нужнее, потому что в нём для меня символ всей жизни, которую я понял через вас. Владея вашим портретом, я надеюсь навеки запечатлеть его в сердце, как путь счастья и силы, которые вы научили меня понимать. Если бы я теперь услышал, как прожил мой брат неделю в глуши гор, почти заживо схороненный в буране снегов, я понял бы, вероятно, многое иначе, чем до моей встречи с вами. Символ белого павлина, который я видел на коробках Али, Флорентийца и моего брата...

Я не договорил моей фразы. Живой павлин, которого я держал на руках, взяв его от И., вдруг точно прорезал какой-то туманный занавес в моей памяти. Я вспомнил вчерашнее. Вся картина поляны, и на ней две фигуры — И. и Франциска, окружённые снежными кольцами павлинов с сияющими золотыми хвостами, до того ясно и чётко вырисовалась в моей памяти, что я мгновенно забыл всё остальное и стоял оглушённый потоком новых мыслей, новым озарением.

Вчера я не мог осилить всего величия труда, в котором участвовали птицы-братья, помогавшие вырваться своим карликам-братьям из цепей и мук зла. Не знаю и сейчас, сколько, как и где я стоял. Я точно читал слова письма Али: “И пусть этот белый павлин будет тебе эмблемой мира и труда для пользы и счастья людей”. Резкая боль в пояснице — должно быть, я неловко повернулся — заставила меня прийти в себя. Опомнился я окончательно только в купальне, на берегу нижнего холодного озера. Мой птенчик сидел у моего изголовья, а И. и Никито стояли возле меня. В руках И. был флакон Флорентийца, я его узнал и понял, что, очевидно, дело не обошлось без моего обморока.

Как это ни странно, но когда я теперь смотрел на Никито, какие-то смутные воспоминания, что-то из далёкого детства, вставало в моей памяти. Мне казалось, что его лицо, такое сейчас заботливо-нежное, связывалось в обрывках моей памяти с горами Кавказа, с лошадью, с каким-то путешествием, но ничего определённого я вспомнить не мог и, махнув рукой, решил, что это снова штучки моей “дервишской шапки”. Всё же, когда Никито прикоснулся ко мне, помогая встать, это прикосновение показалось мне знакомым.

— Ну, Лёвушка, попробуем искупать тебя в холодном озере, как рекомендовала Наталья Владимировна, — сказал мне И.

— Так она, дорогая моя приятельница, снова здесь? — Никито был очень удивлён, когда узнал, что Андреева не только снова здесь, но и живёт в доме первой ступени, как он выразился о нашем домике.

На мой вопрос, что значит “первая ступень”, он ответил мне, что первых ступеней много, в смысле жизни Общины и в бытовом, и в духовном отношениях. Первая ступень, как её надо понимать в смысле дома, — это род распределителя, где каждый человек не выбирает себе нравящегося ему места в жизни, а живёт именно там и так, как его духовные силы дают ему возможность. И именно эти силы определя-

ют его место в Общине, не давая ему возможности жить иначе, в каком-либо другом доме Общины.

О себе он сказал, что живёт сейчас в доме пятой ступени, а жил много лет назад, уезжая отсюда, в третьей. Но, возвратившись, теперь нашёл дом пятой, которого даже не видел, когда жил в третьей.

И. сказал мне, что, если я выдержу моё купание благополучно, он проведёт меня к тем домам Общины, где мои силы дадут мне возможность жить и дышать. Он прибавил, что можно обладать очень высоко развитыми психическими силами, даже быть источником больших откровений для людей и всё же, по недостатку гармонии в своём собственном организме, не иметь сил выносить вибрации тех ступеней, где атмосфера требует именно гармонии как начальной, исходной точки существования.

Человек, не справляющийся с рвущимися из него токами сил, задыхается в более высокой атмосфере гармонии, останавливается перед нею, как перед самой плотной стеной, хотя внешних препятствий перед ним никаких не существует. Стена эта создаётся его собственными, бурно рвущимися из него со всех сторон токами, закрывающими пеленой его собственное духовное и физическое зрение. И человек даже не видит входа или дороги в те места, где живут более развитые и сложившиеся в высокую гармонию существа.

Моё купание, к счастью, обошлось без всяких эксцессов, если не считать, что температура воды по сравнению с воздухом была чрезвычайно низка. Возможно, что на самом деле она и не была уж так низка, но мне вода показалась ледяной. Когда я погружался в воду, она шипела, точно газированная, и покрывала всё тело слоем серебристых пузырьков. Даже когда я вышел из воды, я весь был в них, как в серебряной броне, и красен как рак. Но зато до самого дома, всю дорогу по зною, я ощущал прохладу, и жара оставляла меня нечувствительным к её каверзам.

Когда я вошёл в столовую, первой меня приветствовала Андреева.

— Ах, мистер шило-граф, до чего же вы изменились и похорошели за то время, что я вас не видела. Уж не купаетесь ли вы в нижнем озере?

— Вы очень точно угадали, Наталья Владимировна. Я выкупан сегодня в холодном озере, и переживания мои напоминают, по всей вероятности, чувства лохматого пуделя, брошенного с печки в замерзающий пруд. Хорошеют ли от этого, я не знаю, ещё не имел случая наблюдать.

— Ох, уж эти мне писатели, — вздохнула она, притворно делая несчастную гримасу. И вдруг как-то наморщила брови, распустила губы, придала доброе-предоброе выражение всему своему резковатому лицу — ни дать ни взять Ольденкотт.

Я так и покатился от смеха. Тут же вспомнил, как Флорентиец изображал в парке в К. английского лорда молодым поручикам, — и смеху моему не было удержу. Сама же Андреева мгновенно переменила игру лица на обычное своё выражение и наивно спрашивала И., не знает ли он причины моего необычайного веселья. И. ответил, что лично он не знает, но не сомневается, что мистер Ольденкотт знает наверное.

— О да, я знаю и не удивляюсь, что вашему другу смешно, — сказал входивший Ольденкотт. — Это так невообразимо — найти сходство со мной в лице Натальи Владимировны, что я и сам бы смеялся, если бы не боялся рассердить мою приятельницу.

нения, упрямства, самомнения, споров о том, кто прав, кто виноват. Вместо доброжелательства друг к другу и мира, что несут с собою всюду освобождённые, человек, ухвативший мираж знаний, несёт людям раздражение и оставляет их в неудовлетворённости и безрадостности. Проверь и присмотрись. Тот, кто легче всех прощает людям их греховность, — всегда несёт людям в каждой встрече доброту, милосердие и мир. В них он каждую встречу начнёт, в них её и кончит. Тот же, кто вошёл в дом и принёс раздражение, тот всегда неправ, хотя бы свой приход он объяснял самыми важными причинами.

Мы стояли на вершине холма и смотрели на долину, когда из-за огромных кустов цветущих азалий показались два человека. Я тотчас узнал высокие фигуры Освальда Растена и Жерома Манюле. И. познакомил меня с ними в первый день приезда в Общину и с тех пор я их не видел. Теперь я понял, что они жили здесь и поэтому я их не видел в парке возле наших домов.

У меня мелькнула мысль, как было, вероятно, трудно И., такому мудрому, жить всё время в обществе неуравновешенных людей да ещё иметь в самом близком общении такого болезненного, рассеянного ученика.

Вновь подошедшие радостно приветствовали И., которому сейчас совсем иначе поклонились — глубоким поклоном, напомнившим мне поясной поклон монахов, тогда как в столовой парка они приветствовали его общепринятой формой рукопожатия. И., отвечая на их приветствие, положил каждому из них руку на голову, точно благословляя их или призывая на их головы чьё-то благословение. Он указал им на Никито.

— Это тот брат с Кавказа, о котором я говорил вам и которому я поручаю вас как ближайшему наставнику. Завтра он придёт к вам, и вы выработаете все вместе программу своих занятий. Кроме того, недели через две-три мы поедем в дальние части Общины, и если брат Никито найдёт возможным, он возьмёт вас с собой. Теперь же пройдёмте в ваш дом, чтобы Лёвушка мог увидеть вашу жизнь. Ему вскоре придётся перебраться сюда.

Мы стали спускаться с холма, пересекли долину и поднялись к оранжевому домику. Он особенно чудесно выделялся среди синих и белых цветов, тёмных клёнов, дивных огромных кедров и совсем меня сразивших белых акаций. Точно колоссальные снежные шапки стояли эти красавицы, разливая вокруг упоительный аромат.

Как только мы вошли в калитку сада через прелестную изгородь, утопавшую в цветах, нам навстречу побежали два белых павлина, сидевших на возвышениях лестницы, среди живых цветов. Птицы были большие, красивые и показались мне очень спокойными, точно кто-нибудь специально занимался их воспитанием.

Оба павлина бежали прямо к И., который поднёс каждому из них по ломтю сладкого хлеба, ласкал их, улыбаясь, и говорил им какие-то слова. Неся хлеб в клювах, птицы вспрыгнули снова на свои места и только там начали есть свой хлеб.

Очаровательный домик, куда мы вошли, имел большой холл, из которого поднималась наверх лестница, очень красивая, тёмного дерева, вся уставленная цветами вроде лилий и мимоз жёлтого, почти оранжевого цвета.

шишь, кого встречаешь и кого оставляешь, без разрешения своего Учителя. Научись молчать, научись держать в тайне то, что Учитель не велел рассказывать. В данное время Учителем твоим являюсь я. Хочешь ли ты двигаться дальше за мной, до тех пор пока сюда не приедет Флорентиец, и ты пойдёшь, уже подготовленный, за ним?

Я был глубоко тронут всем тем, что сказал мне И.

— Если только вашей любви и терпения хватит на такого рассеянного ученика, я буду счастлив, потому что всем сердцем люблю вас и давно в нём назвал вас моим Учителем. Я обещаю приложить всё моё усердие, всё внимание, чтобы облегчить ваш труд, мой дорогой наставник, мой верный друг и Учитель.

— Я рад служить тебе, Лёвушка, всеми моими знаниями и всею моей верностью любви и дружбы. Не пойми превратно моих слов о тайне ученического пути. Мы с тобой уже не раз говорили, что тайн в мире духовных сил нет. Есть та или иная степень знания, то есть та или иная степень освобождения. Поэтому убеждения людей, их моральные требования, их радостность или уныние в единении друг с другом, доброжелательство или равнодушие и т. д. — всё зависит от степени их закрепощённости в личных страстях или от их освобождённости. Субъективизм человека и отрицание им своей современности, под тем или иным предлогом, всегда служат явным и верным признаком его невежественности. Поэтому думать, что ты можешь кого-либо поднять к более высокому миросозерцанию, если приобщишь его к своей той или иной истине, раскрывшейся тебе благодаря твоему собственному труду любви, — это составляет такое же заблуждение, как пытаться объяснить немузыкальному человеку прелесть песни. Отдавая другому самую драгоценную и неоспоримую для тебя истину, ты не достигнешь никаких положительных результатов, если друг твой не готов к её восприятию. А профанировать свою святыню ты всегда рискуешь. И не потому, что человек, которому ты её открыл, зол или бесчестен. Но только потому, что он ещё не готов. Об этом говорится: “Не мечите бисера...” С другой стороны, тот, кто прошёл все ступени освобождения, тот понял до конца *Любовь*, творящую в той части вселенной, где он живёт. Когда он начинает понимать это творчество Любви, его взору открываются все плотные покровы человека. И он в состоянии читать в другом не только движение его мыслей в данное сейчас, но и всю его кармическую судьбу. Раскрывая тебе то или иное, я не могу не видеть, *что* ты можешь понять сейчас легко и просто, *что* причинит тебе большое напряжение и *чего* ты не сможешь принять, так как не раскрылись в тебе ещё те начала, по которым могут и должны пронестись все твои индивидуальные силы, чтобы слиться с силами природы. Есть целый ряд знаний, войти в которые может только сам человек. Ввести в них ничья посторонняя помощь не может. Развиваясь, освобождённый человек сам ставит — свои, по-своему — вопросы матери-природе, и она ему отвечает. Это не значит, что каждый, ещё ничего не понимающий в пути ученичества человек, способен ставить природе те вопросы, до которых он своим умничаньем додумался. Прочёл человек десяток-другой умных книжек, побыл членом, секретарём или председателем каких-либо философских или теософических или иных обществ, загрузил себя ещё большим числом условных пониманий и решил, что теперь он готов, что он водитель тех или иных людей, что знания его — вершина мудрости. Здесь начало всех печальных отклонений. Здесь начало разъеди-

Почему-то сегодня все окружающие меня вызывали во мне особенно острый интерес. До сих пор я был близок только с Бронским, помогавшим мне воспитывать моего птенца, и дружба наша всё возрастала. Благодаря его огромному знанию всего света и людей, которых он покорял своим талантом, благодаря его дару наблюдательности, внимания и умению вовремя вспомнить нечто характерное из своих наблюдений, он был интереснейшим рассказчиком и педагогом. Он говорил всегда образно, красочно, по существу, и от общения с ним росло и моё понимание искусства и людей.

Альвера Черджистона я встречал только за столом, как и некоторых других, с кем я познакомился вначале. До сих пор моё внимание останавливалось только на том, о чём говорили мне И. или Франциск. Но сегодня, после купания и пережитого на лесной поляне вчера, я стал пытливо всматриваться в галерею лиц сидевших со всех сторон людей.

Впервые я совершенно чётко осознал, что все здесь собравшиеся люди живут также своей внутренней, тайной для других жизнью и что их переживания здесь, вероятно, полны такими же чудесами и делами, каким я был свидетелем и даже действующим лицом вчера.

Я слышал, что Андреева пишет труд огромного значения, что у неё есть своя особая миссия, к которой она здесь готовилась уже не раз, и теперь снова готовится вынести в широкий мир целый поток новых знаний для людей. Услышанные же сегодня слова о ней Никито и И. ещё больше пробудили мой интерес. На ней остановились мои глаза, и я встретился с её взглядом, пристальным и... печальным. Удивительно менялось это лицо! Точно вода на поверхности озера, оно отражало все колебания её духа. Только так недавно лицо это носило следы мальчишеской шаловливости, юмора, и черты его, грубые и нескладные, били в глаза своей непропорциональностью. А сейчас оно было тихо, спокойно, печально и — к моему изумлению — прекрасно. Я не могу подобрать иного слова. Оно было истинно прекрасно! Черты смягчились, точно их покрыла волшебная вуаль доброты, и взгляд её не сверлил и не жёг, а точно любил, благословлял, преклонялся. Мудрость озаряла её лицо, и, если бы я в самом начале увидел *эту* Наталью Владимировну, я не узнал бы её в бурной и шумной подруге Ольденкотта. Её обаяние и очарование заворожили меня, а когда я услыхал вместо резковатого мягкий, бархатный голос, я даже в первый момент не сообразил, что это говорит она.

— Не каждому дано войти в комнату Али. Не каждому дано принять участие в наивысшей помощи человечеству. Путь радости — это путь вовсе не совершенных, но непременно примирённых. А примирённые — это не внешне спокойные, а внутри, в сердце носящие мир. Можно быть верным до конца, нести задачу большого значения, выполнять её успешно, и всё же не уметь подняться выше в своей гармонии. Не шилами вашими вы будете смотреть и видеть сегодня, но знанием, что открыло вам живое, мирное сердце. Но печалиться о тех, чьи лица вам кажутся печальными, нет смысла. Чем печальнее ваш встречный, — тем крепче должна быть ваша радость, потому что только тогда он может сбросить на вас часть своей скорби. Скорбь и страх умирают в присутствии Мудрости. Не обо мне и моих тайнах думайте, но о тех минутах счастья, где можете пройти мимо любого человека в пол-

ном самообладании. Только тогда вы будете помощью всем нуждающимся в гармонии, когда научитесь радоваться, встречая печальных.

Андреева говорила тихо, голос её тонул в общем шуме, но я слышал каждое её слово так чётко, как будто бы она говорила мне прямо в ухо.

Завтрак кончался, когда я увидел подходившего к нам Никито. И снова смутное чувство, что я вижу этого человека не впервые, охватило меня. Пока он здоровался с Кастандой и Андреевой, я всё присматривался к нему, но никак не мог решить, где бы я мог его видеть. Среди встреч последних месяцев я такого лица не помнил. А между тем чувство близости к нему сейчас было во мне ещё живее, чем у озера.

Простившись с Андреевой, которую я сердечно поблагодарил за её слова, я поспешил за И. и Никито, уже вышедшими в аллею стройных и высоченных пальм. Мои друзья шли по аллее до самого конца парка и повернули влево, в узкую тропу среди бамбука, который я до сих пор считал непроходимым.

— Вот так чудо, как здесь тенисто, прохладно! Вот где надо прятаться от жары. И как это мне не приходило в голову, что я могу найти проход в этих джунглях?

— Много раз ещё ты будешь так думать, Лёвушка, пока будешь жить в Общине. Так же ты будешь открывать Америки там, где раньше видел один лес или горы. Мало того, ты будешь знать прекрасно местоположение того или иного дома здесь, но в зависимости от твоего внутреннего подъёма или падения ты будешь точно находить их или абсолютно терять к ним путь. Не исключена возможность, что в один прекрасный день ты не найдёшь дороги к островку Али и не сможешь пройти в его комнату. Чистота и бесстрашие — первые условия духовного зрения.

Таким путём, чем шире идёт раскрепощение в человеке, тем скорее все его качества переходят в аспекты Единого, пока по восходящим ступеням освобождения весь Единый в человеке не загорится огнём. И вот по этим-то ступеням и построены дома в Общине. Здесь вообще уже нельзя встретить человека, колеблющегося между злом и добром. Здесь живут только те, в ком все аспекты Единого вскрыты и движутся. Но так как нет ни одного человека, в котором его освобождение шло бы так, как оно идёт у другого, то путь Света, *теми*, кто пришёл к совершенству раньше, приспособлен к самым разнообразным возможностям для всех тех, кто идёт за ними или ищет самостоятельно освобождения.

Сейчас мы входим в дома второй ступени. Их здесь семь. Почему их семь и почему каждый из них разного цвета, об этом вам скажет И., Лёвушка, когда для этого настанет пора.

При последних словах Никито мы вышли из бамбуковых зарослей и попали на чудесную поляну, где среди зелёного луга цвели самые разнообразные цветы. Многие из них были таких форм и красок, каких я ещё никогда не видел. Поляну пересекали в нескольких местах дорожки, лучеобразно расходившиеся в разных направлениях.

И., шедший впереди, выбрал центральную, прямую дорожку, ведшую к холмам, поросшим пальмами и эвкалиптами. Когда мы поднялись на холм, я остановился в восхищении. За рядом холмов, на вершине одного из которых мы стояли, расстилалась широкая поляна, с рядом очень красивых, больших, средних и совсем маленьких белых домов и домиков.

По другую сторону долины также возвышались холмы, несколько выше тех, на которых мы стояли. Весь их скат был покрыт густым, роскошным лесом всевозможных лиственных пород, но кое-где темнели и могучие кедры. Там и сям, как вкрапленные цветные камни, в зелёной оправе пальм и леса, стояли изящные домики самых разнообразных форм и цветов, причудливых и простых стилей. Особенно пленил меня фиолетовый дом в стиле старинного средневекового замка с башенками, лестницами и балконами.

Среди яркой зелени, под блеском лучей, проникавших между деревьями, с широкой белой лестницей посредине и спускавшимися вниз причудливыми, винтообразными, тоже белыми лесенками от боковых башенок, домик казался аметистовым.

Слева, также среди леса, выделялся дом красного цвета. Направо я увидел жёлтый, за ним синий, зелёный и оранжевый домики. Эта причудливость окраски в гуще листвы делала их похожими на цветы.

— Не правда ли, красиво? — спросил меня Никито.

— Да, очень, изумительно красиво. Но, признаться, это как-то нечеловечески красиво. Здесь это гармонично и художественно и так просто, что принимаешь эту причудливость, будто так и быть должно. Но можно ли себе вообразить нечто подобное в условиях обычной жизни? Если бы кому-либо вздумалось соорудить себе в своей деревне этакий домик-фиалку или вон тот рубинового цвета, наверное, человека сочли бы выскочкой с дикими фантазиями или человеком плохого вкуса. Здесь же это совершенно очаровательно, и я готов был бы здесь век прожить.

— Многое в жизни, Лёвушка, кажется людям непонятным и даже невозможным только потому, что в своём опыте дня они не проходили и не видели тех вещей, которые отрицают. Точнее сказать, они проходили мимо очень многих великих вещей; но ни видеть, ни ощущать их не могли и — по невежеству своему — их отрицали. Разумеется, если бы человек, не сливая в гармонию с цветом своего дома всего того, что его окружает, выстроил себе причудливый зелёный дом, прилепил бы к нему белые окна, жёлтые заборы и красную крышу, он выказал бы только убогое понимание архитектуры и жалкий вкус. Здесь же ты видишь не только гармоничную гамму однотонного цвета в каждом доме. Ты ещё и не замечаешь, чтобы дом рвался из своей рамы зелени, так как и купы деревьев, и окружающие дома, разнясь по цвету друг от друга, дополняют гармонию каждого строения. Кроме того, всё, что ты видишь здесь перед собой, всё это не порождение той или иной фантазии, тех или иных условностей. Это органические свойства человеческих жизней и человеческих путей окрасили эти дома в тот или иной цвет. Вот, посмотри на этот красный дом. Он окружён розами, геранями, ползучими лилиями, красный цвет которых так ярок, что они кажутся горящими. Этот дом сам по себе бел, как и все те дома, которые ты видишь в долине, где сам живёшь. Но люди, живущие в этом доме, покрыли все его стены эманациями любви своих аур, — и дом горит, как кровь, и таким воспринимается тобой. Но, если бы в тебе самом не было раскрыто духовное зрение, именно тобой в этот тон окрашенное, то есть, если бы ты не носил в себе живой любви, ты не мог бы увидеть той окраски, которой горят ауры людей, идущих путём любви, то есть луча красного цвета. Ты видел бы просто белый дом или, ещё вероятнее, не видел бы ровно ничего. Постигни же и первое правило каждого из учеников, входящих в Общину второй ступени: ничего не рассказывать о том, что видишь и слы-

всей его человеческой формы, ширилась, разрасталась в светлое облако, окружая его кольцом.

— Мой дорогой брат, — всё тем же голосом продолжал Франциск, — твои слёзы сегодня — Рубикон твоей жизни. Был ты освободителем твоим встречным, разрывая их духовные оковы своим гением искусства. Ты скорбел и страдал, видя, как рушилось их мимолётное счастье. Теперь ты будешь понимать, что счастье, сгоревшее в них от огня спички, сменится в них Светом несгорающего Огня. Ты будешь теперь для них силой возрождения и утешения. Ты поймёшь, что великий путь ученичества равно велик перед Вечностью, несёшь ли ты в своей чаше белые жемчужины радости или чёрные скорбей. Чаша радостного только кажется легче. На самом же деле людям одинаково трудно нести в достоинстве, равновесии и чести и радости и скорби. Встаньте, братья мои, чтобы я мог каждому из вас отдать поклон Любви, в привет и встречу его новой жизни.

Франциск поднял нас с колен, и я снова поразился физической силе этих нежных рук и этой болезненной внешности. Франциск обнял Бронского, приблизил его вплотную к себе и что-то говорил ему на ухо, чего я не разбирал. Как преобразились лицо и фигура артиста, когда Франциск выпустил его из своих объятий! Лицо его сияло, фигура выпрямилась, стала мощной, глаза засверкали силой, весь он показался мне воплощением творческой энергии. Ни одной морщинки не было на его молодом сейчас лице, а ведь в момент нашей встречи оно всё было изборождено суровыми складками.

Франциск обратился ко мне и сказал:

— Лёвушка, твой брат Николай шлёт тебе привет. Он дарит тебе свою записную книжку, что ты так свято ему сберегал до сих пор и куда ты с редкой честностью ни разу не заглянул, охраняя тайны брата. Ныне запись книжки брата для тебя не тайна, ты всё поймёшь, что там сказано. Прими и моей любви и радости дар. Возьми это скромное колечко и надень его на шейку твоего павлина. Вот тебе и цепочка.

Как я был рад подарку Франциска! Не только я, но и мой павлин, мой вековой враг, получал сегодня привет любви. Все слова благодарности не могли бы выразить силы радости, которая меня переполнила. Я бросился на шею Франциску, смеясь и плача одновременно и утопая в его беспредельной доброте.

— Лёвушка, ты задушишь Франциска, — услышал я за собой голос И.

Я и не заметил, как и когда потерял И. и моих дорогих поручителей, полетев навстречу Бронскому. И теперь я даже не задумался, как и откуда они появились возле нас, — всё происходившее сегодня казалось мне простым, ясным, лёгким.

И. повёл нас в дальнюю часть сада, где я увидел оранжевую беседку очаровательной архитектуры, которой раньше не замечал. Здесь с нами простился Франциск и напомнил мне, чтобы я к вечеру пришёл к нему побеседовать с карликами и привёл бы обязательно Бронского.

Последнему было, очевидно, очень трудно расстаться с Франциском. Он держал руку своего нового друга и не отрываясь глядел ему в глаза. Франциск засмеялся своим мелодичным смехом, высвободил свою руку, взял обе руки Бронского и вложил их в правую руку И.

— Я только любовь, — сказал он. — А техника её приложения, развитие вашего артистического дара и умение, в полном такте и обязательном самообладании и обадым открыта дверь всех семи лучей. И никто не оставлен без внимания. Готов человек — готов ему и учитель.

Дивные лучи погасли. Я показался себе вдруг таким бедняком, всё вокруг точно померкло, казалось серым и бледным, и само сияющее солнце стало менее ярко.

И. вывел меня на балкон.

—Ты прочёл, Лёвушка, руководящие слова, предназначенные для входящих во вторую ступень ученичества. Понял ли ты из этих надписей, что *основные* оси держат на себе все другие качества человека этой ступени: *первая* — **бесстрашие** и *вторая* — **полное самообладание**. Какие бы таланты ни развились в человеке, какими бы великими качествами духа и сердца он ни обладал, если его бесстрашие не цельно, если его самообладание не довело его до полного спокойствия во *все* минуты жизни, он не войдёт во вторую ступень ученичества.

Мгновение *встречи* с другим человеком для ученика второй ступени — это самое значительное и огромное *действие его собственного духа*. Не то важно, с чем, с каким делом ты встретился или какой человек к тебе пришёл. Важно, *как ты* сумел пронести в его ауру свой *свет* и проникнуть к *его свету*. Важно, как влились в него *твои* любовь и мир, *твоё* ему утешение. Для ученика второй ступени уже нет морального кодекса законов людей, законов одной земли. Для него есть закон *Любви*, закон *всей Жизни*. И поступки его честны, высоки и прекрасны не потому, что закон морали требует этики в его поведении. Но потому, что дух его *слит* с огнём *Вечного* и поступки его могут быть только единением в красоте, ибо они являются движением его собственной Вечности, *его оживших* аспектов Единого, в себе носимого. Я не спрашиваю тебя, готов ли ты ко входу в то святая святых, что зовётся “вторая ступень”. Если бы ты не был готов, ты не мог бы прочесть горящей надписи в комнате. Но не думай однобоко. Не предполагай, что здесь ты встретишь только тех, кто способен *сам читать* огненное письмо. Это далеко не так. Во второй ступени *не* может быть иных людей, кроме тех, что достигли бесстрашия и полного самообладания. Это истина непреложная. Но *как* они их достигли, *чем* оказался их путь освобождения, *какие силы* в них развились, — кроме этих двух непреложных осей, — это путь у каждого особый, индивидуально неповторимый. Редко человек — ученик второй ступени — читает и пишет сам слово Огня. Чаще всего, вернее всегда, он имеет возможность получать весть наставника через какой-нибудь провод, путь которого начат с развития психических сил. Твой путь начат с них. Ты — счастливый слуга и друг твоих наставников, можешь помогать им облегчать жизнь тех, кто идёт рядом с тобой, в их духовном росте на трудном пути земного воплощения. Перед тобой лежит один из счастливейших путей земли — путь *радости*. Ты никогда не принесёшь человеку вести скорбной, но всегда войдёшь в его жилище вестником мира и помощи. Разжигая костёр твоих талантов, великое Милосердие вводит тебя в новые понимания смысла и труда земли. Сегодня ты прочёл: “Глядя на человека, не меряй *его* дух и высоту; но открывай ему *своих* святынь дары и радость”. Прими, мой дорогой и любимый друг и брат, к великому руководству в простом сером дне труда эти великие слова. В каждой встрече помни о своём счастье: ты живёшь *зная*, ты живёшь, держа руку Учителя в своей руке, ты живёшь в постоянном кольце вер-

ных защитников и помощников. И *их* верность тебе всегда лежит на твоей верности *им*.

Голос И., его лицо и вся фигура сияли так, что мне даже комната казалась ярче. Мы вышли из дома, спустившись снова по ароматной лестнице в аллею, которую я видел с балкона и принял за аллею елей. Теперь я увидел, что то были кедры, наполнявшие своим смолистым запахом всё пространство вокруг.

— Как прекрасна Жизнь! — воскликнул я, совершенно забыв о себе, о личностях людей, об их качествах. — Для меня звучал один Гимн Вселенной: Гимн Торжествующей Любви.

Мы долго шли по аллее, изредка встречая кланявшихся И. людей, но никто не прерывал нашего молчания. Мне невозможно было бы сейчас слушать человеческие слова, так я был слит со всей природой. Мне казалось, что я вижу, как растут цветы и травы, как льётся сок в стволах и иглах деревьев. Так, молча, мы дошли до конца аллеи, и впереди уже виднелось озеро. Но И. свернул налево, мы прошли через длинный грот и вышли к совершенно неожиданному пейзажу.

Я увидел точно такой же островок, как в нашей части Общины, где была белая комната Али. Островок был также соединён мостиком с аллеей, по которой мы теперь шли, из могучих широколистных пальм.

Когда мы вошли на мостик, сквозь заросли цветущих жёлтых деревьев, точно таких же, на какие опирался балкон комнаты И., где я только что читал надписи, — я увидел точную копию домика Али, только густого оранжевого цвета. Я ни о чём не спрашивал И. Мы пересекли узенькую тропку между густыми зарослями жёлтых деревьев и вышли к прекрасному лужку, пестревшему разнообразными цветочками и окружавшему домик со всех сторон.

Как только мы подошли к лужку, навстречу нам побежал белый павлин, а от стены дома поднялся пожилой человек в оранжевой чалме и восточной одежде. И. приветливо с ним поздоровался, поговорил на языке, которого я не понимал, и я ещё раз поставил себе на вид свою невежественность. И. остановился перед домом и сказал мне:

— Здесь ты увидишь тот живой Огонь, слова Которого ты читал в моей тайной комнате. Та комната — комната моего труда, моих встреч со всеми учениками, идущими путём моего луча. Но не каждый, кто имеет силу войти туда, имеет силу и чистоту сердца, чтобы войти в этот дом и быть подведённым к Огню Вечности. Силой Огня — неугасимого Огня *Любви* — зажигаются буквы в моей комнате, где ты их читал. В этом же доме, на жертвеннике, горит этот священный Огонь. Войти в ту комнату, где Он горит, может только тот, кто сам дошёл до чистоты и верности, которые не могут быть ничем поколеблены. Ничьё милосердие, ничьё сострадание, ничья помощь не могут помочь человеку войти туда. Только *сам* человек, *своей силой духа*, может туда войти. Читай, друг, чем приветствует тебя первая надпись над входом в дом. Эта надпись меняется и даётся человеку так и такою, как *его* собственный труд в веках соткал её. Читай же теперь, что ты сам создал для себя.

Я поднял голову кверху и первое, что увидел, был белый павлин с чудесно распущенным хвостом, сверкавшим золотом на солнце. Я удивился, как мог я не заметить птицы в её очаровательном уборе минуту назад, хотя смотрел на входную дверь и видел над нею круглое, выпуклое окно, которое теперь закрывал павлин. Над его

возможностей передать земле труд великих братьев живого неба. Но я должен во всём благородстве проникать в дух встречного человека. Не в теориях и обетах должна выражаться любовь моя к родине. И любовь к брату-человеку — это не фантазия и мечты, не созерцательная форма молитв и мантр, а *действенная* форма *труда* в самом простом дне. И. говорил мне всё это, говорил, что нет серых дней, а есть то, что *мы в нём творим сами*, но я понимал это всё головой, восхищался, пленялся, но... любовь моя молчала. Она всегда была пленительным маяком, пока была “любовью к дальним”. Но стоило мне соприкоснуться с ближними, как любовь моя выливалась в раздражение. Сегодня, Станислав, всё моё существо содрогалось в огне Любви, которую мне лили Старшие Милосердные Братья, не спрашивая меня, что я им отдам взамен, но окружая меня сетью своей любви и защиты, чтобы я мог разделить их труд в моей чистоте. Точно мощный огонь, я чувствую в себе *их* силу. И разговаривая сейчас с вами, я счастлив, потому что чувствую, как отдаю вам эту движущуюся силу *их* огня. То, что так заставляет вас страдать при вашей любви к людям, когда вам хотелось бы нести каждому только радость, ваш дар вталкивать людей в полосу страданий не должен вас мучить. Перестаньте думать о себе, забудьте, что вы входите вестником временного горя. Горе, как отсутствие бытового благополучия, есть иллюзия. Вы помните только о том, что вы сотрудник живого неба и вводите людей в очищающую струю скорбей. Люди просыпаются к внутренней жизни и получают возможность сбрасывать с себя нарастающие корки эгоизма, чтобы войти в путь Света. Вот всё, что я могу вам сказать. Конечно, И. скажет вам много больше и введёт вас в новый круг понимания и труда. Моя же встреча с вами — благословенный миг. Первому вам я удостоился счастья и чести подать мой перл чистой радости, мою дивную жемчужину Любви, которую мне подарили мои великие друзья.

Я обнял ещё раз Бронского и нежно гладил его прекрасные руки, которыми он закрыл лицо и по которым текли слёзы. Мы стояли в этой позе, когда на плечо каждому из нас легла чья-то рука, и я увидел обнимавшего нас обоих Франциска.

— Я вас искал, мои дорогие друзья.

Бог мой! Ничего не было особенного в этих самых простых словах. Но лицо Франциска, его глаза, тон его голоса — всё было таким потоком ласки и любви, что я понял, почему его называли святым среди народа, и его простые слова проникли мне в сердце, как слова другого человека: “Придите ко мне, и я утешу вас”.

При звуке голоса Франциска Бронский опустил руки, взглянул на него и, очевидно, впервые понял, как и я, что такое Любовь в человеке. Он опустился на колени, приник к Франциску, взял обе его руки в свои и зарыдал.

Всё моё сердце перевернулось от этих рыданий. Я тоже опустился на колени рядом с ним, обнял его, также приник к Франциску и молил живое небо, моих друзей Флорентийца и Али разделить тяжесть трудных страданий Бронского, помочь ему перейти в иную ступень понимания его земной жизни и труда в ней.

Рыдания Бронского говорили о невыносимой тяжести сердца, о пытке, которую он нёс. Руки Франциска гладили страдальца по голове, он наклонился над Бронским и тихо, нежно улыбался ему. Я перестал видеть в стоявшей перед нами фигуре Франциска. Я видел сейчас одну Любовь, которая светилась вокруг его головы и

людей. Они добивались знакомства со мной, гордились близостью и дружбой, — и всегда финал бывал один и тот же: их постигало горе, и я оставался им утешителем. Приносил ли я им на самом деле утешение, не знаю. Но дата их встречи со мною всегда, решительно всегда, бывала преддверием горя. Моё одиночество — это следствие моих наблюдений над моими связями с людьми. Я стал бояться каких бы то ни было сближений с людьми. Я, как вечный жид, стал странствовать по всему миру, нигде не создавая себе счастливых оазисов личных чувств, какого бы то ни было характера. Я погрузился только в искусство и отдал ему всю жизнь без остатка. Но люди и при этой моей манере жить не оставляют меня в покое. Они — хочу я этого или не хочу — подходят ко мне через то же искусство, которое я
им несу. Любовь к искусству — единственное, для чего я жил и живу, служу в нём и служил всегда моему Богу и общему благу, — заставляет людей сближаться со мной, а меня принуждает принимать их как учеников и сотрудников. И неизменно картина всюду была и есть всё та же: если я нёс людям восторги и откровение в искусстве, я так же непременно при-носил им горе в их личную жизнь. Это до того стало меня подавлять, что я решил кончить свои расчёты с жизнью, уйти с земли в Вечность, в которую я свято верю. Я уже собрался выполнить моё решение, как встретился с тем великим человеком, письмо которого я привёз вашему не менее великому, как мне кажется, обаятельному другу И. Если бы не эта чудесная встреча, я бы никогда не встретил и вас, Лёвушка. Теплом веет на меня от вас. Молодость ваша, ваш исключительный талант, живая фантазия и уменье проникнуть до самого дна переживаний артиста, интерес и дружба, которые вы выказываете мне, — всё тянет меня к вам. И сейчас я шёл и решал всё тот же вопрос: не принесу ли я и вам горе. Быть может, мне надо отойти от вас, чтобы громы небесные не потрясли вашей юной жизни?

— Дорогой Станислав, — весело засмеялся я, — уверяю вас, что громы небесные не ждали момента моей встречи с вами. Они уже поразили меня, как только было возможно. У меня много возражений вам. Во-первых, *где* мы с вами сейчас? Здесь не та открытая сцена жизни, где всё полно условных пониманий и предрассудков. Здесь для нас с вами, как и для всех сюда пришедших, — святая святых, доступная каждому из нас так, как *он* сам способен в неё войти. Здесь живут вне предрассудков, вне условного быта и его требований внешнего. Здесь каждый творит свой “день” освобождённым настолько, насколько каждый совладал со своими страстями. Во-вторых, вы судите о тех внешних впечатлениях, которые вы вносили людям в их жизнь. Но те страдания, вестником которых вы являлись им, не были только страданиями; они служили им лестницей для внутреннего совершенствования их духа. Если вы перестанете судить свою жизнь и ваших встречных однобоко, учитывая только один план земли, а свяжете и своё и всех встречных сознание ещё и с планом живого, трудящегося неба, вы будете и сами жить в Вечном и оценивать события и факты жизни других только в *двух* планах, сливая их воедино как нечто цельное, что разделить невозможно. Рассматривая так ваши встречи, вы увидите в себе величайшую Мудрость, потому что пробуждаете в людях их возможность вступить в тот вечно движущийся поток, который и есть Вечное Движение. Сегодня я ощутил всем своим существом эту связь человека земли с любовью и заботами трудящегося неба. Я понял, что не в идеях и высоких словах я должен искать

сияющим оперением жёлтым светом горело: “Входи, храня вечную память о труде своём в веках. Тебя приветствуют здесь благодарность тех, кого ты когда-то очень давно спас, и их благословение. Их сердца сейчас ждут отдать тебе свой долг благодарности и, в свою очередь, стать тебе, странник, защитой и помощью”.

Я был глубоко тронут словами привета, я никак не ожидал, что они будут обращены лично ко мне. Я их не понимал, но, взглянув на И., понял по его лицу, что все вопросы разрешатся дальше.

Но *как* я это понял, я и сам не знаю. И. уже не был тем И., которого я так хорошо знал, которого я видел сияющим в его комнате в скале. Это было существо неземного мира. Что-то божественное, превосходившее все обычные земные понимания красоты и любви, шло от него. Он был весь куском Любви, в которой я уже не мог существовать как сознание. Но я понимал его, потому что перешёл в мир сверхсознательного вдохновения, где слова сами по себе, слова обихода уже не имели смысла.

И. взял меня за руку и повёл вверх по лестнице из яшмы, как мне показалось. Ступени, стены — всё говорило о большой древности. Я не шёл, а точно летел, до того лёгким я ощущал своё тело.

Когда мы поднялись на верхнюю площадку, две белые фигуры в длинной льняной одежде, подпоясанные золотыми шнурами, подошли к нам, низко кланяясь И. Я не узнал их, и только когда один из них взял меня за руку, я узнал в нём Никито. Бог мой! Как мог он так перемениться? Его волосы вились и падали седеющими локонами на прекрасный лоб и длинную обнажённую шею. Лицо, тёмное от загара, выходило точно из белой рамы.

Я взглянул на второго человека, также взявшего меня за руку, и поразился ещё больше. Это был Зейхед-оглы, араб-проводник, подаривший мне птенчика и выказывавший мне всё время столько незаслуженного внимания.

Оба они провели меня в комнату, где был бассейн с проточной водой. Они указали мне на него, и Никито сказал:

— Позволь мне, как бывало в детстве, на Кавказе, раздеть тебя и помочь тебе совершить омовение в этой воде, раньше чем ты наденешь священную одежду и войдёшь в зал алтарей. Ты забыл меня, вернее, не узнал при нашей встрече у озера. Я же счастлив возвратить тебе вековой долг моей благодарности. Чтобы войти в число учеников второй ступени, тебе нужны два поручителя. Войти в ступень можно только своими личными усилиями. Но помощь любящих могут оказывать человеку все его друзья. Разреши мне заплатить тебе мой кармический долг в эту счастливую минуту твоей жизни и стать тебе слугой и другом. Я беру на себя поручительство за тебя в твоём новом пути и буду служить тебе век громоотводом и охраной твоему раздражению. Я буду заранее принимать в свою ауру все удары твоего гнева и вспыльчивости, чтобы рост твоего самообладания не нарушался ни на минуту.

— Я, со своей стороны, — сказал араб, — принимаю на себя счастье поручительства, платя тебе только старый долг спасения жизни от тёмных сил. Я был когда-то карликом, и ты, ребёнок, укрыл меня среди своих игрушек и защитил своим телом от смерти. Теперь я буду облегчать тебе каждую встречу с печальными, беря на себя часть их скорбей, чтобы твоя радость могла свободно проникать в их сердца.

Когда я вышел из бассейна, вода которого оказалась почти горячей, оба мои друга одели меня в такую же льняную одежду, в какой были сами, подпоясали меня золотым шнуром и расчесали гребнем мои кудри. На ноги я надел жёлтые сандалии, тоже точно такие, в каких были мои друзья. Взяв меня за руки, они подвели меня к двери, в которой стоял И. Он был тоже в белой одежде, но сделана она была из такой материи, какую Али подарил моему брату в день пира в К. Одежда была расшита вся — внизу и по бокам, на рукавах и на вороте — золотом. На голове его был венок из жёлтых цветов, а в руках та палочка, которую я видел на поляне, во время раскрепощения карликов. Когда я подошёл к порогу настежь открытой двери, я увидел у своих ног на полу горящие буквы:

Мой дом — всюду. Сердце человека — мой дом. Здесь дом мира и света. И входящий сюда найдёт дверь только тогда, когда создал в себе мой дом. Бесстрашно вступай в море моего огня, если сердце твоё чисто. И пламя моё не сожжёт тебя, но закалится речь твоя в ясности и силе.

Я шагнул прямо на горевшие слова, ожидая, что огонь букв обожжёт меня. Но, к моему удивлению, он мгновенно потух, едва я ступил на него.

Теперь И. взял меня из рук моих поручителей и подвёл к одному из узких высоких столов из оранжевого мрамора, такой же формы, как я видел в комнате Франциска, только у последнего этот стол был почти красным, так много было в мраморе розовых и алых прожилок.

И. поднял крышку стола, и я увидел под нею низкий жертвенник, на котором горел огонь и перед которым стояла высокая топазовая чаша, в ней клубилась жидкость, похожая по своему цвету на огонь.

И. погрузил палочку в чашу с жидким огнём и поднёс её к настоящему огню, который ярко вспыхнул, затем, точно что-то напевая, чего я не разбирал, он коснулся моего темени. Это был не удар, конечно. Но прикосновение это причинило такое содрогание всему моему организму, что я не устоял и упал на колени. Оба мои поручителя положили свои руки на то место, где меня коснулась палочка И. Я почувствовал точно из меня в их руки тянется струя энергии.

Они подняли меня и повернули спиной к И. Теперь И. коснулся меня два раза под обеими лопатками. На этот раз действие палочки было таким же сильным, но я не только устоял на ногах, но почувствовал очень странное ощущение, точно у меня за плечами выросли крылья. Новая сила вошла в меня, и снова я почувствовал, как связываюсь с моими поручителями невидимыми, но крепчайшими нитями.

И. сам повернул меня лицом к жертвеннику. Теперь огненная жидкость в чаше не кипела, а из неё вился спиралью огонь зелёного цвета, а огонь за чашей разделился на три языка: в середине — оранжевый, слева — белый и справа — зелёный.

Опустив снова палочку в чашу, горевшую зелёными спиралями, И. поднёс её к зелёному языку огня. Тот ярко вспыхнул, вся палочка точно запылала зелёным цветом, затем И. поднёс её к белому огненному языку, и белый язык огня загорелся на палочке рядом с зелёным. И. поднёс палочку к жёлтому языку огня — и на палочке образовался трезубец огней, — с зелёным в центре, с белым и жёлтым огнями по бокам.

Глава 5

Моё счастье нового знания и три встречи в нём

Мы сделали ещё несколько шагов вперёд и вышли на дорожку. Я сразу же издали увидел высокую фигуру Бронского, медленно шедшего навстречу мне. Его голова была опущена вниз, и чем ближе я подвигался к нему, тем яснее видел, какая печаль отражалась на всей фигуре моего друга.

Жалость сжала моё переполненное любовью и счастьем сердце. Я почувствовал такой прилив любви к этому человеку, какого ещё не испытывал ни разу, ни к одному чужому человеку.

Я понёсся ему навстречу, раскрыл широко руки и заключил не ожидавшего встречи со мной Бронского в объятия. Только сейчас я невольно заметил, как я вырос физически. Я уже не был тем маленьким, щупленьким Лёвушкой, каким бежал с Флорентийцем из К. Обняв Бронского, человека высокого роста, я почувствовал свои плечи наравне с его плечами, и глаза мои приходились почти вровень с его глазами.

Мысль моя как-то скользнула, я немного удивился, когда это я успел так вырасти и расшириться, и радостно смеялся испугу Бронского, попавшего нежданно-негаданно в мои объятия.

— Лёвушка, милый друг, — говорил он своим очаровательным голосом, — с какого неба вы свалились? Я так счастлив, что встретил вас сию минуту. Бог мой! Да ведь вы и на самом деле имеете вид свалившегося с неба! вы сияете, точно вас святым духом пронизало!

— О да, мой дорогой Станислав, — ответил я, счастливо смеясь, и в первый раз назвал моего друга без отчества, чего раньше не делал, несмотря на все его просьбы об этом. Но сегодня мой язык сам мог отражать только ту любовь, которой горело всё моё существо. И я назвал его так, как говорило моё сердце. — Я действительно сейчас упал с неба. И ещё минуту назад я не понимал, какое великое счастье — перенести небо на землю и пролить встретившемуся человеку всю впитанную сердцем его красоту. — Я люблю вас, Станислав, в эту минуту той братской любовью, которая уже не нуждается в словах и объяснениях, чтобы разделить не только скорби друга, но чтобы и понести их вместе по трудной жизненной дороге.

— Лёвушка, Лёвушка, с вами, несомненно, что-то случилось огромное, — прижимая к груди обе мои руки и глядя на меня своими прекрасными печальными глазами, тихо говорил Бронский. — Но, *что* бы с вами ни случилось, как бы вы ни были сильны своим счастьем в эту минуту, воздержитесь обещать разделить мои страдания. Я, собственно, уже несколько дней решаю трудный для себя вопрос: имею ли я право подходить к вам близко, так близко, как мне этого хочется. Вся моя жизнь пронизана скорбью именно оттого, что, где бы я ни появился, кого бы я ни полюбил, с кем бы ни подружился, — всем всегда и неизменно я приношу в конце концов горе и скорбь. Сколько раз в моей жизни я захватывал своим искусством многих

Я постарался собрать всё своё внимание и сосредоточиться на мысли о моём дорогом друге, печальном и страдающем.

И. взял с жертвенника нечто вроде золотой булавы и, держа её в одной руке и палочку в другой, поднял вверх обе руки, продолжая напевать что-то, чего я всё так же не мог понимать.

Вдруг я отчётливо услышал: “Флорентиец, Флорентиец, Флорентиец”, — трижды повторенное дорогое мне имя моего любимого и далёкого друга.

И в то же мгновение я увидел Флорентийца стоящим за жертвенником в белой одежде.

“Али, Али, Али”, — снова разобрал я в напеве И. И через мгновение увидел Али стоящим рядом с Флорентийцем.

Я уже приготовился, что сейчас устами И. будут вызваны и Али-молодой и мой брат Николай, как от образа Флорентийца, от его лба, горла, пупка, заплечий и сердца протянулись огненные с зелёным оттенком нити и соединились с зелёным огнём палочки.

От образа Али, из тех же мест, потянулись нити белого огня и прилипли к белому языку палочки.

И. поднёс булаву к огням палочки, раздался сильный сухой треск, и все огни с палочки перешли на шар булавы, а потухшую палочку И. положил на жертвенник. От самого И. — всё из тех же мест, как от Али и Флорентийца, пошли оранжевые нити к булаве. И. поднял булаву высоко над головой и пропел какую-то мантру, которую сопровождала дивная музыка.

Закончив пение, И. повернулся ко мне, я и мои поручители опустились на колени, и булава легла на мою голову. Точно удар грома опустился на меня, я весь содрогнулся. Но это продолжалось одно мгновение.

Мои поручители подняли меня с коленей. Теперь я чувствовал себя сильным, обновлённым, точно сразу выросшим — как будто все мои сухожилия вытянулись, все нервы и связки освободились от какой-то тяжести. Моё ощущение было такое необычное, точно до этого момента я жил, весь покрытый узлами и корками, а сейчас всё очистилось, вскрылись поры и я дышу, ощущая, как атмосфера комнаты сливается с каждой клеткой моего тела. Я взглянул на И. и увидел, что в его руках потухла булава, а все три огненных языка горят на его темени среди венка из оранжевых цветов.

Огненные нити, что соединяли меня с Флорентийцем, Али и И. и были вначале тоненькими, дрожащими, теперь были плотными огненными струями. Я чётко ощущал, как они проникают в моё тело, освежая, облегчая мою новую жизнь, устанавливая во мне гармонию. И. обнял меня, подвёл вплотную к жертвеннику, взял мои руки в свои и сказал:

— Храни чистоту этих рук, им дана сила радости передавать слово огня рядом идущим.

Он положил свои руки на мои глаза и снова сказал:

— Храни чистоту глаз своих. Живи легко, понимая скорбь земли как неизбежный этап освобождения. Ни одна слеза печали да не прольётся из глаз твоих, ибо каждая слеза — упадок духа, эгоистический порыв, хотя бы казалось человеку, что не о себе плачет, но сострадает другому. Сострадая до конца, человек льёт мужество из сердца, и только такое сострадание помогает восстановиться шаткой гармонии встречного. Очам духа твоего дано видеть внутреннее, духовное царство человека.

Храни в чистоте очи телесные, чтобы покровы условной любви не затемняли зрения твоих духовных очей. Иди в чистоте духовной связи с Теми самоотверженными тружениками светлого человечества, которые сейчас отдают тебе свою помощь, защиту и любовь перед Огнем Вечного. Носи искры их огня в своём духе и сердце и передавай их встречным не в идеях и словах высоких, но в простом труде серого дня носи доброту, мир и отдых трудящимся рядом. У тебя уже нет возможности воспринимать лично дела и людей. Каждая встреча — всё путь Отцов твоих, взявших тебя сейчас в сыновство, — к Единому во встречных твоих. Для тебя нет иного пути по земле, как через мост бесстрашия и мужества вводить встречных в то кольцо огня, в каком стоишь сейчас.

Голос И. умолк. Я посмотрел вниз и увидел, что вокруг всех нас на полу горело кольцо трёхцветных огней, охватывая все наши фигуры и жертвенник как бы высоким забором.

И. взял мои руки и погрузил их в огонь на жертвеннике. Я снова на миг вздрогнул, но тотчас же блаженное состояние тишины, счастья и высочайшей любви охватило меня. И. наклонил мою голову, точно купая её трижды в огне, — и я ещё больше содрогался телом и успокаивался — точно рос и подымался духом.

И. обнял меня, прижал к себе — и я взлетел вместе с ним в какие-то высоты, где я не различал более, *что* был *я* и что было *не я*, и слов для передачи моих ощущений блаженного счастья я не нахожу.

Когда я очнулся, у меня было такое чувство, точно я снова влез в футляр человеческого тела. До того лёгким, радостным и блаженным было моё состояние за миг до этого, что теперь я опять почувствовал себя весомым и тяжёлым.

Оглядевшись, я увидел, что жертвенник был закрыт мраморной крышкой, в комнате были только И., мои дорогие поручители, Никито и Зейхед. Я нигде больше не видел моих высоких милостивцев и друзей — Флорентийца и Али. Почему-то я вспомнил, как видел Флорентийца в бурю на корабле таким же светящимся белым облаком, каким я видел его здесь несколько минут назад.

— В эту минуту, Лёвушка, ты осознал, как стираются границы между землёй и небом. Для тебя открылась *Единая, вся жизнь*. Ты понял, что нет условных границ, обозначаемых условными терминами: “смерть”, “рождение”, “жизнь”, принятыми в общежитии на земле как термины условных, отдельных этапов, дающих разлуку, с её горем, или счастье с его заманчивыми иллюзиями. Твой опыт сегодня вынес тебя за все условные грани, и ты постиг величайшее счастье: *знание вечной жизни*. Тебе стало понятно, что твоя жизнь этого воплощения — это то “сейчас”, в котором тебе надо пройти часть вечного пути раскрепощения от страстей. Пойдём, чтобы найти среди многочисленных лежащих на столах книг свою, единственную, неповторимую для других книгу жизни. Каждый ищет и находит её в этой комнате только сам.

Я двинулся среди множества высоких столиков оранжевого мрамора, похожих на церковные аналои. Сначала я видел на них только книги всех оттенков оранжевого цвета. Все они были одинаковы, и ни от одной из них не шёл ко мне ни единый признак жизни.

Молчание комнаты и молчание Мудрости в лежавших передо мною книгах наполнили моё сознание величием спокойной святости, точно я ходил среди трепе-

И. соединил наши руки, обнял нас всех троих и сказал:

— Пойдёмте все вместе трудиться для братьев. В законе беспрекословного повиновения и непоколебимой верности и радостности да соединит нас Любовь.

Мы вышли из зала, спустились вниз и прошли в комнату, которой я раньше не заметил. Здесь я снял ту одежду, которую на меня надели Никито и Зейхед, и переоделся в обычное платье, в каком ходили все в Общине. Мои друзья и И. также переоделись, и мы вышли из дома.

Внизу нас ждал слуга и передал И. письмо, сказав, что за островком нас ждёт человек, принёсший письмо.

Когда мы встретились с подателем письма, И., ещё не вскрывая конверта, сказал человеку:

— Хорошо, передай Аннинову, что мы будем не сегодня, а завтра.

Повернувшись ко мне, улыбаясь, он сказал мне:

— Вот видишь, Лёвушка, как хорошо всё складывается. У Аннинова мигрень, он просит отложить музыку до завтра. Ведь ты не мог бы слушать её сегодня?

— Не мог бы и даже забыл о ней. Если бы играл или пел Ананда, это было бы счастьем, — и я перенёсся воспоминаниями в Константинополь, вновь переживая человеческий голос виолончели Ананды.

Состояние моё было необычайным. Я шёл, видел людей, деревья, облака, солнце, слышал щебетание птиц, но всё казалось мне нереальным, я как-то не мог уместиться в форме внешней жизни. Я всё ещё где-то летал и почти ничего не слышал из того, что говорили. Какие-то слова долетали до моих ушей, но шли мимо моего внимания. Более или менее я пришёл в себя уже тогда, когда мы сошли вниз и, перейдя дорогу, вошли в бамбуковую рощу.

— Приди в себя, Лёвушка, — сказал мне, ведший меня под руку И. — Сейчас ты войдёшь в парк и встретишь очень соскучившегося без тебя Бронского. В этот счастливейший для тебя день нельзя оставить друга без помощи. Светлое счастье, покрывшее тебя сегодня, пусть будет счастьем и радостью и ему. То, чего ты не видел в человеке вчера, ты увидишь в нём сегодня. Отдай ему часть *Любви*, которая была дана тебе сегодня так щедро. Важнее всего не личный твой путь во вселенной, а *ты — путь Света* во вселенной, для труда и встреч твоих Учителей. Перелей в страдающую душу Бронского часть своего мира. Затем тебя ждут Франциск и карлики. Мы пройдём в больницу все вместе, возьми с собой и Бронского.

От слов И. лёгкое облачко сожаления как бы мелькнула на миг в моей душе. Мне было слишком трудно переключиться с орбиты неба на землю. Но я тут же понял, как печальна была бы моя жизнь, если бы рядом со мною не шли люди, отдавшие мне помощь, которой не было ни предела, ни отказа.

Точно какой-то руль мгновенно перевернулся во мне, и я ощутил счастье жить на земле, радуясь, что могу быть полезным слугою кому-то.

— Я готов, дорогой И. — Но всё же я остановился на минуту прежде, чем выйти из бамбуковых зарослей. — Я очень счастлив встретить Бронского в такой великий мой день и передать ему первому всю чистоту моего духа и моего нового знания в эту минуту. Да будет благословенна наша встреча, да начну её и кончу в радости, милосердии и доброте.

Чтобы дойти до живой *в себе Истины*, надо развить в себе любовь к человеку. Любя человека, чти его и, видя в нём *цель* дел Учителя, дойдёшь до единения с Учителем; а слившись с Единым в Учителе, сольёшься с Вечностью.

И.”

Буквы выходили из-под ладони И., оставались на листе книги, пока он её держал, и погасли все сразу, когда он отвёл свою руку. Тогда И. закрыл книгу, поклонился мне и сказал:

— Сегодня ты вошёл во вторую ступень ученичества. Ты видишь, как легко и незаметно минует ступени один человек и как трудно проходит их другой. В моём луче, в ежедневном труде со мною, ты научишься овладевать теми психическими силами, что до сих пор доводили тебя до болезней. Взгляни на брата Никито. Быть может, теперь ты вспомнишь больше, чем в первые минуты свиданья с ним.

Я повернулся к Никито, взглянул в его добрые глаза и вдруг сразу увидел яркую картину детства, как я еду на коне, на руках Никито, закрытый его буркой от дождя и ветра. Потом я увидел его и себя в какой-то комнате, заставленной ящиками с книгами... и в тот же момент я бросился на шею моему другу.

— Дорогой дядя, “неговорящий”! — воскликнул я. — Так я звал вас в детстве, не разлучаясь с вами, когда вы приезжали, и плача, когда вы уезжали. О, я не забыл ничего! Брат Николай говорил мне, что вы спасли мне жизнь, когда я умирал. Вы привезли мне лекарство.

— Я был только гонцом Али, приславшим тебе лекарство, мой друг. Говори мне “ты” с этой минуты. Те, кто имел счастье стоять рядом в этой комнате, не могут иметь условного предрассудка “вы”. Дружба наша — общий путь труда, где преданность не имеет границ. Я тебе слуга и друг, и помощник во всём, в чём бы ты ни позвал меня участвовать.

— Я не знаю, Никито, как выразить словами всю благодарность тебе. Я могу только сказать, что в моём сердце нет предела для благоговейного чувства признательности за всю ласку, что я получил от тебя. Нет больше разрыва в моей памяти, я снова стою перед тобой тем беспомощным ребёнком, которого ты так много защищал.

— Быть может, ты теперь узнаешь и меня, — взяв меня за руку, сказал Зейхед-оглы.

Как только он коснулся меня, я увидел ряд домов на бедной улице, увидел идущего по ней мальчика лет восьми и бегущего ему навстречу карлика, дрожащего, в лохмотьях, искавшего спасения от преследователей. Я понял, вернее почувствовал, что мальчик этот я сам. Я перенёсся совершенно в прошлое. Я уже различал топот ног многих бегущих людей и понял, что карлик погибнет, если я его не спасу. Я схватил его за руку, втащил за собой в дверь дома, у которого стоял. Не успел я захлопнуть дверь дома, как топот ног пронёсся мимо него.

Я увидел сени, увидел, как осторожно веду своего спутника вверх по лестнице, сажаю его, дрожащего, в угол маленькой комнаты и закрываю его целым рядом лошадок, колясок, игрушек...

— Теперь ты увидел одно из мгновений нашей прошлой жизни и знаешь, чем я тебе обязан. Прими же мою помощь как возврат моего долга.

щущих сердец, закрытых в этих больших, тяжёлых на вид книгах. Но все они оставались для меня рядом чудесных тайн, где моему сердцу не было места.

Я шёл всё дальше. И. и мои поручители следовали за мною в некотором отдалении. Теперь я стал различать книги разного цвета: красного, синего, фиолетового.

Вдруг мой взгляд упал на большую зелёную книгу, закованную в нефритовый переплёт, отделанный чудесно малахитом. Точно теплом повеяло на меня от этой книги. Я буквально бросился к ней, наклонился над переплётом и увидел на нём прелестно сложённого белого павлина из мелких-мелких белых и зелёных камней. Глаза павлина были красные, а хвост — из самых разнообразных камней жёлтого цвета: от светло-жёлтых бриллиантов до самых тёмных топазов. Рисунок напоминал записную книжку моего брата, которую я нашёл с Флорентийцем в комнате Николая в К. и которую я свято хранил в саквояже Флорентийца до сих пор.

Тепло, шедшее ко мне от книги, которое я почувствовал ещё издали, теперь окутывало меня всего. Я положил обе руки на зелёный переплёт, прильнул головой к белой птице, изображённой на нём, и мне казалось, что сердце Флорентийца обливает меня своей любовью.

Я был счастлив. Счастлив в полном смысле этого слова. Я ощущал себя совершенно свободным от всех условных скреп личного, так сильно державших меня в своём кольце до сих пор на земле.

— Раскрой книгу, друг, и прочти, какие обязательства ты уже брал на себя до этих пор в веках. Те, которые ты выполнил, уже сошли со страниц твоей книги жизни, оставив листы чистыми. Те же, что ты когда-то взял и не выполнил, горят на страницах, как огненное письмо. Те, что ты давал в этом воплощении, ждут сейчас подтверждения твоею любовью и верностью. И если ты их подтвердишь, они тоже загорятся огненным светом, хотя в эту минуту их еле можно прочесть, вроде следов старинных чернил. В этот огромный момент твоей жизни ты можешь просить за своих друзей и врагов. Ты можешь вписать здесь сейчас те обязательства, что диктует тебе твоя бурно живущая в тебе в этот миг Любовь.

И. умолк. Я раскрыл книгу и заметил, что много чистых листов её переворачивались вместе, как бы склеенные. Я понял, что то следы моих вековых трудов и карм, давно оконченных в прошлых моих жизнях. Ещё несколько листов перевернулись так же, и наконец я увидел отпавший лист, на котором среди чистого белого поля горела фраза: “Я найду полное самообладание, чтобы служить Учителю моему долго, долго, долго”.

— О, И., как же я виноват перед Флорентийцем и перед вами! Я даже забыл, что давал уже это обещание, и остаюсь всё тем же невыдержанным человеком! Я трижды подтверждаю сейчас мою верность этому обещанию, идти мой путь в любви и такте.

Как только я произнёс мои слова, надпись погасла, листы сами перевернулись, и на новом месте загорелась ярким огнём та же надпись, а ниже засияло слово, как бы скрепляющая моё обещание подпись: *“Флорентиец”*.

Через мгновение листы книги вернулись несколько назад, и я увидел на одном из них точно плавающие знаки от старых чернил, размазанных слезами. Я прочёл:

“Буйное, бездонное горе, когда сердце и мозг тонут в море слёз и печали, да не придёт больше в моё сознание. Я понял всю бездну человеческого горя. Понял её как путь, ведущий к освобождению. Понял, принял, благословил.

Будь благословен, мой страшный враг, отнявший у меня всё, что я любил и имел. Будь благословен! Да не лягут слёзы мои скорбями на твоём пути. Но пусть они вырастут цветами и украсят путь твой радостью.

Иди по пути радости и пройди в путь Света. Я же обещаю не лить больше слёз горя и скорби. Если же слабость моя будет так велика, что я не смогу удержать слёз, — то пусть льются слёзы радости, Господне вино!

Благословляю день и час смерти всего мною любимого. Да останусь один на земле, свободным от всех привязанностей личного. Буду лишь слугою всему встречному; слугой моему Учителю да пройдут мои дни земли”.

Я был так глубоко растроган словами, которые читал, как бы выступавшими из моря крови и слёз, что опустился на колени и сказал:

— Если я не выполнил моего обета до сих пор, то да будет эта моя жизнь посвящена полной любви к моему врагу, заботам о нём и его семье, если она у него есть. Я хочу принести ему мир. Хочу сделать цветущий сад из его сердца, если в нём ещё бесплодная пустыня.

Я поднялся с коленей и прочёл на чистом листе засиявшее мне слово:

“Твой враг при тебе. Ты встретил его в образе белого птенчика, переданного тебе на хранение, воспитание и заботы. С семьёй врага твоего ты уже встретился: это те два карлика, что ты помогал вырвать из сетей зла.

Мужайся, двигайся вперёд, любя побеждай. Когда открыта человеку его карма с его ближними, час *его* действий настал. И если он не подобрал указанное ему кольцо кармы, то возможность подобрать это кольцо передвинулась — кольцо отошло, как облако. И снова надо ждать, пока цельность верности человека, его любовь и беспрекословное послушание Учителю не вырастут и не пододвинутся обстоятельства для новой вековой встречи.

Имеющий уши — услышит зов. И озарение поможет ему выполнить указанную задачу. Закрыты очи и уши у имеющих мало любви и верности. Лишь до конца верящий — побеждает.

Не видны человеку законы целесообразности встреч. Но лишь по этому закону — закону великой необходимости — идёт жизнь каждого.

В слепоте идут до тех пор, пока образ *Единого* в сердце не засветится. Но, чтобы *Он* засиял, надо уметь пройти в полной верности и преданности Учителю своему, ибо путь смирения проходит каждый только в *своё* мгновение Вечности.

Человеку же в слепоте его не видно *то* мгновение пути праведника. Он видит иное, которое *судит* и принимает к сердцу, стараясь следовать подражанием. В подражании же нет творчества. Сердце человека не живёт, и потому *не сходит* к нему озарение, потому же и отрицает в невежестве своём.

Оставь все мечты, неофит. *Действуй*, ежеминутно *действуй*, творя *доброту*. И если бесстрашно сердце твоё — раскроются очи духа твоего, увидишь и услышишь”.

Книга захлопнулась, ещё раз пахнуло на меня теплом и светом — и всё исчезло, я перестал видеть не только свой аналой, но даже и ряды тех, мимо которых я шёл до сих пор. Поражённый этим, я повернулся к И.

— Иди дальше, друг. Я не могу тебе ни в чём здесь помочь. Я уже сказал тебе: здесь каждый сам отыскивает всё то, что ему дано понять.

Я двинулся вперёд; случайно мой взгляд упал на белый пол, и мне показалось, что ряд цветочков, мелких, оранжевых, как дорожка, стелется передо мной. Я пошёл по ней, так забавно и радостно было видеть, как цветочки, точно в сказке, выскакивали, указывая мне дорогу. Я всё шёл за ними, благословляя их, и не мог удержать радостного смеха, который так и рвался из моего сердца.

Неожиданно для меня цветочки свернули в сторону, и я увидел вдали, у самой стены, светившийся высокий аналой оранжевого цвета. Я ускорил шаг, ощутил тепло, шедшее ко мне от аналоя, и, подойдя ближе, различил на нём большую книгу в переплёте из парчи, украшенной топазами. Красота переплёта привлекла моё внимание, но не сразу я понял, что украшения из камней и золота составляют надпись. Я разобрал язык пали и прочёл:

“Луч мой тебя приветствует.
Просящему — даётся. Ищущий — находит.
Мудрость не достигается теми, кто живёт в личном.
Только раскрепощённый может видеть *ясно* “.

Я благоговейно поцеловал переплёт и хотел открыть книгу, как она сама развернулась, и я прочёл:

“Вступай в луч пятый. Здесь научись видеть ясно, читать без помощи телесных очей и слышать легко и просто без помощи временных форм. Читай в каждой временной форме её *Вечное*. Неси благословение дню и помогай пером — что дано тебе — развернуться сознанию встречного”.

И. подошёл ко мне, стал рядом со мною, поднял руку и подержал свою ладонь над листом книги, несколько ниже того места, где я читал. Я смотрел на лист книги, под его ладонью и заметил, что под нею складывается яркая фраза:

“Луч пятый — луч науки и техники. Луч технического приспособления в каждом развитом сознании всех его духовных даров для непосредственного служения человечеству.

Иди моим лучом и вноси всё своё понимание, через Любовь к тебе приходящее, интуитивное и сокровенное, как простой труд обычного дня.

Научись претворять любовь созерцающую в мелкие дела дня. И только та любовь, что умеет быть влита и приложена в делах серого дня, будет *живою* Любовью, *движением Единого*.

Забвения нет во вселенной ни для одного человека, ни для одного его дела. Ибо все живущие и творящие — только технические пути и способы *Жизни*, идущей в формах.

хотя бы по слепоте своей человек очень мало думал о том, другом, с которым ему указана карма как самое важное и главное дело жизни, — продолжал Франциск, замедляя шаги. — Если человеку была указана деятельность подле его бывшего врага, а он упустил этот случай по той или иной своей легкомысленности и бывший враг умер без него, — не надо стонать и плакать или искать себе оправдания в том, что его собственное пребывание в другом месте в это время было необходимо и нужнее, полезнее. Так человеку кажется, ибо не знает. Если же так с ним случилось, надо понять и узнать, что никакие сетования, мольбы и оправдания не помогут. Он остановился, а кольцо кармы, которое в неусыпных трудах передвигали Владыки освобождающих Карм, ушло в своём движении дальше. Никто не властен повернуть вспять речное течение, не только движение Вечной Жизни. Упустившему своё кольцо раскрепощения есть единственный путь: выработать в остающиеся дни жизни *полную верность* и вырваться из кольца собственных предрассудков. Не ждать, говоря себе: “Во мне ещё не всё готово”, — ибо эта эгоистическая сосредоточенность не может провести к сознанию величия Милосердия. Только забыв о себе, может быть человек готов к труду, разделяемому Учителем. В полной радости, в благоговении входите к двум несчастным сейчас и храните блаженство мира в сердцах, — закончил Франциск свою речь, вводя нас в уже знакомую мне комнату, где раньше лежал Макса.

При нашем появлении оба карлика играли какими-то квадратиками, из которых они складывали домики. Увидев вошедших первыми Франциска и Алдаз, которых они хорошо знали и любили, карлики не выразили беспокойства. Даже наоборот, глазки их заблестели удовольствием. Но когда вошёл И., за ним я с павлином, они вскочили на ноги, дико что-то замычали нечленораздельное, замахали руками и так напугали мою бедную птичку, что я едва удерживал Эту, стараясь всеми силами передать ему моё спокойствие. Но Эта дрожал и пытался убежать из комнаты. И. положил ему руку на спинку, чем сразу его успокоил.

Что же касается карликов, то, не найдя, куда бы им спрятаться от посетителей, они впились во Франциска, стараясь укрыться в складках его одежды. Оттуда они выглядывали, очевидно чувствуя себя под верной защитой, и наблюдали за каждой из вошедших фигур очень пристально и внимательно: один глаз у них выражал испуг, а другой любопытство.

Это было необыкновенно потешно! Несмотря на явный страх и подозрительность, оба маленьких человечка собирали всё своё внимание, чтобы не упустить из орбиты своих наблюдений ни одного из нас, которых они всем своим поведением объявили своими врагами.

И. подошёл к Франциску, гладившему страшные головы прильнувших к нему уродов с такой любовью, как будто бы это были чудесные цветы, и раскрыл складки его одежды, в которых прятались карлики.

Злой карлик, так ужасно сражавшийся в день своего раскрепощения и потом горько рыдавший на груди И., теперь доверчиво потянулся к нему. И. взял его на руки, он окончательно успокоился и стал быстро говорить ему что-то, указывая на моего Эту, которого я всё держал на руках и который далеко не был спокоен.

И., поглаживая кудлатую, безобразную голову карлика, всё ближе подвигался ко мне. Зейхед, которого Эта очень любил и помнил как своего первого хозяина, поянии, помочь людям — это вы найдёте у И. и Флорентийца. Все сейчас необходимые вам знания вы найдёте у И. Моя и его Любовь помогут вам войти в новую ступень жизни. Но умение применить все знания вы можете найти только сами.

Франциск оставил нас и вскоре скрылся за беседкой. Но мы пробыли одни очень недолго. Не успел я ещё раз прижать кольцо Франциска к губам и представить себе, как очаровательно будет гореть красная цепочка на белой шейке павлина, как И. сказал:

— Лёвушка, сюда идёт Наталья Владимировна. Встреть её так, как тебя только что встретил Франциск. Перелей в неё всю силу твоего милосердия, как тебе сегодня было пролито. Если сумеешь забыть о себе и, думая только о ней, прижать её к сердцу, не видя в ней ничего, кроме её Любви, ты поможешь ей подняться на ту высоту, где ей необходимо найти новую силу, чтобы окончить прежний и начать следующий труд. Не важно, что ты сам ещё только неофит. Тебе не могут быть ещё открыты пути сокровенного труда Владык Кармы людей. Важно, чтобы *ты* отдал ей всю чистоту радости, которую *она* в данное сейчас *может* вобрать только через тебя. Не человек, как таковой, важен, когда несёт *весть. Важна сама весть и важна любовь, отдаваемая тем, кто несёт весть*. Помоги ей, забыв о себе, как сегодня помогали тебе, не помня ни о чём, кроме тебя.

И. умолк, взял под руку Бронского и вышел из беседки. За ними, ласково улыбнувшись мне, вышли и Никито с Зейхедом. Прошло очень немного времени, вероятно, минут десять-пятнадцать. Но что это были за минуты! Я не ощущал веса собственного тела. Полное счастье бытия, какая-то неведомая до сих пор сладость сердца сливала меня со всем окружающим, точно и свет, и солнце, и камни, и цветы, — всё звучало. Я ясно слышал, как звучала моя собственная нота в общей гармонии вселенной. Я составлял часть всего целого, не различая, где начиналось “я” и где было “не я”.

Послышался лёгкий шорох, и я увидел подходившую к беседке Андрееву. По обыкновению, косынка из белых кружев была наброшена на сильно вьющиеся волосы, но, далеко не по обыкновению, самой глубокой печалью были полны глаза. Это даже не были её обычные электрические колёса, к которым я уже привык. Они точно потухли, и вся её тяжеловатая фигура казалась сегодня ещё более грузной и поникшей. Шла она, точно ничего не видя и не замечая. Мне подумалось, что её давит какая-то мысль, что она не в силах решить важный вопрос, который не даёт ей покоя. Я вышел ей навстречу, но она все ещё не видела меня, пока я не взял её за руку, в которой она держала нераскрытый зонтик.

— Сестра Наталья, — сказал я с той радостью, которая наполняла меня всего сегодня. — Как я счастлив встретиться с вами в эту минуту! Я не ощущаю никаких преград между мною и вами. Я знаю, что терзает вас, и я несу вам помощь Али-старшего. Не смотрите, дорогая Наталья, на мои плохие качества. Я только тот муравей, что несёт вам весть Али.

Я внезапно почувствовал уже знакомое содрогание всего моего существа и услышал голос Али:

— Возьми сестру твою и введи её в мою комнату. Там, на второй полке третьего шкафа, возьмёшь ту книгу, что засветится для твоих глаз. Подай её сестре Наталье и помоги ей своей чистой гармонией и преданностью прочесть то, что ей необходимо.

Страшно обрадованный, я удивился, что Андреева всё так же безрадостно стоит рядом со мной, точно ничего не слышит из сказанного мне Али. Я передал ей его приказание — она так вздрогнула, точно внезапно проснулась. Я не дал ей опомниться, как-то сразу сообразил кратчайший путь к островку Али и повёл туда мою милую сестру Наталью.

Мне было очень странно проходить новой тропой, которую видел сам впервые. Я столько времени жил уже в Общине, казалось, прекрасно знал весь парк, и вот иду так уверенно по местам, которые вижу впервые.

— Куда же ты ведёшь меня, братишка? — Голос Андреевой был тот голос №2, мягкий и нежный, в котором было так много ласки и обаяния.

— Разве ты не видишь, дорогая сестра, что мы идём в комнату Али, на его островок. Вот он уже виднеется, но я, правда, и сам подхожу к нему впервые с этой стороны, — ответил я со всей лаской, на которую было способно моё настежь открытое сердце.

— К какому островку? Ведь комната Али в белой скале, как я знаю, а об островке я ничего не слышала.

Мы вышли из густых зарослей деревьев и подошли к мостику, который начинался ещё в самой гуще деревьев, весь был завит цветущими лианами и высокими травами и представлял из себя узенький, качающийся, висящий над водой проход. Вступив на этот хрупкий переход, с сомнением думая, втиснется ли в него плотная фигура моей милой спутницы, я оглянулся и... снова едва не превратился в “Лёвушку — лови ворон”. Вместо печального, сурового лица, погружённого в глубочайшее раздумье, я увидел лицо юное, радостное, с целым потоком энергии, лившейся из глаз.

Глаза эти снова стали знакомыми мне электрическими колёсами, а всё лицо было не обычным лицом Андреевой, женщины средних лет, мне привычным, с грубыми, волевыми чертами и плотно сжатыми губами. Это было лицо какого-то незнакомого мне юноши, преображённого, что-то слышащего, чего не слышал, очевидно, я, что-то видящего, чего не видел я.

Тут я понял, о чём говорил мне И.: “Всякий видит и слышит только то, до чего он сам созрел. Рядом с человеком в звучащей *всегда* вселенной может проноситься волна звуков величайшего значения, и она не прозвучит человеку, если в *его* сердце нет ответной гармоничной ноты, чтобы ухватить в себя гармонию эфирной волны”.

Несколько минут назад я слышал то, чего не могла ухватить Андреева. Теперь она что-то слышала, что было для неё несомненным фактом, чего не мог понимать я.

Исполненный чувства высокого благоговения к её молчаливой вовне беседе, я нежно взял её за руку и повёл по узенькому мостику, идя спиной вперёд. Раньше я не мог выносить не только её прикосновения, но даже приближение её чувствовал очень резко и понимал, что от него мог заболеть, как заболела очаровательная леди Бердран, которую всё ещё лечил И. Сегодня же рука моя держала её руку спокойно и радостно, и — удивительное дело — я всё не мог расстаться с впечатлением, что веду юношу.

Мы благополучно прошли качавшийся и прогибавшийся под нами мостик, очутились на островке и, как всегда, были встречены белым павлином и сторожем.

любви. *Второе*, что вводит вас в осознание себя единицей *труда вечного*, — это блаженство *мира сердца*. Раскрепощённое сознание даёт человеку возможность увидеть весь *великий труд жизни*. Увидеть не убогий человеческий закон справедливости, но вечные законы *целесообразности и закономерности*. Увидав *их*, человек видит и понимает и своё собственное место во вселенной труда для блага и радости всех и ощущает блаженство мира сердца. *Третье*, что раскрывает сознание светлого труженика земли, есть *радость гармонии всего* в движении общей жизни. Раскрепощённые глаза, с которых упали плотные покровы телесной любви, дают возможность увидеть, что нет ни зла, ни добра — есть временное закрепощение в том или другом. И оба эти понятия могут стать предрассудками, и оба могут одинаково держать цепкими крюками дух человека. Освобождённый чувствует блаженство радости как простую доброту, которую несёт в каждую встречу, ибо это не *его* качество, а только живое *движение* его внутреннего блаженства *радости. Четвёртое* блаженство, закрывающее двери всему личному и завершающее круг блаженств, в котором живёт освобождённая душа, — блаженство *бесстрашия*. Нет высшего счастья для человека земли, как достичь такого раскрепощения и такого раскрытия Любви в себе, чтобы она слилась в круг Гармонии этих четырёх блаженств. Всё величие духа, до которого может дойти человек земли, заключается в этом кольце самообладания, которое люди зовут гармонией. На самом же деле это только начало гармонии, её первые составные части. Это только свойство, вводящее в преддверие храма, где стоят существа, не имеющие предрассудков добра и зла, и где можно постичь, *что* такое *свет в себе* и *как* его нести в путь встречным. Каждый из освобождённых хотя бы в малой степени людей приближается к труду вечному. Он понимает, что нет “дня” как такового его жизни. А есть только “день дежурства” человека на земле. Дежурства *не* подвига, а простого счастья вносить действенную энергию *доброты* во все дела и встречи.

Человек, закованный в тяжелейшую броню “добра и долга”, точно так же не может двигаться к совершенству, как и отягощённый предрассудком зла. Только тот может войти в кольцо дежурящих учеников, кто забыл о себе хотя бы до такой малости, что перестал обижаться, кого-то и за что-то наказывать, кому-то угрожать или сам чего-то страшиться, с кем-то объясняться, оправдываться и ссориться. Шаткие, бесхребетные, ни в чём не уверенные люди напрасно ищут что-то читать или о чём-то философствовать, полагая, что в этом и состоит весь их труд и “искания” высокой человеческой жизни. Не говорю уже о тех, кто видит всюду только куплю-продажу. В эту минуту, здесь, не только тем, кто будет *действовать*, но и каждому, кто призван видеть, *как* действует любовь, раскрепощённая от первейших заноз страстей, надо сосредоточиться на тех четырёх блаженствах, о которых я сказал. Пойдёмте же, вы увидите, как совершится акт величайшего милосердия: развязка старинной злой кармы.

Франциск двинулся, взяв под руку Наталью и продолжая держать другой рукой меня. Все пошли вслед за нами по небольшому отрезку дорожки, ещё отделявшей нас от поляны больницы.

— Если указана и раскрыта человеку его карма с каким-либо человеком, близким или далёким, тут-то и надо приложить все усилия, всю любовь и усердие, чтобы выполнить небольшое количество радостного труда для развязки указанной кармы,

меня, что я мог забыть сходить за моим страдающим другом, утонув в море собственного эгоистического блаженства.

— И., мой дорогой наставник, в такой великий день я проштрафился, — остановившись, беспокойно сказал я. — Я забыл сходить за Бронским. Я сию же минуту побегу за ним. Как это я так рассеялся, даже понять не могу.

— Не волнуйся, друг, — ласково сказал Зейхед. — Я ведь твой поручитель, разделяющий с тобой все заботы о печальных. А Никито несёт с тобой все заботы о радостных. Я не только позаботился, чтобы пришёл Бронский, но чтобы он привёл и Наталью, на что получил разрешение И. Через несколько минут их обоих приведёт сюда Алдаз, которая сегодня у Кастанды, и он передаст ей это распоряжение.

— Я очень тронут твоей заботливостью и помощью, Зейхед. Но да будет мне это уроком, как обо всём надо помнить, всё держать в памяти, хотя бы небо сияло в душе. Я буду стараться, чтобы оно сияло, но не закрывало от меня землю, а лилось на неё моим трудом.

Франциск подошёл ко мне вплотную и заглянул мне в глаза, улыбаясь так приветливо, как мог бы улыбаться только ребёнок или святой.

— Это не эгоизм, друг. Это неопытность. Слишком трудно нести большое счастье и не поддаться соблазну созерцания. Если бы ты знал, как ценно твоё желание, чтобы сияющее небо лилось на землю в твоём труде! Одно оно раскрыло тебе сегодня же возможность подать помощь спасения семье твоего врага. Пойдём, карлики сегодня оба беспокойны. Их тревожит инстинкт встречи с твоим павлином. Возьми его на руки, я не уверен, что и он не станет беспокоиться.

Я взял Эта на руки, мы уже готовы были двинуться дальше, как сзади нас послышались торопливые шаги, и из густых зарослей лиан боковой дорожки вышли Алдаз, Бронский и Наталья.

Молоденькая Алдаз легко и быстро шла впереди. Бронскому ничего не стоило поспевать за нею, но бедная плотная и грузная Наталья еле двигалась за ними обоими. По её лицу катился струями пот, но оно было сейчас спокойно, даже смирение лежало печатью на этом лице, столь сейчас незнакомом мне. Бунтующей и протестующей Натальи нельзя было себе и представить в этом существе.

Франциск подошёл к ней, держа меня под руку, и, точно обливая её своею любовью, сказал ей:

— Я хотел, чтобы вы были сегодня, дорогая сестра. Не представление или занятные фокусы вы увидите, но один из величайших актов самоотвержения и любви тех, кто вас сюда послал. Вы сегодня наглядно поймёте, *что* такое в *действии труда на земле* то *самообладание*, к которому вас так настойчиво зовёт Али. Вы поймёте, что его достичь *волей* невозможно. Оно рождается из ощущения в себе блаженства и счастья *жить*. Четыре элемента составляют круг этого счастья *жить*: *первое*, что ощущает человек, — это *блаженство любви*. Любовь *живая* в человеке — это не его *личное* качество, не его *добродетель*. Это такая *освобождённость* сердца и мысли от всех тисков страстей, что ничто в *самом* человеке уже не мешает ему войти в ощущение блаженной любви. И в этом внутреннем состоянии *света* в *себе* уже нет предрассудка, *как* и каким способом вы служите помощью людям; не важно, несёте ли вы им весть радости или скорби, — важно, что вы несёте им весть *раскрепощения*, того *раскрепощения*, которое расчищает человеку путь к блаженству

Приветствуемые этими милыми обитателями островка, мы подошли к белому домику Али, который казался мне сегодня таким сверкающим, точно из всех его пор били золотые лучи.

“Стой, путник, остановись и подумай, зачем ты пришёл сюда”, — прочёл я надпись, преградившую нам путь, как бы на белой натянутой ленте. Откуда взялась эта надпись, я не понял, но факт был налицо: она преграждала нам дорогу за несколько шагов от входа в домик.

“Я пришёл сюда выполнить приказание Учителя и друга моего”, — мысленно ответил я. Надпись не представляла собой никакого препятствия в смысле физического заграждения, которое было бы трудно сломать. Но ноги мои точно приросли к земле, и у меня было такое ощущение, что передо мной непроходимая стена.

Не успел я договорить мысленно последних слов, как надпись погасла. Мы сделали несколько шагов вперёд, и путь нам преградила вторая надпись:

“Беспрекословное повиновение, радость и бескорыстие могут пройти через мои ворота. Но одна чистота может помочь неофиту вывести обратно ту душу, что он взялся ввести в дом силы.

Ещё есть время, путник! Если в тебе есть страх, если боишься ответственности — вернись и не вводи порученного тебе в дом мой".

— Так приказал мне Учитель, я иду, — громко ответил я, крепче сжал руку Натальи и пошёл прямо на горящие знаки надписи. Я думал, что коснусь их жгучего пламени, закрыл собою Наталью, но надпись погасла, и мы вошли в дом.

Поднявшись по лестнице, мы остановились у двери комнаты Али. Я поднял глаза вверх и радостно прочёл надпись из белых огней над самой дверью:

“Будь благословен, входящий. Знание растёт не от твоих побед над другими, побед, тебя возвышающих. Но от мудрости, смирения и радостности, которые ты добыл в себе так и тогда, когда этого никто не видал.

Выполняя долг любви к ближнему, подаёшь мне любовь. И вводя брата в дом мой, *моё* дело *на земле* совершаешь".

Я опять посмотрел на Наталью и опять понял, что она ровно ничего, в смысле надписи, не видит. Лицо её было кротко, ясно. Она терпеливо стояла, ожидая, пока я введу её в комнату. Вся её фигура составляла контраст с той нетерпеливой Натальей, главной отличительной чертой характера которой и было нетерпение. Обычно она ни минуты не могла нигде и ничего ждать. Сейчас же это было олицетворение покоя.

Я открыл дверь комнаты, усадил Наталью за тот стол, где всегда занимался сам, и подал ей книгу, найдя её там и так, как мне сказал Али.

Не только моему, но и никакому человеческому перу не описать радости и счастья, отразившихся на лице Натальи, когда я подал ей драгоценную книгу. Она немедленно раскрыла её и погрузилась в чтение, забыв обо всём. Я же в её книге, к своему огромному разочарованию, увидел новый для меня шрифт и с трудом сообразил, что это был древнееврейский язык.

Преклонившись перед знаниями моей подруги и ещё один раз улыбнувшись своему невежеству, я предоставил ей заниматься в тишине и отошёл в глубину комнаты.

Никогда до сих пор я не проходил в эту часть комнаты. Каждый раз, войдя в дверь, я круто поворачивал налево и проходил к тому столу, за который меня усадил впервые Али руками дорогого И.

Сегодня, стараясь охранить глубокую сосредоточенность Натальи, я прошёл в правую половину комнаты и поразился её огромным размерам. Весь верхний этаж домика занимала одна эта комната. Здесь, в правой её половине, было тоже много книг, стоял ещё один письменный стол, на котором в прекрасной белой вазе стояли свежие цветы. Я подумал, что немой слуга приносит их сюда. Чистота комнаты, где всюду был белый мрамор, поражала. Точно всё здесь только что вымыли и убрали пыль.

Я взглянул на книги в застеклённых шкафах и снова удивился — такое разнообразие языков смотрело на меня оттуда. В первый раз за всё время моего отъезда из Петербурга меня потянуло писать. И мой писательский зуд был так силён, что я готов был тотчас же сесть за стол Али и начать писать дневник своей жизни за этот почти уже полный год жизни, промчавшийся точно вихрь.

Я уже двинулся было к столу, как моё внимание привлекла маленькая, едва заметная дверь с правой стороны, за шкафами книг. Сюрприз для меня был огромный. Я полагал, что верхний этаж весь заключался в одной этой большущей комнате, а теперь понял, что здесь была ещё одна комната.

В моей памяти встало воспоминание о комнате Ананды в Константинополе, о том, как И. готовил “принцу и мудрецу” вторую, тайную комнату, вход в которую был закрыт для всех. Я подумал, что у Али здесь тоже была его святая святых, куда входил только он один и, быть может, его самые высокие друзья и ученики.

Благоговение перед святыней дорогого друга, которого я так недавно видел благословляющим меня у алтаря в домике И., переполнило меня. Я вспомнил всю встречу с Али-старшим. Его лицо и жесты. Его величие и неизменную, не имеющую слов для выражения ласковость, пронизывающую всё его обращение к человеку даже тогда, когда слова его были строги и серьёзны. Не было суровости в этом поразительном лице даже тогда, когда его прожигающие глаза читали, казалось, дно человеческого сердца.

Вспомнил я и пир, и предшествовавший ему разговор Али с Наль и Николаем. Вспомнил и прогулку в парке Али, его беседу со мной, его проводы нас с Флорентийцем, когда он стоял подле коляски и последний подал мне руку, обнял и ласково притянул к себе.

Как много прошло времени с тех пор, как много встреч и людей мелькнуло в моей жизни, а это объятие и взгляд стояли в моей памяти такими живыми, будто я только что вышел из рук Али.

И Ананда вспомнился мне, и сэр Уоми, так благодушно выносивший своего неумелого секретаря, и И., отдавший мне такой огромный кусок своей жизни, забот и внимания. Я точно читал, лист за листом, книгу моей жизни последних месяцев, снова ярко переживая все встречи. Али-молодой, дорогой капитан Джемс, Анна и Строганов, Жанна, её дети, милый князь, турки, Хава, Генри и, наконец, ужасные Браццано и Бонда...

И такая благодарность переполнила меня ко всем моим великим покровителям за их сверхъестественную доброту, с такой простотой мне данную! И жалость, состра-

Глава 6

Франциск и карлики. Моё новое отношение к вещам и людям. Записная книжка моего брата Николая

Не успел я войти в свою комнату, как очутился в буквальном смысле слова в объятиях моего птенца. Сегодня я и в нём окончательно увидел не птенца, а молодую, сильную птицу, обещавшую сделаться неоспоримой красавицей. В первый раз за время своей жизни со мною мой белый друг не нуждался в моей помощи, чтобы вспрыгнуть ко мне на плечо. Раскрыв крылья, он охватил ими мою голову и тёрся своей головкой о мою щёку. Я даже ошалел от неожиданности такого бурного привета и представлял из себя довольно нелепую фигуру, когда голова моя исчезла в павлиньих перьях и слышен был только мой смех да смех моих друзей, потешавшихся над Лёвушкой с павлином вместо головы.

Успокоившись, мой павлин по приказанию И. учился отдавать поклон каждому из моих гостей, за что получал сладкий хлеб, которого он был большим любителем. Наконец, вдоволь накормленный и напоенный, он снова взобрался мне на плечо, и мы вышли по направлению к лесу.

Через долину, ещё жаркую, я перенёс птицу на плече; но вес её был уже солиден, и в лесу я спустил её на землю. Павлин бежал рядом со мной, что теперь для него уже не составляло никакого труда. Но сегодня я подмечал в нём что-то новое, чего раньше не видел в моём воспитаннике. Мне казалось, что в павлине появилось нечто духовное, какой-то трепещущий свет точно шёл от его головки и тех мест, где начинались его крылья. Да и в глазах его, мне чудилось, пробилось новое, осмысленное, почти человеческое выражение.

— Какое же имя ты дашь своему воспитаннику? Уже пора, чтобы он привыкал слышать своё имя.

— Мне и самому хочется окрестить его каким-либо красивым именем, Зейхед. Да уж очень я плохой выдумщик и не знаю, как его назвать.

— Ну, Лёвушка, тебе ли задумываться над именем для павлина? Назови его Вечный. Вот он и будет напоминать тебе о вечной памяти и связи с тем врагом, которого ты теперь так рад простить и утешить.

— Знаете, И., Вечный — это не особенно красиво звучит. Я лучше назову его Этой, что по-итальянски значит “век”. Мой же красавец Эта легко запомнит своё короткое имя. Я же, выговаривая его, буду вспоминать, как ещё много мне работы над моим самообладанием, без которого я, вероятно, и жил в тот век, когда вызвал ненависть своего бывшего врага, теперешнего Эты.

Мы подходили к больничной части Общины и увидели шедшего нам навстречу Франциска. Тут только я вспомнил, что должен был привести с собой Бронского. Я остановился в полном смятении, даже дыхание моё стало тяжёлым, так поразило

новится и днём твоих великих отдач. Сегодня ты закончил только первую и наиболее лёгкую часть твоих старинных карм. Но после обеда ты возьмёшь своего птенчика, который успел уже проголодаться и соскучиться без тебя, и мы вместе с твоими поручителями пойдём к Франциску, чтобы ты мог начать погашать самую тяжёлую часть кармы с твоим злейшим врагом. Я знаю, что всё время тебе хочется спросить меня, что такое “Владыки Кармы”, о которых ты ещё ничего не знаешь. Я расскажу тебе о них, и частью ты узнаешь кое-что из записной книжки твоего брата. В эту же минуту отдыхай, друг, среди той любви, что тебя окружает так щедро со всех сторон.

Не успел И. договорить последних слов, как мои дорогие поручители показались на дорожке, встречая нас. Войдя в прелестную беседку, где было много прекрасных цветов, я увидел небольшой стол с четырьмя скромными приборами на белой скатерти и четыре табуретки из простого пальмового дерева. У каждого прибора стояла уже готовая холодная еда и много фруктов.

Какая разница была в моих ощущениях сейчас и раньше?

Если бы Андреева только прикоснулась ко мне раньше, я лежал бы больным. Теперь же мои силы точно всё возрастали, чем больше я отдавал моей любви. И мне казалось, что я становлюсь всё сильней. Я и голода не ощущал, а ел только потому, что И. приказывал мне быть хозяином в беседке и подавать пример своим дорогим гостям.

Никито несколько раз напоминал мне некоторые эпизоды из моей детской далёкой жизни. Я их ясно представлял и всё чётче отдавал себе отчёт, как бесконечно многим я обязан брату Николаю и как я мало знал и видел истинного брата Николая в той человеческой форме, которую так любил.

Мне представлялось, что брат Николай знает о моём счастье сейчас. И у меня не было горечи, что его нет со мной. У меня было одно желание: передать ему сегодня мой привет любви, привет благодарности брата-сына за всё то, что для меня сделал брат-отец.

— Передай врагу своему и его семье полное прощение сегодня, и ты сослужишь брату своему и его будущей семье великую, вековую службу, — сказал мне И.

— Неужели же всё в жизни людей так цепко связано, И.? — спросил я.

— О, да. Ты только ещё вступаешь на тот путь, где начинают понимать высшие законы, и они-то и есть единственные законы движения вселенной: закономерность и целесообразность — о них запомни.

Наш лёгкий обед кончился быстро, и мы направились в мою комнату к моему дорогому птенчику, который тоже — по терминологии леди Бердран — начинал превращаться из гадкого утёнка в прекрасную, царственную птицу.

дание к тем несчастным, которым я отдал поцелуй Любви, но помочь не смог, раскрыли моё сердце в горячей мольбе. Я невольно опустился на колени, прижался к двери и звал Али, чтобы через него донеслась моя любовь до несчастного Браццано, чтобы не только одной благой мыслью была моя молитва, но чтобы я мог найти действие и энергию перелить любовь в активный труд для счастья и спасения несчастных.

Я погрузился в мою молитву, я нёс свою радость нового знания в чистоте сердца всем страдальцам, остающимся в зле только из-за своего невежества и грубых страстей. В моей молитве не было ни печали, ни раскола в сердце, как бывало раньше, когда я молился о несчастных, о страдающих. Я нёс в своей молитве полное благословение *всему сущему*. Моя уверенность и радость жить, зная Великую Жизнь в себе, не имели теперь тех трещин скорби, которые всегда раньше вливались в мои молитвы. Меня больше не тревожил вопрос, зачем так много страданий в мире, я понимал: “Всё благо”. Я ушёл куда-то, слился, растворился в благоговейном призыве к Али...

Нежная рука легла мне на голову — возле меня стоял И. Он улыбался мне, молча поднял меня с коленей и сказал:

— Ты угадал, мой друг. Там “святая святых” Али. Ввести тебя туда может только его рука. Я не сомневаюсь, что, встретив тебя здесь, он сделает это. Твоя молитвенная благодарность ему раскрыла тебе возможность войти туда. Но в эту минуту твоего счастья выполни до конца твою встречу с Натальей. Окончи её в радости, как и начал, и будь счастлив данным тебе поручением.

Я пошёл к Андреевой. Душа моя сияла, ни единой тёмной крупинки не жило во мне, весь я был полон такой мощью любви, что, казалось мне, чувствовал силу сдвинуть гору.

При моём приближении Андреева подняла на меня глаза и я прочёл в них раздражение и какое-то нетерпение. Это вызвало у меня улыбку, я готов был взять на себя не только её раздражение, но всё, что бы она ни вылила на меня, лишь бы облегчить ей сейчас жизнь и приобщить её к моей радости. Должно быть, моя любовь передалась ей. Под моим взглядом она утихла и рассмеялась:

— Ну, можно ли выговорить вам то, что я только что хотела вам сказать? Простите меня, я прочла уже всё то, что мне было нужно узнать из этой книги, распалилась желанием поскорее бежать писать мой труд и не могла сообразить в этой сплошной белизне, где здесь дверь. Вы же ушли, оставив меня здесь одну, вот меня и охватило нетерпение. Кроме того, от этого слепящего света, отражённого от белых стен, у меня сделалась сильнейшая головная боль. Я просто заболею, если вы не выведете меня сейчас же отсюда.

Её страдальческий вид не дал мне времени высказать ей, как я был поражён тем, что она говорила, и её нездоровьем. Значит, она не видела, что я был всё время здесь. В комнате царил чудесный свет. Было прохладно в сравнении с жарой вовне. Но раздумывать было некогда, я взял книгу, спрятал её в шкаф, подал руку бедняжке, которая бледнела и задыхалась, и вывел её на островок, где ей стало сразу легче.

Я проводил её через горбатый мостик в ту часть парка, где была расположена главная часть Общины, и только здесь болезненный вид Натальи стал радостнее и дышать она также стала ровнее.

— Как я жалею, что у меня нет с собой пилюли Али. Вам сразу стало бы очень легко и ваша слабость сменилась бы бодростью.

— Я во время подоспел. Будет очень неплохо, если вы, сестра Наталья, съедите одну из этих конфет, — сказал И., протягивая Андреевой коробочку с совсем маленькими белыми шариками. Андреева взяла маленький шарик, проглотила его и глубоко вздохнула.

— Что это делается с вашим Лёвушкой, И.? Чем вы его закаляете? Не прошло и трёх месяцев, а он становится богатырём. Не говорю уж о сегодняшнем дне. Сегодня он положительно красавец.

— Да ведь и вы, Наталья, бываете красавицей — ответил я ей смеясь. — Но именно в эти моменты вы себя не видите, как, к сожалению, и я ещё не видел себя ни разу красавцем.

— Если бы вы были в силах победить свои нетерпение и раздражительность, моя дорогая, — взяв руку Андреевой и поглаживая её, ласково говорил И., — вы бы уже сегодня могли прочесть те слова в комнате Али, что там для вас горели. Это именно о них говорил вам Али в своём последнем письме к вам. Вы их должны прочитать сами без помощи Лёвушки, и, только тогда сможете работать дальше с Али и вынести в мир то знание, которое настала пора отдать людям. Али поручил мне передать вам, что тот участок вашей работы, где вы застряли сейчас, не потому труден для вас, что вы чего-то не знаете, но потому, что он требует от вас более высокой духовности. Переменить себя вы не можете. Но вложить в свой труд всю свою доброту и любовь к человеку вы можете. Думайте не о труде для человека, а о любви к Али. Старайтесь так много радоваться своему счастью служить ему пером, чтобы мысль о подвиге не вплеталась в ваше усердие. Понятие “подвиг” — понятие личного восприятия человека. У ученика же может быть только счастье простого дня, счастье служить Учителю, утопая в радости. Самое простое дело обычного дня — вот ученичество. Но не под-виг и не дела, которыми люди прославляются.

По мере того как говорил И., Андреева всё больше успокаивалась. Её возбуждение гасло, лицо смягчалось и глаза теряли огненный блеск.

— Вы дали мне сейчас новое ощущение мира, доктор И. Я пойду сейчас работать по-иному, чем раньше. Мне кажется, что я поняла всё, что вы мне сказали. — Поклонившись нам, она ушла к себе.

Когда мы остались одни, И. спросил меня:

— Чувствуешь ли ты в себе ещё сейчас ту силу, Лёвушка, которую ты ощущал в комнате Али?

— О, да. Сегодня я понимаю, что количество любви может стать любым качеством, любой энергией. И *что* такое *Любовь-Сила*, я теперь понимаю.

— Тогда пройдём к леди Бердран. Она уже оправилась настолько, что завтра я хочу её выпустить из нашего корпуса снова в общение со всеми. И я хотел бы, чтобы ты в свой великий день счастья приветствовал её выздоровление и передал ей часть своих чистейших вибраций, которыми пронизали тебя великие и милосердные труженики.

— Как я буду счастлив, И., дорогой, увидеть больную и передать ей часть своей радости, которая льётся сегодня вокруг меня. Ваше присутствие поможет мне суметь найти язык и способ разделить мою радость с нею.

— Зачем же расставаться с Лёвушкой, леди Бердран? — раздался голос вошедшего к нам на балкон И., которого мы, увлечённые нашей беседой и не заметили. Если Лёвушка стал вам близок и дорог, хотите, я дам ему поручение обучить вас санскритскому языку? — И. смеялся, глядя на меня и выбрасывая из глаз целые снопы юмора.

— О, доктор И., вам Наталья, наверное, сказала о моей неспособности к языкам. Если бы у Лёвушки были сверхъестественные способности к преподаванию языков, то и тогда он не нашёл бы способов обучить меня санскриту. Да и терпения у него не хватило бы.

— Конечно, если вы думаете, что ваша лень будет равняться его терпению, то из ваших занятий выйти ничего не может. Но если вы поймёте, что вам надо кое-что прочесть на этом языке, ну, например, почему вы являетесь людям вестницей неудач, а понять это вы сможете только тогда, когда прочтёте один свиток на санскритском языке — только на санскритском и ни на каком другом, потому что так идёт течение вашей кармы, — в этом случае вы, наверное, ухватитесь за такого учителя, как Лёвушка, и постараетесь всеми силами облегчить ему его урок терпения и выдержки.

Я поглядел на И. и не понял даже, в какой момент исчезли юмористические искорки из его глаз и когда он перешёл с шутки на полный серьёз. Голос его звучал уже знакомыми мне повелительными металлическими нотами.

Я встал, поклонился И. и радостно сказал:

— Я счастлив принять это поручение именно сегодня. Я приложу всё усердие моей любви, чтобы леди Бердран смогла поскорее прочесть свой свиток.

По мне пронеслось не то уже мне привычное содрогание всего существа, которое давало мне понять, что я сейчас услышу или увижу что-то из мира сверхсознательных сил. У меня явилось новое, простое ощущение, как будто у меня между горлом и грудью раскрылся какой-то вращающийся аппарат, подающий мне силы видеть и слышать внутренним зрением и слухом.

Я увидел Али, увидел в его руке старинный свиток и услышал его слова: “Если жертву любви не совершит тот, кому она предназначалась Владыками Кармы, она всё же должна совершиться. Прими её в этом случае на себя. Начни и кончи поручение в той чистоте, в какой стоишь сейчас”.

Мною овладело никогда ещё не испытанное чувство полного равновесия, устойчивого спокойствия и полной простоты по отношению к малознакомому мне человеку. Я подошёл к леди Бердран.

— Не думайте, что я сам уже хорошо знаю санскрит. Но, уча вас, я буду продолжать учиться сам. Как только И. разрешит, я приду к вам и принесу книги. Как бы трудно ни давался вам язык, это будет легче, чем нести тяжесть непонимания изо дня в день. Если вам открыто, где искать объяснения вашей печали, по всей вероятности, вам будет указан и путь, как выйти из круга её или как нести её дальше без огорчения.

Мы простились с американкой и сошли вниз. Гонг призывал к трапезе.

— Пройдём в оливковую рощу. Сегодня тебе, Лёвушка, было бы трудно в многолюдном обществе. Никито и Зейхед ждут нас в тенистой беседке возле грота, где мы будем обедать только вчетвером. Этот день, день твоего великого счастья, ста-

— Не знаю, не могу вам сказать, как это случилось, что я точно прирос к И. Я встретил его в очень печальный час моей жизни. Вероятно, моё детское и одинокое сердце, сердце того “гадкого утёнка”, над которым вы потешались, сразу почувствовало безграничную любовь И., его милосердие и заботы, которые спасли мне жизнь, в буквальном смысле слова, не один раз за время нашего сравнительно недавнего знакомства. В голове моей была такая каша, я не только ни в чём не был уверен, я даже ни в чём не мог разобраться — ни в самом себе, ни в окружающих людях и событиях. Правда, я не замечал, чтобы я приносил людям постоянно страдания и неудачи. Но вопрос, зачем в мире так много должен страдать человек, вопрос этот давил меня так тяжело, что я готов был отрицать смысл жизни. И. своей мудростью и любовью вывел меня из тупика. Его собственная трудовая жизнь, ежедневным свидетелем которой я был, которую вижу таковой же и здесь, жизнь, полная мира и помощи людям, научила меня, где нужно искать сил, чтобы встать на путь любви и сделать хотя бы первый шаг по этому пути. Этот первый шаг — *самообладание*. Лично мне он был очень труден, много-много труднее, чем вам. И шёл я к нему совсем иным способом, чем вы. Вы своим беспрекословным повиновением, когда вы делали вещи, по вашим пониманиям, чудовищные, но делали их только потому, что “так приказал доктор И.”, вы нашли то самообладание, которое уже ввело вас в первый, самый трудный шаг пути, о котором я говорю. Я совершенно уверен, что ваше стеснение перед И. пройдёт так же незаметно, как вы не заметили своего первого шага. Стеснительность ваша не что иное, как гордость и самолюбие. Как только в вас разовьётся не само-, а *человеколюбие*, вы сделаете второй шаг, то есть попросите И. помочь вам получить знания. Если истинно их ищете — отбросьте всю мелочь условных традиций, в которых выросли, и начинайте новое рождение.

— Лёвушка, у меня не хватит смелости просить И. Не можете ли вы попросить его заняться мною?

— Нет, леди Бердран, есть такие жизненные дела, которые люди могут только сами делать для себя. Решить идти в ту или другую сторону вслепую нельзя. В своей жизненной дороге, как и в вопросах духовных, только сам человек может избрать себе способ и манеру достигать совершенства. Один человек, как и все слагаемые его жизни, никак не похож на другого. Сколько бы я ни просил о вас и за вас, это ничему не поможет. Я могу только вам, лично вам принести всё своё самоотвержение и любовь. Я могу силой моей верности Учителю помочь вам сбросить разъедающий предрассудок разъединения. Могу пытаться вдохнуть в вас героическое напряжение, чтобы серость и ординарность быта не засосала вас. Но подняться к той героике чувств и мыслей, где может расшириться ваше сознание, очиститься и освободиться ваша любовь, где вы можете найти бесстрашие, чтобы обратиться с призывом к И., — это можете сделать только вы сами.

— Господи, как я хотела бы найти в себе эти силы! Сейчас, когда мне предстоит перейти снова в мою комнату, мне так жаль расставаться с этим домом. Хотя я и не так часто видела И., и совсем не видела вас, но я знала, что и он, и вы здесь живёте рядом. Сейчас я точно приобрела в вас брата, очень мне близкого и дорогого. И мне нестерпимо грустно расставаться с вами.

— Не думай о том, *как* пройдёт встреча. Ощущай, что Али и Флорентиец рядом с тобой. И ты всё сделаешь именно так, как это необходимо.

Мы вошли в наш дом и прошли прямо к леди Бердран, которую я не узнал в прелестной, свежей и юной женщине, напоминавшей в своём воздушном белом платье прекрасный цветок, вместо печальной, бледной красавицы, встреченной мною в первый день приезда в Общину.

В свою очередь, радостно поздоровавшись с И., леди Бердран ответила на мой поклон приветливо, но так, как кланяются человеку, которого видят в первый раз в жизни. Даже лёгкое разочарование мелькнуло на этом прелестном личике. Я рассмеялся, подумав, как мы ничего друг о друге не знаем, как женщина и не предполагала, откуда и с чем я к ней пришёл, и огорчилась, увидя “чужого”.

— Вы не узнали меня, леди Бердран, точно так же, как и я не узнал бы вас, если бы И. не предупредил меня, что ведёт меня к вам. Если раньше вы были похожи на бледную изысканную орхидею, то теперь вы ни дать ни взять тот задорный горный цветок, что растёт в здешних горах. Как его ни стремишься согнуть — он всё распрямляется.

— О, теперь я узнала вас по вашему смеху и вашей манере говорить, — протягивая мне обе руки, ответила милая хозяйка комнаты. — Но как вы изменились! Если я поразила вас здоровым и даже задорным видом, то вас я и сравнить не знаю с кем и с чем. Вы были мальчиком, а сейчас вы можете быть моделью героя для Беаты.

Шутя ответив, что у меня для художницы уже готовы заказы на вещи, более достойные её кисти, я пристально приглядывался к американке. И чем больше я в неё вглядывался, тем больше понимал, какой же силой любви должен был обладать И., чтобы другое существо могло так исцелиться, закалиться и переродиться в такое короткое время.

— Чем же вы были заняты всё это долгое время, леди Бердран? — спросил я хозяйку, когда мы уселись на балконе, где нас покинул И., сказав, что навестит Игоро и вернётся вскоре к нам.

— У меня было так много самых разнообразных занятий, что я даже не знаю, с чего начать моё перечисление. Первые дни мне всё хотелось лежать, голова была так слаба, что даже читать я не могла. Но ваш друг и не подумал считаться с моей слабостью. И первое, что он мне приказал, был физический труд. Мне казалось, что я нуждаюсь в самом тщательном уходе и заботах, которыми меня окружала моя дорогая приятельница, Наталья Владимировна. А доктор И., с места в карьер, на третий день приказал сестре милосердия покинуть меня, уверяя, что мне достаточно прислуги, которая убирала мои комнаты. Я подчинилась не без удивления и не без внутреннего протеста, но чувствовать себя хуже не стала, оставаясь целыми часами без надзора. Ещё через три дня мне, как я полагала, чрезвычайно серьёзно больной, было приказано встать с постели и идти купаться. Ещё более удивлённая, выполнив все лекарственные процедуры, — не скажу, чтобы мне было весело отвешивать и отмеривать мельчайшие дозы порошков и капель, которыми был заставлен подле меня стол, — попробовала сойти вниз. К моей радости, ничего со мной не случилось. Так, в сопровождении моей горничной я дошла до озера, купалась, вернулась обратно, и всё лучше было моё самочувствие. Вечером неумолимый доктор И. приказал мне отпустить мою прислугу обратно на родину, так как климат

этой части Индии ей вреден. Я была совершенно потрясена. Я привыкла думать, что благодетельствую всем своим слугам тем, что разрешаю им у себя служить. Я считала, что большое жалованье моей горничной — это всё, что ей надо.

И вдруг доктор И. говорит, что прислуга моя поехала за мной сюда только из любви ко мне, жалея меня. Что ей было очень тяжело расставаться со своей большой и дружной семьёй и что девушка увядает здесь, так как всё, начиная с климата и кончая духовными волнами Общины, ей вредно. Этого я никак не могла взять в толк. Я возмутилась! Значит, доктор И. не обо мне думал, а о какой-то девушке из народа! Но... один взгляд его и вопрос “Вы, собственно, зачем сюда ехали?” меня потрясли и отрезвили. Не много слов сказал он мне ещё, а вся моя жизнь показалась мне сплошным бездельем и жестоким эгоизмом. Мне ни разу и в голову не пришло спросить мою девушку, где и какая её семья, или представить себе возможность её болезни, радостей или страданий по каким-либо поводам. Классовое различие казалось мне самой законной и непреодолимой стеной... Не буду вам рассказывать подробно всей, довольно нудной, моей внутренней метаморфозы. Словом, я сама не ожидала, сколько мусора сидело во мне. И каким тяжёлым трудом и испытанием казалось мне, например, самой убирать комнаты. Не говорю уже о трагедии, когда пришлось вымыть и выгладить своё бельё и платье. Теперь, когда весь мой быт уже стал привычным началом дня, я не замечаю физического труда. Я, радуясь, делаю все эти простые мелкие дела и именно среди них особенно сосредоточенно благословляю мою жизнь, моё счастье встречи с Натальей Владимировной, потому что через неё я встретила доктора И. Когда мы ехали сюда, Андреева спрашивала разрешения у кого-то, кого она звала Учителем Али. Она была страшно рада, когда получила, с большим трудом, разрешение взять меня с собой. Не знаете ли вы, Лёвушка, кто это Али? — закончила она свой рассказ-исповедь.

— Я знаю Али, но всё, что о нём знаю, могу высказать в немногих словах, потому что знание моё очень ограничено. Али — это такое необычайное количество совершенно освобождённой от предрассудков любви в человеке, которое стало почти беспредельной силой. Но так как ни начала, ни конца его силы я рассмотреть не могу, то мне она кажется сверхъестественной и сияет для моего малого духа как явление божественное. Что же касается деятельности Али, то она так же неутомима, разнообразна и непостижима для меня, как деятельность И. В каждой из этих жизней нет ни мгновения в пустоте.

— Меня сейчас приводит в ужас, — снова сказала леди Бердран, — какую массу времени я растратила попусту. Вся моя жизнь, до встречи с Натальей, была одним сплошным исканием удовольствий и развлечений. Только теперь я начинаю понимать, что в жизни есть не только радости, купленные за деньги. И всё же видеть человека в том, кто перед тобой, меня научил в самое последнее время И. Лёвушка, я должна у вас просить прощения. Я смеялась над вами, над вашим тщедушием и над вашими шило-глазами. Сейчас, смотря на вас, я вспоминаю сказку о гадком утёнке. Вы и вправду стали лебедем, а я не двинулась с места и, кажется, могу остаться Золушкой навсегда. Прощаете ли вы мне мои глупые насмешки? Я ни минуты не могу больше жить с этим грузом на сердце.

— Я очень счастлив, дорогая леди Бердран, что ваши невинные насмешки позволили нам сломать гору условностей и приблизиться так друг к другу, чтобы рассмотреть человеческие качества в себе и собеседнике. Сегодня я принёс вам в себе так много счастья, так много чистой любви, что в сердце вашем не должно остаться ни крупинки уязвлённости. Я очень мало ещё знаю и мало видел в своей жизни. Каждый человек, становясь на путь знаний, начинает прежде всего понимать, что он ничего не знает. Сегодня я особенно ясно это знаю, особенно ясно ощущаю, как я ещё абсолютно ничего не знаю. И мне, как и вам, кажется, что огромная часть жизни уже прошла в суёте и пустоте, хотя я только и делал, казалось, что учился. Сегодня я понял две великие вещи для земной жизни человека: первое, что *жизнь* — это и есть простой серый день и труд в нём; второе — что *встречи* в дне только тогда и будут *настоящими* встречами, когда *видишь* в человеке не его личные качества, *а его Свет и Мир*. Я учусь теперь видеть только Свет и Мир в человеке и *им* нести свою любовь.

— Как просто вы всё это мне сказали, Лёвушка. Я не могу понять, как это я сама не нашла до сих пор выражения своим мыслям. Вокруг всего этого вертелись мои новые мысли, слов для которых я не находила. Будем же друзьями, Лёвушка, — вставая и подходя ко мне, сказала американка. — Сегодня я вижу вас как-то по-особенному. Вы кажетесь мне таким сильным, уверенным, большим. Точно вы знаете что-то новое, удивительное, что даёт вам спокойствие и уверенность. У меня же нет ни в чём уверенности. Пока я вижу И., я живу каким-то благим порывом. Как только я остаюсь одна, моя уверенность улетает, я опять не знаю, как мне быть, *что* в жизни важно и куда стремиться.

— Я хотел бы перелить в вас ту уверенность, которую чувствую в себе сейчас. Но никто и никогда ещё не смог жить чужим опытом. Если вы увидели в И. мудрость и энергию, пленившие вас, если Али дал вам разрешение приехать сюда — верьте, что именно здесь вы *найдёте* решение всем своим вопросам и здесь совершится нечто великое в вашей жизни, чего, быть может, не увидит никто другой, но что осветит и изменит всю вашу жизнь.

Лицо американки побледнело и стало так печально, что снова напомнило мне ту леди Бердран, которую я встретил в первый день.

— Если бы вы знали, Лёвушка, какой тяжёлой раны вы сейчас коснулись. Блестящая, богатая, независимая моя внешняя жизнь была сущим адом. Ни одному живому существу я не принесла счастья. Наоборот, все, кто подходил ко мне близко, все становились несчастными. Вы сказали, что здесь я могу найти решение моим недоумённым вопросам. Но кто может объяснить мне, *что* за проклятие тяготеет надо мной? Этого ведь никто знать не может?

— Я думаю, что есть много людей, которые могут знать и это, леди Бердран. Месяц назад вам казался невозможным физический труд. Сейчас вам кажется невероятной духовная прозорливость человека. Как можно знать, *что* составит ваше знание через семь лет? Я повторяю свой вопрос вам: признаёте ли вы такими высокими мудрость и знания И., чтобы доверить ему свою жизнь и желать двигаться к совершенству и развитию под его руководством?

— О, конечно, я преклоняюсь перед И. Но... я в его присутствии точно вся скована. Я ни за что не могла бы говорить с ним так легко и просто, как говорю с вами. Меня не раз удивляло, как смело вы держите себя с ним, точно на равной ноге. У меня такое чувство, будто в его присутствии я прячусь в скорлупу.

личное бессилие в воздействии на человека. Вы научились вскрывать всю совокупную ценность встреч как монолитное творчество *Жизни*. Сейчас уже никто не помешает вам выполнить миссию, данную вам Али. Вы скоро уедете в Америку и в Европу, там оставите часть ваших трудов и вновь вернётесь сюда, чтобы получить силы ещё раз передать людям речи звучащего голоса Безмолвия. Вам было очень странно пройти трудный путь духовного этапа с помощью юноши. Вы бунтовали и готовы были отрицать возможность движения вперёд через помощь “ниже” вас стоящих. Сейчас вы ясно ощутили, что нет ни “ниже”, ни “выше” стоящих. Нет ни добра, ни зла как таковых. Есть только то место во вселенной для каждого человека, в которое он *может* встать по силе своей раскрепощённой Любви. И здесь никакой роли не играет грамотен он или нет; но звучание гармонии в человеке так огромно, что никакие самые колоссальные его силы не убивают встречного, а лишь бодрят каждого, кто подошёл. С сегодняшнего дня действие ваших психических сил не будет мешать кому бы то ни было жить. Вы сумеете справляться с ними так, чтобы сила вашего такта раскрывала вам сразу возможность служить помощью ближнему, стоящему рядом с вами. До сих пор вы умели служить только дальним, передавая им знания, продиктованные вам Учителем. Теперь вы сами, вливаясь любовью сердца, будете раскрывать во встречных их устойчивость своей гармонией.

Мы расстались с нашими приятельницами. После завтрака И. повёл меня к выздоравливающему Игоро, которого я не видел со дня его болезни. У Игоро, который сидел на балконе, мы застали Бронского, Альвера и ещё нескольких его друзей, которых он приобрёл в Общине за время своей болезни. Игоро не узнал меня. Он был так поражён происшедшей во мне переменой, что сказал И.:

— Я был совершенно уверен в ваших необычайных силах, доктор И., и испытал на себе их действие. Но чтобы можно было человеку быть волшебником — это я считал преимуществом сказок из персидской жизни.

— Если вы, Игоро, находите, что я так разительно переменился, то что же мне думать о вас? Ведь я не только не мог бы узнать вас, но не мог бы и поверить, что можно так измениться в короткое время.

Игоро, которого я видел в начале нашего знакомства, был бледным юношей. Сейчас передо мною сидело существо, отдалённо напоминавшее мне Андрееву. Чёрные глаза его загорелого лица вращались с такой энергией, что я невольно думал о Наталии Владимировне. Голос Игоро звучал сильно, все движения были быстры и властны.

— Я очень рад, что вы оказались таким послушным пациентом, — смеясь, сказал И. и положил свою руку на плечо Игоро. — Я вполне понимаю, как трудно было вам повиноваться и не выходить из комнаты, когда вы чувствуете себя уже несколько дней совершенно здоровым. Зато сегодня вы сделаете сразу довольно большую прогулку. Я приглашаю всех здесь собравшихся в парк. Там мы найдём садовника, вооружимся лопатами и насадим новый питомник эвкалиптовых и хинных деревьев. Затем я обещал взять вас с собой в объезд дальних Общин. Для этого Зейхед-оглы каждый день будет обучать всех вас езде на мехари. Кто уже умеет ездить и кто совсем не умеет — всем надо научиться владеть в совершенстве верблюдом, иначе вам не пробраться через пустыню. Предупреждаю, путешествие будет не из лёгких.

дошёл ко мне вплотную и, ласково глядя на мою птичку, протянул Эте кусочек красного сукна.

Какой-то неприятный запах исходил от этого лоскута, не особенно чистого и, видимо, бывавшего много раз под всеми невзгодами бурь и солнца. Эта смотрел очень внимательно на этот обрывок, жалкий и смрадный, я же узнал в нём кусок сумки злого карлика, в которой он держал свои ядовитые чёрные шарики, и отдал их и сумку только в тот момент, когда огонь охватил почти всю сетку, в которой он запутался, и ему угрожала смерть.

Я оглянулся на карлика, сидевшего на руках у И., потому что он стал громко кричать, тянуться к узнанной сумке. Он, очевидно, умолял И. вернуть ему этот грязный обрывок, продолжая дорожить им до сих пор.

И. попросил Зейхеда отдать карлику остатки его имущества. Тот схватил лоскут руками, но Эта, чуть не вырвавшись из моих рук, в свою очередь издав пронзительный крик, с неожиданной силой выхватил из ручонки карлика его ветошь.

Вероятно, рука зрелого и сильного зверька-карлика была сильнее клюва не вполне ещё выросшей птички. Но удар его клюва был так неожидан для карлика, с одной стороны, и бешенство придало Эте столько силы, с другой стороны, что победа осталась за ним.

Эта, как только овладел сукном, совершенно успокоился и подал свой приз Зейхеду. Приняв величаво-гордую позу, он снова спокойно уселся на моих руках, точно никогда и не двигался.

Не меня одного, но и Бронского вся эта мимолётная сценка так поразила, что оба мы превратились в “лови ворон”. Но из нашей рассеянности нас вывел злой карлик, злобы которого и кривлянья невозможно описать. Франциск с добрым карликом на руках подошёл к нему и поднял перед его глазами свою руку. Злой карлик перестал пронзительно завывать и извиваться ужом, но выл тихо, напоминая раненого пса.

Добрый карлик улыбался во весь рот и протягивал ручонки к Эте. Несмотря на эти явные признаки дружелюбия карлика, я уже не доверял Эте и хотел отойти подальше во избежание какой-либо новой выходки птицы. Не успела моя мысль созреть, как я ощутил крепкое рукопожатие с правой стороны и увидел подошедшего ко мне вплотную Никито.

Он протянул карлику руку, взял его ручонку в свою и поднёс её к голове Эты. Тот, рассматривая очень внимательно и совершенно спокойно карлика, соблаговолил позволить маленькой ручонке погладить свою шею и спину. Карлик, прикоснувшись к птице, казалось, сошёл с ума от радости. Он бил в ладоши, бил себя по щекам и коленкам, хохотал, обнимал Франциска, наконец перегнулся, охватил ручонками шею Никито и перепрыгнул к нему на руки. Не теряя ни минуты, так что я и опомниться не успел, он перелез ко мне на плечо и затих в полном удовольствии от близкого соседства с пленившим его Этой. Я снова ожидал каких-либо эксцессов от моего ревнивого воспитанника, но он продолжал спокойно сидеть, храня своё величавое и горделивое положение на моём плече, точно царёк на троне.

Франциск подошёл к И. и взял на руки его злого карлика. Тот вёл себя теперь очень странно. Его внимательные глаза ни на миг не отрывались от всего, что делал другой карлик. С Эты он тоже, что называется, глаз не сводил. И вместе с тем, как

капризный ребёнок, тихо выл, то замолкая, то снова возобновляя свой капризный вой.

Когда он увидел, что добрый карлик уселся на моём плече и изредка поглаживает то шейку, то спинку Эты, то мою голову, он сжал кулак, погрозил им своему товарищу и уродливо двигал челюстями, как бы желая его разорвать на куски. Мне казалось, что он совсем не такой злой, но считает своей обязанностью выполнять какой-то свой долг, который он понимал как сопротивление тому добру, которое его окружало. Франциск нежно уговаривал его и указал снова на красный обрывок, который Зейхед продолжал держать в руке. Я не мог понимать, о чём говорил Франциск карлику, но понял по жестам Франциска, что карлик сам должен добровольно взять из рук Зейхеда остаток своей зловещей сумки и положить его возле порога. Карлик молчал, насупился и, сжав свои кулаки, как бы готовился к сражению.

Франциск опустил его на пол, И. очутился возле меня, точно буфер. И. подоспел вовремя. Строптивый карлик готовился ударить меня головой и кулаками в живот, но вместо меня попал в И. Разумеется, он не смог даже коснуться его, а упал, заревев, на пол, сильно ударившись головой и своими сжатыми кулаками о кирпичный пол комнаты. Разъярённый этим падением, он ещё раз ринулся на меня, теперь уже со стороны Зейхеда. И. вытянул ему навстречу свою руку, и финал был тот же: карлик лежал на полу с разбитым в кровь носом.

В третий раз он пытался атаковать меня со стороны Никито, но лёгкий жест руки И. опрокинул его навзничь, и карлик остался на полу недвижим. Я подумал, что он умер.

Франциск подошёл и поднял несчастного. Злоба в такой степени опустошила его, что он весь дрожал, еле стоял на ногах и был весь серый. Сердце моё разрывалось от жалости. Я молил всей силой любви Флорентийца помочь мне развязать несчастного от его вековой тьмы и злобы. И в то же время я понимал, что никто не может ему помочь выполнить его долг, как никто несколько часов назад не мог помочь мне отыскать алтарь с моей книгой жизни. Но я не переставал звать моего спасителя, неоднократно показывавшего мне своё беспредельное милосердие.

Внезапно я почувствовал блаженный трепет в сердце, я увидел чудесное лицо Флорентийца и услышал его голос:

— Сегодня ты можешь просить обо всём для людей. И я помогу тебе. О чём ты просишь?

— Разреши мне положить вместо него остатки его злого колдовства, куда приказывает И., — опускаясь на колени с обеими моими ношами, молил я.

— Ты не можешь коснуться этой злой силы, ибо тогда возьмёшь на себя новую, неведомую тебе сейчас ношу, которая задавит на много лет все твои возможности разделять со мной и с другими милосердными их труд на земле. Но смирившийся карлик и твой павлин могут вместе дотащить маленький обрывок до порога. Он им покажется страшно тяжёлым, но всё же они дотащат эту ношу, ибо она — их ноша. Ты же иди за ними по пятам, ободряй их, помогай им любовью и внушай, чтобы они не боялись тяжёлой ноши. Сам же раз и навсегда запомни: никогда не бери ноши, не набирай долгов и обязанностей, не спросив Учителя, должен ли ты их брать или нет. Думая сделать добро, можно закрепостить себя и целое кольцо людей в новых скре-

Али не подавляла твой дух, а раскрывала его к труду и борьбе. Ты видишь, Лёвушка, что *на земле всё, что живёт, всё борется*. Но, тот, кто понимает свой путь земли как величайшую ценность, тот борется и трудится, совсем забыв о себе. И чтобы так раскрепоститься в своём сознании, надо каждый день распознавать в окружающих жизнях только одно: где человек прошёл своё “сейчас” *в любовном единении с людьми*, а где *он* их критиковал, оставаясь бездейственным. Пойми, друг, что очень многие “понимают” высокие идеалы. Принимают религию и её требования. Но религия единственно истинная — это любовь сердца. Религия — это не то, что “знают и принимают”, а то, что *умеют приложить* к делу в действии дня.

Наш разговор был прерван встречей, напомнившей мне мой первый день приезда в Общину: мы столкнулись с Андреевой и леди Бердран. Но какая разница была сейчас в обеих приятельницах! Леди Бердран, с розами на щеках, весёлая, смеющаяся и задорная, глядела сущей красавицей. Наталья же Владимировна, всё попрежнему вращая своими властными глазами, стала вся точно восковая. И не только бледность вызывала это сравнение — от неё веяло мягкостью и лаской. Её добродушная ирония, с которой она всегда прежде меня встречала, переплавилась в нежность. Её голос, когда она ответила на моё приветствие, показался мне голосом матери и вызвал ответную волну любви и признательности в моём сердце.

— Мой чудо-граф, я чувствую себя вашей, вам очень обязанной ученицей. До сих пор я думала, что ранги и ступени разделяют людей. Я принимала каждого, в первую голову оценивая его знания на том пути, к которому стремилась сама. Теперь, получив урок великого смирения через вас, я прозрела к истинному знанию, которое сейчас считаю первым по величине и важности: *дух, стремясь к познанию, должен развязать свой мешок с любовью и завязать накрепко мешок с предрассудками*. В моей встрече с вами я поняла, сколько было во мне самомнения. Я увидела в самой себе бездну условного, что мешало мне свободно общаться с людьми. Теперь же мне стало легко, потому что меня осенило и я увидела, в чём и где во мне самой сидят главные закрепы предрассудков.

Слова, употреблённые ею, те слова, что я так недавно прочёл в записи брата Николая, ошеломили меня.

— Неужели же все люди проходят одни и те же этапы в своём духовном развитии? — невольно воскликнул я, остановившись среди дороги.

— Все ли проходят по одним и тем же этапам, не знаю. Но что я в вас нашла источник оздоровления, в этом я не сомневаюсь и приношу вам величайшую благодарность.

— Моя дорогая Наталья Владимировна, Истина, живущая в вас, не нуждается уже в раскрепощении. Она бьёт из вас чистейшим фонтаном. В вас лежат ещё плотным покровом только те условности, которые связаны с иерархическим устройством обществ людей и всей вселенной, — ласково сказал И. Владея огромными развитыми духовными силами, вы поневоле движетесь в мире духовного больше и дальше, чем в мире земли. Отсюда идёт некоторое ваше внешнее высокомерие к тем формам людей, где мало понято, что нет одного только земного пути, или где людям кажется, что можно достигнуть знания неумелыми упражнениями йоги. Уроки последнего времени — и леди Бердран, и Лёвушка — помогли вам сбросить с телесных глаз давящие покровы плотской любви или предубеждения и помогли понять

новится жутко. Ему же самому его жизнь кажется простой и лёгкой, ибо *без включения в труд и жизнь своего народа* он не понимает жизни на земле.

Раскрывающееся сознание человека постепенно сбрасывает с себя чешую предрассудков. Мелкий вздор наказаний и наград, условных подаяний “за добродетель”, которую человек понимает как “отказ” себе в чём-то, чтобы принести “жертву” насилия над собой другому, спадает с сознания просветлённого человека одним из первых. Он начинает понимать всё величие Жизни. Он начинает ощущать радость жить в труде для другого. Он скучает, если сегодня в нём никто не нуждался. Понятие “быть нужным кому-то” становится ритмом его дня — как ритм дыхания, — неощутимым, если оно идёт в гармонии и мире.

Проходя день, живи его как свой последний день. Но последний не по жадности и торопливости желаний или духовных напряжений, а последний по гармоничности труда и его бескорыстию.

Ты носишь в сердце вопрос: где личное “я” и где “не я”? Для тебя с момента твоего рождения к Единой Жизни уже нет возможности этого разделения. Для тебя всё, с чем ты общаешься, — всё пути к Величию в форме временной. Для тебя палач, жертва и плаха — всё та же Единая Жизнь, которой единица ты сам и которую видишь во всём вокруг себя.

Иди же свой день в мире и чести. Храни целомудрие и чистоту, и ты дойдёшь до жизни в кругу тех, кто раньше тебя пришёл к такому сознанию себя частицей Единой Жизни, *единицей всей вселенной.*

Твой путь — *путь служения Богу в человеке. Твой труд - путь знания, приложенного в любви и труде простого дня*“.

Я внезапно почувствовал, что сила, та огромная сила, которая только что наполняла меня, меня покинула. Место, где сидел незнакомец, было пусто».

Так кончалась первая запись брата Николая.

Я лёг спать с рассветом, и мой друг Эта разбудил меня вовремя, чтобы догнать И. по дороге к озеру.

Я весь ещё находился под впечатлением записи, которую читал ночью, и, поздоровавшись с И., сразу же выпалил ему:

— Как я поражён, что брат Николай мог понять без посторонней помощи и руководства всё то, что ему в первое свидание сказал Али.

— Почему же ты знаешь, что это был Али?

— Потому что описание глаз в книжке может принадлежать только ему. А ощущение, что в присутствии Али что-то тебя теснит и давит, настолько характерно, что не может быть спутано ни с чем и ни с кем. Именно какой-то свет, от него исходящий, слепит и подавляет. И это ощущение мне тоже очень знакомо, ощущение резко меняющееся, когда Али улыбается или прикасается. Тогда уплывает куда-то его давящая сила, и сердце наполняется блаженством. Никогда ни подле вас, мой дорогой, милосердный Учитель, ни подле Флорентийца, ни подле сэра Уоми я не чувствовал этой силы, потрясающей весь организм. Поэтому в словах брата я сразу узнал Али. Достаточно раз его увидеть, чтобы навеки и всюду его узнавать.

— Быть может, ты и прав, так ощущая необычайную и никому другому не доступную силу Али. Но всё же за годы жизни здесь, когда ты уже из неофита станешь сильным учеником, тебе надо приобрести такое высокое самообладание, чтобы сила

пах зла. Там же, где *указал* Учитель, действуй уверенно, легко, хотя бы всё вовне говорило тебе о противном и угрожало опасностью.

Образ моего дивного друга исчез. Я поднялся с коленей и, ни на минуту не задумываясь, как я объясню Эте и доброму карлику, что надо взять обрывок сумки и перетащить его к порогу, поставил обоих у ног Зейхеда и несколько раз указал им на тряпку и на порог.

Эта первый понял, что надо было сделать. Он подпрыгнул, схватил клювом сукно, но, как будто оно весило пуд, бессильно опустил его на пол. Теперь и карлик под моим настойчивым взглядом понял, что надо было тащить сукно к порогу, что я пояснил ему и жестами. Он рассмеялся, ухватился за лоскут и с большим трудом, точно лоскут прирастал к каждому камню пола, протащил его на два своих маленьких шажка.

Подбодряемые мною, оба труженика то поочерёдно, то вместе дотащили свою ношу до середины комнаты. Казалось, и птицы, и человечек уже дошли до предела изнеможения. А была сделана ещё только половина труда.

С карлика пот лил ручьями, катясь по его улыбающемуся лицу, точно слёзы. Сильные ноги и крылья Эты дрожали, клюв раскрылся, глаза жалобно смотрели на меня. Я переживал нечто, пожалуй, похожее на подписание смертного приговора моим друзьям, но я так интенсивно жил в Вечном, так ощущал его гармонию в себе и вокруг, что радостно и весело побуждал моих дорогих к самоотверженной работе. И бедняги, еле держась на ногах, протащили свою ношу почти до самого порога.

Я славил Бога и великих слуг Его милосердия, помогавших спастись одному существу через труд огромного кольца невидимых и видимых людей. Поистине живое небо спускалось на землю и двигало руками и сердцами людей, окружавших меня сейчас. Я умилялся трудом крошечных созданий в такой же степени, как моих великих братьев, стоявших сейчас подле меня.

Франциск держал руку на голове своего злого карлика. Тот постепенно приходил в себя и теперь казался не столько заинтересованным работой птицы и своего товарища, сколько озадаченным. Он не мог сообразить, почему с таким трудом они тащат часть его сумки, лёгкость которой он хорошо знал. В его глазах сверкнула снова злоба, он хотел ринуться и выхватить свою драгоценность, но голос Франциска его остановил. Франциск говорил и теперь всё на том же наречии, которого я не понимал. Но, к моему удивлению, я понял чётко смысл его слов, который открылся мне в ряде образов по мере того, как говорил Франциск.

Я понял, что мой добрый друг снова объясняет карлику, что, если он сам не положит добровольно своего добра туда, куда указал И., он умрёт и не успеет освободиться от власти своих злых и страшных хозяев, которые немедленно овладеют его духом, как только он покинет тело. Что в последний раз Любовь даёт ему возможность вырваться из их страшных клещей, что, если другие положат сукно возле порога, ничья любовь уже не будет в силах спасти его от злых рук его хозяев.

Неописуемый ужас отразился на лице несчастного. В два прыжка очутился он у тряпицы и, с лёгкостью схватив её, бегом добежал до порога, где её и бросил. Он вернулся к Франциску, жалобно просясь снова к нему на руки, что тот и исполнил, улыбаясь и поглаживая безобразную голову.

Теперь настало время для изумления Эты и его сотрудника. Первый момент изумления привёл их положительно к столбняку. Затем веселью обоих не стало границ. Карлик хохотал, кувыркался, обнимал Эту, подбегал к каждому из нас и показывал на выполненную задачу.

И. взял меня за руку, посадил на одно плечо Эту, на другое доброго карлика и подвёл меня к Франциску, на руках которого сидел смирившийся теперь бунтарь. Сняв его с рук Франциска, И. посадил его на руки мне.

Зейхед и Никито переплели свои руки с моими, Франциск положил обе свои руки на мои плечи, а И. положил одну руку мне на голову, во второй у него сверкнула знакомая мне палочка, огнём которой И. очерчивал круг, вовлекая в него всю нашу группу. Всё держа свою руку на моей голове, он обошёл три раза вокруг нас, точно заплетая сеть огней своей палочкой.

Затем он коснулся ею каждого из нас в отдельности и обнял каждого, крепко прижимая к себе и отдавая каждому поцелуй в голову. Теперь карлики превратились в простых, весёлых детей, забыли обо всём и занялись оба обожанием павлина. Франциск тем временем вышел и вернулся очень скоро, неся на руках что-то небольшое, закрытое покрывалом.

К моему удивлению, когда покрывало было снято, — это оказался Макса. В первую минуту он точно ничего не видел, кроме меня и И. Но затем взгляд его различил карликов, и он неистово закричал, весь дрожа от страха и цепляясь за Франциска.

Карлики, как и Эта, привлечённые диким криком Максы, с удивлением глядели на него, как смотрят на совершенно неизвестное существо. Макса же, крепко вцепившись во Франциска, плакал и бился на его руках. И. коснулся его палочкой, он вздрогнул, ещё минутку плакал и затем затих, как бы уверясь в крепкой защите своих покровителей.

Для меня стало ясно, что все ужасные раны на теле Максы нанесены ему маленькими, только что раскрепощёнными окончательно от зла моими вековыми врагами. Но я ошибся, предполагая, что все следы зла уже уничтожены. Карма моя с карликами была уничтожена совсем, но карма их с Максой требовала ещё труда и любви наших великих защитников.

И. подошёл к порогу, куда Франциск поднёс Максу, поднял высоко над головой свою палочку, на кончике которой всё ещё горел огонь. Внезапно огонь сильно разгорелся в яркое пламя, которым И. коснулся лежавшей у порога тряпки. Смрад, который и раньше чувствовался в ней, распространился по всей комнате. Дым, тёмный, плотный, потянулся из комнаты через дверь. В моём воображении мелькнуло воспоминание о злом Джине из “Тысячи и одной ночи”. Через несколько мгновений дым весь исчез, и воздух опять стал обычным, благоухающим розами и жасмином. Я ещё не успел прийти в себя, как карлики уже мирно беседовали с Максой, показывая ему Эту и кубики. Теперь только я мог посмотреть на Бронского и Наталью. Если бы я не знал, что именно они вошли с нами сюда, — я не узнал бы ни его, ни её.

Бронский стоял навытяжку, точно часовой на часах с примкнутым штыком, он точно охранял пороховой погреб. Его обычного живого лица не было. Это была совершенно белая маска с остановившимися стеклянными глазами. Наталья же, наоборот, вся сжалась в комочек, точно на пуд похудела. Лицо её обострилось, всё

их перепутанных мыслях и желаниях. Их внешность, их манеры действовать и мыслить — антиэстетичны, как и их манера одеваться, сидеть, говорить, спать. Труднее задачи для них самих — задачи вылезти из слепоты отрицания — нет.

Здесь бдительно разбирайся, к кому из них прикасаться священной любовью и усердием, а где идти мимо, послав благословение их тёмному пути, который они сами сделали таковым.

Всякий тёмный путь *начат* с отрицания. Революционер, видя страдания своей родины под пятою деспотов капитализма, борется, неся в мир уверенность в лучшем будущем, неся общее благо на своём знамени борьбы. Он вдохновенно держит оружие в руке, зов его вырывает тысячи сознаний из спячки безволия и смерти. Он озарён сам призывом раскрепощённой Жизни в себе и зовёт своих братьев к Свету и свободе. Его путь светел, и он ложится светом на пути встречных. Он трудится, ежеминутно видя миллионы несчастных и угнетённых перед собой.

И если он становится вождём народа — он освящён божественной силой любви, помогающей ему нести на плечах свой многомиллионный народ к свету и славе. Такой вождь живёт, нося в своём организме все миллионы сердец своего народа. Он един в радости и боли с каждым тружеником своего народа. И он выводит свой народ на то место, которое Мудрость бьющего часа ему определяет.

Из отрицателей же создаются кадры слуг тёмных захватчиков власти, основывающих своё — отъединённое от народа — счастье и благополучие на личном капитале, накоплении от порабощения всего народа под пятой олигархии капиталистов.

Вождь, пробирающийся к власти, не зовёт народ к свободе и раскрепощению. Он бросает ему мелкую кость собственности; ищет все возможности закрепостить в жажде наживы и кастовых предрассудках свой народ, чтобы пробраться легче к мировому владычеству.

Мимо таких людей иди, тщательно разбираясь, будет ли твоя помощь им своевременна и полезна. Ты можешь сам истратить великие силы усердия и любви; можешь иступить много мечей ума, радости, энергии — и не достичь ничего.

Отрицатели, если попадут в полосу несчастий, придут к тебе. Возьмут твою помощь и отвалятся, как сытые пиявки, чтобы снова заняться наращиванием жиров тела и духа, как только ты поможешь им пройти период временных неудач.

Подлинное усердие человека, вступившего на путь сознания в себе Света и мира, должно заключаться в бдительном распознавании, где, куда и как нести свои духовные сокровища.

Совершенно бессмысленно остановиться в жизни на религиозном восхвалении *своего* Бога. Если не дошёл до понимания, что Бог Един для всех и что путь к Нему, Единому, безразличен, — вся религиозная жизнь пропала. Человек совершенно так же закрепостился в своём добре, как отрицатель в своём зле. И тот и другой не поднялись в своём духовном понимании выше обид, объяснений, переживаний личных драм, самолюбия и бичеваний гордости.

В пути, которого ты ищешь, не может быть остановок. Сила, *движущая* вселенную, *раскрепощаясь в человеке, даёт ему возможность трудиться, трудиться и трудиться*. Иногда больной человек — былинка по своим физическим данным — тащит много лет воз с таким грузом на общее благо, что глядящим со стороны ста-

Нет на земле пути к совершенству без труда, единящего человека со всеми окружающими его людьми. Нельзя отъединяться ни от одного существа, пересекающего орбиту твоего движения по земле.

Если ты озлобился в той или иной встрече — *ты* раскрыл “пасть” и без того не завязанных мешков своих предрассудков. И ты *привлёк* к сотрудничеству с собой во всех делах дня мелких злодеев, духовных вампиров и развратников, ищущих жадно, куда бы прилепиться, чтобы утолить жажду и голод своих разнузданных и не умирающих вместе с плотью страстей. Мучительнейший из путей — путь отрицателей. Их вековая карма ложится всё новыми и новыми наростами на — и без того безобразное — их духовное тело.

Чем яснее тебе в твоём просветлённом сейчас состоянии *жизнь всей* вселенной, *жизнь*, пульс которой ты чувствуешь горячо, ровно и сильно бьющимся в твоём сердце, — тем
яснее тебе и путь любви через серый день труда к этой Жизни, что Сама трудится во всём и во всех.

У тебя до сих пор была одна задача: найти и понять самому. Теперь твоя задача усложнилась: не одному тебе надо найти и понять, но для огромного круга людей тебе надо стать слугою, чтобы в них пробудить сознание, деятельность, силу и стремление к труду для общего блага.

Ты любишь родину. Ежедневно, бесстрашно ты вступаешь в бой с её врагами по первому зову набата, призывающего тебя к защите родины от врагов. Но этого мало. Ты видишь толпы инертных, для которых слово “родина” — звук пустой. Ты видишь сотни и тысячи старающихся под всякими предлогами обмануть бдительность своих властей, чтобы избежать призыва. Ты видишь всюду трусов или лентяев, изображающих из себя больных, лишь бы подставить под угрозу другого и благополучно избрать лучшую долю самому.

Разве можешь ты проходить равнодушно мимо них? Разве можешь не призывать их к пробуждению? Разве надо сходить в ад, чтобы там раскрепощать тёмные создания? Вокруг тебя кишат толпы заблуждающихся людей. Они думают, что живут в любви и правде, целыми днями живя в безделье и наслаждаясь счастьем личного мира и славословий *своему* Богу.

Они поняли *по-своему* Бога и Его пророков и считают себя прозорливцами и избранниками, потому что прилепились к той или иной церкви и религии и славят их. Но их славословие — бездейственное, оно не становится силой ни их родине, ни для их встречных. Оно расслабляет их самих, вводя их в мелкие экстазы ложных видений и пророчеств.

Тормоши их всеми путями: вводи в их день тысячи предлогов к труду и действию, выводи их из ленивого счастья.

В других встречах ты найдёшь высокий дух скованным уродливой формой гордости и самолюбия. Вноси пример простой, нежной любви и докажи своим трудом дня, как не нужно всё знание человека, если оно подано высокомерно и нудно.

Ещё чаще ты встретишь форму отрицателя, поносящего свою родину за её беспорядок, неустроенность, по-
роки и так далее. Эти люди — всегда и неизменно — наиболее тяжко больные самовлюблённостью. У самих у них в домах такая же грязь, смрад и неразбериха, как и в

было залито слезами, и руки она сжала так судорожно, что на них было больно смотреть.

Как ни глубоко затронуло меня всё здесь происшедшее, моё славословие Жизни неслось всё той же нескончаемой песнью торжествующей любви, с которой я вошёл сюда. Я ещё раз преклонился перед величием Силы и Любви, что были мне сегодня поданы.

И. коснулся Бронского палочкой, и он рухнул бы на пол, если бы Зейхед и Никито не поддержали его. Казалось, жизнь стала возвращаться к нему. И. снова подошёл к нему и ещё раз коснулся его темени палочкой. Бронский снова вздрогнул, на щеках выступил румянец, глаза засияли, он схватил руку И. и поднёс её к губам.

— То, что вы видели здесь, — сказал ему И., обнимая его, — научит вас нести верность тем делам и встречам, какие Жизнь будет указывать вам. Не ищите облегчить людям их *внешнюю* жизнь. Ищите *проникать в духовное царство каждого человека* и стремитесь там очистить грубые ткани, мешающие каждому видеть *свой путь Вечного Света* на земле.

И. подошёл к Наталье, коснулся крестообразно палочкой её лба, груди, плеч и сказал:

— Неси, сестра, свой подвиг труда для счастья и блага людей до конца земной жизни в этом теле. Ищи полного самообладания, и не успеешь выйти из этого тела, как войдёшь в новое, юное тело, чтобы снова учиться и учить. Ежеминутно помни, что для тебя не будет ни минуты отдыха от земного труда. И снова начнёшь новый земной путь, только с тем духовным совершенством, что успеешь выработать сейчас. Мчись как молния в своих духовных порывах, но всегда держи в сознании мысль, что каждый порыв духа, который ты замарала раздражением или слезой, увёл тебя от возможности передать труд Али стонущей земле. Ты видишь здесь кольцо бывших убийц и грабителей, получивших развязку старинных карм, получивших освобождение. Почему могла окончиться вековая драма? Только потому, что юноша, грешивший постоянно раздражением, нашёл самообладание и силу такой чистоты в любви, которая сожгла в его сердце все нечистые, срастающиеся в жёсткие, зубчатые крючья ткани страстей и злобы. При этой встрече юноши, над которым ты, сестра, так высокомерно смеялась со своими врагами, он открыл им ворота сердца. Он залил их жалостью и состраданием, забыв обо всём, кроме их несчастья. Одно мгновение *полной* отдачи себя труду Учителя, одно мгновение *до конца* отданной преданности и верности может создать тебе ту новую гармонию, которая в тебе необходима Учителю для его нового труда с тобою. Не печалься больше потрясениями, что тебе приходится приносить людям. Чем яснее будет твоё сердце, видя горе и скорбь людей, тем скорее забудешь о своём “я”, так тяжко переживающем эти печали. И тем ближе войдёшь в тесное единение труда с не видимыми никому, но видимыми тебе самоотверженными тружениками светлого человечества. Мало ещё — для истинного ученика — слышать слово труда Учителя. Надо ещё иметь так настроенным весь организм, чтобы сила твоей мысли и точность передачи могли *включиться* в огонь тока Учителя. Забудь навсегда о слезах, смейся весело. Но бдительно следи, чтобы ни в одном слове не было язвительности, когда говоришь брату твоему. Возьми новое правило поведения: не говори никогда и ничего о братьях и сёстрах твоих, когда их нет с тобою. И говори только то, в чём не

участвует твоё раздражение. Каждый раз, когда слово осуждения готово сорваться с твоих уст, вспоминай, как мало тебе остаётся ещё жить в этом теле и как каждое упущенное мгновение разлагает не один только твой дух, но и дух каждого, с кем ты в это мгновение встретилась. И духовный путь от тебя к Учителю не может охранить невидимое кольцо твоих защитников и помощников. Чтобы твои защитники и помощники могли охранять твой творческий духовный канал, необходимо держать главный приёмник — твой организм — в непоколебимом самообладании и верности. Будь благословенна. Иди любимая и любящая, радующая и радующаяся, творящая и двигающая к творчеству.

И. ещё раз коснулся крестообразно своею палочкой Натальи, склонившей перед ним колени.

— Подойди сюда, дитя.

И я даже не понял, к кому И. обращался с этими словами. По направлению его взгляда я понял, что он звал Алдаз. Девушка, спрятавшаяся в самом отдалённом углу комнаты, вышла сконфуженная, вся зардевшись. Увидев её, все три карлика бросили свои игрушки и окружили её, всеми наивными способами выражая ей своё обожание. Франциск помог ей освободиться от ласковых, но цепких ручек карликов, увёл их в дальний конец комнаты и приставил кроватки, запретив переходить за их линию.

— Алдаз, — продолжал И., — ты хочешь дать обет целомудрия, хочешь стать монахиней и остаться навеки в Общине. Ты любишь детей и хочешь стать наставницей в доме, где Община собирает сирот и беспризорных детей. В этом ты видишь подвиг наивысшей любви. Я не спорю, это действительно подвиг: заменить сиротам мать. Но есть подвиг выше. Есть подвиг великой любви: забыть о себе, о своих желаниях и выборе. И выполнить тот урок и завет любви, в котором вся великая Жизнь вселенной нуждается в этот час. Каждый самоотверженный и честный труженик должен услышать и понять час *его* наивысшей мудрости, чтобы влить свой труд в мудрость бьющего часа его родины. И только тогда он выполнит, поймёт и отдаст наивысшую ценность своего воплощения. Родина твоя, Алдаз, страдает сейчас больше всего от отсутствия чистой, честной и доброй семьи. Все её несчастья происходят от распада этой первоначальной ячейки мира и гармонии. Сейчас моими устами к тебе идёт зов Жизни. Хочешь ли выполнить этот зов Мудрости и стать женой и матерью, центром семьи для новых людей? Если ты радостно возьмёшь на себя этот подвиг материнства и воспитания, ты дашь возможность сегодня же завершиться бедствиям трёх созданий, по несмышлёности своей очутившихся в центре зла. Подумай, друг. Не забывай, что ты совершенно свободна в своём решении, что тебя ничто не принуждает, что ты можешь идти своим подвигом заботы о чужих детях и даже не меньше будешь благословенна и здесь. Ты только не выполнишь в это воплощение наибольшего урока любви, какой выполнить ты бы могла, но об этом сказано: “Могий вместить да вместит”.

— Мне выбирать не приходится, Учитель! — мягким, серебристым голосом ответила Алдаз. — Если ты думаешь, что я могу создать такую семью, какая сейчас нужна моей родине, да будет на то воля Бога и твоя.

— Счастлива твоя жизнь, смиренная сестра моя, кроме радости, ты ничего не принесёшь тем душам, что будут даны тебе для спасения, рождения и воспитания.

“Сын мой, — услыхал я голос незнакомца. — Ты ищешь знаний. Ты жаждешь ответов на пожирающие тебя вопросы: есть ли Бог? Какой Он? В чём Он? Как Его постигали те, кто о Нём писал и говорил?

В эту минуту ты в Боге и Бог в тебе. Сейчас вся вселенная открылась тебе не потому, что в своих познаниях ты достиг вершины. Но потому, что чистота твоего сердца, чистота твоей жизни в простых действиях твоего обычного трудового дня помогла тебе вместить радость божественной силы и слиться с нею.

Если человек не живёт в лени, стараясь назвать её созерцанием, если он ищет выливать свою простую доброту во все дела и встречи, если он готов принять на себя слёзы и скорби встречного, если он, хотя бы в чём-нибудь сумел развить свою верность до конца, если его искания Бога не были личной жаждой совершенства, а несли людям бескорыстный труд, мир и отдых — человек вошёл в ту ступень духовной зрелости, когда мы, индусы, говорим: “Готов ученик — готов ему и Учитель”.

Сегодня не я пришёл к тебе, но я ответил на твой постоянный зов. Почему я *мог* подойти к тебе, и сила моя не сожгла тебя? Потому что сердце твоё чисто. И пламень, что я пробудил в тебе сейчас, — *твой* пламень, он не спалил твоего тела, не вынес твой дух *за* грани земли, но закалил всё твоё сознание в ясности и силе.

Каждое летящее мгновение земной жизни — это не простая жизнь плоти и духа, слитых в одной земной форме. Это частица того *вечного движения*, которое влито, как частица творчества, в каждую земную форму. И потому нет иного пути к освобождению у человека, как его простой день труда, где бы ни жил человек.

Если люди заняты одним созерцанием, если сила их ума и сердца погружена только в личное искание совершенства, — им закрыт путь вечного движения. Ибо в жизни вселенной нет возможности жить только личным, не вовлекаясь в жизнь мировую.

Переходы в сознании человека не могут совершаться вверх, если сердце его молчит, и он не видит в другом существе того же Бога, что познал в себе.

Взгляд, критически осматривающий вошедшего к тебе, останется перегородкой крепче чугуна и железа между тобой и им, хотя бы за миг до этого ты был в порыве самого пылкого искания путей к Истине.

Только тогда, когда ты поймёшь, что во всяком встречном сама Истина пришла к тебе, чтобы раскрыть тебе самому твои же закрепы, за стенами которых ты держишь мешки со своею любовью, совершенно развязанные, тогда бы только мог ты приблизиться к пониманию второй истины, ставшей поговоркой у нашего народа: “Никто тебе не друг, никто тебе не брат, но всякий человек тебе великий Учитель”. И поскольку *ты* прочёл в себе свой урок, общаясь со встречным, поскольку ты раздражился, осудил, солгал, слицемерил, был недоброжелателен к человеку — постольку *ты* раскрыл самому себе своё ничтожество и отсутствие любви.

И чем выше была твоя простота, чем легче шла встреча, чем добрее ты был — тем больше ты забывал о себе и ставил интересы встречного на первое место свидания. И свидание было *действенным*, оно вплетало в себя целые круги атомов доброты тех невидимых тружеников, что ежеминутно мчатся над землёй, ища куда пролить свой труд любви.

Нечто вроде робости и неуверенности охватило меня. Я ещё недостаточно хорошо знал этот язык и подумал, что, пожалуй, буду сейчас снова в роли слуги, который вытирает пыль с драгоценных книг, не понимая их смысла и значения. Но лишь один миг длилась моя неуверенность. Образы Флорентийца, И. и моего брата мелькнули передо мной, как мои величайшие помощники, и дерзновением снова загорелся мой дух.

СЛАВА ТЕМ, КТО ДОВЕЛ МЕНЯ ДО ЭТОГО ВЕЛИКОГО МОМЕНТА МОЕЙ ЖИЗНИ. СЛАВА ТЕМ, КТО, КАК И Я, ДОЙДЕТ ДО НЕГО —

таков был заголовок первого листа. Он не носил ни даты, ни места не указывал, где произведена была запись.

«Рождение моё, — читал я дальше, — совершилось недавно, хотя мне уже двадцать четыре года. Если бы меня спросили сейчас, сколько мне лет, я бы ответил: год и семь месяцев. Всё, что было в моей жизни до этих пор, — всё покрылось туманом. Всё было преддверием жизни, а Жизнь я понял только родившись вторично год и семь месяцев назад.

Я сам спрашиваю себя: что случилось, собственно, особого? Вовне ничего. Заблудился в горах, встретил горца в его уединённом жилище и остался переждать внезапный буран.

Это был эпизод, какими пестрит жизнь каждого. Эпизод, каких были тысячи и, быть может, будет ещё немало в моей скитальческой жизни.

Но рождение человека совершилось на этот раз не от встречи с хозяином сакли, а от встречи с его гостем.

Когда я проснулся ночью, передо мной сидел индус.

Что я могу сказать о нём? Его глаза прожигали, их можно было назвать пылающими угольями. Моему не знавшему до сих пор страха сердцу этот незнакомец внушал страх, граничащий с полным параличом тела.

Я не мог двинуть ни одним членом, у меня не было сил крикнуть, я не мог решить вопроса, кто передо мной: Бог, дьявол или видение моей собственной фантазии. Минуту, которая показалась мне вечностью, минуту, которая остановила во мне биение сердца и ритм дыхания, длилось молчание этого необыкновенного существа. Я изнемогал и сознавал, что умираю от какого-то давящего на меня света.

Незнакомец внезапно улыбнулся, поднял руку ладонью ко мне, и точно в меня влилась сила бушевавшего за окном бурана. Лицо незнакомца, озарённое улыбкой, показалось мне лицом Бога, и я не мог отдать себе отчёта, *что* было принято мною в нём минуту назад за дьявольскую, давившую меня силу.

Под действием его взгляда и жеста его большой, смуглой, прекрасной руки в меня вливалась и вливалась какая-то сила, содрогавшая всё моё тело с головы до ног. Точно электрические токи, пронзала меня эта сила.

Мне казалось, что я весь охвачен пламенем, сердце моё ширилось от радости. Эта радость подступала к моему горлу, заполняла весь мой мозг, и я думал, что сейчас, сию минуту, я улечу в экстазе неведомого блаженства.

— И. склонился к прелестной девушке и обнял её. — Иди теперь с миром по своим делам. Я укажу тебе жениха и всё объясню о тех душах, которым предстоит счастье иметь тебя матерью.

Алдаз низко поклонилась И., так же низко поклонилась всем нам и тихо вышла из комнаты.

Ко мне подошёл Бронский, и я снова был поражён его лицом и его фигурой. Я подумал, что таким он, по всей вероятности, выходит к толпе, когда играет роли великих героев. Блистающие глаза, энергия, брызжущая, точно искры, сила, уверенность, радостность. Я стоял, остолбенев от неожиданности этой перемены в нём, и привёл меня в себя Эта, внезапно взлетевший мне на плечо.

— Что, Лёвушка, — услышал я смех Никито, — твой воспитанник уже не только не спрашивает разрешения для себя, но и всех новых приятелей привёл к тебе.

Действительно, карлики пытались, подражая Эте, тоже взлететь на мои плечи, преуморительно подпрыгивая. Видя неуспешность своей задачи, они ловко, точно обезьяны, карабкались друг другу на плечи, лезли на меня, и первым, чуть ли не на голову мне, залез Макса. Мои друзья помогли мне освободиться от осады лилипутов, разобрав всех трёх уродцев на свои плечи, чем они остались несказанно довольны.

Мы вышли из комнаты и направились в столовую сестры Александры. Здесь мы сдали наших маленьких друзей Алдаз и самой сестре Александре. Малютки не желали покидать своих мехари, на которых сидели с таким удобством и гордостью, но запах вкусной пищи и любовь Алдаз скоро заманили их к приборам у стола, где сидело сегодня много самых разнообразных людей, лечившихся в больнице.

Франциск, подойдя к Наталье и Бронскому, предложил им пройти к нему в комнату, мы же вернулись обратно домой, где И. предложил нам снова поужинать в отдельной комнате, чему мы все были очень рады.

Ужин наш был ещё более скромен, чем обед, и состоял из зелени и фруктов. Всегда отличавшийся большим аппетитом, я на этот раз даже не испытывал желания есть и не замечал, что мне накладывали на тарелку друзья. Все мои мысли, в противовес хаосу, который наполнял меня всегда раньше, когда мне приходилось испытывать много разнообразных впечатлений, были чётки, ясны и ложились легко целыми рядами гармоничных образов и воспоминаний.

Встав из-за стола, мои дорогие поручители крепко меня обняли, поклонились мне, и Никито от лица обоих сказал:

— Благословен твой сегодняшний день, когда ты начал новый период жизни, друг и брат Лёвушка. Никогда теперь не ощущай себя одиноким. Ты и твой Господь — вас всегда двое. Ты и твои великие Учителя — вас всегда четверо. Ты и твои смиренные поручители — вас всегда трое. Кроме того, глаза твои открылись, ты видел сегодня бесчисленное множество тружеников живого неба. Не считай больше дня или ночи. Считай только миг вечного счастья — *дежурства у Учителя*. Учись жить в труде с Ним, то есть жить в единении со всеми трудящимися неба и земли. Мы — твои слуги и помощники во всех делах и встречах, где ты пожелаешь нас позвать. Велико счастье тех людей, что могли, ещё живя на земле, встретиться у ворот Вечности и познать в *ней* дружбу и верную преданность.

Оба друга покинули нас. Мы с И. возвратились в наш дом. На пороге моей комнаты И. обнял меня и напомнил, что меня ждёт записная книжка моего брата.

Глава 7

Записная книжка моего брата

Войдя в мою комнату, где я был ласково и бурно приветствован проснувшимся Этой, я долго не мог собрать своих мыслей в полную сосредоточенность, так я был переполнен весь искрами радости. Моё восторженное настроение наконец вылилось в славословие Жизни, я почувствовал внутри тот великий мир, ту гармонию и Свет, с которыми я вышел из оранжевого домика после чтения зелёной книги моей жизни.

Я мысленно прильнул к моему дорогому другу Флорентийцу, попросил его помочь мне понять всё то, что записал в драгоценной книжке мой любимый и дорогой брат, и не осквернить его святыни, но суметь разделить все те страдания и радости пути брата Николая, о которых мне предстояло прочесть.

Я ласково поцеловал Эту, глазки которого смешно слипались, хотя он хорохорился и встряхивал головкой, когда замечал, что я вижу, как ему хочется спать, уложил его в его постельку и вынул книжку брата.

Теперь, когда я вынул её из футляра, она меня ещё больше поразила своим видом, чем в те два раза, когда я держал её в руках. В первый раз, когда мне передал её Флорентиец в комнате брата в К., она поразила меня как чудо ювелирного искусства. Второй раз, когда я держал её в вагоне, разбираясь в вещах, присланных мне Али-молодым, она уже была для меня живой тайной, куском жизни брата-отца, к которому я не счёл себя вправе прикоснуться.

Теперь же, держа её в руках в третий раз, я точно трижды поразился и высочайшей её внешней прелести, и свету того великого, что пережил брат Николай, и неожиданному дерзновению, которое чувствовал в себе сейчас, решаясь раскрыть то сокровенное, что записал брат.

Я взял чудесный ключик, изображавший тоже белого павлина, и не без труда отыскал замочек, которым служила одна из маленьких белых фигурок павлинов на бордюре. Она сдвинулась с места, и я увидел под нею замочек.

Всё это заняло немало времени. Но до чего же я сам себя не узнавал! Несколько месяцев тому назад я был бы в полном изнеможении от раздражения и нетерпения, бросил бы и книжку и футляр и, пожалуй, сорвал бы гнев топаньем ног и слезами. Теперь же, чем сложнее казалась мне задача, чем больше я видел сложность замка, тем больше восхищался человеком, сумевшим так его сделать, чтобы никаких следов его сложности не ощущалось вовне. Я смеялся и радовался, когда открыл все тайны затвора, и вот книжка раскрыта и почерк, которым я так дорожил, почерк единственного в мире родственника, перед моими глазами.

Каково же было моё изумление, когда я увидел, что то не был мой родной русский язык, как я того ожидал, но что — страница за страницей — книжка была написана на языке пали.

клонения перед самоотвержением моего друга и его даже трудно переносимой добротой не скатилась по моим щекам.

Сердце моё расширилось, я ещё раз пережил слова Али моему брату о нищенствующем Боге, которому надо служить в человеке, и ещё раз остановился в бессилии перед барьером, где сияли слова: “Быть и становиться”.

Я видел сейчас одного из тех, кому уже не надо было “становиться”, но кто был воплощённой добротой. Франциск встал с коленей и подозвал меня к себе. Когда я подошёл и стал рядом с ним у жертвенника, он сказал мне:

— Если ученик вошёл в общение с одним Учителем, он вошёл в общение со всеми ими. Перед взором Тех, Кто просветлел, не может быть разъединяющих пелён. В этот миг Учитель луча Любви даёт тебе поручение, передаваемое тебе мною. Внимай всей чистотой сердца и осознай, как всё связано во вселенной, как всюду идёт круговая порука. Минуту назад ты не знал о существовании целого ряда людей. Сейчас они для тебя самые близкие и священные друзья, ибо несёшь им помощь в их страданиях. Я вложу в этот конверт кусочек хитона одного из чистейших и любвеобильных созданий. Если сумеешь сохранить в сердце Свет и благоговение, с которыми стоишь сейчас у алтаря, в ту минуту, когда будешь подавать это письмо, оботри сам ребёнка этой матери, которой я пишу, тем кусочком хитона, что я вкладываю в конверт. Если же почувствуешь, что ты рассеялся, что образ мой не горит перед твоим духовным взором, отдай матери, пусть сама оботрёт им личико своего сына. Постигни в эту минуту, что служение ближнему — это не порыв доброты, в которой ты готов всё раздать, а потом думать, где бы самому промыслить что-нибудь из отданного для собственных первейших нужд. Это вся *линия поведения*, весь труд дня, соединённый и пропитанный *радостью жить*. Оцени эту радость жить не для созерцания Мудрости, не для знания и восторгов любви в нём, не для прославления Бога как вершины счастья, но как простое понимание: *всё связано, нельзя отъединиться ни от одного человека*, не только от *всей совокупности своих обстоятельств*. Ценность ряда прожитых дней измеряется единственной валютой: где и сколько *ты выткал* за день нитей любви, где и как *ты сумел их закрепить и чем ты связал закрепляющие узлы*. Сохрани в памяти эту минуту и укрепись в нити труда со мною, а, следовательно, и с моим Учителем, Учителем Любви, чьё имя Иисус. Мой узел нашей с тобою нити труда я скрепляю всей любовью и чистотой, что живут в моём сердце. Прими мои письма у алтаря любви и пронеси их в той гармонии, какою ты сейчас полон. Та помощь, что подана легко и радостно, всегда достигает цели. Человек проходит в высшую ступень, и во вселенной всё светлое говорит: “Ещё один этап пройден нами”. Ибо, как я уже тебе сказал, всё едино, всё связано, ничто не может быть выброшено из встреч жизни, хотя бы само оно и не предполагало о своей связанности со всей единой Жизнью.

Франциск вложил лоскуток в конверт, поднёс к своим губам письмо, что лежало на чаше и не сгорело от её кипевшей как огонь жидкости, перекрестился им, говоря про себя: “Блаженство Любви, блаженство Мира, блаженство Радости, блаженство Бесстрашия, летите Гармонией моей верности и влейтесь в сердце существа, о котором молю тебя, Учитель, друг и помощник Света и Любви”.

Пламя в чаше вспыхнуло, Франциск, а за ним и я, ещё раз преклонили колени перед жертвенником, и он опустил крышку стола.

— Неужели вы не возьмёте меня, считая, что я ещё недостаточно здоров? — взмолился Игоро.

— Возьму, если и дальше вы будете так же послушны в смысле режима, — засмеялся И. ему в ответ.

— Удивительно! Только сегодня я собрался опротестовать мой режим, и вы точно прочли, что я держал под моей черепной коробкой. Разумеется, доктор И., теперь я буду кроток как ягнёнок и послушен как голубь.

Мы вышли в парк и вскоре принялись за чудесную работу, причём И. прочёл нам целую лекцию по ботанике. Игоро, которому было приказано смирно сидеть в тени, выказал удивившие меня знания по ботанике и по геологии. Ещё раз я был поражён своей невежественностью и невольно воскликнул:

— Когда же, Игоро, у вас было время стать учёным? Ведь вы всю жизнь отдали театру?

— Я отдал душу и сердце театру и человеку. Но мозг мой я не запечатывал. Я старался проникнуть в высший разум жизни и в разум моих бессловесных братьев земли — растений, животных. Много ли я в этом успел, этого я сам не знаю.

Его ответ меня поразил. Как мало я сам вникал в окружающую меня природу! Меня хватало только на человека, и то — хватало ли?

До обеда мы сажали деревья. Затем я пошёл учиться в комнату Али и по обыкновению забыл время, место и текущие обязанности. Мой милосердный Учитель И. пришёл за мной, и после чая мы отправились в дальнюю долину учиться езде на мехари.

Много было смеха и шуток над нашей неловкостью, особенно туп оказался я, никак не умещавшийся в маленьком седле, где И. сидел как приклеенный.

Мне на помощь пришёл Никито, и всё же первый урок не был мною осилен. Я не мог вынести ни медленного, ни быстрого шага мехари и скатывался довольно благополучно, но преуморительно. Умное животное терпеливо и мгновенно останавливалось, хотя могло несколько раз наступить на меня.

Бронский обогнал всех, и я упрекал его, шутя, что он скрыл от всех своё давнишнее умение управлять мехари. Он же совершенно серьёзно уверял меня, что единственный раз ехал на мехари, когда примчался в Общину, и что стоит мне почувствовать себя арабом, и я помчусь, правильно управляя собой и мехари. Очевидно, огромная артистичность этого человека и здесь помогала ему.

После урока верховой езды, всех нас утомившего, мы отправились купаться, потом ужинать и вечером слушать музыку Аннинова.

По дороге к жилищу музыканта я вспоминал так ярко Константинополь, Анну, её музыку и божественный, человеческий голос виолончели Ананды. Некоторое смущение было в моей душе. Я не мог себе представить, чтобы кто-либо был в состоянии играть лучше Анны и Ананды. Я боялся, что не смогу быть таким вежливым вовне, как меня учил И., чтобы не выразить человеку своего разочарования, человеку-артисту, чью жизнь заполняла только музыка.

Как примирить прямолинейную внутреннюю правду с внешним лицемерием, если мне не понравится его музыка? По обыкновению, я получил ответ от И., который без моего словесного вопроса сказал мне:

— Разве ты идёшь сравнивать таланты? Ты идёшь приветствовать путь человека. Идёшь найти в себе те качества высокой любви, которые могут принести другому человеку вдохновение. Люби в нём, в его пути всё ту же *Силу*, двигающую вселенной. А в каком месте совершенства Она, эта *Сила*, в данный момент остановилась в человеке — это не должно тревожить тебя. Она должна будить твою энергию радости и помогать тебе нести человеку привет. Бросай цветок в его храм, как я тебе говорил не раз, а не критикуй, каков на твой вкус этот храм.

Вечером, оставшись один, я снова раскрыл книжку брата и стал читать вторую запись.

«Ты полон бурлящих мыслей от моих вчерашних слов. Ты не постигаешь, как можешь ты приветствовать в каждой текущей встрече Истину, вошедшую к тебе в той или иной временной форме. Многие встречи тебе отвратительны. Отвратительны тебе попойки твоих соратников, их вечные карты, их ссоры и мелочные интересы.

А между тем ты ни разу их не осудил. Напротив, ты сумел быть так беспристрастен к каждому из них, что все солдаты и офицеры неизменно идут к тебе со своими вопросами, выбирают тебя судьёй чести и надеются получить облегчение в своём горе и недоумении.

Все, даже отъявленные буяны, стремившиеся поначалу задеть или запугать тебя, отходили, смирившись, после того как пытались вызвать тебя на личную ссору. Твоя храбрость лишала их всех поводов к раздорам, а сила твоей любви к человеку заставляла каждого уходить от тебя в уважении к тебе и твоему дому. Многие уходили с сознанием, что приобрели друга. Иные уходили примирёнными, иные в недоумении, но никто не уносил желания повторить озорные выходки.

Перейди теперь из понимания, что любовь и Бог — это только одно прекрасное. Самое худшее, что кажется тебе таковым, ничто иное, как та же любовь, лишь дурно направленная в человеке.

Любовь вора к золоту — всё та же любовь, лежащая под спудом предрассудка жадности и стяжательства. Любовь мужа к жене, любовь матери к детям — та же любовь, не имевшая силы развязать тугие ленты своей любви и увидеть Бога в человеке, за гранью личного предрассудка “моя” семья.

Переходи в своём теперь расширенном сознании в иные формы понимания окружающих тебя живых временных форм людей. В каждой встрече, *в каждой из них* прочти *свой урок дня*, пойми одно задание: *тот*, кто пришёл к тебе, — *он главное и самое важное твоё дело*. То, чем ты занят в данное “сейчас”, *оно* первое по важности, отдавай ему *всю полноту сил и чувств* и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальнейшего.

Идя день, неси бескорыстие делам, мир и отдых трудящимся рядом с тобой. Ты ведёшь жизнь целомудрия. Веди её и дальше. Но если ты будешь думать, что целомудрие как таковое, как самодавлеющая сила может ввести человека в высокие пути жизни, — ты ошибаешься. Это только одно из слагаемых, *многих* слагаемых духовной жизни человека, которое ведёт к гармонии и освобождённости, но само по себе не имеет цены.

Если человек полон предрассудков разъединения, всё его целомудрие не двинет его с места в его стремлении к совершенству. И наоборот, если человек ищет обще-

Из каждой чаши поднимался небольшой огонёк такого же цвета, как была сама чаша.

Я перенёсся мыслями в оранжевый домик, где стоял недавно перед таким же алтарём.

Франциск прикоснулся обеими руками к красной чаше, её пламя вспыхнуло ярче, и я услышал его шёпот: “Да будут руки мои и дух мой чисты, как чисто пламя Твоё, когда буду писать зов Твой слугам Твоим”.

Постояв минуту в сосредоточенности, он подошёл к письменному столу, достал бумагу и стал писать. Как и все люди, я часто видел, как пишут другие. Видел я и рассеянных, как я сам, и сосредоточенно внимательных людей пишущими. Но лиц и фигур, подобных Франциску за его письменным столом, я не видал ни до этого часа, ни во всю мою дальнейшую жизнь ни разу.

Помимо того, что он, казалось, забыл обо всём и обо всех, его лицо всё время меняло выражение. И так ясна была мимика этого прекрасного лица, что я как будто бы сам видел, кому он пишет, и понимал, о чём он пишет.

Я был так увлечён созерцанием Франциска и его труда, что даже не заметил, когда И. вышел из комнаты. Предо мной шёл точно личный разговор Франциска с его корреспондентами. Проходила целая вереница лиц. А письма скопились целой стопкой, и мне казалось, что это не конверты сложены на столе, а кусочки души Франциска, которую он разрывал и запечатывал в них.

Но вот он особенно углубился, склонился над бумагой, писал медленнее других писем, точно лучи падали от его пальцев на строки письма, и мне чудилось, что я вижу женскую фигуру, с отчаянием прижимающую к себе мальчика лет семи.

Иллюзия была так ярка, что я хотел уже выйти из комнаты, чтобы не мешать женщине говорить с Франциском наедине, как он посмотрел на меня и сказал:

— Учись владеть пространством. Я всё время присоединяю тебя к моему труду, чтобы тебе легче было передать мою помощь всем моим друзьям и присоединить к ней ещё и твою собственную любовь.

Теперь я понял, что образы, которые мне казались плодами моей фантазии, были на самом деле результатами любви Франциска, включавшего меня в свою мысль.

Окончив последнее письмо, он задумался, погрузился в молчаливую молитву, встал, взял в руки письмо и подошёл с ним к жертвеннику. Здесь он опустился на колени, положил письмо на огонь чаши, охватил её обеими руками, прислонился к ней лбом и замер в экстазе молитвы.

Я был потрясён силой, энергией, каким-то вызовом и требованием, которые исходили из всего существа Франциска. И я тоже опустился на колени, потрясённый экстазом любви и самоотвержения моего друга, в своей молитве забывшего обо всём, кроме того существа, о помощи которому он молил ведомые ему высшие существа.

Как огненное пламя пробежало по мне сострадание к той, о ком молился Франциск. И в первый раз в жизни я понял глубокую *силу* и настоящий *смысл* молитвы.

Как умел и мог, я тоже молился о чистоте моих рук и сердца, чтобы быть в силах передать письма Франциска и не засорить их мутью собственной слабости и страстей. Много усилий я должен был сделать над собой, чтобы слеза умиления и пре-

может научиться в своей жизни простого дня, в *своих* обстоятельствах, радости утверждения, тот не может стать светом на пути для других. Но, Лёвушка, нельзя примерять крест жизни другого. По собственным плечам придётся только один: свой собственный. Сейчас тебе кажется невозможным мой путь. Поверь, что таким же невозможным мне кажется твой. Я не могу себе вообразить, как это я сел бы писать какой-либо роман или повесть. И, признавая всё величие пути писателя, изобретателя и так далее, я не могу даже и представить себе, как я мог бы идти одним из этих путей. Кроме смеха, я бы ничего не вызвал. Ещё меньше я могу вообразить себя в роли Бронского или Аннинова, хотя на себе испытал не раз, какая дивная сила — талант артиста и как действенно его влияние. Талант может мгновенно просветлить всего человека, тогда как иные пути духовного воздействия требуют долгого кропотливого труда. Да что искать сравнительных примеров. Если бы мне пришлось вести жизнь и труд нашего общего друга И., я бы не мог его нести, так как не мог бы кочевать среди толп народа и умер бы, не принеся никому ни пользы, ни радости. Крест, который несут плечи человека по его простым дням, всегда лёгок. Но зрение человека так засорено, что вместо гармонии, в которой он должен творить и которою должен облегчать жизнь всех рядом идущих, человек сам же вбивает гвозди страстей в собственный крест. И вместо четырёх блаженств натыкается на торчащие в кресте гвозди, причиняя себе рваные раны. Сейчас мы пойдём ко мне. Я дам тебе несколько писем к моим друзьям, живущим сейчас в дальних Общинах. Передавая им мои письма, присматривайся к ним. Быть может, тебе перестанет казаться таким страшным делом существование человека, затерянного в безвестном кусочке мира, лишённого шумной арены деятельности.

Мы двинулись в комнату Франциска, и я не мог отделаться от удивления, как мог Франциск так метко и правдиво разобраться в моих ощущениях и мыслях. Действительно, я нередко задумывался о жизни людей, которых встречал здесь, людей высокообразованных и талантливых, живших безвыездно в отдалённых селениях. Ещё чаще во мне мелькало нечто вроде тоски, когда я представлял себе тысячи людей, не покидавших никогда своих глухих селений, из поколения в поколение довольствовавшихся скромной долей жизни в унаследованном от дедов труде и домах. И все эти мои мысли подсмотрел Франциск и, точно пепел, разворошил их сейчас во мне кочергой своей любви.

Когда мы вошли в комнату, первое, что сделал Франциск, — поднял крышку своего мраморного стола, и я увидел под нею чудесную высокую вазу, как мне показалось сначала. Но то была чаша из красного камня, точно рубиновая, и в ней, переливаясь всеми цветами, кипела жидкость.

Теперь я понял, что то был жертвенник. И жертвенник Франциска не был похож ни на один из алтарей, которые мне приходилось до сих пор видеть.

Красная высокая большая чаша стояла посредине, а за нею полукругом стояли чаши гораздо меньше, самых разнообразных цветов. Сначала мне показалось, что чаш очень много. Но, присмотревшись, я увидел, что, кроме красной, чаш было ещё шесть. Три из них стояли справа и три — слева.

Белая, синяя, зелёная стояли слева, затем некоторое расстояние — и чаши жёлтая, оранжевая и фиолетовая, все разных форм и огранки, окружали красную чашу.

ния с Учителем и не имеет сил стать на путь целомудрия, все его попытки пройти в высокое духовное слияние с Учителем останутся засорёнными попытками, всегда грозящими попасть в смятенные круги астрального плана.

Не задумывайся о дальнейшем. Прими на данное “сейчас” задачу и урок целомудрия как необходимое для тебя на сегодняшний день звено самообладания, ведущего к гармонии.

Нет ничего неизменного в пути ученика, всё течёт и изменяется в единственной зависимости: развитие творческих сил человека-ученика ведёт его к совершенству, где его *самообладание и гармония — первоначальные основы*.

Они составляют *верность* ученика Учителю, они растят равновесие его духовных сил. Но, повторяю, *они движутся*, и нет ничего мёртво стоящего в жизни неба и земли. Силы духа в человеке движутся и приводят его к бесстрашию.

Все твои мысли, приводившие тебя к радости, были мыслями, соткавшими мост от тебя ко мне. Если бы твоё сердце молчало и один здравый смысл вёл тебя по земле, ты не мог бы достичь этого мгновения, когда видишь меня перед собой.

Отныне все твои встречи имеют только один смысл: прочесть твой собственный урок, раскрыть твоему пониманию, *что* мешало тебе начать и кончить встречу в радости.

Характер ученика не может складываться так, как его складывает обыватель. Обыватель ищет наибольших внешних удач. А ученик ищет наилучших мыслей в себе, чтобы наполнить ими те сердца, что пришли с ним в соприкосновение в данное летящее мгновение.

Порывы мозговых центров не укладываются в духовном движении и не ведут к совершенствованию. Они составляют только путь к озарению и вдохновенному творчеству. Но сами по себе не составляют двигателей духа.

Вот почему люди малограмотные могут быть мудрецами и оказаться на голову выше миллионов учёных, постигающих лишь то, что можно доказать геометрически, физиологически и иными материалистическими способами. Но там, где дело идёт о материи духа, то есть об интуиции, там творит только сердце. Поэтому, не ищи отныне в книгах ответа на свои вопросы.

Читай книгу собственной жизни, живи по Евангелию собственного трудового дня, и ты постигнешь все йоги мира твоим — невозможным для другого — путём».

Я невольно опустил книжку, и мысль моя вернулась к пережитому за сегодняшний день. Я снова и снова видел перед собой тех людей, с кем встретился сегодня. Лица и слова выплывали передо мной как на экране и я чётко видел, как мало я был истинным учеником.

Чем, какими наилучшими мыслями я наполнил сегодня вселенную? И с особой ясностью я остановился на проведённом у Аннинова вечере. Музыкант встретил нас, весь горя желанием играть. Глаза его смотрели на нас, но точно скользили по нашим лицам, не различая, кому именно он подавал свою красивую, но такую огромную руку, что моя в ней совершенно утонула.

Очень странно я чувствовал себя в зале Аннинова. Я подмечал здесь всё внешнее, все движения музыканта: как он подошёл к роялю, как поднял крышку, как расправил складки своего европейского платья, садясь на табуретку, как, сидя, подвин-

тил винт табуретки, подняв её на нужную ему высоту, как положил руки на клавиши, точно задумавшись и забыв обо всех нас.

Анна и Ананда заставляли меня забывать обо всём, кроме их лиц, казавшихся мне лицами сверхъестественными. Здесь же лицо музыканта казалось мне некрасивым, хотя я не мог сказать, что оно не было своеобразно и оригинально. Лицо аскета, сильное, жёсткое, углублённое, не допускающее равенства между собой и окружающими.

Я посмотрел на И. и поразился доброте, с которой он смотрел на музыканта. Аннинов вздохнул, посмотрел куда-то вверх, оглянулся кругом и встретился взглядом с И. Точно молния сверкнула по всей его фигуре, он вздрогнул, детски улыбнулся и сказал:

— Восточная песнь торжествующей любви, как понимает её моё сердце.

Нежный звук восточного напева полился из-под его пальцев и напомнил мне Константинополь. Я однажды слышал там маленькую нищенку, которая пела, трогательно ударяя в бубен и приплясывая под аккомпанемент двух слепых скрипачей.

Эта картина рисовалась мне всё ясней по мере того, как развивалась тема Аннинова. Я забыл, где я, кто вокруг меня, я жил в Константинополе, я видел его улицы, Анну, Жанну. Я жил снова в доме князя, я плавал среди стонов и слёз, молитв и благословений, я ощущал *всю* землю Востока с его предрассудками, опытом, страстями, борьбой.

Вот толпа женщин-рабынь, закутанных в чёрные покрывала. Вот их стоны о свободе и независимости, о свободной любви. Вот унылые караваны; вот злобный деспот с его гаремом, вот детские песни и, наконец, выкрик муэдзина.

И всё дальше лилась песнь Востока, вот она достигла дивной гармонии, и мне вспомнился мой приятель турок, говоривший: “Молиться умеют только на Востоке”.

Внезапно в музыке пронёсся точно ураган, и снова полились звуки неги и торжества страсти, земля, земля, земля...

Аннинов умолк. Лицо его стало ещё бледней обычного, он переждал минуту и снова сказал:

— Песнь угнетения Запада и гимн свободе.

Полились звуки “Марсельезы”, звуки гимнов Англии и Германии гениально переплетались с печальными напевами русской панихиды. Вдруг врывались, разрезая их, песни донских казаков, русские песни захватывающих безбрежных степей, и снова стон панихиды...

Я весь дрожал от неведомых мне раньше чувств любви и преданности родине и своему народу. Казалось мне, я всегда любил родину, но тут через музыку Аннинова я понял первый долг человека, о котором говорил Али моему брату: о любви к родине.

Вот оно, *своё* место, особенное, неповторимое для другого, место каждого на земле; Аннинов лил в мир *свою* любовь к родине, хотя покинул её давно и не возвращался много лет. И я понял, что *дом* его был *не* интернациональный, а русский. Дом, язва которого не заживала в его сердце.

Благоговение к его скрытым страданиям, только сейчас проникшим в мою душу, наполнило меня, и я преклонился перед этим страданием, как когда-то мой дорогой

сились к И. и повисли на нём как виноград. Из дальнего угла прямо к нам шёл Франциск и провёл нас, со всеми нашими карликовыми ношами, к своему столу, где и усадил нас, заботливо предложив нам еду. Завтрак здесь состоял из холодных вегетарианских блюд, но каждый мог, если хотел, получить и горячий суп, и картофель, кроме всем полагавшихся фруктов.

Франциск, как и всегда при встрече со мной, долго не выпуская моей руки из своей, нежно улыбался.

— Так, так, Лёвушка, расти, красавец, расти. Скоро увидишь жизнь несчастных, копи радость, чтобы их облить ею. Таких увидишь несчастных, о существовании которых до сих пор и не знал. Пора, пора тебе мужать. Не беспокойся, И., бери их всех и поезжай. Здесь мне помогут. Флорентиец скоро пришлёт сюда кое-кого. Помощники мне будут.

— Ты всегда готов взять любую ношу, Франциск. Но позволяет ли тебе твоё здоровье сейчас так много трудиться? Ты иногда забываешь, что Флорентиец запретил тебе без дневного отдыха нести дежурство.

— Не беспокойся, друг. Я провожу регулярно три часа в день за книгами, и это составляет такой отдых, что меня хватает даже на ночной обход. Сегодня у меня была великая встреча. О, как я был счастлив, что мог спасти загнанную судьбой нищенку от верной гибели! Несчастная уже приготовилась утопить своего новорождённого ребёнка и последовать за ним сама. Сейчас и мать, и ребёнок радуются жизни, и я уверен, что этот ребёнок будет большим человеком. — Франциск весь сиял. Любовь так и лилась из него. Лицо, которое не загорало ни под каким солнцем, почти прозрачное, с розовыми пятнами на щеках, это лицо выделялось не только своей белизной среди загорелых и смуглых лиц. Оно выделилось бы и из тысячи белых лиц, такая высокая сила духовности озаряла все черты этого лица.

Ещё раз я наглядно увидел, *что* такое Любовь, и вспомнил недавно сказанные мне И. слова: “Ты думаешь, что высокое поведение людей — это героика отречения. Для них же оно — героика творчества и созидания, героика величайшей, непобедимой творческой силы: Радости”.

На живом примере я видел сейчас эти слова И., и двойственное чувство наполняло меня. С одной стороны, я сознавал недосягаемость для себя сейчас подобной психики, с другой стороны, я всё же продолжал думать, что человек приходит к такому состоянию любви только через ряд отречений.

Точно подслушав мои мысли, Франциск положил на моё плечо руку и заглянул в глаза:

— Двенадцать было апостолов у Христа. Но *один Иоанн* шёл путём беззаветной любви. Все остальные шли путями самыми разнообразными. И если у каждого из них была своя Голгофа, то только потому, что сила их страстей должна была развернуться в непобедимость и полное бесстрашие, верность и уверенность. Я уже говорил тебе, что знамение креста — это сочетание четырёх блаженств: блаженства любви, блаженства мира, блаженства радости и блаженства бесстрашия. Эти развитые до конца аспекты *любви* в человеке приводят каждого к гармонии. И чтобы войти и утвердиться в гармонии, каждый идёт своим путём. Но придёт к этому результату только тот, кто нашёл радость в пути совершенствования. Жизнь, вся *жизнь* вселенной — всегда *утверждение*. Строить можно только утверждая. Кто же не

— всегда слеза о себе, как бы ты её ни расценивал. В твоём теперешнем положении, когда ты и слышишь голос Безмолвия, и видишь образы дорогих тебе людей независимо от места и расстояния, каждая твоя слеза ломает какой-либо из тех мостов, по которым идёт твоё общение с ними. Начинай свой день благословенной радостью жить ещё один день на земле, ещё один раз имея возможность поклониться Богу в человеке и помочь ему. Чем выше идёт твоё собственное раскрепощение, тем яснее самому, как лёгок мог бы быть путь человека и какою каторгой он делает для себя свой день, а нередко и для своих ближних. В окружающей тебя в эти дни семье людей, где ты раскрепощён от всех забот быта, от всех его условностей, созревай, друг, для тех лет, когда будешь брошен во всё напряжение человеческих страстей. Только теперь ты можешь в полном спокойствии развивать всё своё самообладание. Очень немногим даётся это счастье: складываться умом, сердцем и характером среди людей, лишённых эгоизма. Все твои встречи здесь — это встречи старых и новых карм. И чтобы не упустить ни одного звена, которые подаются тебе любящими и заботящимися о тебе, у тебя остаётся одна задача: не лить слёз, которые темнят очи духа, но лить радость, которая помогает каждому существу, пройдя мимо тебя, всколыхнуть в себе красоту, а не уныние. Возьми Эту, мы пойдём с тобой купаться и не вернёмся сюда, а навестим Франциска. Мне надо переговорить с ним о многом и, главное, узнать, отпустит ли он меня сейчас в дальние Общины, куда меня настойчиво зовут. А между тем и здесь много дела и без меня Франциску будет трудно. Включись, мой милый, в сеть интересов нашего общего дела и забудь о возможности плакать, хотя бы и благоговея перед героизмом других. То, что сегодня тебе кажется недосягаемым героизмом, то завтра становится просто трудным, а послезавтра — не трудным. И задача дня не в самой героике чувств, а в том, чтобы всё, чего ты достигаешь, не казалось тебе достигнутым через Голгофу, а достигалось легко, радостно, просто. Сегодня у тебя будет много труда. Ты спал ли ночь? — спросил И., пристально глядя на меня.

Я рассказал ему, как провёл ночь, что видел и как был поражён, увидев леди Бердран на ночном дежурстве.

— И ещё раз, дорогой И., я увидел, насколько незрелы мои понимания, как я слеп, судя о людях, как я ничего не распознаю среди окружающей меня жизни.

— У каждого свой путь, Лёвушка. Быть может, тысячи и тысячи хотели бы перемениться с тобой ролями. Но сцена театра *жизни* подчинена законам вселенной, и роли в этом театре не могут быть розданы по личному расположению директора или его режиссёров. Высшая режиссура приводит каждого к его мировому станку труда. А *как* каждый будет работать на нём, это индивидуальная неповторимость. И сколько бы ролей ни набрал человек, *творить* он будет только в той, где сумел добиться гармонии.

После купания мы пошли в больницу к сестре Александре. В первый раз я был в больнице так рано. Картина, которую я увидел, меня умилила. В огромной столовой за детскими столами я увидел много выздоравливающих детей, обслуживаемых тоже детьми постарше и молоденькими сёстрами, и снова поставил себе в укор, что до сих пор не знал ни размеров больницы, ни пределов её помощи населению.

Многие из детей восхищённо приветствовали И., и опять я не знал, когда и где они могли познакомиться с ним. Карлики, не поддаваясь никакой дисциплине, бро-

друг, капитан Джемс, поклонился предугаданному им страданию Жанны, которое он сумел прочесть в ней.

Я понял, как я далёк ещё от бдительного распознавания, от счастья жить в признании каждого создания божественной силой.

Мой дух был потрясён. Я не мог лечь спать и вышел в парк ждать рассвета.

Глава 8

Обычная ночь Общины и что я видел в ней. Вторая запись брата Николая. Моё бессилие перед “быть” и “становиться”. Беседа с Франциском и его письма

Я возвратился в мою комнату, как только стало возможно читать. Но в эту чудесную, короткую ночь мне было суждено выучить ещё один великий урок. Не успел я углубиться в аллею парка, как заметил, что я в нём далеко не один.

По дальним аллеям бесшумно двигались фигуры, и, когда я спросил одного из встретившихся мне братьев, ходившего взад и вперёд по аллее, ведшей за пределы парка к ближайшим селениям, не спится ли ему, как и мне, в эту ночь, он мне ответил:

— О нет, милый брат, сон мой всегда прекрасен. Но сегодня моя очередь ночного дежурства, и я буду очень рад служить тебе, если тебе в чем-либо нужна моя помощь.

— Ночное дежурство? Но для чего оно? Разве можно ждать ночного нападения на Общину?

— Нет, врагов у Общины нет, хотя звери иногда и забегают сюда. Дежурство братьев существует для того, чтобы подавать помощь людям во все часы суток, независимо от того, будут ли это часы дня или ночи.

— Но кому же нужна помощь ночью? — продолжал я спрашивать с удивлением.

— Кому, — засмеялся брат. — Ты, вероятно, очень недавно в Общине. Пойдём вон к тому огоньку, куда я сейчас провёл трёх спутников. Ты сам сможешь судить был ли я прав, решив, что им нужна немедленная помощь, хотя сейчас и ночь.

Огонёк, на который мы пошли, казавшийся таким крохотным, оказался на самом деле совсем не маленьким, но был так далеко от нас, что я и принял его за маленькую лампу.

Мой спутник подвёл меня к домику, три окна которого были ярко освещены. По его знаку я подошёл к одному из окон и увидел худую, истощённую женщину в туземном истрёпанном платье, с младенцем на руках. Спиной к окну стояла женская фигура, одетая в обычное платье сестры Общины, и подавала путнице чашку дымящегося молока, хлеб с мёдом и ещё какую-то пищу, которой я рассмотреть не мог.

Внезапно сестра повернулась лицом к окну, и я едва сдержал крик: кормившая несчастную была леди Бердран. Стоявший подле меня брат, заметив, что я отшатнулся, решил, что я уже рассмотрел картину деятельности в этой комнате, взял меня за руку и осторожно, чтобы я не наступил на цветочные клумбы, перевёл меня ко второму светящемуся окну.

Как раз в ту минуту, как я прильнул к окну, раскрылась дверь в глубине комнаты, и я увидел старика, очевидно, только что вышедшего из ванны, которому незнакомый мне дежурный брат помогал надеть чистое платье. Брат вывел старика

няются и кого зовут, когда перейдёт в служение видимым окружающим людям, которым ученик научается нести поклон любви.

Путь ученичества для всех один: если несчастные стучатся в твою дверь — ты на правильном пути».

Здесь вторая запись обрывалась.

Я невольно закрыл лицо руками и погрузился в великие мысли, которые читал. Боже мой! Как далёк я был от всех тех этапов зрелого духа, о которых сейчас читал. Я невольно стал думать о дорогом брате-отце, двадцатичетырёхлетнем юноше, офицере, почти ежедневно участвовавшем в стычках с горцами, постоянно жившем под угрозой ранения или смерти, всегда имевшем для крошки брата-сына нежность и ласковую, спокойную улыбку.

Я вспоминал это постоянное спокойствие брата Николая, передумывая по-новому всю жизнь его. И жизнь эта казалась мне теперь подвигом. Я не мог вспомнить ни одного женского образа, пересекавшего жизненную дорогу брата Николая, а он ведь был бесспорным красавцем.

Теперь я по-новому понял его скорбное, до неузнаваемости изменившееся лицо, когда я видел в первый раз, в аллее в К., Наль. Я понял и выражение муки во всей его фигуре в саду Али перед пиром. Я вспомнил и другого избранника духовного пути — Али-молодого. Слёзы лились из моих глаз, но то были не слёзы, оплакивавшие смертные муки дорогих мне людей, а слёзы благоговения перед величием того, что только может вынести дух человека и каким примером сияющей помощи может стать такой человек. Моя мысль, моё сердце преклонились перед всеми, кого я встретил за последнее время. Я не мог найти достаточной благодарности для И. и Франциска, я повторял первые слова записи брата Николая: “Слава Тем, Кто довёл меня до этого великого момента моей жизни. Слава тем, кто, как и я, дойдёт до него”.

Я почувствовал, что Эта теребит меня за рукав, поднял мою чудесную птичку, прильнул к его головке и не мог сдержать слёз. Эта охватил крыльями мою голову, точно разделял мои слёзы и утешал меня, и так застал нас И., вошедший в комнату.

Рука моего дорогого Учителя и друга нежно легла на мою голову и неподражаемо ласковый голос ободрял меня:

— О чём же ты плачешь, мой милый друг? Ведь то, что там прочитано и так потрясает тебя в пути дорогих тебе людей и высоких друзей, оно только тебе кажется героизмом отречения. Для них же оно — героика творчества и созидания, героика величайшей, непобедимой творческой силы: Радости. Запомни то, что я тебе скажу сейчас, и постарайся ввести мои слова как действие, как заповедь в твою новую жизнь. Нам с тобой приходилось уже не раз говорить о слезах. И я каждый раз объяснял тебе, что слёзы, всякие слёзы, расслабляют человека. Ты же, вступив на путь освобождения, взял на себя радостную деятельность становиться силой слабому, утешением горестному и помощью безнадёжному. Не задавайся сейчас задачей победить слёзы волевым давлением на себя. Но каждый раз, когда слеза готова скатиться с твоих глаз, подымайся духом выше и вспоминай о всех несчастных, которых в мире — и без твоих слёз — так много. Так много плачущих во вселенной, что ученик обязан осушать их слёзы, а не увеличивать их потоки. Как только мысль твоя поднимется выше твоих эгоистических мыслей, ты увидишь, что всякая слеза

плод крохотного исследования, а синтез Мудрости, просыпающейся вовсе не в *этот* протекающий момент; она только *видимое* следствие многих невидимых творческих напряжений, имя которым *Любовь*.

Раскрепостить в себе Любовь и достичь возможности лить её мирно и просто, как доброту, во все дела и встречи нельзя умственным напряжением. Свободно наблюдая свои порывы, неустойчивость, скептицизм или жадность, можно только прокладывать мелкие тропки, по которым со временем двинется сила, как кровообращение *нового* организма.

Что такое ученичество? Только путь освобождения. Можно ли считать ученичеством жизнь, если в ней нет основ мира? Такого ученичества быть не может. Сколько бы, какими бы путями ни искал человек Учителя, он его не может найти, если всё его мировоззрение полно легкомыслия и если он наивно ожидает, что у него внутри что-то само по себе изменится, раскроется, лопнет, как гнойный нарыв, или, наоборот, расцветёт махровым цветом.

Скучнейшие “искатели” — это те, вечно оглядывающиеся *назад* и ищущие в *настоящем* оправдания или подтверждения тех *бредней*, что снились им в *молодости*. Величайший из путей труда — путь освобождения.

Нет ни одного мгновения, которое могло бы выпасть из цепи звеньев кармы, без самой величайшей *обязанности* человека: подобрать его немедленно, ибо *оно всегда зов Вечности*, всегда ведёт к освобождению, как бы ни казалось оно легкомысленному человеку маловажным.

В ученике, оценившем путь не только свой, но и каждого другого, то есть понявшем важность воплощения, недопустимо легкомыслие. Это не значит, что надо двигаться по земле с важной физиономией выполняющего “миссию” и не умеющего смеяться существа. Это значит в каждое мгновенье *знать* ценность летящего “сейчас” и уметь его творчески принимать и отдавать.

Плоть и дух, как нераздельные клетки, не могут сочетать небо и землю иначе, как развиваясь параллельно. И чем больше развязывается мешок духа, тем шире освобождаются клетки тела для впитывания в организм светоносной солнечной материи.

Смерть для очищенного организма — только порыв движения величайшей радости. Смерть для человека, всю жизнь развязывавшего мешок предрассудков, — крестный путь очищения, хотя бы человек был очень хорошим и добрым в своей обывательской жизни.

Быт, с его условностями, чаще всего скрывает собой те стены предрассудков, о которые разбивает себе лоб умирающий. Первая из заповедей твоего ученического поведения должна состоять в лёгкости дня как сложного конгломерата духовного единения с *живой жизнью* каждого встречного земли. Для тебя “день” — это всегда и во всём участие тех невидимых помощников, что окружают тебя, вне зависимости от места, времени и расстояния, во всех твоих делах и встречах. Ты никогда не один, ты всегда трудишься с ними.

Пока в ученике не разовьются его психические чувства, дающие ему возможность ясно ощущать присутствие высоких сил, верность его должна вырасти в огромную любовь. Любовь, к кому бы она ни была — к Богу, к Учителю, к любимому святому — только тогда приведёт к желанному слиянию с теми, кому поклонился.

из глубины комнаты и усадил к столу. По манерам старика я понял, что он слеп, хотя глаза его были широко открыты.

Дверь снова открылась, и молоденькая сестра ввела мальчика лет восьми, очевидно, только что умытого, причёсанного, и посадила его рядом со стариком за стол. Я понял, что мальчик служил поводырём.

Через минуту та же сестра принесла обоим странникам по пиале дымившегося супа, а брат отрезал им большие ломти хлеба. Я давно не видел такой жадности, с которой накинулись на пищу дед и мальчик.

Мой спутник перевёл меня к третьему окошку. Здесь сидела женщина, закутанная во вдовье покрывало. Она крепко сжимала руками свой живот и раскачивалась из стороны в сторону, время от времени издавая сдерживаемый стон.

В комнате были две сестры и знакомый мне врач. Все они хлопотали возле женщины, усиленно ей что-то объясняли, в чём-то убеждали, чего та не могла или не хотела понять.

— Я её встретил у окраины парка и вытащил из петли её собственных кос, которыми она хотела удавить себя. Она так отчаянно мне сопротивлялась, что я должен был позвать на помощь ещё двух братьев. Мы втроём еле смогли довести её сюда. Я подозреваю здесь одну из бесчисленных драм вдовьего положения. Не одна жизнь уже спасена Общиной из числа страдалиц невыносимого социального предрассудка — вдов Индии. Али и многие его друзья борются всеми силами и с этой скорбью Индии. В дальних Общинах, среди лесов, есть детские приюты, где несчастные вдовы-матери обслуживают своих и чужих детей. Суди теперь сам, дорогой брат, нуждается ли в ночной помощи этот кусочек мира.

Он вывел меня на одну из аллей, ласково простился и вновь пошёл на дальние дорожки, продолжая своё ночное дежурство. Расставшись с ним, я остановился и стал осматриваться вокруг. Куда бы я ни повернулся, сколько хватал глаз, всюду я видел маленькие огоньки, значение которых я теперь хорошо понимал.

Целые рои новых мыслей зажглись во мне. Я начинал понимать, что значит, не теряя ни минуты в пустоте, “быть бдительным” и служить встречному человеку, служа в нём самой Жизни.

Я возвратился домой и снова стал читать книжку брата.

«Мы с тобой прервали нашу беседу на том месте, где я характеризовал твою деятельность как служение Богу в человеке, — читал я продолжение второй записи, точно она была продолжением моих собственных мыслей. Это путь каждого человека, ищущего ученичества. Для ученика нет иных часов жизни на земле, как часы его труда; и весь его день — это радостное дежурство, которое он несёт не как долг или подвиг, а как самое простое сотрудничество со своим Учителем.

Радостность ученика приходит к нему как результат его знаний. В нём до тех пор изменяются все его предрассудки тяжёлых обязанностей, скуки добродетельного поведения и нудности долга, пока сердце не освободится от мыслей о себе, о своём “я”.

Как только станет легко, потому что глаза перестали видеть через призму своего эгоистического “я”, так ученик стал готов к более близкому сотрудничеству с Учителем.

Как ты представляешь себе эту взаимную деятельность ученика и Учителя? Думаешь ли ты, что Учитель ежечасно направляет весь день труда ученика, водя его на полотенце, как мать младенца, стараясь научить его ходить?

Нежность, внимание и любовь-помощь Учителя превышают всякую материнскую заботливость. И характер их совершенно иной, чем заботливость матери, в которой на первом плане стоят бытовые, чисто эгоистические заботы.

Двигатель деятельности Учителя в его охране ученика лежит в самом ученике, в *его* порывах чистоты. Не в том забота Учителя, чтобы предложить ученику комплекс тех или иных условных возможностей и рецептов, *как* достигнуть совершенства, но в том, чтобы *возбудить* дух его к тем делам, что необходимы *именно* ему для его высшего развития. Где он *мог* бы сам найти весь тот Свет и истину, через которые сумел бы понять, что знание не есть ни слово, ни учение. Оно — *действие*. Оно означает: *быть и становиться*, а не слушать, критиковать, принимать, что нравится, выкидывать, что не подходит своему предрассудочному убеждению данной минуты, и принимать частицу, не видя целого. Дух Учителя толкает ученика к распознаванию, к умению свободно наблюдать за своими собственными мыслями.

День за днём всё крепнет верность ученика, если он видит в каждом деле не себя, а ту любовь, что идёт *через* него. Не “я” становится его бытом, но *через меня*. Он освобождается с каждым днём от всё большего количества предвзятых мыслей, которые коренились в его “я”. И его бесстрашие, бывшее раньше порывами его ума и числившееся среди его добродетелей, становится атмосферой его дня, его простой силой.

Не имей предрассудка разъединения от Учителя только потому, что тебя разделяет с ним расстояние. Расстояние существует до тех пор, пока в сердце живёт предрассудок жизни одной земли. Как только знание расширяет кругозор — исчезает и тень расстояния, как и тень одиночества.

Перед проясняющимся взором ученика не стоят горы мусора, мешающие ему видеть Гармонию. Но Гармония не зависит ни от места, ни от храмов, у которых молятся, и сама она не храм, которым восторгаются. Гармонию постигают постольку, поскольку носят Её в себе.

Через внутреннюю самодисциплину человек начинает проводить в свой текущий день не только своё духовное творчество. Он, работая над новым пониманием, что такое “характер”, по новому складывает и всю свою внешнюю жизнь. Если раньше он торопливо вскакивал с постели, в последнюю минуту покидая свою комнату, чтобы только поспеть к неотложным делам, и оставлял свою квартиру как запущенное логово, — теперь ему становится ясно, что окружающая его атмосфера неотделима от него самого.

Если раньше он вёл неаккуратную жизнь, оправдывая себя талантом, и принимал свою богему за неотъемлемую часть артистичности, то он ничем не отличался от любого “теософа-искателя”, считающего своё внешнее убожество неотъемлемым бесплатным приложением к *своим* исканиям, к *своей* теософии.

Чем шире раскрывается духовный горизонт ученика, тем дальше и яснее ему, сколько красоты он может и должен вносить в свой быт, чтобы быть живым примером каждому, с кем столкнула его Жизнь.

Простой день ученика, бдительно проводимый в труде, внимании и доброте, перестаёт быть унылым, серым буднем, как только в задачу вошло не “искать”, а “быть и становиться”.

Перед глазами ученика перестаёт разворачиваться панорама одних голых фактов земли. Его дух льётся во всё и связывает ежечасно лентами любви всё случающееся в дне, всегда сливая в цельное единство оба трудящихся мира: мир живого неба и мир живой земли.

Чтобы тебе приготовить из себя то высокое, духовно развитое существо, которое может стать учеником, тебе надо понять, принять и благословить все свои внешние обстоятельства.

Надо понять, что тело и окружение не являются плодом одного настоящего воплощения. Они всегда — карма веков. И ни одно из внешних обстоятельств не может быть отброшено волевым приказом. Чем упорнее ты хотел бы отшвырнуть со своей дороги те или иные качества людей или ряд обстоятельств, тем упорнее они пойдут за тобой, хотя бы временно тебе удалось их выбросить или от них скрыться.

Они переменят форму и снова, рано или поздно, встанут перед тобой. Только сила любви может освободить внешний и внутренний путь человека, только одна она превратит унылый день в счастье сияющего творчества.

В начале духовного развития, каждому человеку кажется, что талант творчества — это выявленное вовне могущество духа. Он не принимает в расчёт величайших неосязаемых даров: смирения, чистоты, любви и радостности, если они не звучат для него как *полезная* земная деятельность.

Только длинный путь труда в постоянном распознавании приводит к целеустремлённости Вечного, в каждом летящем действии его духовного и материального творчества. Порядок внешний становится простым отражением порядка внутреннего, точно так же, как каждое обдумывание протекающего творческого порыва не может выливаться в действие дня без базы диалектического мышления. Если скульптор хочет отразить порыв к победе всего своего народа, он должен углубиться во всю его историю, должен духом прочесть невидимые страницы доблести и национальной мудрости своего народа, постичь сам, в собственном сердце, вековое самоотвержение народа, главные идеи, двигавшие его в целом к совершенствованию, — тогда только он сможет уловить ноту, на которой звучит для народа его современность.

Тогда скульптор может создать в своей глине живой порыв, когда пережил в своём сердце всю Голгофу, всю скорбь распятия, всё величие движения своего народа по этапам исторических мук и возвышений к тому кульминационному моменту духовной мощи своего народа, который художник хочет отразить для истории.

Ни глина, ни полотно не выдержат экзамена и нескольких лет, если их творцы ухватили лозунг и пустили его в массу как ходкий и прибыльный товар. Их произведения займут место как плохая агитационная реклама среди случайно выброшенного хлама.

В порывах творчества ученика, как у талантливого доктора, всегда живёт меткость глаза духовного, ведущая непосредственно к интуиции. Но эта интуиция, не

чут молнии. Это дикие животные, а также потухшие человеческие сознания. Сейчас ты не сможешь отличить огней диких животных, брызжущих снопами красных искр, от тёмных, потухших сознаний, извергающих тоже искры и зигзаги молний. И те и другие для твоего взора сейчас одинаково отвратительны и одинаково смрадны.

Смотри теперь на сияющее широкое поле этих ровных огней. Это кусочек земли, очищенной людьми от слёз, скорби, страданий. Это место, где живут знающие. Знающие, что земля есть жизнь труда, в котором *изживаются* все страсти и через который входят в Вечное. Это место счастливых, освобождённых от страстей, трудящихся в мире сердца.

Прожить на земле без труда — совершенно равносильно прожить без пользы и для себя, и для всей вселенной. Никому и никогда не надо бояться чрезмерного труда, потому что всякая тяжёлая ноша вводит человека в *привычку* определённой дисциплины духа.

Есть целые массы людей, проходящих свои земные пути в чрезмерном труде. Никогда не сожалей об этих людях. Только через *этот* подневольный труд, труд куска хлеба, они *могут* выработать в себе привычку *дисциплинированного* подчинения. И *эти* зачатки дисциплины труда переходят со временем в их духовное зерно. Только тот человек *может* развить в себе *всю* духовную мощь, который сам, без посторонней помощи, смог заложить основу своего духовного зерна в своей текущей земной форме. И для этого он должен непременно *дойти* до героического напряжения. Должен *сделать* его привычной формой труда для себя, затем привести свой организм в *стойкость* самообладания, чтобы его труд стал ему *лёгок* и, наконец, *подняться* к той гармонии в себе, что даёт ощущение всего дня не трудным, но *прекрасным.*

Только с этого момента раскрывается человеку возможность понимать, что “день” — это то, что *человек* в него вылил, а не то, что к нему пришло извне. И чем устойчивее он становится на эту платформу, тем яснее его взор видит и понимает, что все “чудеса” он носит в себе. Он перестаёт ждать и начинает действовать.

Вернись снова к собственной жизни в маленькой комнате. Теперь ты понял, что никто не может быть забыт или оставлен, никому не может быть чего-то “недодано”, ибо каждый — властнее всех властей, яснее всех стёкол для огней и звёзд — заявляет о своём духе. Каждый *сам* занимает своё место во вселенной — от зерна до полной его мощи, и никто не может его заставить ни гореть ярче, ни тухнуть, ни мигать, кроме самого человека.

Зачем же лично ты сейчас живёшь в таком неподходящем для тебя окружении? Помешало ли оно твоей встрече со мною? Замедлило ли оно нашу встречу?

Ты изумлён моими вопросами. Ты ни разу не только не высказал неудовольствия, что живёшь среди полукретинов, но даже и не спрашивал себя: почему ты заброшен в такую глушь? Тебя только и слышали небеса благодарящим за красоту, в какой живёшь, но ненависти, зависти или недоброжелательства твоего никто не слыхал. Что могло бы мешать неустойчивому, то только крепило твою честь. Чем больше ты видел казнокрадов, разбойников, обманщиков и лицемеров, тем крепче ты сам понимал честь и честность, тем яснее тебе становилась ценность каждого слова, которое ты произносил, тем больше ты искал возможности пробудить во встречном по-

Передав мне целую пачку писем, — некоторые из них состояли из нескольких слов, — он завернул их в красивый шёлковый платок, напомнивший мне синий платок сэра Уоми, только платок Франциска был мягкого алого цвета.

Невольная ассоциация всколыхнула во мне воспоминание об этом чудесном человеке, и я спросил Франциска, знает ли он сэра Уоми.

— Знаю, знаю, дружок Лёвушка, а вот Хаву не знаю, не видел. Как ты думаешь, испугался бы я её черноты? — Франциск весело смеялся, глаза его блестели юмором.

— Мне сейчас очень стыдно, Франциск, но должен сказать, что я был так испуган при встрече с ней, что до сих пор помню мои тогдашние чувства. Теперь, когда я долго пробыл среди людей, чувства и силы которых не знают ни страха, ни раздражения, я и сам изменился, и многие прежние мои понятия уже не существуют. Раньше я не мог даже понять, не только перелить в действие, что каждый встречный — мой Единый. Я не понимал, что вовсе не важно, каков Единый *в нём*, а важно, как *мой*, во мне живущий Единый приветствует божественный огонь во встречном. Теперь же я не могу себе представить, как можно встретить в человеке *одни его* личные качества, а не огонь Единой Жизни. Я стал теперь понимать и другое, о чём мне часто говорил И., что здравый смысл земли и такт самого человека составляют неотъемлемые приспособления, без которых невозможно нести своё дежурство и уметь передать помощь Учителя людям. Мне совершенно сейчас ясно, что *знать* — это значит *уметь*. В эту минуту во мне исчезла какая-то часть помехи к тому, чтобы “*быть и становиться*“.

— Это очень и очень большой шаг, Лёвушка, в духовном росте человека. Раз или два каждый человек может поступить по-ангельски, и это, конечно, много. Но не эти поступки составляют путь освобождения, а только простой трудовой день. Когда будешь передавать моё письмо старцу Старанде, — внимательно присматривайся к нему. И не только к нему одному, но и ко всем тем старикам, которые живут с ним в одном доме. Весь этот уединённый большой дом наполнен людьми, всю жизнь усердно искавшими Бога и путей Его. Но ни у одного из них не было и нет до сих пор ни чувства такта, ни понимания истинной красоты. Всю жизнь их духовные искания были в противоречии с их действиями. Они все без исключения добры, готовы были отдать последнее, что имели, и всё же ничего, кроме раздражения, не умели посеять вокруг себя. Даже пройдя через многие страдания и добившись приезда в Общину, они и здесь не могут быть гармоничны, и здесь их ауры вечно дрожат вспыхивающими огнями и нарушают мир в любой атмосфере, куда бы ни попали. Для некоторых из них, в частности для Старанды, уже безнадёжно достичь в этом воплощении такта и развитого чувства красоты. В нём закоренело и по старости одеревенело его самоутверждение. В него как ржавчина въелось представление, что прав только он один, а остальные судят поверхностно о великих истинах. Он считает, что если *он* понял слова Учителя именно так, по-своему, то истина тут-то и есть. И когда ты видишь и знаешь, что он понял всё навыворот, — то всё равно остаёшься бессильным ему объяснить, потому что нудная одеревенелость его самости заставляет его молча тебя слушать и про себя думать: “Ладно, говори, я сам знаю, что мне нужно и как мне лучше”. Знакомясь с этими людьми, будь бдителен. Распознай яснее, что такое утверждение *Жизни* в себе и вокруг, утверждение её аспектов в себе и

вокруг, и что такое перекрасившийся в организме эгоизм, принявший глупую и упрямую форму самоутверждения. Такой человек, не споря с тобой, якобы избегая внести раздражение, якобы оберегая твой дом или встречу, того не видит, что уже раньше встречи с тобой тебя осудил, уже вперёд знает, что ты поступишь не так, как надо по *его* высшему пониманию. Он и до встречи с тобой, молясь о тебе, просил *своего* Бога "просветить" тебя. Но постараться развернуть из своего сердца луч радостной любви, собрать *свои* мысли в пучок Света и бросить их тебе под ноги, как ковёр любви, он не подумал. Если с тобой случилось несчастье или большая неприятность, он скажет со вздохом: "Видно, ты так заслужил", но не прильнёт всею большой любовью к твоим ногам, чтобы принести тебе в дар хотя бы своё утешающее слово, что ему подсказал такт, если не имеет драгоценного масла сострадания, чтобы омыть твоё горе или неудачу и помочь тебе их перенести. Если он вызвал тебя на раздражение, если он докучает тебе своими бестактными просьбами, часто выпрашивая у тебя нужные тебе вещи, и сам несёт их другим, благотворя им за твой счёт, то всё же вся его благодарность тебе выразится в том, что он скажет тебе: "Нас как будто Учитель учит другому, а ты вот раздражаешься". Сам же опять-таки не поймёт, что сердце его похоже на сухую губку и он не может внести мира, потому что никого не любит сам, да вряд ли когда и любил, хотя, несомненно, *думал*, что любит. Часто эти люди бывали много и горячо любимы. Но их внутренняя сухость под внешней ласковостью отдаляла от них всех. Все их друзья уходили в смерть или отходили в глубоком разочаровании. Люди эти оставались в полном одиночестве и всё же не могли понять своей огромной виновности перед Жизнью. Но каждый из них имеет и свои большие заслуги, а потому эти люди наши. Сама Жизнь находит способы дать им возможность долголетия, чтобы они имели время сбросить с себя предрассудок внешнего смирения, под которым живёт большая гордость. Жизнь ждёт, давая время их старой иссохшей губке сердца наполниться вновь любовью, очищенной и радостной. И иногда *Она* успевает в этом. И старец добивается полного переворота в себе, достигает истинного смирения, которое помогает ему легко нести день лишений. Самое печальное в этих людях — их непримиримость. Всю жизнь они жаждут подвига. В их мозгу часто шевелится мысль: "Пострадать". Но когда им приходится переносить лишения холода и голода, они переносят их в высшей степени тяжело. Здесь выявляется, как мало нажил в духе своём настоящего героизма человек, всю жизнь стремившийся к подвигу и отказывавший себе в мясе и рыбе. А когда настала пора без мысли о "подвиге" вегетарианства просто перенести то, что переносит огромная часть людей-бедняков всю жизнь, у них не хватает силы даже улыбнуться такому пустяку, как внешние лишения. Присмотрись, Лёвушка, и вынеси урок не для пользы психологического анализа будущего писателя, а для широчайшего раскрытия любви и сострадания, для радости знания: как труден каждому его путь освобождения и как нельзя судить человека, но можно лишь учиться у него, раскрывая самому себе *свои* немалые пороки и слабости. Раньше чем передать каждому из моих адресатов письмо, приготовь всего себя к этому священному поручению. Вспомни, как мы вместе с тобой стояли у горящей чаши любви, и, раньше чем подать письмо, омой руки и сердце в *её* огне. Иди, дружок. До твоего отъезда мы больше с тобой не увидимся. Но мысленно я буду с тобой всюду.

сбросить мертвящие пелены восприятия жизни как *формы одной* земли и начать *действовать* как *живое* сознание *двух* миров.

Перед тобой мелькает ряд лиц, живущих в самых разнообразных условностях. Ряд, вереница рождений, вереница смерти. Ты живёшь в атмосфере длительной, жестокой войны и знаешь, что из-за каждого уступа гор тебя может встретить вражья пуля.

Зачем, казалось бы, тебе, человеку высокого духовного развития и исканий, человеку огромного образования, чьей эрудиции нелегко сыскать равную, человеку ума и таланта исключительных, зачем тебе жить под постоянной угрозой смерти? Среди кретинов и убийц, среди тупых и развращённых, с которыми тебе приходится встречаться несколько раз в день?

В ученичестве нет вопроса внешней справедливости, которая всегда спрашивает: зачем и почему? Между обывательской трактовкой "счастья" и трудом ученика — трудом любви и мира — такая дистанция, как между дикарём, не отходившим от своего посёлка дальше десяти миль, и культурным человеком.

И даже это сравнение мало поможет тебе понять свои и чужие земные обстоятельства, если глаза твои не потеряли способности плакать, уши могут ещё воспринимать оскорбления и язык может ещё выговорить язвящее слово.

Пока эти свойства в тебе ещё живы, ты не будешь иметь сил держать в руках чашу твоего Учителя, что взял на себя совместный труд на земле с тобою.

Перенесись теперь со мной из этой маленькой комнаты, где мы с тобою сидим, из твоих привычных обстоятельств, из забот о брате, из атмосферы войны и постоянных стычек с горцами с Кавказа в мировое поле деятельности *Жизни*.

Что остаётся в тебе сейчас незыблемым? Что видишь ты в окружающем тебя свете? Ты видишь только две вещи, плодом которых является земля и всё на ней: *любовь и труд*.

Любовь творит непрестанно. И *Её* труд, не отделимый от *Неё*, двояк. *Она* трудится, подымая людей в высокий путь и помогая им совершенствоваться. И *Она* же переливается *действием* как *их* труд на земле, сближая людей, единя их, сращивая их, как цветы и плоды, для будущих поколений.

Среди тысяч и тысяч движущихся в беспорядке и суёте форм — мигающих, чадящих огней — ты видишь отдельные ровно горящие огни, видишь даже целые очаги, горящие кострами ровного огня.

Что это? Почему одни — большинство — огни мигают и наполняют смрадом всё вокруг себя? Почему отдельные огоньки не гаснут среди этих болотных огней? Почему не сжигают всё вокруг себя горящие столбы и костры пламени?

Дрожащие, мигающие огоньки — это трудящиеся в потоке страстей и пониманий *одной* земли. Все воплощения этих людей не идут в счёт, ибо никто из них не понял, что стоит у Вечности. И труд их, совершенствуя их личность, не мог разбить перегородок условности и не вошёл в их вечное, духовное творчество. Дух их оживотворяется личной любовью, редкими порывами самоотверженности, порывами к красоте, вспыхивает мгновениями и сейчас же погружается вновь в скорлупы личности.

Ещё ты видишь совсем мелкие, едва тлеющие точки. Присмотрись: одни из них светятся слабо, но ровными крошечными огоньками, — это животные. Другие ме-

Прежде всего, что есть путь скорби? Это не самый способ проходить *своё* освобождение. Это великая самоотверженность тех людей, кто *решается* идти по земле вестником скорби, неудач и несчастья для всех тех, куда его пошлют Владыки Кармы и рука их Учителя.

Какой смысл пути скорби для людей? По верованиям христиан, Христос сошёл в ад, чтобы спасти души грешных от вековой гибели. Его сошествие в ад было прогнозом христианства, оно принесло новому человечеству закон кармы и развеяло иллюзию добродушно-морального равнодушия к текущему моменту жизни, к тому "*сейчас* ", которым живёт человек, которое можно прожить бездейственно, положившись на Провидение.

Активная энергия, принесённая людям Христом, выдернула из-под ног невежд основную опору лицемерия и подала пример действия "до конца", действия личной доброты и любви.

Принести грешным можно только *весть пробуждения*, и именно она одна и будет вестью спасения. Но принести кому-либо самое спасение, в котором человек будет только кулём, плохо поворачивающимся и жалующимся на неудобства своего положения, — эту иллюзию разбил Христос.

Его миссия — пробуждение человека к его полному духовному росту. Он живёт и по сей час, живёт, движется и творит руками и ногами человеческими. Каждый из учеников скорби — Его ближайший сотрудник, Его первоначальное орудие, через которое идёт начало формирования духовного пути целого ряда людей.

Гонец скорби — это всегда одарённый огромным количеством талантов, никогда не средних способностей человек. Это последняя стадия перед новым воплощением в образе гениально одарённого.

В пути скорби, как и в каждом пути, есть много ступеней. Одни из учеников скорби, более развитые духовно, идут в полном *знании* своих сил и несут людям скорбь, *не страдая сами* от ударов, вестниками которых приходят, и приносят оливковую ветвь мира в руках. Такие ученики, ударяя встречных, льют им мир и силы не только пробудиться и прозреть, но и выйти в новую жизнь, научившись любя побеждать.

Их младшие братья по труду идут, *не зная* сами, что идут путём скорби. Они замечают, что их приближение к людям, их любовь, их дружба разрушают благополучие людей. Путём больших страданий они научаются побеждать в себе страх нести горе людям. Их талант помогает им прорваться тем или иным способом к знанию, они встречают Учителя, и тогда для них начинается путь Света.

Сознание их раскрепощается до конца, и входит успокоение в их потрясённый организм, и ученик скорби идёт дальше уже легко свой путь. Он понял, принял и благословил все свои обстоятельства, которые считал раньше трагическими. Благодаря полному пониманию, что нет отрезка жизни — воплощения, а есть только Вечность, влитая в данное "сейчас", как в форму воплощения, ученик начинает и всех своих встречных воспринимать только как отрезки Вечности.

Стоя сам на дежурстве у Вечности, ученик скорби начинает воспринимать все печали временных форм как радость, понимая, что *внешние* пути человека, весь *смысл* его текущего дня — скорее достичь освобождения. Короче, проще и легче

Франциск поцеловал меня и добавил, чтобы я шёл домой один, а И. придёт, когда кончит дела, чтобы я о нём не беспокоился.

Я вышел с территории больницы, нагруженный драгоценными письмами. В первый раз я получил поручение от человека, так высоко превосходившего меня своим духом. Я мысленно приник к Флорентийцу, прося его помочь мне выполнить эту задачу в наибольшем самообладании, такте и любви. Я нёс мой свёрток как святыню, и мне не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. Я выбрал самые уединённые тропки и пришёл в свою комнату, никем не замеченный.

Спрятав пакет Франциска, я сел читать записную книжку брата. Мой растревоженный дух не мог сразу перейти к делам земли. Я должен был прийти к полному равновесию и самообладанию, и записная книжка брата Николая была как раз ключом к ним.

Глава 9

Третья запись брата Николая

...«В нашей последней беседе мы с тобой говорили о путях ученичества, о том, что нет путей лёгких, что совершенствование даётся человеку всегда и во всех областях творчества большим трудом. И чем выше поднимается человек в своём творчестве, чем шире становится его горизонт, чем дальше он видит путь и возможность достижения, тем яснее сознаёт и беспредельность совершенства, и малую степень достигнутого им самим.

Это присуще всем истинно даровитым. Всем творящим, а не "мастерящим", всем вдохновенным, а не вертящимся в вихре ложной экзожерации и старающимся выдать свою кустарщину духа, плоти и расчёта, пылающую пафосом, за истинное творчество огня вдохновения.

Но, среди всех трудных путей ученичества, есть три пути, в которых трудности так велики, что идти ими могут только те избранники, что стоят сами уже на грани совершенства.

Первый из этих путей — путь любви.

Второй, — путь скорби и

Третий, — путь ясновидения.

Я вижу на твоём лице великое изумление. Тебе кажется, что именно эти пути, свидетельствующие о высокой ступени духовного совершенства, должны быть легче других. Сейчас ты поймёшь, в чём особая трудность каждого из этих путей и что должен победить в себе каждый человек, чтобы идти ими.

Путь любви — в том смысле, как его представляют себе люди, — не существует. Человек, воображающий, что *он* понял, что такое любовь, понял только одно: Милосердие бесконечно, пощада не знает предела и отказа, а потому за всё, им содеянное, он получит индульгенцию не только от папы Римского, но и полное всепрощение от живых небес.

Обыватель не прекращает своих надежд на то, что его "отмолят" те святые, к которым *он* привык прибегать в своих молитвах. Но что такое молитва, *как* приготовить себя к ней, об этом он не только не думал, но даже и не предполагал этой необходимости.

Он отлично знает, как надо приготовить себя к еде, ко сну, к серьёзному разговору, но к молитве отношение одно: поспешный крест, ещё более поспешное бормотание или громкое рыдание и долгое бормотание и... выполнен необходимый для "святого" ритуал.

У обывателя представление о людях, идущих путём любви, сводится к требовательности к ним. Без всякого стеснения люди идут к ученикам, высыпают им весь короб своего мусора, вроде слёз от обиженного самолюбия, ссор, недостатка средств и так далее, и бывают очень обижены, если встречают не распростёртые

О, как я понимал сейчас эти слова брата Николая! Для меня так недавно стало красноречиво говорящим молчание природы. Так недавно я понял голос безмолвия, так недавно ощутил жизнь цветов, трав, деревьев...

Моя мысль снова перенеслась к жизни брата-офицера. Я опять подумал, как трудно, вероятно, было ему жить среди духовно и умственно убогого окружения. И какими же необычайными духовными силами должен был обладать сам мой брат, чтобы дойти самостоятельно до встречи с Али. А что это был именно Али, в этом я теперь уже не сомневался.

Многое вспоминалось мне из слов и действий брата, что только сейчас я связывал в стройную нить образов, всё яснее понимал, *кто* был брат Николай и как я подле него жил ряд лет, даже не предполагая, подле человека какой высоты я нахожусь...

Я не позволил себе улететь в воспоминания и стал читать дальше.

«Я стал вообще замечать в себе нечто новое: какое-то прозрение, — читал я. — Как будто бы все мои нервы стали восприимчивее, слух тоньше, глаза видят зорче. Это очень странно и удивляет меня самого. После бесед с моим чудесным другом очертания его фигуры остаются надолго запечатлёнными в моей памяти, и мне всё кажется, что я вижу какое-то светлое облако на том месте, где он сидел.

Я начинаю мало сознавать время моего пребывания здесь и замечаю только, что я вдруг прихожу в себя, точно с неба сваливаюсь, потому что немой слуга прикасается ко мне и даёт мне понять жестами и улыбкой, что надо есть или спать, или пройти к коням, или ещё что-либо.

Странно — более странно, чем что-либо другое, — но я стал понимать совершенно точно, что мой слуга совсем не немой. И второе — я стал читать решительно все его мысли, точно его голова связана с моей нитью движущихся образов. В первую минуту меня это поразило, и я остолбенел, смотря в лицо немого. Но заметив искорки юмора в его глазах и плутовскую улыбку, с которой он смотрел на меня, я пришёл в себя.

В эту минуту я отдаю себе отчёт ещё в одной новой, открывшейся во мне силе: я твёрдо *знаю*, когда придёт "Он", мой чудесный друг. И не только знаю, когда придёт, но когда он ещё далеко и только идёт. Но ни разу мне не удалось подметить самого момента появления моего гостя. То ли от слишком напряжённого ожидания я утомлялся и засыпал, то ли я чем-либо рассеивался. То ли меня отвлекал своим говорящим молчанием слуга, но каждый раз я вздрагивал, совершенно неожиданно встречаясь взглядом с незнакомцем.

Огонь его глаз всё так же приковывает меня, но теперь я уже не страдаю от невероятного давления его чистоты, которая так же превосходит меня, как недосягаемая чистота и любовь Бога.

И на этот раз я не уследил, когда и как он вошёл: я поднял глаза и увидел его сидящим на обычном месте, но ещё более ярким и ясным, чем накануне. Он сразу стал говорить, очевидно, также не нуждаясь в условном приветствии, как не нуждался в нём я, ибо всё моё существо не только жадно ждало его, но я с ним и не разлучался, впитывая в себя брошенные им мне мысли.

"Сегодня я хочу тебе сказать о величайшем из путей ученичества, о пути скорби.

Кроме того, каждому неофиту в его первых шагах даётся всегда такое большое количество невидимых покровителей, следящих за всеми его действиями, что ему проходить свои первые шаги сравнительно легко.

Перед тобой, мой друг, лежит ещё много рубиконов, но один из них важнее всех. Вот он: ты привык к полной независимости, к полной свободе передвижений, к поискам Истины без всяких направляющих тебя рук. Теперь, если беседы мои всколыхнули в тебе огонь творящего духа и сердца; если ты понял меня и поверил мне, иди за мной, но иди так, как буду видеть и указывать тебе я.

Я объяснял тебе, что закон беспрекословного повиновения, добровольного, не создан в ученичестве, чтобы давить волю ученика; но чтобы защищать его от чересчур рьяного его же желания служить всем и каждому и — по недостатку знания — набирать долгов и обязательств свыше меры. Этот закон ограждает ученика от разбрасывания. Он помогает ему стойко и радостно стоять у тех мест, где его поставил Учитель, и не бегать от одного места к другому только потому, что кто-то ему прокричал, что он нуждается в его помощи больше другого, и надо всё бросить и бежать оказывать помощь именно ему.

Ученик в дне своего дежурства у Учителя должен сознавать себя стоящим на страже с примкнутым штыком именно у того порохового погреба, где его поставил Учитель. Он не может перебегать с места на место. Если же получит указание Учителя переменить место, даже изменить весь метод или путь, — то здесь указаний мелочного характера ждать не должно.

Надо самому понимать, что у порохового погреба не годятся подошвы с гвоздями, а по горам не карабкаются на резиновых подошвах.

В ученичестве нужна наибольшая самостоятельность в активных действиях простого дня. И в этой самостоятельности необходимо научиться развивать все свои качества и приспособления для действий на земле, среди людей самых различных положений, характеров, развития.

Сейчас тебе ясно, что такое путь ученического освобождения. Доведи понимание до конца. Не обязанность или кабалу монастырского пострига берёт на себя ученик. Но вступает в новую, широкую и радостную полосу знаний, которые ему подаёт чья-то любовь, услышавшая призыв его чистого сердца.

В следующий раз я скажу тебе о пути скорби».

Запись брата снова обрывалась, и, очевидно, между прочтёнными мною только что и следующими строками прошло какое-то время, так как и чернила и манера письма были разными.

Я был так поглощён словами записи, так глубоко поражало меня её содержание в связи с пережитым мною самим, что я не замечал, как летело время, как Эта принимался самостоятельно утолять свой аппетит и как за окном стали спускаться сумерки. Я перевернул страницу и снова стал читать.

“Оставшись один, я не сразу пришёл в себя. Мне всё казалось, что я слышу низкий, с характерным тембром голос моего чудесного гостя.

Странно я себя чувствовал. Вокруг меня в комнате стояла тишина, даже буран за окном, казалось мне, выл как-то мелодично. Но тишина впервые в жизни показалась мне не мёртвой и молчащей, а говорящей, поющей, сияющей!”

объятия и поглаживание по голове, а спокойное отношение к их периоду сумятицы. Они ведь пришли туда, где их *должны* выслушать и утешить!

Находясь на ступени *само*-, а не *человеко*любия, они и представить себе не могут, *что* прочёл в них ученик, уже давно перешедший из ступени *само*любия в истинное *человеко*любие. Не видя сами, не сознавая в себе и потеряв чувствительность к той мути мертвящего потока эгоизма, который живёт в них и вокруг них и который они втащили в жилище ученика, люди глубоко уверены в своей правоте и уходят раздражёнными, уколотыми в своей гордости за ту якобы холодность, которую они встретили в ответ на свою “откровенность” в жалобах и стонах.

Каждый из учеников, идущих путём любви, натыкается десятки раз в своём трудовом дне именно на эти встречи. Как драгоценные перлы среди навозной кучи, находит он случаи истинного горя, где всею своею любовью спешит освободить и раскрыть человеку его собственные глаза на сокровища *его* живой Любви, им в себе носимой.

Ученик пути любви — это чистый, стоящий у грани совершенства, который победил в себе все страсти. Это тот, в ком уже нет его личных качеств и достоинств, но в ком ожили и движутся *все* аспекты его Единого. Такой ученик, поскольку в нём движутся *все* аспекты Единого, уже не только единица всей вселенной. Он — единица Вечного Движения, очищенная от самолюбия и несущая на землю радость одного *человеко*любия.

Как ты представляешь себе, друг, какой устойчивости должна быть гармония такого существа? Что за силу должен нести в себе такой ученик, чтобы выносить ежесекундные удары встречных аур и не разбиваться от дисгармонии встреч?

Силы воли такой нет. Есть только одна сила: неразрывное слияние со всей Единой Жизнью. И так как у ученика на пути любви уже побеждено всё от самолюбия и горит немигающим огнём всё от человеколюбия, то никакие удары и наскоки эгоистических аур не могут разбить его гармонии. Дух его — огонь. И не только потушить, заставить померкнуть, но даже колыхнуть его пламя не могут все усилия злых, вся муть и жалобы ищущих земных благ и благополучия, но утверждающих, что ищут Света и путей его.

Таков дух ученика Любви. Но плоть его — живущая по законам земли скорлупа — нередко бывает раздроблена, страдает тяжкими болезнями, вбирая в себя злобные и раздражённые огни встречных.

Среди всех ученических путей есть много случаев заболеваний плоти. Среди пути любви они чаще. Только немногие люди, особенно подготовленные Владыками Кармы для задач служения человечеству в течение веков, могут держать в повиновении плоть и проходят свой урок векового труда в полном здоровье. Но они и иначе воспитываемы и оберегаемы высшими способами знаний, которых тебе в эту минуту твоего развития не понять.

Итак, сейчас тебе ясно, что путь любви — это не сентиментальное коленопреклонение перед теми или иными грехами или бедами людей. Не утешение леденцами плачущих младенцев. Но великая миссия помощи *раскрывания* в каждом из встречных *его* страстных пелён, окутывающих грязными и мрачными пластами живые частицы Единого, в человеке живущего.

Путь любви был бы невыносимой пыткой и приводил бы к мгновенной смерти каждого ученика, если бы в самом ученике могла ещё жить хоть капля эгоистического “я”.

Но уста любящего раскрываются улыбкой милосердия всюду, где он мог вобрать в себя мутную волну плачущего встречного и проколоть его плотные покровы до самого сердца, чтобы *ввести* туда каплю своего Света. И никогда безнаказанно для плоти ученика не проходит переливание его духа в другое сердце. В каждую из таких встреч он вбирает в себя — в свои нервы, в свою кровь, в своё сердце — поток грязи и скорбей встречного. Их тяжкий яд и смрад остаются в его теле, облегчив встречного.

Кроме этой тяготы, путь любви имеет и ещё тяжёлую сторону. Очи духа ученика давно прочли до дна все раны человека. Давно поняли среди его мигающих и коптящих огней все его возможности, всю правду и всю ложь, всё величие и всю мелочность его существа, а многоречивый жалобщик всё ещё на все лады разливается, стараясь выказать себя, как можно чище и возвышеннее, описать красочнее свои страдания.

И здесь спасает ученика *Его* полная невозможность ощутить что-либо как раздражающее или возмущающее начало.

Ученик любви уже не может двигаться и жить по законам *одной* земли и её человеческой, узко понимаемой земной справедливости. Он — как живая единица Движущейся Жизни — живёт по мировому закону: *Целесообразности*.

В иные моменты, когда эманации людей делают чашу ежедневного труда ученика чрезмерно тяжкой и дух его страдает под ними не менее плоти, к ученику всегда спешит на помощь один из ближайших к нему Учителей, хотя бы он и не был его личным Учителем или поручителем.

Эти мгновения особо отяжелённой чаши — всегда *новая* ступень пути ученика к Свету и совершенству. Каков бы ни был путь ученика, где и как бы он ни двигался в своём служении ближним, *эти* мгновения горестного прохождения ступеней совершенства *неизменно* сопутствуют всем ученикам.

Ты недоумеваешь. Ты уже понял важнейшее духовное правило: “Знать — это значит уметь”. И рассуждаешь по земной логике, логически правильно. Раз ученик “знает”, ему легко и действовать. Это будет правильным в том случае, когда *все* страсти ученика перешли в *силу* радости. Тогда и ступени, кажущиеся самыми тяжкими, становятся всё легче и наконец не замечаются и не ощущаются учеником иначе как особенно яркие приливы радости.

Но к этому состоянию духовной мощи, как я тебе уже сказал, приходят те ученики, в ком *ожили* и *движутся* все аспекты их Единого. Тогда духовное “знать” значит “уметь”.

Путь любви несёт каждому встречному *примирённость* — это его особая черта. И именно этой особенностью наиболее ценен путь любви среди всех путей ученичества.

Не ту любовь цени среди своих встречных, где люди будут петь восторженные гимны своему Богу, Учителю, друзьям или плакать и пылать преданностью к тебе. Такие любящие мало ищут на самом деле отдать, а ревниво следят, не мало ли им воздадут наград за их верность.

Что необходимо ученикам, чтобы между ними засияла дружба? *Обоим* стоять в верности перед лицом Учителя. В верности *до конца*. Это единственное условие. Остальное не играет роли.

Но путь строптивца и здесь исключение. Строптивец может быть верней всех верных, и всё же он пройдёт свой путь земли не приобретя себе ни одного друга, и по тем или иным поводам со всеми перессорится.

Проверяя свой день дежурства, бдительно — бдительнее всего остального — разбирай свои ошибки такта. Многое можно упустить в труде дня, многое можно не довести до конца, но есть *три момента* в поведении ученика, где ошибок допускать нельзя. Эти моменты — с первого дня ученичества — должны стоять в центре внимания: *такт, обаяние манер поведения и отсутствие язвящего слова в речи*.

Для ученика первой ступени уже не может существовать духовной розни, как разъединения с кем бы то ни было. Конечно, я не говорю об учениках луча Любви, где нужно уже высокое духовное совершенство, чтобы двигаться в этом луче, атмосфера которого выше и более давяща для людей, чем атмосфера прочих лучей. Но для *каждого* ученика уже нет возможности зацепиться за чужой грех или страсть, как бы он ни был *внешне* не выдержан. Внутренне каждый принятый в ученики *непременно* член слиянного тела Единой Жизни.

Но будучи вполне доброжелательным внутри, ученик может быть лишён такта. И тогда при его продвижении вперёд со всех сторон, как цепи, сплетённые из шипов роз и акаций, встают внешние препятствия. И он может, раскрывшись во всю полноту сил Мудрости во многих отношениях, превосходя знаниями и внутренним совершенством многих и многих, всё стоять на месте в своей первой ступени.

Что бы ни делал в своём простом дне ученик — если он ежедневно не достигает успеха во внешней форме подаваемого дела, если такт его развивается плохо, вернее сказать, и не развивается и не повышается, — он мало успел в дне перед Учителем, хотя бы наделал много дел, по мнению людей.

В манере внешней подачи своего дежурства ученик никак не может идти в сравнение с обывателем. Нельзя сразу дойти до обаяния, если оно не дано как дар природы. Но можно бдительно следить за отсутствием неряшества в доме, безобразия в платье и белье, чавканья во время еды, за порядком пуговиц и тесёмок, и так далее.

Каждая встреча, где была одна внешняя лицемерная вежливость, а в душе думал: “Скорей бы ты ушёл”, была таким же выпадом из дежурства, как и встреча, где ты подал ковш добра, но раздражился или был неприятен в обращении.

Третий момент — язвящее слово, которое сорвалось с уст ученика, должно показать ему самому его неполное доброжелательство. Следовательно, надо понять, что в такой момент человек не только выпал из ученического дежурства перед Учителем, но и выпал из единения со всеми кольцами невидимых сотрудников.

Как развить в себе бдительное внимание к этим трём, наиважнейшим в самодисциплине приспособлениям?

Если ты будешь давать своему вниманию эти три задачи как таковые, то весь твой трудовой день пройдёт ещё более затруднённым, чем тебе подали его твои обстоятельства. Но если ты будешь просто стоять в своих мыслях рядом с Учителем и будешь действовать, всё время ощущая себя в Его присутствии, то никаких специальных задач твоей бдительности тебе прибавлять не придётся.

совершенно бесстрастное и беспристрастное отношение к делам и действиям другого. Здесь тоже не у ног Учителя бьются сердца, чтобы жить только в творчестве Вечного, в двух мирах, но в мире только одной земли.

Я совсем не говорю о тех бесчисленных случаях уродства, называемого дружбой, где главным звеном живёт требовательность к людям. Об этом, как и о любви, основанной на требовательности, говорить не стоит. Это ещё та низкая ступень духовного развития, где ни о каком ученичестве, ни о каком Свете на Пути и речи быть не может. Это ещё преддверие, где только начинают зарождаться высокие человеческие чувства самоотвержения и преданности, но которые выливаются в действие как эмоции и порывы и никак не переходят даже в силы, не только в Свет.

Что же такое дружба учеников? Это простая и высшая доброта, лишённая условностей и предрассудков. Если ученик принёс другу своему помощь в его трудном дне — он нёс её не ему как таковому. Не своею рукой, от своих щедрот, но нёс как гонец Учителя, ибо был *им* послан и нёс *его* дар встречному.

Если он брал на себя обязательство перед другим, он брал его не на себя, а на *весь круг невидимых помощников и защитников*, то есть он был гонцом двух миров и выполнял задачу живого неба на земле. Сам же он только таким гонцом живого неба и ощущал себя, забыв, что между ним и его другом была целая куча условных перегородок, называвшаяся социальным положением, годами, бедностью, богатством и так далее.

Дружба учеников не может состояться *по заказу*, потому что оба идут ученическим путём и “надо” развивать — от ума идущее — дружелюбие. Каждый из учеников, если он действительно стоит в своём дежурстве перед Учителем, понимает всё неисчислимое множество путей Света. Поэтому он знает, что нет никакой возможности сблизиться с теми из учеников, что идут путями строптивцев.

Это совсем особый путь, и в данной точке твоего развития ты не сможешь ухватить, почему и как люди приходят к этому пути. И я упомянул о нём только для того, чтобы ты знал и понимал, как часто ты будешь натыкаться на людей, очень высоко развитых, но с которыми сблизиться — не только сдружиться — ты не сможешь.

В начале ученичества и самому ученику, и очень многим из окружающих его, знающих о его ученичестве, кажется что он должен стать чуть ли не святым по своей доброте, выдержке и такту. Но этого легкомысленно и самому от себя требовать, и другим с ученика спрашивать каких-то экстренных перемен.

Это так же легкомысленно, как воображать, что смерть физического тела вносит какое-то ураганное изменение в дух человека и он становится или святым и идёт в рай, или грешником и идёт в ад, покончив в одно мгновение счёты с прежней жизнью. Нет ни рая, ни ада. Есть всё та же Жизнь, продолжающаяся в облегчённой форме, так же точно, как нет революционных толчков в пути ученичества. Все толчки, все взлёты и падения — это преддверие ученичества.

Каждое глубочайшее переживание вталкивает человека в ущелье, где он мечется во тьме, пока не увидит светлеющих ворот впереди. Увидя, он идёт к ним по тропе той ровности, какую создал сам своею Мудростью в период метаний и страданий.

Цени и сей любовь ту, где встречный не нарушил мира чужого дома, не раздражил и не досадил чужому сердцу. Ты перешёл сейчас из жизни стучащего и ищущего в ряды тех, кому открылось и кто нашёл единственную тропу Жизни среди миллиона иллюзий.

Но не считай, что в психике ученика что-то меняется именно в тот момент, когда он видит и находит Учителя. Я говорил тебе нашу пословицу: “Готов ученик — готов ему и Учитель”.

Давно уже я давал тебе знать о моём присутствии. Давно я прислал к тебе старика-странника, который обучил тебя языку пали. Но тебе и в голову не приходило прислушаться к его рассказам внимательнее и глубже.

Учился ты охотно, так как тебе хотелось прочесть старинные книги, случайно купленные в нищей горной хижине, предназначенные к уничтожению. Но скептицизм мешал тебе вникнуть в слова старца, в его рассказы об Индии. И ты, недооценив, не отдал должного внимания встрече...

Рассказывая тебе теперь о трудностях пути, я обращаю твоё особое внимание на черту скептицизма в человеке. Тот, кто не *может* верить, чувствовать, быть преданным своему делу *до конца*, тот не может быть вовсе учеником. Сколько бы с ранней юности человек-скептик ни искал Бога и путей Его, Учителя и встречи с ним, раз он не умеет быть верным до конца, все его поиски напрасны. Одной рукой он будет искать книги, переписывать слова Мудрости, а другой — в своей деятельности простого дня — разрушать все доски моста, что ведёт к этой Мудрости, к Учителю, к живому небу.

Мост, по которому идут к Учителю, каждый строит себе сам. Из собственного сердца он вырастает и тянется так далеко, как велика верность человека. Мост сердца каждого ученика обязательно коснётся другим концом сердца Учителя. И связывает оба конца верность ученика.

Представь себе теперь образно, может ли человек-скептик выстроить такой мост из своего сердца, если дух его постоянно разъедается сомнением?

Я прислал тебе старика. Почему же ты ему не мог поверить до конца? Ты был полон иллюзий о необычайной пышности Учителя. Ты не мог понять первоначальной истины: “Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе великий Учитель”.

Предрассудок, когда ты желал видеть Учителя в славе и почестях, в чудесах магии и внешнем великолепии, мешал тебе *увидеть* в нищем старике моего гонца. Ты пойми навсегда, что наш гонец не кричит на базаре. А нужно нам — и муравей гонцом будет.

Сейчас, в эту минуту, от твоего скептицизма не осталось и следа. В твоём сердце устойчиво горит энергия верности. Но разве это случилось именно в эту минуту? Разве месяц назад, спасая девушку от пьяной ватаги бандитов, бросившись один на пятерых на плохом скакуне, ты не прошептал: “Учитель, ко мне”? И я услышал твой зов, я послал тебе мою помощь, ветер ногам твоего коня, мощь твоей разящей руке, робость и ужас в сердца разбойников...

Перед каждым из учеников луча Любви стоит не только дракон сомнений, но ещё и дракон доброты.

Обычно, по обывательским понятиям, “добрый”, то есть ложно добрый, вообще не может пройти ворот испытаний, ведущих к пути ученичества. Истинно же, по общим понятиям, “добрый” не победит ворот, ведущих к лучу Любви. Он победит дракона скептицизма и сомнений, но перед драконом доброты остановится.

Чтобы нести по серому дню *чашу любви*, надо носить в сердце и переливать в *действия* дня не простую обывательскую доброту и даже не простую настоящую доброту, необходимую в каждом луче, но доброту *ту*, высшую, доброту-Мудрость.

Чем же разнятся эти две доброты? Что присуще каждой из них? Обе они — *действие милосердия.* Но там, где простая доброта будет искать возможности утешить и успокоить, доброта высшая прочтёт *весь* путь человека: его вчера, его сейчас, его завтра — и будет искать наиболее *активного* приспособления *пробудить* в человеке *его* энергию не только земного восприятия фактов, но и *связи* их с *двумя* планами, со всею Жизнью, с Вечностью.

Высшая доброта пути Любви — это конгломерат такта, радости, самоотвержения и энергии, *пробуждающих* силы человека. Как кипяток кипит дух доброго в чаше его Любви. И чем освобождённее его дух, чем большее число аспектов Единого движения в его организме, тем ярче — всеми цветами радуги — переливается дух *его* творящих сил в чаше, производя впечатление кипящей, огненной жидкости.

Доброту луча Любви можно было бы назвать добротой предвидения. Ибо ученик, её несущий, в одно мгновение *видит весь путь*, по которому можно направить дух встречного к миру и самообладанию, читает возможности *его* силы и мудрости и... редко гладит по головке, а чаще берёт бич и гонит из сердца встречного робость, предрассудки самолюбия, рассекает узость его духовных горизонтов.

Проникая в святая святых человека, ученик любви разрывает нитку мелочных жалоб одним твёрдым указанием человеку на рубцы от ран, которые он нанёс себе собственными предрассудками. Они легли, как горы мусора, вокруг него. Если человек *может* прозреть и понять, как сидит в кольце предрассудков, что *сам* создал, он оценивает, принимает и благословляет свои обстоятельства. И связь его с учеником пути Любви устанавливается на века. Он идёт примирённый и проходит — рано или поздно — в тот духовный план, где живут в двух мирах. Если же мелочность его подавила, раскрывшееся на миг Свету его сердце и его порыв святой радости затухают, и встреча потухла, как фитиль от коптящего масла. И до новой драгоценной*, действенной* встречи могут пройти века.

На человеке такая встреча рубца не оставит. А на ученике? Была ли встреча действенной, была ли она пустоцветом, в обоих случаях на ученике остаются следы. От встречи действенной — когда устанавливается связь и человек движется к освобождению, — в ауре ученика остаётся лишняя звезда как действенный знак слияния Любви.

Если же ученик принёс безрезультатно свою чашу Любви к устам, ногам и сердцу человека и встреча осталась мёртвой, на всю его дальнейшую жизнь легла связь этой неудачи. И на странице его книги Жизни появится вековая запись о невыполненном долге. И до тех пор пока в новой встрече, а иногда и в целом ряде встреч ученик не достигнет творческого результата и не сумеет повернуть дух встречного к Свету и миру, листы его книги Жизни всё будут оставаться склеенными его невыполненным обязательством.

Вдумайся во всё то, что я тебе сказал, и никогда не набирай долгов и обязанностей, которых на тебя никто не возлагал.

Тебе не совсем ясно, почему так строг и неумолим в ученичестве закон добровольного послушания. Если бы этот закон не был беспрекословен и не оберегал бы учеников, они закабалили бы себя на века в совершенно бессмысленные обязательства, которых, по неведению, набрали бы сверх всякой меры.

Главное, без чего нельзя нести чашу Любви, — это *мужество в сострадании*. Человеку кажется, что сострадание — это пуховая подушка под больную голову, а ученику видно, что это лезвие ножа. Боль временная спасает от верной и вековой гибели. Не слово нежности и слеза, но бесстрашие и слово, *помогающее* мужественному раскрытию духовной ошибки, указание на задачу веков, а не на крошечный кусочек земного воплощения. Задача “встречи” ученика — это *умение* найти в себе и встречном такие приспособления, которые помогли бы обоим зажечь в себе огонь мира и мудрости и слить их в один общий костёр гармонии, куда нить Учителя льётся неудержимо.

Ученик, всегда ставящий на творческом мосту сердца образ своего Учителя, должен победить в себе всё личное восприятие вошедшего к нему человека. Только крепко держа руку Учителя, видя через *Его* глаза то Вечное, что облечено в форму данного мгновения и вошло к тебе как человек, ты — мой ученик — сможешь быть *действенно полезным* своему собеседнику.

Представь себе, что к тебе вошёл старик, которого ты давно знаешь, с которым когда-то ты был близок и дружил. Но когда между ним и тобою легли годы твоего усиленного духовного роста, они прорыли между вами огромное пространство. Ты двинулся в совершенно иное колебание волн; их частота и длина открыли тебе новые звуки, новые краски и формы. Но эти достижения пришли через твой — индивидуально неповторимый и недоступный для другого — духовный путь. *Ты* не можешь ни передать его, ни объяснить твоему старому другу, который, быть может, тоже двигался по своему пути освобождения, но не мог вступить в фазу твоего раскрепощения и развития.

Унылая картина недовольства тобой твоего старого друга — почти всегдашний финал земных дружб, основанных на обоюдном непонимании *до конца* того, *что* такое дружба, во имя *чего* она заключается, *в* чём её ценность для всех людей.

Дружба, заключённая только потому, что один одинок и не имеет сил нести свой день радостно и легко без физической подпорки своим духовным силам. А другой не может удержать в сердце своих восторгов от духовных движений и должен переливать в чьи-то уши и сердца поток “своего” света. Эта дружба всегда приходит к определённому финалу, ибо уже в самом зачатке носит в себе крах.

Не Свет в путь другого нёс каждый из сдружившихся таким образом. Каждый из них видел не Единого огонь, не жаждая вливать как можно больше спокойствия в день другого, чтобы в нём росла сила Света, не мигала и горела ровным огнём. Каждый из сдружившихся искал подкрепления лично себе, а Единый болтался как брелок среди тысячи таких и иных бирюлек, служивших манками этой дружбе.

Бывает и ещё род дружбы, где преданность доходит до фанатизма. Один спешит выполнить желание другого, но всегда ждёт, чтобы другой наградил его за эту преданность. Здесь так же очи слепы, и так же ни один из друзей *не может* встать в

— Нечего тебе Лазаря петь и оправдываться, нечего взывать к моему милосердию, — прервал его снова молитвенничек, — разве есть тебе прощение за то, что ты разбил моё видение? Небеса готовы были мне открыться, и на тебе преступление, что я их не увидел. Тебя надо убрать отсюда, я сейчас же иду в Общину, там расскажу старшему всю правду. Да и он-то хорош, Ваш старший! Ничего не знает и не понимает, что у него тут делается: ему докладывают, что пришёл ясновидец, он шлёт приказ мне задержаться здесь. Ну где видано подобное непонимание?

Ясновидец хотел ещё что-то прибавить, но Франциск вышел из тени и, поклонившись незнакомцу, спросил его:

— Не ты ли брат Иероним, приславший в Общину крест со святыми мощами?

— Да, я послал крест с мощами и плат, которым обтёр гроб Господень.

— Зачем же ты, если ты ясновидец, обманываешь людей? Ты ведь знал, что в кресте сухой хлеб вместо мощей, и ты сам лучше всех знаешь, что ты никогда у гроба Господня не был, не только его не обтирал. И платок твой, и крест я тебе возвращаю, возьми их. Я прислан тебе сказать, что и на кресте, и на платке положен зарок. До тех пор пока ты не выучишься говорить только одну правду, ты не сможешь снять с себя креста, который я на тебя надеваю, и не потеряешь платка, который я кладу тебе в карман. Где бы ты ни оставлял свой платок, кому бы ты его ни дарил, он всё будет возвращаться к тебе, будет находить тебя повсюду. И только тогда, когда твои уста и сердце научатся славить Бога в тишине, в правде и в смирении, только тогда ты придёшь сюда вновь и найдёшь вход в Общину. Теперь же не только там, но и здесь тебе нет места. Иди отсюда, бедный человек, и чтобы речь твоя не смущала людей, иди молча, потеряй дар речи и обрети его тогда, когда на самом деле доберёшься до гроба Господня. Постигни истину: чем ты лживо соблазнял, то ты должен сам же и искупить. Ты страшил людей, что призовёшь на их головы наказание Божие. Сходи пешком в Иерусалим, выполни там весь обряд покаяния, через который ты заставил многих пройти, найди бесстрашие в своём трусливом сердце. Когда из него уйдёт весь страх, тогда в нём проснутся любовь и правда. Вот тогда придёшь сюда вновь. Я лишаю тебя дара речи не для того, чтобы причинить тебе унижение и боль, но чтобы спасти тебя от всех безумных слов, что в тебе клокочут. Иди же, друг. Здесь тебе сейчас не место. Ты достиг Общины только для того, чтобы понять ужас заблуждения, в каком идёшь, и найти путь к спасению. Вот этот благородный пёс доведёт тебя в целости и сохранности до ближайшего места, откуда тебя увезут на верблюде и перебросят в заселённые места. Там дадут тебе немного хлеба и денег, а дальше иди уже сам. Чем скорее сойдёт с тебя гордыня, тем легче будет твой путь. Иди, Бог с тобой.

Ясновидец переживал невероятную борьбу с самим собою. Он краснел и бледнел, а луна, как назло, светила ему прямо в лицо, и под её светом все ужасные гримасы, которые он делал в усилиях раскрыть челюсти, представляли печальное зрелище.

Наконец, видя что все его усилия напрасны, монах принялся теребить крест, рвать платок, ничего не мог с ними поделать и решился уйти. Вероятно, у него была мысль всё же добраться до Общины. Он попытался сделать несколько шагов вперёд и свернуть в сторону, но собака зарычала и преградила ему путь.

нимание величия Жизни. Ты *рос* в своей пьяной, угарной и шаткой среде, а не разлагался в ней. И всё, что был в силах, ты крепил и очищал своим живым примером.

Теперь тебе ясно, что твоё смирение внутри самого себя и твоё смиренное отношение к окружающему тебя, твоё полное благословение всем своим обстоятельствам и целомудренное искание Бога не в созерцании, но в труде дня ускорило нашу встречу, укоротило твой путь ко мне.

Разлука с братом, которого ты так любишь, не потому придёт, чтобы тебе нанести рану, но потому, что ему должен открываться путь ясновидения, которому ни ты, ни даже я, помочь не можем.

Он сам должен пройти свой огонь труда, и чем выше ему идти — тем сгущённее будет та завеса страданий, через которую он должен пройти. Его путь — путь ясновидения, третий тяжёлый путь среди путей ученических. О нём поговорим завтра».

Запись снова прерывалась, и через несколько пустых строк я снова читал:

«Ты понял меня правильно: в пути ученичества всё идёт строго логично, но логические законы духа совершенно не схожи с законами логики земли.

Земля, по мировоззрениям её обывателей, несётся в мёртвом эфире. И этот эфир оживает для них только тогда, когда сама же земля переносит *свои* вести или ловит их по тем волнам, какие могут восприниматься *физическими* способами.

Что касается ученичества, то оно относится как таковое к тем феноменам, где физический способ восприятия и передачи играет одну из самых малозначительных ролей.

Взор ученика, даже лишённый возможности *видеть* дальше обычного, обладает внутренней эластичностью. Он проникает сердечной теплотой во *всё* существо встречного и откидывает личное своё впечатление, так как в нём огонь *его* собственного стремления к Высокому сжигает сразу условную суетность.

Ученик старается не слышать и не видеть тех ноющих и ранящих его стрел, которыми его осыпает встречный. Сначала ему *трудно* держаться на высокой волне. Потом создаётся привычка подставлять из своего сердца мост помощи, на котором ему сияет образ его Учителя, и наконец он научается, протягивая руку, *всегда* протягивать её *вместе* с рукой Учителя. И тогда жизнь становится для ученика лёгкой и прекрасной.

В этой стадии у каждого ученика вскрывается какое-либо психическое дарование. Или он начинает слышать, или он видит, или в его проводнике вскрывается новый художественный талант.

Таков путь развития высших сил в человеке, перешедшем огненную стену страданий и потерявшем в них свои личные страсти. Обретая духовную мощь, он разбросал всё тряпьё своих старых и вновь обретённых страстей и вновь вышел в жизнь *деятельности и сотрудничества* с Учителем таким же *нагим*, каким пришёл в мир, родившись младенцем. Во всех путях ученичества путь освобождения *для всех* один.

Но третий из труднейших путей — путь ясновидения — не подчинён этому закону. Этот путь созревает в веках. Он неоднократно бывает выносим человеком на землю и в каждое воплощение по-разному. В зависимости от вековой кармы человек или с младенчества несёт дары слуха и зрения, или только под старость раскрывает в себе их, или неожиданно в юности поражает внезапностью своих даров.

В самых разнообразных формах льётся дар человека. И тяжесть и ответственность дара всегда разделяет с человеком его Учитель. Высокая сила духа ясновидца далеко не всегда проявляется вся в каждое воплощение человека. В зависимости от того кармического звена, которое человек несёт, в зависимости от связи с окружающими данного воплощения та или иная часть выражается яснее.

Идущему путём ясновидения неизбежно встречаются две труднейшие задачи: или ученик идёт в гуще и пламени страстей и должен в них жить ежедневно, очищая с большим трудом самого себя и путь себе, или он воспитывается специально покровительствующими ему высокими помощниками.

В первом случае ученик предназначен для труда с Учителем на одной земле, для каждого серого дня среди трудящихся людей. В самые тяжёлые дни через него устанавливаются очаги помощи тем, кто хочет и ищет освобождения и не может выбиться самостоятельно в свой час земных страданий.

Для ученика-ясновидца, не представляющего собой ничего особенного по сравнению со способностями и дарованиями всех его окружающих, наибольшая тяжесть состоит в том, что ему приходится общаться с людьми, неустойчивыми и туго воспринимающими жизнь в двух мирах.

Их постоянная требовательность к людям-ученикам, которых они считают себе слугами и *обязанными* быть внимательными к их требованиям двадцать четыре часа в сутки, нередко разбивает здоровье гонца Учителя, не имеющего физических сил выдерживать наскоки беспокойных аур окружающих. Беспрестанный трепет всей ауры ученика разрастается в столб огня только в том случае, когда Учитель защищает его своим плащом, становясь между ним и людьми как защитный буфер. В этих случаях Учитель тем или иным путём связан с учеником *всегда.*

Почему и для чего я тебе всё это говорю? Чтобы ты был уверен и спокоен о судьбе своего брата. Он пойдёт под покровительством высоких воспитателей. И твоя роль — роль брата-отца — была тобой правильно понята и выполнена. Теперь она кончена.

Когда Учитель говорит человеку, что роль его в том или ином месте кончена, что карма его в тех или иных отношениях закончена, надо понимать, что ясновидению Учителя открыты до конца пути ученика.

Что представляет собой ясновидение Учителя по сравнению с той каплей знания, что имеет в своём распоряжении ученик?

Каждый из учеников, сосредоточиваясь в моменты своего духовного созерцания, отлично понимает огромность расстояния между сознаниями обоих и недосягаемость для себя точки зрения Учителя. И тем не менее, получая весть через гонца, очень часто он непременно старается поправить те места, где ему хотелось бы видеть свой собственный образ иным.

Если надо, чтобы он узнал, что карма его с теми, кого он любит и предпочитает, кончена, и ему даётся это знание, он всё же упрямо будет настаивать на том, что карма его старая, что он связан вековыми нитями, как будто в старой карме есть нечто привлекательное и драгоценное. Все старые кармы, где поистине есть что-либо важное и драгоценное, всегда ощущаются только как сияющее счастье и не носят в себе никогда психических заболеваний.

Франциск умолк и через несколько минут нам встретился старичок, видом вроде калмыка. Он ласково нам улыбнулся и погладил нежно Эту по шейке. Обычно не любивший прикосновения чужих рук, Эта потёрся головкой о его колено.

— Что ты не спишь, Мулга? — спросил Франциск, ответив на приветствие старика.

— Не успел убрать остатки упавшего дерева, а утром поедут по дороге, будет нехорошо. Пользуюсь луной, только боязно, как бы профессор не стал браниться, что мешаю ему заниматься. Стараюсь тихо убирать, да всё же кое-где ветка да трещит.

Добродушие, спокойствие так и лились из всей фигуры старика.

— Да что же это такое? Ни днём, ни ночью мне нет покоя от вас, Мулга. Из-за вас я должен труд мой бросать, открывать окно и напускать к себе всякую ночную нечисть вроде бабочек и мошкары. Можете потише разговаривать с вашими несносными псами. Шагу ступить невозможно, чтобы не столкнуться с ними в любое время дня и ночи. И чего здесь караулить? Подумаешь сокровища! Рваные домишки!

Голос был раздражённый, и чувствовалось, что человек изливает на бедного Мулгу какие-то свои давнишние токи скопленной горечи и недовольства.

— И когда только я смогу втолковать в вашу глупую голову, что вы перебили мои мысли, от которых зависит, быть может, иное понимание жизни светил?

Голос доходил к нам из окна, окно захлопнулось, и в тишине ночи слышались только вздохи огорчённого Мулги. Истинная печаль была видна на его лице. Покачивая головой, он говорил Франциску шёпотом:

— Прости, дорогой брат, что я сделал тебя свидетелем немирной сцены. Всегда забываю, что голос мой так громок. Ах ты Боже мой! Какой я глупый, опять я помешал бедному профессору и нарушил здесь общий мир. Беда, если молитвенничек тоже молился да выйдет сюда. Да вот он уже и вышел. Ну, теперь и мне, и псу моему бедному до вечера всё будет доставаться.

Франциск улыбался, не трогаясь с места, хотя Мулга убеждал его уйти и избежать встречи с молитвенничком, который шёл прямо на нас, опираясь на высокий посох. Его белая полотняная одежда составляла резкий контраст с густыми чёрными, торчавшими шапкой во все стороны волосами, длинной чёрной же бородой и огненными чёрными глазами. Человек шёл решительными шагами, в нём явно всё негодовало.

— Мулга, прошлый раз я сказал тебе, что буду жаловаться на тебя в Общину. Теперь я не жаловаться буду, а требовать, чтобы тебя отсюда убрали вместе с твоими смердящими псами. Прошлый раз ты помешал мне дойти до экстаза, а сейчас я уже был в экстазе, как раз видение уже готово было мне открыться, я уже слышал, как сходила ко мне великая Дева, и сердце моё сладостно замирало, как ты снова выбил меня на землю своими разговорами со смердящими псами.

Голос человека, громкий и властный, был резкого, неприятного горлового тембра тенор. Он казался слишком высоким и тонким для плотной фигуры человека и так же не гармонировал с его общим обликом, как его борода с белой одеждой.

— Прости, дорогой брат, — сказал смущённый Мулга. — Я никак не предполагал, что тебя может обеспокоить в твоей святой молитве мой голос. Я был довольно далеко от твоей комнаты, и пёс мой был рядом со мною.

— Прощай, мой друг, всё, что мог тебе сказать, я сказал. Научись не отрицать и не судить, и ты легко и просто разыщешь путь ко мне. Фриско, проводи гостя домой, — обратился Франциск к собаке, не отходившей от нас. — Помни, Фриско, гость — друг. Проводи и охраняй, введи в дом и до утра никуда не выпускай. Иди, мой брат, с миром. Иди, успокойся и жди моего друга. Перестань метаться, поезжай в дальний скит. Если найдёшь силы усмирить в себе бунт, найдёшь и мир и мудрость Истины.

Одно мгновение я думал, что монах снова бросится к Франциску. Глаза его сверкали как угли, он судорожно сжимал руки, зубы его скрипели... Но мгновение прошло, он низко поклонился Франциску, касаясь рукой земли, и глухо, с трудом выговорил:

— Ин быть посему.

Он повернулся было чтобы уйти, но подошёл ко мне и добрым голосом сказал:

— Прости обиду, не со зла.

— О, я с первой минуты знал, что ты добрый, — и я, отдал ему такой же низкий поклон, какой он дал мне.

Когда я поднял голову, и человек и собака исчезли во тьме. Франциск взял меня снова под руку, я спустил Эту на землю, и мы двинулись в обратный путь в безмятежном молчании ночи, как будто ничего вокруг нас не происходило. Я думал, что мы идём домой, в темноте ночи не различая точного направления, куда мы шли. Из-за гор показался краешек огромной луны, и через некоторое время вокруг нас стало светло, как днём. Я увидел теперь, что мы идём всё дальше и ландшафт становится всё пустыннее. Мы вошли в небольшую рощу, тень от деревьев падала фантастическими пятнами на светлую дорожку.

— Теперь ты увидишь не менее несчастных людей. Это тоже наши, Божьи люди. Их долгая жизнь была посвящена Богу, постам, молитвам и толкованию священных писаний. Каждый из них стремился основать какое-либо общество, братство, отдавая всю жизнь разъяснениям, что такое Бог, каковы Его аспекты и какова задача человека в связи с деятельностью во имя Божие. Но каждый из них не видел одного: *духа Божия в самом человеке — и не умел поклониться ему до конца*. Вся задача исканий Бога состоит только в том, чтобы пронести полное уважения и доброты благословение той форме, в которой пребывает Единый в человеке. Чтобы труд твой для этой формы был тебе священной задачей дня. Чтобы Единый не формально был для тебя символом Любви, но живая временная форма сливалась бы для тебя в чудесный звук общей Гармонии, когда ты встретил человека. Если *ты* полон сияющей Радостью, ты сразу видишь в человеке чудо: он *слит* с Гармонией, он идёт в Ней, несёт в себе *Её*, хотя сам этого не видит. И каждый не видит по разным причинам. Один — потому что карма держит его цепко, и он никак не может освободиться от страха и мести, жадности и ревности, которым служил века. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий упёрся в барьер науки и не может вызволиться и вылезти в творчество интуиции, топчась по задачам узкого ума. Пятый завалил себе выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение, и так далее. Сейчас мы войдём к учёному, всю жизнь решающему космические вопросы.

Люди от ума, ищущие пути освобождения, не ищут Бога в людях, которым служат в простоте, но долг *своего* усердия прилагают к труду подле них. Потому они устают, раздражаются, убегают отдыхать и так далее. И они же, получая весть-зов, указание и задание, не имеют сил вступить сразу, героически в указанное им новое дело или положение, ждут, чтобы в них что-то само созрело, а на самом деле проверяют весть гонца. И часто труд всего воплощения пропадает, указанная задача, не подхваченная мгновенно, остаётся не выполненной, и карма, в которой надо было освободить своего старого должника, закрывается плотнее раковины улитки.

Помимо обычных трудностей всякого ученического пути, путь ясновидения имеет несколько особенностей, не свойственных другим лучам. Перед ясновидящим даже самых малых форм, то есть когда ученик является только передающим током для речи Учителя, встают три креста земных предрассудков и заблуждений:

1. Страх в самом ученике. Если этот страх не побеждён до конца, то есть если *верность* ученика не разлита по *всему* его пути до конца, он боится ввести кого-то в заблуждение.

2. Мужество ученика. Если его мужество *не слито* с мужеством Учителя до конца, оно будет и не мужеством и не милосердием, а слезливостью и сентиментальностью. И в этой слезливости ученик *не может* ни видеть, ни слышать *ясно* того, что ему говорит Учитель. Ибо мужественное милосердие луча ясновидения всегда *спокойно*, нередко сурово.

3. Зрение, передаваемое ученику Учителем, сжигает в нём возможность общения в вульгарной форме обывательщины. Ученик обречён на одиночество, потому что *не может* нести руки Учителя по вульгарному дню, а встречные обыватели судят его как гордого и мало чуткого человека.

Эти три креста начального пути ясновидца усугубляются ещё разрывом в понимании самых простых вещей с окружающими. Все те, кто приходит к ученику, живут в стадии личных чувств: “мой дом”, “моя семья”, “мои дела и успехи” и так далее. Ученик же молит об одном: “Разорви условность моих пониманий, мешающих общению моему в огне и духе. Сними с глаз моих телесных давящие покровы условностей любви и введи меня в силу духа, где *живая Любовь* сжигает всю возможность слёз и страданий”.

Разрыв между пониманиями ученика-ясновидца и его окружением лежит четвёртым крестом на его пути. Но только до того момента, пока он не достиг *полной верности*. С момента его слияния в верности с Учителем жизнь его становится лёгкой, простой, радостной.

В твоём пути нет ясновидения как основного труда твоего дня. Но оно придёт в форме чтения мыслей людей. Чем выше будут твоя чистота, честь и мир, тем яснее будет твоему взору момент духовного развития тех, с кем ты будешь общаться.

Способы передвижения людей-учеников в их духовных ступенях не зависят вообще от развивающихся в них или дремлющих сверхсознательных сил. Таких учеников, где бы выход сверхсознательным силам был закрыт, нет. Каждое духовное зерно, имеющее пламень тяготения к Свету, имеет в себе и силу пробуждения, вернее сказать, к пробуждению.

Но и здесь, как во всём пути освобождения, стоит на пути *страх*. Человек, проживший свою жизнь исканий в предрассудках, чаще всего сам захлопывает свою

дверь к знаниям. Он боится “без Учителя” достигать каких-то новых этапов в своём развитии. Он читает в йогах о том, что можно повредить своему здоровью и мозгу в тех случаях, когда движутся без точных указаний. Но он забыл, что *до* того, как он *сможет* подойти к какой-либо ступени знания, где *есть* возможность раскрытия в себе сил, надо ещё самого себя очистить, привести в порядок и гармонию хотя бы физический проводник, а там уже начинать думать о гармонии организма с духовными токами, которая поможет достичь первой ступени самодисциплины — самообладания.

Всё в ученичестве упирается в первейшие правила самовоспитания: выдержка и такт. Когда достигнута внешняя воспитанность, побеждено раздражение и на место встали все понимания бдительного контроля над собой, только тогда явилась возможность встать в поле зрения Учителя. Огонь лампы перестал мигать ежесекундно и может быть замечен.

Бдительный контроль над собой переводит все понятия “мой” в простое понимание своего смиренного места во вселенной. И чем выше восходит человек, тем всё яснее видит, как далёк путь, как трудно двигаться, как мало сделано.

Только с этого момента начинается очищение организма, подводящее человека *всегда* к Учителю.

Страхи, что можно от упражнений в йоге стать одержимым, — это глупые сказки старых баб о домовых или помогающих и мешающих им духах. Если в пути человека уже были попытки использовать свои силы для чёрной магии, для которой он тоже не имел ни выдержки, ни самообладания, то в какие-то свои воплощения он будет психически больным. И ничто не сможет спасти его от ряда страданий, ибо никто и ничто не может освободить его из закона вселенной: причин и следствий.

В пути ясновидения, более чем в каком-либо ином, надо всматриваться во все встречи. Тот, кто идёт этим путём, в какой бы период ни проснулось его ясновидение и в какой бы слабой степени он им ни обладал, всегда входит в то кольцо встреч, где его жизнь переходит в иное огненное кольцо. Цвет огненного кольца каждого человека — это результат его векового труда. Здесь всё тот же закон причин и следствий расчищает перед человеком не кустарник его заблуждений, но выкорчёвывает огромные пни от павших деревьев греха, сомнений, измен и пошлости.

Страх предрассудочно понятых “запретов”, точно так же, как и постоянное обращение к авторитетам, останавливают рост духа в человеке. И именно они-то и бывают тем тупиком, куда упираются искания человека, становясь “исканиями” в кавычках.

Больше всего мешают человеку его привычки “обдумывать” всех своих встречных, их слова, их обстоятельства, а не их *действия*. Когда человек соприкасается с *действиями* другого, он сам вызывает *в себе* действенные эмоции. Но когда он передвигает с места на место только умственные клетки другого, он сам живёт только той половиной своего организма, где царят эмоции ума.

Ум не защищает ученика ни от разложения нервной системы, ни от утомления, ни от безумной старости. Ум изнашивает клетки организма, который может жить только в гармоничном сочетании творчества с клетками сердца и духа. Тогда он *истинно живёт*.

— Что ты, Фриско? — послышался голос Франциска. — Это не злодей. Он просто ждал меня, а схватил не меня. Иди с миром, мой пёс дорогой, всё благополучно.

Пёс издал рычание, которое, будь я один, принял бы за ворчание львёнка. Из нескольких концов сада послышалось ответное встревоженное рычание.

— Что же ты наделал, брат Леоноре? Ты встревожил покой даже собак, не только людей. Неужели ты не понимаешь, что, пока ты весь в таких порывах и страстях, пока твои взлёты и ревнование о Боге могут доводить тебя до насилия над людьми или животными, ты не можешь трудиться рядом со мной.

— Отец, друг, прости меня! — завопил Леоноре, бросаясь к ногам Франциска. — Я не могу расстаться с тобой. Я нашёл тебя. Ты один можешь привести меня ко Христу. Я только через тебя могу научиться служить Богу и найти спасение. Не отправляй меня. Я буду тих и кроток подле тебя. Прости мне мои дерзкие слова. Это только ревность моя. Я действительно хотел удавить павлина этого мальчишки, с которым ты ходишь и даёшь ему счастье быть подле тебя. Не отвергай меня.

Леоноре всё рыдал, обнимая ноги Франциска.

Снова послышалось рычание, и на этот раз рычание многих псов. Я разглядел целое кольцо собак, подходивших к нам ближе. Псы, очевидно, думали, что обожаемому ими Франциску грозит опасность, так я понял их манёвр.

— Встань, мой бедный друг. Я ничего не могу сделать сейчас для тебя кроме того, что делаю. Можно принести кому-то весть пробуждения и спасения. Но само спасение живёт в человеке, и только он один может достичь его своим собственным путём, победив в себе не только страсти тела, но и духовные порывы. В тебе чередуются ужас и восторг, подвиг и протест, своеволие и кротость. Но мира в тебе не бывает никогда. Ты всё время думаешь о величии задач жизни, что ты *сам* себе поставил. А твой старец сказал тебе, что, пока ты не войдёшь в простую жизнь обычного дня, пока не выбросишь из головы своих “исканий”, не станешь простым, любящим человеком, трудящимся для людей, ты ничего не достигнешь. Только через труд серого дня ты сможешь понять величие и ужас путей человеческих. Ты обошёл чуть ли не все страны мира и всё сравнивал, как и где люди в Бога веруют. Ты пришёл наконец к русскому старцу, признал его веру и святую жизнь и снова ушёл. Теперь ты к нам пришёл. И здесь всё так же критикуешь, отрицаешь, выбираешь. И не занимаешься ни одним из предложенных тебе трудов, а видишь, что все здесь трудятся и никто не живёт в праздности.

— Отец мой, это только потому, что я тебя так редко вижу. Я буду в самом святом послушании у тебя, только не отправляй меня, позволь за тобой следовать.

— Говорю тебе, друг, и десяти шагов за мной не сделаешь, как станешь задыхаться в моей атмосфере. *Тебе* — один путь, если хочешь прийти ко мне со временем: поезжай с моим великим братом, что за тобой пришлёт.

— Ах, отец, отец, зачем ты говоришь такие неподобные слова? Тебе ли говорить неправду? Сияешь, как ангел, и несёшь нелепицу. Ну где же мне задохнуться там, где может идти с тобой этот младенец? Он, видишь, без куклы-то и ходить за тобой не может, а ты говоришь обо мне, как о слабом младенце. Если бы он сильней меня был, нешто он за свою птицу держался бы, как девчонка за игрушку? Прогони его, возьми меня, и ты увидишь, как я буду служить тебе.

или иной предрассудок, или пока он *нужен*, чтобы *своим* трудом поддержать других, кто идёт свой духовный путь без материальной возможности содержать себя. У меня нет возможности обсуждать с вами ваше положение. Все ваши жалобы и протесты только отяжеляют вашу же жизнь. Вы добрались сюда, значит, вам было оказано милосердие и внимание от нас. Но здесь вы продолжали ту жизнь, какую создали себе среди обывателей, где жили раньше. В Общине же жить обывательски нельзя. Вам даётся Милосердными ещё одна возможность. Спешите воспользоваться ею. Перестаньте думать о себе, о нуждах своего угасающего тела. Не судите людей. Не требуйте ничего и ни от кого, но старайтесь научиться смирению и радости, жить своё "сейчас", не на словах благословляя людей, а на деле их любя. Путь к Учителю идёт только через любовь к людям. Запомните это. Поезжайте просто и весело, благодаря и благословляя заботы Али о вас. Он знает *весь* ваш путь, а не тот кусок, что знаете вы сами.

Франциск встал и не дал старушке сказать ему ни слова в ответ, хотя та, бледнея и краснея, сбрасывая с себя и вновь надевая платок, много раз пыталась его перебить.

Тяжело было у меня на сердце. Я уже много раз видел, как люди были слепы в своих встречах, как они не имели сил *увидеть, кто* перед ними, как и сам я не видел не только брата Николая, но даже И., Флорентийца и Али, поняв их величие так недавно.

Но две встречи этого вечера, встречи-отрицания, здесь, в Общине, поразили меня.

— Возьми, Лёвушка, Эту на руки. Он ещё птенец и может чего-нибудь испугаться в темноте.

Голос Франциска звучал обычно, точно ничего не случилось, был полон любви и ласки. И как же меня поразило его самообладание, его непоколебимая Любовь, тогда как я был разбит, взволнован, растерян.

— О каком самообладании во мне ты думаешь, Лёвушка? Разве Любовь умаляется в человеке оттого, что она пролилась и кто-то её не подобрал? То место, где *ты* пролил Любовь, всегда будет местом мира, хотя бы другой человек при тебе не утешился и остался в нём беспокойным. *Твоя* Любовь — если она была действенна, если Жизнь в тебе неслась вихрем радости к сердцу несчастного, что тебя не понимал, — всегда *создаст* вокруг него освежающую струю. И, оставшись один, он успокоится, приведёт себя в порядок и скажет другим: "Я нашёл решение своим вопросам". Поэтому, если встретишь в жизни положение подобное тому, какое было сейчас, неси только Свет и Мир, неси *всю* любовь сердца, стой перед Вечностью на дежурстве и не думай о последствиях встречи.

Не успел Франциск произнести последнего слова, как из-за куста выскочила какая-то тень и чья-то рука схватила крепкими тисками мою. В тот же миг огромный и свирепый пёс, встретивший нас наверху в коридоре, поднявшись на задние лапы и упёршись ими в грудь схватившего мою руку человека, зажал зубами обе наши руки. Пёс не причинял боли, но держал так цепко в пасти наши руки, что шевельнуть ими было невозможно. Глаза животного совершенно спокойно смотрели в лицо человека, в грудь которого он упирался лапами. Я разглядел тёмную фигуру и узнал в ней монаха.

Раскрытие, тайна ясновидения — это Любовь, Дух, Мудрость, влитые в организм через Кундалини. Они вливаются по-разному, разными путями и в зависимости от последних раскрывают зрение или слух, или новые таланты. Но *путь* раскрывания *всегда* один: материя невидимого Духа достигает осязаемости через мозг.

Путь — прост, действия — легки. Но *целомудрие мысли*, как результат Света в себе, приходит к тем, кто не радости для себя искал, но верности Учителю...»

Запись кончилась. Мне не хотелось переворачивать следующей страницы. Всё, что я прочёл, было так необычайно глубоко и свято для меня. Я поглядел на спавшего подле меня Эту, и мысли мои вернулись к прошедшим векам. Теперь мне казалось, что я в первый раз понял, что это такое: действовать. Меня поразило, как я мало активен, как много моих мгновений уходит в пустоте, как много моих часов летит без смысла.

Эта встрепенулся и стал прислушиваться к чему-то. Я также стал вслушиваться в царившую вокруг меня тишину, но ничего не слышал, кроме лёгкого шелеста пальмы. Вдруг Эта соскочил и побежал к балкону, оглядываясь на меня и точно призывая к себе. Я встал и увидел Франциска, подходившего к моему балкону.

Он улыбался мне и сделал знак рукою, чтобы я сошёл к нему. Я был счастлив, увидев это чудесное светившееся лицо. Я забыл всё печальное на земле, мне показалось, что само небо улыбается мне и зовёт меня к миру.

Глава 10

Ночное посещение новых мест Общины с Франциском. Новые люди и мои новые встречи-уроки

Когда я сошёл вниз, Франциск взял меня под руку и сказал:

— Пойдём, Лёвушка, я хочу показать тебе одну часть Общины, которой ты ещё не видал.

Я предположил, что Франциск не знает, что я уже однажды провёл ночь в парке и видел ночную жизнь Общины в дальних долинах и домиках, где подавали помощь странствующим страдальцам братья и сёстры Общины. Но Франциск повернул в совершенно другую сторону, уводя меня по дороге к озеру.

— Уже наступает вечер, Лёвушка, ты пропустил ужин. Вот тебе немного фруктов и хлеба. Я захватил их для тебя. Путь наш не чрезмерно далёк, но вернёмся мы только к утру, и другого времени поесть у тебя не будет. Ты можешь удивиться, почему я взял тебе так мало и такой скромной еды. Но, видишь ли, в пути надо стараться есть мало. Вообще, если человек действительно ищет высокого ученичества, он должен приучить свой организм питаться так, чтобы не чувствовать постоянной и несносной потребности в пище. Нельзя думать, что, не умея покорить определённой дисциплине свой аппетит, можно достичь духовного совершенства или психического самообладания. Тот, кто не умеет уложить свой день так, чтобы питание — совершенно необходимое каждому телу, живущему на земле, — составляло строгий порядок обычного трудового дня, не может и в психике своей достичь стройной и строгой системы, ведущей к самообладанию. Человек, поддающийся соблазну постоянного ощущения голода, ищущий каждую минуту, чем бы занять свой рот и желудок, ничем не отличается от обжоры, жиреющего на изысканных яствах. В ученичестве нет особых строгостей в пище, как это ставят себе условием монахи. И воздержание в ученичестве не может составлять одного из ограничений для человека, стремящегося войти в тот высокий путь, где можно встретить Учителя. Путь к Учителю до тех пор не может быть найден, пока в понятиях человека живут представления: ограничить себя из принципа, отказать себе из принципа. До тех пор пока у человека живёт мысль об отказе в чём-то себе, он не выше тех, кто ищет наживы для себя. Мысли его вертятся вокруг себя, точно так же, как и мысли ищущих наживы. И человек не движется в Вечное, а только к расширению и усовершенствованию собственной личности. Подвигами как таковыми не движутся вперёд наши ученики, братья и сёстры. В пути освобождения идут вперёд только любовью. И тот, кто любит, не видит подвига в своём ограничении в пище в пользу своего ближнего. Он любит и радуется, поддерживая временную форму брата, как радуется, служа его Вечному. Перед тобой сегодня откроются двери дома, где живут люди, всю жизнь искавшие Истину. Ты увидишь людей, страстно стремящихся сюда, как миллионы людей, стремятся поклониться гробу Господню. Будь бдителен. Не внеси в этот дом судящего глаза, судящего сердца. Несомненно, ты и здесь увидишь тех,

тину, но ищущей себя, *своих* сил личности и стремящейся учить каждого встречного *своей* мудрости. Гордость и ревность так и били из всех открывшихся в эту минуту пор её духа, заключённого в бедное, слабенькое тело и неряшливую одежду.

— Мне очень жаль, сестра Карлотта, что так мало толка, как вы выражаетесь, вышло из всех трёх моих бесед с вами. — Я не узнал всегдашнего голоса моего дорогого друга, который часто слышал. В нём звучали металлические ноты, которые я так хорошо знал в голосе Ананды в иные моменты. — Каждый раз, когда я приходил к вам, я приходил послом Али. Не лично свои слова я вам говорил, но передавал вам весть Учителя. Вы же заботы его любви о вас называете моими требованиями. Требования, сестра, могут быть у судьи, у чиновника, у доброго знакомого. Учитель не кум, не благодетель — Он сам гонец Тех, Кто идёт Выше Его пути и Чьей верности Он следует. У него не может быть требовательности к людям. Он видит каждого человека и знает, что в данный момент его эволюции мирового развития человек может и способен пройти к высшей ступени знания только так, как Он, Учитель, видит. Я вам все три раза передавал от Него, чтобы вы изменили не только внешний образ жизни, но и весь внутренний ваш образ мыслей. Кто сказал вам, что вам дано право судить человеческую личность? Вы каждый раз пытаетесь дать мне понять, что моя личность, по вашему мнению, не достигла той ступени совершенства, до которой дошёл мой дух. И что слова Учителя, которые я несу людям, заставляют их делать усилия, чтобы побороть в себе судящее сознание, чтобы стараться не видеть моей личности, проходить мимо неё, как мимо огромного препятствия, *за* которым лежит слово Истины Учителя. С первой же встречи, по просьбе Али, я старался раскрыть вам основу *всякого* совершенствования, первоначальную ступень пути освобождения. Каждый, стремящийся к Учителю, имеет одну молитву: “Да раскроются очи духа моего к Свету и Миру, что в человеке живут. Да прольётся Любовь моя к ранам его, и милосердие Твоё да залечит их. Да будет день мой Красотою, песнью действенной Любви, Мира и Радости”. Что из этого вы ввели в действие дня? Разве девушка, пытавшаяся помочь вам, была вами принята как Единый, как встретившийся вам нищенствующий Бог, куда вы принесли частицу вашего радостного труда? Вы спрашиваете, когда приедет Али? И вы почти в претензии на меня за то, что я вам не устроил скорейшего свидания с ним! Если бы я не имел приказания Али не входить в объяснения с вами, я, быть может, и стремился бы объяснить вам ваши заблуждения. Но я иду так, как видит ваш путь Али, и передаю вам его приказ. Через день-два поедет партия людей в Дальние Общины. Вы уедете с ними. Чтобы войти в Общину здесь, сейчас, у вас нет духовных сил. Свидание с Учителем может причинить вам только смерть, вынести Его высоких и сильнейших вибраций вы не будете в силах. Вам указывался путь, в котором вы могли закалиться и подойти к свиданию, но вы его не приняли. Дважды зов не повторяется. Вы поедете в дальнюю Общину, там вы найдёте то окружение, в котором сможете раскрепостить свой дух и найти выход из кольца пелён личности, что плотно охватывают вас сейчас. Вы думаете, что вы стары и слабы, что вам не вынести тяжёлого пути, что в новом месте вас ждёт смерть. Оставьте и этот предрассудок. Это предрассудок вашей неверности или, лучше сказать, вашей верности не до конца, что — перед Учителем — равно неверности. Человек живёт до тех пор, пока *может* повышать своё духовное развитие, хотя бы этого никто не видел. Или пока есть надежда, что с него свалится тот

Мы сделали ещё несколько шагов, и Франциск стал подниматься по лестнице, которой я сначала и не заметил. Наверху оказался такой же широкий коридор, как и внизу, и единственным живым существом, встретившим нас здесь, был большой лохматый пёс весьма свирепого вида и породы, каких я ещё никогда не видал. Он, как тигр, вскочил навстречу нам, но, узнав Франциска, оскалил зубы, точно улыбаясь. На меня он смотрел враждебно до тех пор, пока Франциск не положил моей руки ему на голову и не погладил его лохматых ушей, улыбаясь и ласково ему говоря:

— Экой ты, братец, строптивец! Ведь уж я тебе сколько раз говорил, что надо всем улыбаться, кто со мной приходит. А ты снова только одному мне бережёшь свои улыбки.

Пёс, точно понимая упрёк Франциска, лизнул мне руку. Погладив ещё раз животное, Франциск постучал в одну из дверей, и слабый старческий голос просил войти.

Я был поражён, когда мы вошли в комнату. За это время я уже привык видеть во всех комнатах Общины образцовый порядок и не встречал случаев, чтобы люди лежали в постели, если они не спали и не были больны.

В этой же комнате царил полный беспорядок, и на постели лежала старенькая женщина, вся в глубоких морщинах, совершенно одетая и обутая. Несмотря на очень жаркий вечер, старушка была одета в нечто вроде ватной безрукавки, возле неё лежал тёплый платок, рядом на стуле стояла чернильница. Старушка держала в руках кусок тонкой пальмовой доски с листом белой бумаги на нём и что-то писала. Она не сразу рассмотрела Франциска, и что-то вроде недовольства мелькнуло на её лице, когда она его узнала.

— Ах, это вы, брат Франциск. Как видите, у меня совершенно нет сил выполнить те требования, что вы мне поставили в прошлое наше свидание. Я лёжа работаю, и не имею ни времени, ни возможности убирать себе комнату. А девушка, которую вы мне прислали, делает всё не так. У неё свои понимания об аккуратности, и ничего из этого не выходит. Вы и представить себе не можете, до чего она ленива. При вас и с вами она одна, а без вас, со мной, ведёт себя совершенно иначе. Я от её услуг отказалась. И вообще должна вас просить: если вы желаете мне помогать, то уж, пожалуйста, давайте вашу помощь лично мне самой, а не другим людям для помощи мне. Помощь через третьи руки — это не помощь, а недоразумение и может довести человека до отчаяния. Это создаёт только целый ряд неприятностей, которых у меня и без того много. Ну, впрочем, всё это уж я повернула по-своему, и об этом не стоит и говорить. Скажите лучше, являетесь ли вы сейчас ко мне вестником от Али? Когда же он приедет? Когда я его увижу и спрошу обо всех моих вопросах, не терпящих отлагательства?

В голосе и лице старушки было какое-то не то негодование, не то пренебрежение, не то из неё вырывалась накопившаяся в сердце горечь. Она делала вид, что перед нею сидит человек, в чём-то перед нею виноватый, чем-то ей обязанный и что-то неправильно для неё делающий. Она как бы хотела показать Франциску, что он нелепо заботится о ней. Всё поразило меня в ней больше, чем в монахе. Если тот показался мне искателем, искателем-строптивцем, всё понимающим на свой лад, но всё же ищущим Истину, то здесь душа человеческая показалось мне не ищущей Истины искания были “исканиями” в кавычках. Ты увидишь, что они объединены под иными крышами и не могли быть допущены в Общину не потому, что кто-то их выбирал или из них отбирал, чтобы их объединить в том месте, куда мы идём. Их всех объединила общая им всем сила: сомнение. Они не имели сил духа развить в себе верность до конца. В каждой поданной им вести им хотелось одно принять, другое отбросить, что-то поправить на свой лад, третьему придать своё толкование. Ни одного человека, который им подал весть от нас, они не сумели принять в своё сердце просто, легко и радостно. Каждый казался им легкомысленным, неустойчивым, вспыльчивым, не так их понимающим. Сами же они не замечали, как терзали своим непониманием тех, кто шёл гонцом от нас. Не входи же, друг, сейчас к ним, закрыв хоть один лепесток сердца. Раскрой его, как ворота, чтобы сила радости в тебе могла разбить их предрассудочное самолюбование. Это последнее слово не пойми как влюблённость в самих себя. Нет, оно употреблено мною только как их основной признак: субъективность. Субъективно видящий вселенную не может войти в Общину, так как ему в ней нечего делать, нечем дышать. Для такого человека Община подобна воздуху высокой горы, где он сейчас же заболеет горной болезнью.

Мы медленно проходили мимо селения за озером и вошли в пальмовый лес, которого я ещё не видел и даже не предполагал, что он существует. Спустилась жаркая ночь. Тёмное небо с низкими яркими звёздами, какие-то особые ароматы неизвестных мне цветов и трав и дивные звуки ночи, чудесный, ласковый голос Франциска... Я шёл, жил, дышал, и всё — от бежавшего рядом Эты до голоса и руки моего друга — казалось мне нереальным, так оно было сказочно прекрасно.

Некоторые слова Франциска, совпадавшие со словами, только что прочтёнными в записи брата, поражали меня. Я не мог ответить самому себе, *что* именно волновало меня особенно, но я шёл с сознанием, что сейчас увижу людей, потерявших напрасно целую жизнь, а думавших, что несут в руках светоч.

— Мы подходим, Лёвушка. Нет, ты не думай так трагически о людях, не имевших сил войти в Общину. Ты думай только, что высокий путь *не может* быть познан теми, кто не трудился на земле. Труд человека, проведшего большую часть жизни в постели, не знавшего в своём труде дисциплины, и не достигшего самодисциплины, не умевшего жить в чистоте, не может привести его мысль в то русло, где научаются раскрывать в себе психические силы. Раскрывать хотя бы настолько, чтобы своею волей-любовью дать им выход и возможность *уловить* вибрации высоких путей. Думай об их несчастье и об их желании достичь нас. Об их собственной дисгармонии, которой они не имели сил в себе заметить за всю свою жизнь, а именно она-то и составляла их препятствие в пути к нам. Люби, жалей их, Лёвушка, неси им мужество, чтобы помочь их разочарованию, их скорби о собственном невежестве, когда они его поймут.

Мы подошли к домикам, разбросанным в очаровательном садике. Кое-где в окнах ещё мелькали огни, но людей не было видно. Два огромных дога, которых Эта ничуть не испугался, бросились к Франциску, приветствуя его как старого друга. Ответив им на их ласку, Франциск положил мои руки на высокие шеи собак. Животные вздрогнули, как будто я их ударил, но сейчас же склонили головы и лизнули мне руки.

— Ну вот, ты уже принят в число друзей этими чудесными сторожами. Теперь ты можешь свободно входить сюда и во все окрестные дома. Они уже сами оповестят о тебе всех собак здесь и дальше. Как они это делают — это их тайна. Но однажды подружившийся с ними получает дружбу всех наших собак, среди которых немало свирепых.

Франциск подвёл меня к подъезду, вернее, к крылечку одного из дальних домиков. Как только мы вошли в сени, ведшие в широкий коридор, несколько дверей сразу открылось, и выглянули лица старых людей. Довольно грубый голос с самого конца коридора неприветливо спросил:

— Кто это так поздно беспокоит нас? Разве мало было времени днём, чтобы нас навещать?

Остальные фигуры хранили молчание, но я почувствовал совершенно иную атмосферу в этом доме, чем во всех других домах Общины, где мне случалось до сих пор бывать. Конечно, это не была враждебность к нам, но какая-то новая для меня настороженность, какой я нигде в Общине не встречал.

— Не беспокойся, милый брат, мы пришли не к тебе и ни к одному из тех, кто сейчас выскочил из своих дверей. Ты в претензии на нас, что мы нарушили твой покой после того, как лично тебе было предписано твоим старцем молчание. Но для чего же ты его нарушил? Разве старец твой дал тебе в урок послушания караулить всех входящих в этот дом?

Франциск направлялся в конец коридора, откуда слышался голос, и теперь я мог рассмотреть говорившего. Это был высокого роста монах в обычной монашеской одежде. Лицо бледное, с чёткими, довольно правильными чертами, с большими беспокойными чёрными глазами, с сильной, почти квадратной челюстью и подбородком, с тонкими сжатыми губами. В нём не было ничего особенного и неприятного, по всей вероятности, он был человеком добрым. Но раздражённостью и строптивостью он поразил меня среди мирных и светлых лиц, к которым я привык в Общине. Он сурово смотрел на нас.

“Искатель Истины”, — мелькнуло в моём уме в связи с прочтённым мною в записи брата и со словами Франциска. Когда мы подошли вплотную к монаху и Франциск остановился подле него, улыбаясь ему, в том произошла молниеносная перемена.

— Ах, это ты, брат-спаситель, что мне обещал мой старец, — голос монаха прозвучал много мягче, и я ещё раз почувствовал, что он человек добрый. — Я так ждал тебя, я прошёл тысячу с лишним вёрст пешком только за тем, чтобы тебя увидеть. А меня заперли в этот дом, где я кроме одержимых глупцов никого не вижу. Подумай, как долго я тебя ждал, как мучился и уже отчаивался, что не смогу тебя найти. Хотел было уходить обратно. Подумай, целый месяц я уже здесь сижу взаперти, и только урывками, мельком, видал тебя несколько раз, и никогда ещё не сказал с тобой ни словечка. — На этот раз в голосе слышались упрёк и протест.

— Что ты, друг? Разве у нас кого-нибудь запирают? Дома открыты день и ночь, кругом идёт неумолчная жизнь. И на все свои нужды каждый человек получает ответ. По одежде твоей я вижу, что ты ещё не успел и пыли стряхнуть. Ноги твои в песке, значит, ты выходил, был в горах, вернулся только что и, даже не совершив омовения, вошёл в комнату. Разве старец твой не дал тебе трёх зароков?

— Да разве старец мой писал тебе о них? Как можешь ты знать что-либо о моих зароках? Да и старец мой малограмотный и писать тебе он ничего не мог, — и монах впадал, говоря, всё в большее раздражение.

— Старец твой сказал тебе, мой друг: “Пока не утвердишься в трёх вещах, не встретишь Тех, что служат Истине.

Первое — вставай с солнцем, улыбнись дню и начинай трудиться для первого встречного, что нуждается в твоей помощи. Всё равно, в чём бы ни состояла твоя помощь, лишь бы *первое* дело твоего дня было трудом для ближнего.

Второе, что он тебе сказал, — каждую улыбку не подавай, как редкостное милосердие, но с неё начинай свой каждый день и каждый привет встречному.

Третье — раньше чем пройти в келью, раньше чем притронуться к пище, соверши омовение”.

Вот заветы твоего старца. Что же из этих заветов ты, друг, выполнил сейчас? Отдал ли ты улыбку привета нам? А сам говоришь, что ты меня ждал. Ужинал ли ты умывшись? Вошёл ли ты в келью чистым?

Монах молчал, остро вглядываясь во Франциска, и беспокойство на его лице росло.

— Я тебя очень прошу, брат, сказать, пришёл ли ты за мной или нет. Что я сделал и делаю, про то я сам знаю. Помощи я твоей не прошу, сил я сам в себе для всего найду. Я спрашиваю: идти ли мне за тобой сейчас?

Мне было ясно, что в сердце монаха боролись два чувства: гордость и заносчивость, что ясно звучало в его голосе. Гордость увлекала его в протест, а благоговение перед любовью Франциска, которая лилась на монаха ручьём, заставляло его сердце преклоняться.

— Я уже сказал тебе, друг, что я пришёл не к тебе. Твоё любопытство к чужой жизни, к чужому пути заставило тебя выйти и посмотреть на нас. Пойми, человек не меняется только потому, что переменил место. Ты всю жизнь ищешь Бога, ищешь святого пути, ищешь глубины правды, а не можешь ни одного дня прожить в мире, хотя переменил тысячу мест. Ты ждал меня, говоришь? Но что же ты приготовил, чтобы меня встретить? Где тот цветок радости и мира, что подают другу в привет и встречу? Ты не сможешь и десяти шагов пройти за мной, потому что душа твоя в бунте, и ты задохнёшься, следуя за мной. Здесь тебе не место. Сколько бы ты тут ни жил, ты не сможешь подойти ко мне. Вскоре придёт за тобой мой старший брат. Он увезёт тебя отсюда в дальний скит. Там ты научишься, как ввести в труд дня три завета, данные тебе в послушание старцем, и только тогда сможешь вернуться сюда. Вернёшься, когда поймёшь, что вся ценность жизни на земле в её встречах, в умении отдать каждой из них не яд собственного “я”, но силу бодрости, забыв о себе и думая о тех, кого ты встретил. Научишься начинать встречу в радости и в радости её окончить. Успокойся. Не мечи молний из глаз и сердца, пойми кроткую силу Любви. Она одна может привести тебя ко мне, если ты искал всю жизнь пути Любви. Не считай силой напор воли. Считай силой одну радость.

Монах стоял бледный, потрясённый. Мне казалось, что в любую минуту он может перейти к бешеному протесту, вызванному глубочайшим разочарованием, постигшим его в его исканиях и ожиданиях здесь.

Трогательный шёпот учёного, его умилённое лицо и несознаваемая зависть к счастливцам, утопавшим в море книг и света, осветили мне ещё ярче эту жизнь труженика, отдавшего всё, каждое своё дыхание своему Богу — науке.

Мне удалось выполнить все приказания И. Шкаф открылся благополучно, несмотря на мою неловкость, я ничего не разбил и не превратился в “Лёвушку — лови ворон”, когда открылась дверца пятой полочки. В прежнее время я непременно забыл бы обо всём, увидав сокровища, впереди которых стояли аптечки и гранёный пузырёк, в котором играла красная жидкость. Теперь я выполнил точно приказание и через несколько минут стоял перед И., подавая ему ключ и принесённые вещи. И. поставил их на стол, велел мне и Никито приподнять профессора и поднёс к его ноздрям пузырёк. Тело его вздрогнуло и снова омертвело.

Мы подняли старика ещё выше, и И. снова поднёс к его ноздрям пузырёк. Тело профессора вторично вздрогнуло сильней, он стал дышать. И. приготовил смесь какого-то порошка, положил его на кусочек мрамора, поджёг и держал у носа больного. Дыхание его стало чаще и ровнее, челюсти разжались, и веки задрожали. И. влил ему в рот лекарство, которое оказало магическое действие. Профессор закашлялся, открыл глаза, издал какой-то звук.

— Полежите спокойно, профессор. Я предупреждал вас, что наше солнце может подействовать на вас плохо. Так оно и вышло. Если бы вы пришли сюда вечером, вы избегли бы того, что с вами сейчас случилось, — сказал И.

— Это не солнце, — ответил профессор, но таким слабым и больным голосом, что я понял серьёзность его положения и снова подумал, что он умирает. Помолчав, тем же слабым голосом он продолжал: — Это те две женщины и мужчина, которых я видел в пылающем доме, когда шёл с Франциском. Я был так поражён, увидев мысли женщины живыми, ходящими по земле, что почувствовал точно два удара: один в затылок, другой внизу спины. Это они свалили меня, а солнце здесь совершенно ни при чём.

Он еле договорил, закрыл глаза и снова стал дышать тяжело, заметно бледнея. И. взял каплю красной жидкости из пузырька на тончайшую стеклянную палочку и впустил её в рот учёного в один из моментов, когда тот ловил воздух. Мгновенная судорога прошла по всему его телу, и он впал в такой глубочайший сон, что я даже не слышал его дыхания.

— К сожалению, профессор немолод, организм его переутомлён, и проспит он не менее трёх дней. Изнеможение всей его жизни сказалось сейчас. Я не могу его оставить, пока он не очнётся. Очнётся же он здоровым и крепким и даже помолодеет лет на двадцать, к своему удовольствию, — усмехнувшись, прибавил И. — Но оставить его сейчас я не могу. Когда он отоспится, я налажу его работу, и только тогда мы уедем. Ты, Никито, всё время проведёшь здесь. Я велю отнести твои книги в жилище, приготовленное недалеко отсюда для профессора. И ты убьёшь двух зайцев: и труду твоему никто не будет мешать, и за больным ты присмотришь. Лалия и Нина будут носить тебе еду и менять книги. Быть может, тебе трудно проходить снова урок молчания и уединения, хотя он и будет коротким?

Никито радостно улыбнулся и ответил, что будет рад отдать старый долг учёному и что встреча с ним раскрепощает его от последнего старого долга миру.

— Иди, друг, всё время за собакой, она приведёт тебя кратчайшим путём, куда я тебе сказал. Если ты попытаешься её не послушаться, лично она вреда тебе не сделает, но и не сможет защитить тебя от диких зверей, которых ты не избегнешь, если не послушаешься своего вожака.

Человек, пока говорил Франциск, повернулся к нему и при-стально смотрел ему в глаза, как бы желая удостовериться в истинности и серьёзности его слов. При последней фразе Франциска трусливая волна пробежала по всему его телу, он вздрогнул, как-то согнулся и пошёл за собакой.

— Что же я наделал, что я наделал, — прошептал вконец расстроенный Мулга.

— Ты ничего ему не сделал, Мулга, как и тому профессору. Пойди и собери узелок с едой, одеждой и книгами. Ты уйдёшь отсюда с нами, и я покажу тебе, где ты будешь жить и что делать. Жди нас на этом же месте, через час мы будем снова здесь.

Мулга поклонился и пошёл к одному из домиков, а Франциск приказал мне:

— Возьми Эту на руки, Лёвушка. Я тебе ещё раз напоминаю, чтобы ты держал сердце широко открытым. Следи, чтобы ни один его лепесток не закрылся. Молча лей Любовь и не приходи в отчаяние, если человек не подбирает твоей любви, остаётся беспокойным и непросветлённым. Не думай о последствиях, но всегда *действуй сейчас.* Действовать далеко не значит всегда и молниеносно побеждать. Это значит только всегда вносить пробуждение в дух человека, хотя бы вовне это имело вид, что ты не принёс человеку мгновенного успокоения.

Франциск пошёл к дому бранившегося недавно профессора, вошёл в сени и постучал в дверь.

— Ну, это действительно становится невыносимым, — сказал голос за дверью, и поспешные мелкие шаги направились к нам. Дверь открылась, на её пороге стоял высокий, худой, аскетического вида старик. — Извольте, ночные гости, да ещё в придачу с птицами! Я терпеть не могу птиц, оставьте вашу ношу в коридоре, если желаете войти сюда.

— Я прошу равноправия для обоих моих спутников, — сказал Франциск. — Когда вы, профессор, въезжали сюда с огромным количеством багажа, вас ведь никто ни в чём не ограничивал. Напротив, вам предоставили целый домик в пользование и ставили только одно условие: милосердие к людям, цветам, птицам и животным. Теперь я к нему взываю.

— Странные у вас здесь нравы. Я приехал сюда поделиться знаниями с вашими учёными, знаниями, которые могут мир обогатить. И вместо того чтобы спешить ко мне, меня держат в совершенно не подходящем мне обществе, и первыми являетесь вы со своим призывом к милосердию. Какой толк из всех тех жертв, что я принял на себя, добираясь до вас? Для чего я ехал? Чтобы сидеть в лесу с москитами?

— Перед вами был иной путь. Вам предлагали ехать в Америку. Вам говорили, что вы можете там найти сбыт вашей учёности. Вы ведь знаете, что не поехали туда, боясь конкуренции и опасаясь, что не займёте там первого положения.

— Потому-то я и приехал сюда, что верю в бескорыстие ваших учёных. Верю, что они меня не надуют, как это могут сделать янки.

— Перед вами сейчас очень серьёзная проблема. И тот, кто основал Общину, прислал меня сказать вам, что вы заблуждаетесь, что все ваши открытия, на которые

вы истратили жизнь, давно известны у нас, на Востоке. Вы подошли только к самому первоначальному источнику, а наши учёные уже давно решили все начальные задачи и пришли к окончательным выводам. Вы идёте неверным путём, и для истинной науки вам надо начать всё с самого начала. Если вы хотите, вы можете остаться здесь и, начав всё сначала, следуя указаниям наших учёных, на правах простого ученика учиться, руководясь заданиями, которые будут вам указаны. Вы можете в наших библиотеках пользоваться всеми книгами мира, и вам нет надобности таскать за собой свою небольшую библиотеку. Вы можете выбирать себе любые системы для разработки даваемых вам заданий. Но самые задания для первоначальной работы будут вам даны. Это ещё не всё. В нашей науке не могут работать люди, пренебрегающие всеми другими свойствами в себе, кроме ума. В человеке есть ещё душа и дух. Тот, кто, как вы, не поинтересовался развитием в себе духовных сил, не может быть тружеником восточной науки. И не потому, что он недостоин этой чести, как саркастически думаете сейчас вы, друг. Но только потому, что в нашей науке всё начинается и кончается основой духа. Разъяснить вам в столь короткой беседе этот огромный вопрос невозможно. Да и для вас сейчас сила не в нём. Сила в вашей любви к науке для пользы и счастья людей, или же весь ваш интерес к науке лежит в вашем собственном “я”, которое вы желаете вознести на высшую ступень земной человеческой славы. Если вы ищите славы, ищите её где угодно, только не у нас. Если ищите науки для пользы и счастья людей, вы можете располагать каждым из нас, равно как и всем тем, что есть у нас.

Лицо учёного, сначала саркастическое, стало очень серьёзным.

— Я не мальчишка, мчащийся за славой. Если вы говорите, что я не развивал в себе ничего, кроме ума, то, право, мне было некогда думать о чём-либо, кроме науки. Я голодал и холодал потому, что всё, что мог заработать, уходило на мои книги. У меня не было времени заниматься проблемами любви и милосердия к людям, так как я и для личной своей жизни не имел времени. Тратить в пустоте драгоценные минуты, отрываясь от науки, я не мог. Но, если вы говорите, что я шёл неверным научным путём, что где-то я сделал неверные расчёты и выводы — о, это серьёзно, это очень серьёзно. Если кто-либо из ваших учёных может мне это доказать, я готов начать всё с самого начала и, можете верить моему слову, хныкать не буду. Я буду работать без ропота и разочарования. Никто, кроме меня, не виноват, если я сделал в своих вычислениях ошибку. И признак ума вовсе не в том, чтобы настаивать на своём, если ты понял, что ты не прав. Но это надо доказать. Кто же этот титан-математик, который мог бы понять работу всей моей жизни и указать мне мою ошибку? Во всём мире есть только один, равный мне по знаниям в этой области, и он — мой враг — признаёт мой труд.

Учёный, на мгновение допустив возможность своей ошибки, снова гордо поднял голову. В его глазах поблёскивал сарказм.

— Этого титана, если хотите, вы увидите завтра. Но, повторяю вам, придётся принять условие, о котором я вам сказал, если вы убедитесь, что вы были не правы.

— Бог мой, странный вы человек! Только что вы толковали о любви. Да разве для моей любви к науке могут существовать какие-либо условия, условности, препятствия? Чтобы достичь истины в том, что составляет для меня цель жизни, даже не цель, а *самое жизнь*, я пойду на всё до конца, если бы на доску ставилась вся моя

ственно в круглый зал, за столами которого сидели, углубясь в работу, люди, не обратившие на нас никакого внимания.

Профессор был так поражён видом зала, многих людей в нём и гор книг, что остановился, и И. пришлось взять его за руку, шепнув:

— Здесь можно только заниматься, но ни останавливаться, ни разговаривать нельзя.

Мы прошли ещё одну комнату, где тоже было занято много столов, но где были и свободные столы и где также никто не оторвался от своей работы, чтобы посмотреть на нас.

Несмотря на то что И. вёл профессора за руку, тот шёл медленно, лицо его было умилённо и даже расстроенно, и он шептал:

— Счастливцы, счастливцы! Избранники науки! Море света и книг. А я-то, я-то! За каждую книжонку должен был платить часами труда, отрывая время у науки!

Мы вошли в тот зал, где Лалия и Нина выдавали книги. Теперь вместе с ними трудились ещё три девушки, и мне показалось, что сейчас всё делали именно они, а Лалия и Нина только руководили ими и проверяли их труд.

К моей огромной радости, за одним из столов я увидел Никито за грудами книг и, забыв всё на свете, помчался к нему, к милому другу, которого я так давно не видел.

Не успел я подойти к столу и протянуть руку Никито, как услышал за собой сдавленный крик и шум сразу отодвинувшихся нескольких стульев. Повернувшись на шум, я увидел несколько фигур, быстро шедших на помощь И., державшему на руках бесчувственного профессора.

— Это ничего, друзья, — говорил И. трём братьям, бросившимся ему на помощь и выносившим тело учёного в прохладный холл. — Положите его сюда, на диван. Наше солнце несколько повредило северянину, но это не солнечный удар. Он вскоре очнётся. Не беспокойтесь, идите к вашим занятиям. Со мной останутся Лёвушка и Никито. Если что-либо понадобится, я к вам обращусь.

Занимавшиеся в читальне братья, бросившиеся на помощь И., вышли с глубоким поклоном, и мы остались одни у тела бесчувственного профессора. Лицо его было совершенно зелёно-бледным, нос заострился, у меня даже мелькнула мысль, что он, пожалуй, умер.

Лицо И. было сосредоточенно и серьёзно. Он повернулся ко мне и сказал:

— Лёвушка, пройди наверх, в мою комнату, которую ты знаешь. С левой стороны от двери, на пятом шаге, ты найдёшь стенной шкаф. Вот тебе от него ключ. Открой, подними вверх дверцу пятой снизу полочки, возьми там две аптечки и пузырёк, что стоит между ними, и принеси всё сюда. С величайшим вниманием и осторожностью открывай и закрывай шкаф. Помни всё время, в каком месте ты находишься и что твоё промедление или неаккуратность могут стоить человеку жизни.

Я поклонился, взял ключ и, побеждая своё волнение, собрав всё внимание, пошёл выполнять приказание моего Учителя. Теперь я не думал ни о красоте лестницы, ни об аромате цветов, ни о сходстве этой лестницы с лестницей в Б. в доме сэра Уоми — я шёл, как идут, вероятно, воины в битве выполнять приказ своего главнокомандующего. Я знал одно: И. спасёт профессора, если я немедленно подам ему нужные лекарства.

и вся штучка досталась мне. Я был рад, что бедный учёный, и без того испытавший немало “феноменов” за одни сутки, избежал ещё одного удара по нервам.

— Да, Лёвушка, защитником и милостивцем быть, конечно, очень приятно. Но, это вовсе не ваша роль. Вы помешали не только моему остроумию, но и скорейшему прозрению этого старца. И чего это вам вздумалось играть роль милосердного самаритянина? — пронзая меня огнём своих глазищ, сказала Андреева.

— Или я не совсем понял вас, или вы не совсем поняли мою мысль, Наталья Владимировна. Должно быть, я уже научился немного защищаться от вас. Но я убеждён, что вы не высказали того, что хотели, не только потому, что я вам помешал, а больше всего потому, что И. вам запретил, — ответил я смеясь.

— Извольте радоваться, во что превращаются невинные птенчики через несколько месяцев в обществе И. — И Андреева тоже смеялась самым добродушным образом.

Учёный, не понимавший языка, на котором обратилась ко мне Андреева, смотрел пристально в её глаза, потом перевёл взгляд на меня и, повернувшись наконец к И., сказал:

— Если бы я встретился с этой дамой один на один, я бы, по всей вероятности, испугался. В вашем обществе я чувствую себя точно в защитной сети, но всё же думаю, что эта дама обладает не совсем нормальной психикой.

— Эта дама знает прекрасно все те языки, на которых говорите вы, профессор. И кроме того, обладает столь не нравящимся вам свойством: угадывать мысли другого. Я готов утверждать, что она отчётливо знает, о чём вы сейчас думаете, — усмехаясь ответил И.

— О, это было бы ей весьма малоприятно, — беспечно улыбнулся учёный. — Но, слава Богу, она не угадает того, о чём я думал.

— Вы думали, что в моих глазах пляшут те огни, за которые инквизиторы Испании приговаривали грешников к костру, — раздался добродушный голос Натальи Владимировны. Вокруг многие рассмеялись, профессор смутился и растерянно смотрел на Андрееву.

— Пейте ваше какао, друг, и, если вы настаиваете, вопреки моему совету, пойдёмте в библиотеку. Оставим эту саркастическую даму без удовольствия пиявить вас дальше, — ласково сказал И.

Очень мало евший, профессор от какао отказался, попросил разрешения взять в карман фруктов, и мы отправились в путь. И. приказал мне надеть шляпу с вуалью и принести такую же профессору. Протестовавший и возмущавшийся вначале учёный с восторгом напялил её на голову, как только мы вышли из тени в палящий жар.

И. повёл нас новой для меня дорогой. Мы не спускались по скатам в долину и не поднимались снова в горы. Каким-то неожиданным образом, перейдя по двум узеньким и дрожащим мостикам над глубокими пропастями, пройдя три туннеля, мы очутились в большом парке минут через сорок ходьбы.

Для меня это было большим сюрпризом, потому что мы вышли сразу на широкую кедровую аллею, очень близко от оранжевого домика И. Никак не обращая внимания профессора на чудесный домик, И. перевёл нас через жаркую аллею в другую, тенистую часть, парка, сделал несколько поворотов по дорожкам, и... мы оказались у входа в библиотеку, но совсем с другой стороны. Мы вошли непосред-

жизнь. Что значит для меня жить? Разве это дышать, есть, наслаждаться, богатеть? Это значит учиться, чтобы в вопросах, дивных для меня, найти верный и точный ответ. Не подвиг или долг для меня моя наука, но жизнь, Бог, вселенная — всё. Ведите меня к вашему титану, и я буду защищаться, как лев. Но если он меня положит на обе лопатки, я не умру, не воображайте. Я не возненавижу ни вашего титана, ни мою науку. С Богом спорят, но его не ненавидят. Кто меня опровергнет, должен быть полубогом по крайней мере. Ведите меня к нему, и чем скорее, тем лучше.

Пока учёный говорил, его внешний образ менялся, а для меня раскрывался и его внутренний образ. Я увидел, как его старое лицо помолодело, а от всей фигуры веяло силой и энергией, и через все поры его существа лились благородство и мужество. Он остановился перед Франциском, пристально посмотрел ему в глаза и снова заговорил:

— Нередко в жизни меня обманывали люди, я не умел разбираться в них так хорошо, как в моей науке. Впрочем, вы говорите, что и в ней я не разобрался толком. — Тон его голоса понизился, он горько улыбнулся, помолчал, вздохнул, снова пристально посмотрел на Франциска и продолжал:

— Я хотел бы от вас, в свою очередь, слова, что если я окажусь правым, то получу всяческое содействие именно так, как я продиктую. Но... ваше лицо и что-то такое особенное в вас заставляет меня довериться до конца вашей чести. Я ни о чём не спрашиваю, ничего не хочу знать, где будет моё свидание с вашим гигантом, я повторяю: следую за вами, ведите.

— Пойдём, дорогой брат, счастлив ваш день сегодня. Великая радость ждёт вас. И всё, чего вы искали, откроется вам.

Мы вышли из дома и встретились с Мулгой в условленном месте. Когда мы вышли из леса и очутились снова в море лунного света, учёный снял шляпу, вздохнул полной грудью и, смеясь, сказал:

— Как это ни странно, но первый раз в жизни мне приходится благодарить человека за то, что он оторвал меня от работы. Впервые в жизни я иду ночью в лунном свете свободным, без угрызений совести, что теряю время и оставляю мою науку. Я ещё ни разу не выходил из комнаты с тех пор, как приехал. А приехал тёмной ночью и не знал, что здесь такая красота. Впрочем, в той части Германии, где я жил, было очень красиво, но мне было некогда заниматься природой и её живописностью.

— Если бы вы могли, профессор, нести все свои фолианты с собой, то всё равно ваше сердце сейчас освободилось бы от вашего постоянного страха потерять мгновение в пустоте от научного труда. Пришло вам время по-иному понять не только что такое “пустота”, но и что такое самая наука.

Профессор расхохотался, как будто он услышал от Франциска самую забавную из шуток.

— Право, я готов радоваться встрече с вами. Простите, я не знаю, как мне вас называть.

— Меня зовут Франциск, зовите и вы меня так.

— Значит, вы не англичанин? Я готов был думать, что подобная железная выдержка может вырабатываться только у этого народа. Но это к делу не относится. Я хотел сказать вам, что первый раз в жизни веселюсь и ощущаю совершенно новую силу в себе: я радуюсь тому, что светит луна, что бежит этот белый павлин, которо-

го час тому назад я ненавидел, что рядом со мною идут люди, хотя они ничего в науке и не понимают, и меня не давит, что они не отдают себе отчёта в силах природы. Я не представлял себе раньше возможности провести даже нескольких минут с людьми, не имеющими непосредственного отношения к науке. А сейчас рад, что пробуду с вами несколько часов.

Тон учёного, его полное непонимание, кто был рядом с ним, снова меня поразили. Я не мог уже теперь вспыхивать и угасать, как делал это раньше, но в сердце моем было возмущение, негодование и... сострадание. Я поражался грубой нечуткости человека, считавшего себя избранником и чуть ли не вершителем мировых законов жизни. Где же внимание этого человека? Как может он не чувствовать тех струй любви, что бежали к нему от Франциска и которые,
несомненно, влияли на него, и от них-то он и чувствовал своё раскрепощение от условного долга.

Луна стала заходить за рощу, ночь становилась тёмной, но уже чувствовалось, что вскоре заря сменит короткую ночь. Мы всё шли прямо, и мне казалось, что мы идём не к Общине. Но я потерял давно ориентировку и уже не мог ясно определить, куда мы шли. Внезапно учёный спросил Франциска:

— Скажите, брат Франциск, что это там, вдали так сверкает? Если бы это был пожар, то можно было бы видеть колебания пламени, чувствовался бы запах гари и дыма. Но я вижу совершенно неподвижный яркий огромный круг света. Этот феномен вашей природы мне неизвестен. Что это? Впрочем, что же это я, глупец, спрашиваю вас о явлениях природы? Вы, вероятно, кроме послушаний, налагаемых на вас вашей сектой, ничего и не знаете? До сил природы вам столько же дела, сколько мне до дел вашей секты.

Франциск оставил без ответа все выпады профессора, просто ответив:

— В том месте, где вы увидели круг света, живут люди, владеющие силами природы и умеющие направлять их так, чтобы благо и счастье встречаемых ими людей не нарушалось от потрясений и нервных токов и толчков тех людей, что живут эгоистическими порывами и мыслят о себе как о первых и важнейших величинах. Если бы вы могли освободиться от давящего вас ложного долга перед наукой, вы могли бы увидеть сейчас больше, чем простая внешность людей, к которым мы идём. Вы увидели бы сейчас это место светящимся не потому, что *оно* светится само по себе для всех. Я присоединил вас сейчас к силе моей мысли, и вам открылась возможность *увидеть влияние мыслей* людей, увидеть их *действенную энергию*. Этот огонь мыслей, видимый сейчас вами, принадлежит людям бескорыстным, людям, ставящим не себя в центр вселенной, но отдающим от себя энергию на строительство вселенной, на творчество всем тем, кто *может* подхватить их энергию и передать её дальше как вдохновение, озарение, мужество, гармонию мысли и сердца в ежедневном творчестве дня. У вас нет мира в себе. А для того чтобы достичь необходимой для творчества гармонии, *надо найти мир сердца*. Эти люди, приносящие свои мысли в мир, как *свет*, проходя свой день, не задумываются о долге. Они идут любя, любя побеждают и рассыпают искры своей любви каждому. И вы можете вобрать в себя от них частицу гармонии. Но для этого вам надо сбросить с себя предрассудок, что есть условные разграничения людей. Пока вы будете видеть в человеке только ту или иную культурную единицу и ценить человека, как ум, а не как со-

успели получить докторскую степень и где? Вы так юны, что можете позировать для статуи греческого бога, и у нас на Западе вы, конечно, её получить не могли. У нас детям учёных степеней не дают, а скинуть с вас лет шесть-семь, и вы будете ровесником сему полуребёнку, хотя он сложением и Геркулес, — прибавил он, смеясь и указывая на меня.

— Тем не менее степень я получил именно у вас в Германии одну, в Риме — вторую и в Лондоне — третью, — улыбаясь, ответил И.

— Поразительно, — скорее фыркнул, чем сказал профессор.

— Я хотя и не так прекрасно читаю мысли людей, как мой брат Франциск, тем не менее вижу ясно, как в вашем мозгу мелькает слово “шарлатанство”. Потерпите немного, вскоре вам предстанут факты моей неоспоримой учёности, — весело смеялся И.

Зальцман остановился, пресмешно уставившись глазами на И. и даже раскрыв от удивления рот. Но И. не дал ему времени оставаться в столбняке, взял его под руку и, представляя подошедшему к нам Кастанде, сказал:

— Вот, позвольте вас представить. Это наместник нашего хозяина в Общине, брат Кастанда. Всё, что вам будет нужно, чем вы будете недовольны, со всем обращайтесь к нему, всё в руках всемогущего Кастанды. Он только по виду суров, на деле же это любезнейший и самый обворожительный хозяин.

— Я буду счастлив служить вам, как и каждый из нас, дорогой профессор, — ответил Кастанда, пожимая руку гостя. — Садитесь, пожалуйста, сюда. Если наша еда будет вам не по вкусу, заказывайте себе всё, что вам захочется. Мы постараемся достать вам всё то, к чему вы привыкли.

— Вы чрезвычайно любезны. Но я всю жизнь не замечал, что ел, и почти всегда был голоден. Думаю, что не доставлю вам хлопот в этом смысле. Голод мне так же привычен, как сухой хлеб и вода, составлявшие почти всегда моё регулярное питание.

Профессор опустился в креслице между И. и мною и с удивлением рассматривал окружавшие нас фигуры и лица. Довольно долго он жевал то, что И. положил ему на тарелку. Я видел, что всё его внимание поглощено людьми, а ел он, действительно, не понимая, что ест.

— Скажите, доктор И., откуда вы здесь собрали такую уйму людей? С тех пор как я окончил университет, я ни разу не бывал в этаком скопище, в этакой культурной толпе. Здесь нет ни одного вульгарного лица. Что это? Это всё учёные?

— Нет, профессор, здесь собрались люди не по признаку учёности или талантов, хотя талантов здесь немало. Это те люди, сознание которых раскрыто не только как ум, но и как гармоничное целое, как творческое сочетание ума, сердца и духа. Свет *духовной* жизни — вот отличительный признак объединённых здесь людей. Силы их *духа* сияют вам, а вы, следуя вашей западной привычке, хотите их *осязать* и расставить по графикам логических посылок и предпосылок. В вашей жизни здесь вы будете постоянно натыкаться на затруднения, если духовная сила сознания не будет *вами* учитываться как первая сила человека.

Сидевшая на своём обычном месте Андреева внезапно пронзила Зальцмана своими электрическими колёсами. Я внутренне съёжился, так как ждал от неё сейчас же какой-нибудь штучки бедному профессору. Но она перевела свои глазищи на меня,

сих пор я не спросил вас о вашем имени и не знаю, как мне представить вас доктору И., — ответил я профессору, преспокойно стоявшему посреди коридора и рассматривавшему меня, как обезьяну в клетке.

— Моё имя, юноша, Ганс Зальцман. Для вас оно ничто, но если ваш доктор И. человек образованный, ему оно кое-что скажет. Вы меня ведёте прямо к нему?

— Да, доктор И. ждёт вас.

Мы пересекли коридор, перешли в другую половину дома, и я ввёл профессора Зальцмана к И. Мысли мои были крепко сосредоточены на том, чтобы всей силой своего доброжелательства помочь учёному воспринять И. не так, как он воспринял Франциска. Но с первого же движения И. навстречу входившему профессору, с его улыбки, с протянутой необычайно приветливо руки, с тона голоса, полных светскости, обаяния, любезности, я понял, что мои усилия были детски беспомощны и не нужны, что И. был действительно титаном, и учёный почувствовал это мгновенно. Весь его облик, повадки — всё изменилось. Он весь собрался в комок, точно тигр, готовившийся к прыжку, и я вспомнил его разговор с Франциском, как он обещал защищаться, как лев.

— Я очень рад, профессор, приветствовать в вашем лице всю науку Запада. Примите мой глубокий поклон вашему труду и вашим знаниям, — сказал И., протягивая учёному обе руки и усаживая его в кресло. По всей вероятности, ваше путешествие на Восток и всё пребывание у нас вас очень утомило. Но я надеюсь, что ваша преданность науке будет вознаграждена. Книги, не только те, о которых вы мечтали, но и такие, о которых вы ничего не знали, ждут вас в нашей библиотеке. Я позаботился, чтобы вам была предоставлена при одном из самых обширных филиалов библиотеки отдельная небольшая квартира. Полная тишина в той части парка, где расположен отдел библиотеки, который я вам предлагаю, даст вам гарантию, что ничто и никто извне не сможет нарушить ваших занятий.

И. усадил профессора в удобное кресло. Незаметное ударение, сделанное И. на слове “извне”, заставило профессора Зальцмана насторожиться.

— Если извне не будут мне мешать, то уж изнутри, наверное, ничто не нарушит моей устойчивости и трудоспособности в науке, — произнёс он неожиданно для меня быстро, точно торопясь и волнуясь.

— Как знать, — улыбаясь сказал И., пристально глядя в лицо учёному.

— Я надеюсь, — снова торопясь сказал тот, — что вы не намерены показывать мне феноменов гипнотизма, как это сделал по дороге ночью брат Франциск? Что мог себе позволить невежественный монах, обладающий магнетической силой, до того не может дойти учёный. Я хотел бы сразу же начать наше научное собеседование.

— Сейчас вам прежде всего необходимо позавтракать и подкрепить свои силы. Если после завтрака вы пожелаете немедленно отправиться в библиотеку, мы пойдём с вами туда сейчас же. Но я советовал бы вам подождать до вечера. Наше солнце существенного вреда вам не причинит, но может утомить вас так, что желанная беседа со мной отодвинется на несколько дней, — ласково говорил И., приглашая учёного в столовую.

— О, нет, я гораздо крепче, чем вы предполагаете, доктор И, — перебил его Зальцман, следуя за нами в столовую. — Но вот разрешите мою загадку: когда вы

знание — частицу Вечного, до тех пор вы не сможете воспринять их гармонии, так как в вас закрыты все пути к ней.

Мы подходили всё ближе к сияющему полю света, и я радовался и отчётливо понимал, что все дома здесь светятся ровным огнём так же, как домики в дальней долине сияют разными цветами в зависимости от тех эманаций, которые истекают от живущих в них людей.

— Хорошо, что вы сейчас ведёте частный разговор, не требующий от вас ни логических обоснований, ни доказательств, — саркастически звучал голос учёного.

— Вы вскоре получите столь яркий опыт ума и сердца, что вся потребность во внешней логике для вас исчезнет, — спокойно ответил ему Франциск. — Мы подходим к целому ряду домиков. Какого цвета они вам кажутся?

— Ваш вопрос очень странен. Из всех пор камня, со всех стен идут светлые лучи. Но цвета их я определить не могу. Самый обычный беловато-молочный цвет, какой может испускать пористый камень. Обычно он не виден, но здесь очень ясен.

Ответ профессора был мне очень смешон, так как домики были совершенно определённого ярко-алого цвета и чудесно сверкали во тьме. Я посмотрел на умилённое лицо Мулги, шедшего рядом со мной, и понял, что и он также видит домики алыми и понимает смысл их цвета.

— Дайте мне вашу руку, профессор, и разрешите мне коснуться вашего затылка, — снова сказал Франциск, беря протянутую ему руку учёного и касаясь второй рукой головы учёного. — Что вы сейчас видите?

Учёный молчал несколько минут, остановившись как поражённый внезапным параличом.

— Что же это за фокус вы мне показываете? Дома пылают как огонь!

— Смотрите дальше. Что вы видите? — опять спросил Франциск, не отнимая руки.

— Я вижу насквозь, через пылающую стену. Вижу, что в комнате сидит пожилая женщина. Послушайте, ведь это ужас! Она же сгорит! Все стены внутри комнаты, все предметы в ней уже охвачены пламенем. Кричите скорее, чтобы она спасалась, я не в силах ни кричать, ни бежать ей на помощь, — всё так же тихо говорил учёный.

— Не беспокойтесь, этот огонь не сжигает тела. Это духовная сила, которая может сжечь и испепелить вас, если вас ввести внутрь этого дома. Не будучи подготовленным к овладению теми силами огня вселенной, которыми полна эта комната, вы задохнётесь в ней в течение нескольких минут. Не рассеивайтесь, соберите всё своё внимание на фигуре женщины и сосредоточьтесь на желании увидеть её мысли и прочесть их.

Учёный, стоявший очень близко к Франциску, тяжело и прерывисто дышал, точно бежавший к нему от Франциска ток был ему тяжёл. Помолчав, он сказал:

— Женщина сидит перед раскрытой книгой, но мысли её вовсе не у книги. Она думает о какой-то далёкой дороге, о доме, наполненном детьми. Теперь в её мыслях рисуются два образа девушек-красавиц, похожих друг на друга, как близнецы. Но — как это странно — одна из них совершенно седая. Очень смешно и странно: седа, как лунь, и юна, как Венера. Рядом с ними мужчина, статный, воинственного вида. Но в каком это всё сочетании, я разгадать не могу. Ах, вот я ясно вижу там ваш образ, но тоже очень странно, у вас в руках красная чаша, на вас белая одежда...

Франциск отнял свои руки, учёный вздрогнул, слегка пошатнулся.

— Какого цвета теперь домики перед вами? В котором из них вы видели женщину? — спросил его Франциск.

— Дома все молочно-белые. И если бы я не видел пылающего дома мгновение назад, я утверждал бы, что между ними нет красного дома. Ваш гипноз потрясающе силён, и я от него так устал, что не могу идти дальше.

— Хорошо, посидите здесь с Мулгой, он охранит вас от ночных ящериц и скорпионов. Не бойтесь ничего, посидите под этими пальмами, там есть скамья. Скушайте эту конфетку, она прекрасно вас освежит. Уверяю вас, что через четверть часа, когда мы с Лёвушкой вернёмся к вам, вы найдёте силы не только идти, но даже весело идти.

Франциск протянул учёному коробочку, где лежали довольно крупные квадратики, на вид вроде шоколада. Учёный молча положил квадратик в рот. Взяв меня под руку, Франциск повёл меня к тому месту и дому, где профессор видел женщину и читал её мысли. Он видел только ряд образов, не умея связать их, я же видел, что женщина страстно ждала Никито и обеих его племянниц. Мы приблизились к домику, и Франциск постучал в окно.

Через минуту на пороге открытой двери стояла женщина, которую учёный назвал пожилой. Теперь я увидел, что она не была пожилой, ей не могло быть более тридцати лет. Но отпечаток какой-то драмы, тяжело проехавшей по её жизни и раздавившей её, лежал на всей её фигуре. Необычайная кротость и радостность, с какими она приветствовала Франциска, поразили меня, хотя я видал немало кротких и радостных лиц в Общине. Низко поклонившись Франциску, женщина пригласила нас войти.

— О, Учитель, ты сам пришёл ко мне. Тебе вреден такой долгий и утомительный путь. Разреши мне сходить хотя бы за молоком для тебя и твоего юного спутника, — говорила женщина, когда мы вошли в комнату, придвигая нам стулья.

— Не беспокойся, Терезита, я пришёл за тобой. Я обещал тебе, что, если любовь твоя найдёт силы вынести испытание три года, ты увидишь и Никито, и Лалию, и Нину. А ты прожила здесь пять лет и ни разу не спросила меня, почему откладывается свидание, почему ты всё остаёшься здесь и даже не едешь в дальнюю Общину к своим внукам.

— Я счастлива была, Учитель, жить здесь. Всё, что ты давал мне для исполнения, было так важно людям, что, пожалуй, только сегодня в первый раз я думала о Никито и девочках. Ах, если бы можно было их спасти, я была бы рада прожить здесь до конца дней.

— Нет, друг, в деле любви не стоят на месте. Любовь — живая сила, и её надо всё время лить по новым и светлым руслам. Ты созрела к действию. Новые силы очистились и развились в тебе. Держать их бездейственными в своей чаше нельзя. Ты поедешь в дальние Общины, возьмёшь с собой Лалию и Нину и приготовишь их к новой жизни. Нине, ищущей подвига целомудрия, ты объяснишь, что ей придётся изменить свой путь, который ей так радостен и так её пленяет. То материнство, что должна была нести Лалия и которого она не выполнила, не перенеся своего лёгкого испытания, ляжет на Нину. Придётся ей идти в широкий мир и создать семью, где суждено родиться тому, кого Владыки Кармы приготовили к воплощению и высо-

вят тебя однобокостью. Мы поговорим ещё с тобою об этом в пути. Надо собираться. Как только я усажу профессора за науку, мы уедем. Ты удивлён, что учёный, так мало совершенный вовне, *может* здесь жить, тогда как многим и многим, всю жизнь жаждавшим сюда попасть, ворота закрыты. Вглядывайся глубже во встречи, Лёвушка. Учёный, ничего *не зная* умом о жизни в двух мирах, на самом деле *жил* в них. Он до конца отдал свою преданность науке. Не задумываясь о благе людей, он вносил *весь* свой труд для них, мечтая о том, чтобы во вселенной ни один человек не знал ни страха, ни нужды. Он закрепощён в долге и любви к науке, но дух его чист и свободен. Он мечтал всегда, чтобы все люди могли учиться, как и чему хотел каждый, без помехи бедности. Иди, друг. Ясса уже, вероятно, отмыл профессора от ночной пыли, теперь он голоден. Окажи ему всю любезность и гостеприимство воспитанного человека. Будь вежлив, как должен быть ученик, и приведи гостя ко мне. Не обращай внимания, если он будет не в духе. Приглядись к нему. По всей вероятности, он сущий ребёнок во всех бытовых вопросах.

Я пошёл выполнить приказание моего любимого друга. Какое-то воспоминание, вернее, отголосок каких-то константинопольских переживаний вставал во мне. Мне вспомнилось, сколько раз в моей жизни я отрывался от дорогих мне людей, как часто, когда мне хотелось особенно сильно побыть с И. и выслушать от него ответы на беспокоившие меня вопросы, мне приходилось его покидать, чтобы выполнить то или иное дело.

Сейчас я как-то особенно ощущал необходимость побыть с И. — и снова должен был идти по делу другого человека. Но не вздох сожаления был в моём сердце, не раздражение, о котором я без улыбки над самим собой уже не вспоминал, — о нет, эти времена уже миновали. Но мне было как-то неловко перед самим собой, что у меня не было сию минуту ликования в сердце, не было буйной радости, что я *могу* быть полезен человеку. Я шёл мирно и спокойно, очень ровно и доброжелательно настроенный, но я сознавал, что активной, *действенной* радости во мне нет.

Подходя к ванной комнате, я услышал весёлый смех. Я ожидал всего, но чтобы Ясса сумел привести учёного в такую весёлость, не мог себе и представить. И смех профессора, чистый, детский и заразительный, тоже немало меня удивил.

Дверь из ванной открылась, и я увидел фигуру профессора. Его безукоризненный белый костюм, который Ясса вытащил, должно быть, из запасов И., сиял, лицо было свежевыбрито и выражало полное удовольствие, и… вдруг совершилось мгновенное превращение в недовольную, кислую гримасу, как только учёный увидел меня.

— Ах, это вы, юноша. Я ночью плохо вас разглядел. Теперь я вижу, что вы сущий Геркулес, только у того кудри были не чёрные. — Профессор говорил ворчливо, критически рассматривая моё индусское платье. — Вот как! Вы опростились даже до сандалий на босу ногу, — прибавил он, дойдя в своём обзоре до моих ног. — Ведь вы не монах, как брат Франциск, и обетов, очевидно, ещё не успели дать никаких. Для чего же эти босые ноги?

— Мне очень трудно объяснить вам логически, для чего то или иное во мне или на мне существует, профессор. Но я ещё не привык к здешнему климату, и жара действует на меня так, что мне хочется поменьше носить на себе всякой одежды. Кроме того, все живущие здесь одеты так. И я не составляю исключения в этом отношении. Доктор И. носит точно такую же одежду. Кстати, простите меня, что до

Глава 11

И. принимает учёного. Аннинов и Беата Скальради. Наставление мне и Бронскому

Когда я вошёл к И. и посмотрел в прекрасное лицо моего дорогого друга, я внезапно почувствовал, что я всё ещё не знаю лица моего обожаемого наставника. И. показался мне юношей, прекрасным воплощением силы, жизни, мудрости. Он улыбнулся мне и ласково сказал:

— Ты делаешь успехи, дорогой мальчик, ты почти не устал.

— Это сейчас я вдруг почувствовал себя сильным. Но не могу похвастать, что дошёл обратно легко. И не могу, отдавая вам отчёт, сказать, что встречи, давшие мне в эту ночь уроки навек, не истощили моих духовных сил, пока я жил в общении с сегодня виденным и понятым страданием. Примеры слепоты людей временно ослепили и меня самого. Сегодня я понял, что самое начало страдания, как и развитие его, лежит в невозможности человека охватить в *каждый* летящий момент *всю* Жизнь. Чем прочнее привязана мысль к земле, к своей страстно любимой среде, труду, друзьям, тем больше ослеплён человек сиянием одной земли. И тем ему труднее — большее для него страдание — *вырваться* к Свету Жизни. В числе сегодняшних уроков не все были уроками от противного. Покорившие меня своим величием внутреннего мира и любви люди тоже по-разному проникли в моё сердце, о полном раскрытии которого дважды напоминал мне Франциск в эту ночь. Дважды ему пришлось сказать мне, чтобы ни единый лепесток, прикрывши вход в сердце, не помешал бы мне вобрать в него встречных. И в самом деле, ни один лепесток не помешал литься моей любви и сосредоточиваться моему вниманию. Но... мне была очень тяжела и трудна встреча с Терезитой. Я сознавал и сознаю сейчас, как дух её высок, непоколебима верность, как вся она чиста и любяща, и всё же что-то, чего я понять не могу и по сию минуту, отдаляет меня от неё. “Отдаляет” это даже не то слово. Между нею и мною я чувствую какую-то стену. Я преклоняюсь перед нею, но не могу чувствовать себя с нею легко и просто. И в то же время, как это ни странно, обуянный раздражением и слепотой профессор мне не тяжёл.

— Я вполне понимаю тебя, Лёвушка. Путь Терезиты — религиозный путь. И ты ещё не можешь подняться так высоко, чтобы обряд — всякий обряд, всякий ритуал, — стал для тебя лишённою цепей благодатью. Для Терезиты труд её жизни, труд веков, труд освобождения — всё идёт только через луч обряда и религии. Она пока живёт в них, как в сияющем, но всё же чехле. Если бы один из вас был уже раскрепощён до конца, стена её сияющего чехла не могла бы стеснить вашего единения. Чем выше каждый из вас будет подниматься в *своём* освобождении, тем проще, ясней и ближе будут ваши отношения. Что же касается профессора, то там ничто в его ступени сознания *не может* коснуться тебя как начало недоумения, протеста или задержки для *твоего* доброжелательства. Поэтому ты и не ощущаешь его тяжёлых испарений. Тогда как эманации Терезиты, будучи очень высокими, дакому подвигу Любви. Объяснишь девушке всю важность её новой жизни. Скажешь, что подвига не выбирают, но легко несут ношу, от нас подаваемую, если *хотят* действенно служить Истине. Я уверен в Нине. Это будет тебе урок лёгкий. С Лалией будет труднее. Но... в тебе самой уже нет борьбы со своими страстями, а потому все новые повороты жизни уже не затруднят тебя и не будут чрезмерно тяжёлыми. Иди со мной, друг, оставь это место легко и просто, а не тяжко и мучительно, как ты покидала все те места, где жила до сих пор. Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит в себе ещё не растворённым в любви своё “я”. Твоё же всё растаяло, всё превратилось в Свет. И потому я веду тебя в то место, где ты будешь *действенной* силой для встречных. Мир тебе, друг мой, передавай мой мир каждому и ощущай ежеминутно, что несёшь в руках чашу красную, чашу Любви. Приложи уста свои к ней и пей кипящую Любовь моего сердца. Неси её как деятельность *простого* дня и передавай в труде не пот подвига и долга, но *лёгкость знания*.

Терезита опустилась на колени и смотрела на Франциска, держа его руку в своих.

— Идя по труду дня, никогда не иди одна, дитя моё. Но подавая руку встречному человеку, подавай обе наши руки и отирай очи человека платком Любви. Пойдём, друг, нас ждут.

Много я видел чудесных лиц в экстазе за последнее время, но ни на одном из них я не видел такого счастья и мира, какие видел здесь сейчас на лице Терезиты. Лицо — далеко не красавицы — было прекрасно и так сияло, что даже моим глазам, уже привыкшим к сияющим аурам, хотелось зажмуриться.

Не взяв ни единого предмета из дома, Терезита вышла с нами. Её привет профессору и Мулге меня поразил. Мулге она протянула обе руки, которые тот неловко поцеловал одну за другой, а профессору она поклонилась и сказала:

— Много вопросов придётся вам ещё решать. Но такого сильного негодования, какое вы испытываете сейчас, в вас уже не будет никогда. — Терезита рассмеялась таким милым и заразительным смехом, что я не смог удержаться и залился своим хохотом, а моему примеру последовал и Мулга.

Учёный вознегодовал на меня с такой страстностью, что даже не дал Терезите времени сказать мне что-то, о чём она думала и хотела обратиться ко мне. Он весь представлял собой комок раздражения, и мне стало очень горестно, что моя добродушная весёлость была так неуместна. Излив на меня первый жар возмущения, он обратился к ней:

— Что вы можете понимать в моём негодовании, весьма уважаемая дама? Уж не занимаетесь ли и вы чтением чужих мыслей, как это практикует брат Франциск? Или ваша дружба с Богом идёт только в мечтах о тех фигурах, которые я видел в ваших мозгах через гипноз вашего друга? Надо надеяться, что сложных задач моего мышления вам не решить, если бы даже вы и оказались чтицей мыслей. Всё же было бы весьма любопытно узнать, как поняты вами причины моего негодования? — Профессор рычал с таким сарказмом, что Франциск бросил на него взгляд сострадания и сказал Терезите:

— Ну, вот, сестра, и начинай свой новый путь общения с бунтарями. Никогда не бойся раздражённого и не принимай его речей в своё сердце. Только стой крепко *сознанием* у черты Вечности. Стой ногами на земле так устойчиво, точно они к ней

приклеены. Но мыслью и сердцем *живи в высоком Свете* и не нарушай моего завета: иди всегда со мною, протягивай свою руку вместе с моею, чтобы не мешать Свету проходить через тебя, как через новый и чистый путь.

Франциск подозвал Мулгу, шедшего всё время сзади, ускорил шаги и стал разговаривать с ним на языке, которого я не понимал. Я невольно снова подумал, сколько же наречий на свете, которых я не знаю.

Между ушедшими вперёд и нами образовалось некоторое расстояние, так как учёный идти так скоро не мог. Он тяжело дышал и шёл с трудом. Я подумал, что он просто устал, но, когда расцветавший день осветил его лицо, я понял, что он почти болен, что ему трудна атмосфера не только Франциска, но и Терезиты. Незаметным манёвром я постарался идти между ним и сестрой и уже собирался предложить ему опереться на мою руку, как Терезита сказала:

— Я очень опечалена, друг, что смех мой был понят вами как насмешка, как моё самомнение и желание показать вам какие-то феномены своих чрезвычайных сил. Я никакими особыми силами не владею. Но действительно в ту минуту я думала, как может быть слеп человек, достигший величия в какой-то области знаний, которые он чтит выше всех сокровищ Жизни. Ваши неосторожные слова о моём великом Учителе и друге могли бы в другом месте соткать зло и принести вам вред. Но здесь благодаря его присутствию, благодаря его всесжигающей Любви, которая льётся из его сердца, ваши слова развеялись прахом. Вы хотите узнать, прочла ли я причину вашего негодования и раздражения? Да, я её прочла. Но выскажу я её словами только в том случае, если вы сами ещё раз скажете, что желаете услышать из моих уст столь неблагородные мысли, которые для вас самого неожиданны, так как вы человек верный и благородный.

— Это уже переходит границы всего серьёзного и становится весёлым фарсом. Я очень был бы вам благодарен, почтенная дама, если бы вы удостоили меня чести услышать всё же ваше мнение о причинах моего негодования, которого я, кажется, ничем вам не выказал.

— Их три, тех причин, что так язвят сейчас ваше сердце, друг, и заставляют вас язвить меня не формальным смыслом ваших слов, но тем едким тоном злобы, которым они произносятся. Я ещё раз спрашиваю вас: хотите ли вы, чтобы я их сказала?

— Да, конечно, хочу. — Тон голоса профессора совершенно изменился, голос прозвучал неуверенно, даже недоумённо и вместо сарказма в нём слышалась растерянность, и весь его внешний вид показался мне озадаченным.

— Первая причина — это вообще раскаяние, что вы сюда приехали. Вторая — оскорбление и унижение, что какой-то малограмотный монах, каким вы считаете брата Франциска, мог заставить вас подчиниться его гипнозу, с которым вы спутали его дар прозрения и способность владеть силами природы. Третье — ревность к тому учёному, к которому вы решились идти, ревность к его знаниям, если они есть, к его власти, если он действительно так образован, что может указать вам ваши ошибки.

Долго шли мы молча, рассвет сразу перешёл в чудесное утро. Я взглянул в лицо учёного и был потрясён его видом. Он был жёлт, глаза провалились, и под ними лежали тёмные круги. Нос его заострился, весь он, казалось мне, еле держится на ногах.

Франциск остановился и поджидал нас. Когда мы подошли, он снова протянул учёному коробочку с шоколадными квадратиками.

— Это ничего, профессор. Вы только устали от непривычно долгого пути. Скушайте ещё одну конфетку, и вы сможете, позавтракав, переговорить с доктором И., что вас сразу же — я уверен — успокоит. Лёвушка, будь гостеприимным хозяином, отведи профессора в свою комнату и поручи его заботам Яссы. Ясса — это слуга Лёвушки, профессор. Он знает такой массаж и такие растирания в ванной, что вы даже забудете, что провели ночь в бессонном походе. Будьте здоровы, друг и брат, мы с вами ещё увидимся. Ты, Лёвушка, скажешь И., что профессора я привёл, а дальше исполнишь то, что тебе скажет И.

Мы входили наконец в парк, и признаться, и я, и мой друг Эта были порядочно утомлены. Я отвёл профессора к Яссе, который уже о нём знал и ждал его с готовой ванной.

Я прошёл в душ и, тщательно умывшись, переодевшись и ещё тщательнее причесавшись, уложил спать Эту и только тогда отправился к И.

По дороге я сам над собой посмеивался, вспоминая, сколько уроков истратил на меня И., чтобы привести меня к самообладанию в этом маленьком секторе простой воспитанности.

бовью оберегает сына на войне. Бодрость её, мужество и жизнерадостность спасают её сына, пришивая ему крылья находчивости и бесстрашия. Мать неумная держит сына у своей юбки, мало задумываясь о полёте его духа. Она воображает, что своими хлопотами, протекциями, кривозигзагными обереганиями его от всяких тяжких повинностей она спасает его для своего и его счастья. Мать умная и самоотверженная мчит сама свой дух во *всю* широкую Жизнь, забывая о себе; готовит из своей Любви ковёр-самолёт сыну к счастью и победе. *Её* освобождённая любовь сливается с *его* лучшими порывами героических сил, и помощь её, не навязанная, как жёрнов плоти на шее духа, несёт его мимо всех бед и пропастей в то место, где звучит гармония, близкая его собственному звуку, его ноте сердца. Прочтя эту книгу — на что у вас уйдёт не менее трёх дней, — придёте ко мне, и мы отправимся к профессору. Помните же, друзья, ищите в книге не примеров к подражанию, не фабулу ставьте во главу смысла, а ищите понять *собственное закрепощение* в условных понятиях. Ищите в себе пути *своих* собственных сил любви и мира, чтобы выйти из сети условных тисков предрассудков и приготовить своему сердцу *новую* возможность: *излучать навстречу человеку улыбку мира*. Ту улыбку мира, где нет двойного счёта: “Ты мне причинил боль и зло, я тебе воздаю добром”. Ибо такой “счёт от ума” может держать в себе только скованный условностью. Раскрепощённый же *действует*, выливая в молчаливой улыбке не *мысль* о действии, но самое действие. Идите теперь. Я пришлю за вами. Будьте прилежны. Я разрешаю вам обоим учиться в комнате Али. Не ходите к общим трапезам. Ясса будет приносить вам всё в мою столовую, сюда, где никто из вас ещё не бывал.

Мы в глубоком благоговении внимали словам Учителя. И. подал мне книгу, принял наш глубокий поклон, отдал нам его, и мы немедленно пошли в комнату Али. К нашему удивлению, в коридоре наверху нас ждал Ясса, провёл нас в комнату омовений, подал нам чистую одежду — белое платье и сказал:

— Я знаю, когда прийти за вами.

Я смотрел с удивлением на Никито. Я никак не мог предположить какой-либо связи между стариком, добравшимся сюда из центра Германии, и Никито, грузином, прожившим ряд долгих лет вблизи вершин Кавказа. Я едва удержался от изумлённого восклицания. И ещё больше я был рад, что не выразил своей просьбы остаться с больным и поухаживать за ним в его болезни, хотя меня очень печалила моя бесполезность.

— Тебе, Лёвушка, найдётся немало дела в эти дни, — сказал мне И., по обыкновению прочитав мои мысли.

И. сам отыскал двух братьев, принёс с ними носилки, сам уложил на них больного и, указав каждому из нас место и обязанности во время пути, стал в голове носилок, объяснив нам ритм нашего дыхания и сочетаний вдохов и выдохов с шагами.

Стараясь ступать как можно легче, мы пронесли больного по нескольким дорожкам парка. Внезапно, за одним из поворотов горы, нам открылась прелестная полянка, и за нею зеленел хвойный лесок. Среди него высился небольшой кирпичный, как мне показалось, домик, утопавший в зелени и цветах. Когда мы подошли к домику, с небольшого крыльца к нам спустилась женская фигура в большой белой шляпе, со спущенной на лицо синей вуалью. Вуаль была отброшена, и... я оторопел, узнав леди Бердран.

— Это тот больной, о котором я вам говорил, леди Бердран, — сказал И.

Леди Бердран поклонилась нам и радостно улыбнулась, заметив моё удивление. Мы подняли больного на крылечко и внесли его в просторную, тенистую комнату, где его уже ждала белоснежная постель и под потолком работал сильно и быстро вращавшийся веер.

Когда больной был уложен, И. поблагодарил помогавших нам братьев, отдал им носилки и отпустил их обратно.

— Никито, это сестра Герда. Ты поступаешь в её распоряжение как рабочая сила на ближайшие три дня. А это, сестра Герда, тот Учитель, которого я вам обещал. Если в эти дни вы сможете быть прилежной и ваша духовная сила поможет вам понять всё, что расскажет вам ваш Учитель, вы сможете поехать с нами в дальние Общины. До свидания, друзья. Больному нужен только полный покой, но оставлять его одного нельзя ни на минуту. Я буду навещать вас каждый день. Будьте благословенны.

Мы вышли из домика учёного и прошли обратный путь снова по новой для меня дороге. Мысли мои были несколько спутанны. Чаще всего мелькало, неожиданно для меня самого, немного горькое чувство, что лично мои труды никак не прикладываются к делу. Все трудятся с пользой для своих братьев, а я один вроде как только наслаждаюсь жизнью.

— Труды, Лёвушка, бывают разные. И то, что вовне *кажется* людям бездельем или жизнью в своё удовольствие, то нередко бывает *огромной* ступенью *труда* того человека, о котором думают как о наслаждающейся жизнью единице. Всё то, что ты должен увидеть и узнать раньше, чем поедешь со мною в дальние Общины, всё это не только труд, но и преддверие того *самообладания*, которое необходимо твоему творчеству. Тебе суждено стать мировым писателем. Тебе дан талант такой великой силы и наблюдательности, такой дар изобразительности, которые должны воздействовать, перерождать и учить людей жить по высокому идеалу Мудрости.

Чтобы выйти в широкий мир с проповедью Мудрости, надо понять и *знать* все тайные щели страданий и страстей человека. Уча учись. Ты уже был однажды великим писателем. *Ты имел* власть вносить Мудрость в смятенные сердца. Но в тебе самом не было ни одного свойства духа, развитого *до конца.* Ты не знал ни верности, ни преданности, ни веры до конца. Ты никого не любил до конца. Ты взлетал в восторге лицезрения Бога сегодня, а завтра ты шёл, плакал и во всём сомневался. И где вчера тебя пленяла природа, деяние Бога, там сегодня ты видел море собственных сомнений и отворачивался от вчерашних побед в себе. Здесь, в эти короткие годы, что тебе суждено прожить в Общине, тебе надо понять и *вынести* весь мир новых сил, новых знаний сердца человека. Опыт этих лет, которые сейчас кажутся тебе отсутствием настоящего полезного труда, — он-то и есть тот *великий твой труд, вековой урок*, который *ты понесёшь* от нас для блага и счастья людей. Однажды ты уже пытался пронести людям весть освобождения. Но *сам* ты не имел сил раскрепостить *себя* от влияния и власти страстей. Твоё окружение подавляло тебя. Любовь, отдаваемая тебе детьми и женой, расхождения во вкусах и склонностях с ними — всё лишало твой дух цельного устремления к Истине. Оставь теперь мысли мелкие, к которым приучила тебя психика понимания жизни как плоскости одной земли. Вглядывайся пристальнее во встречи и людей, думая *только о них*. Не примешивай к каждой встрече мыслей о себе и не примеривай на себя пути каждого другого человека, как платья. Нельзя носить все фасоны платья и нельзя изжить все формы труда. Можно только в данной *тебе* вековой форме труда пронести своё “сейчас” в таком величии знания тончайших струн человеческого сердца, в такой любви и сострадании к путям *их* совершенства, что в каждом слове, что выбросит в мир твой труд, для людей найдутся *новые* и более *лёгкие* возможности любя побеждать.

И. замолчал, так как мы очутились у дома Аннинова, что для меня было снова неожиданностью.

Домик музыканта, когда мы вошли в него, показался мне совсем другим, чем тогда, когда мы слушали в нём дивную музыку. Мне почудилось, что комнаты заполнены какой-то грустью, точно живущий в них человек много и часто тосковал.

Я всем сердцем пожалел музыканта-гения, не находившего счастья и света в своём великолепном даре. О, если бы я умел так играть!

— Твоя игра, Лёвушка, — речь. Твой дар — перо, твоя правда — мир сердца. Своё “если бы” прибереги для тех часов труда, когда великие помощники будут окружать тебя. Тогда проникай в обстоятельства каждого так, как *если бы ты сам* в них жил, сам страдал и любил за каждого из своих героев. Сейчас, здороваясь с Аннинoвым, помни слова Франциска и держи сердце широко открытым, протягивая ему руку вместе с рукой твоего великого друга Флорентийца. Не наблюдай сейчас страданий духа человека, но *твори* великое моление Любви, сострадая душе, мощь которой не соответствует той силе гигантского дара, что ей приходится нести по миру, — сказал мне И.

Он встал с места, где мы присели было на минуту под огромной пальмой, занимавшей почти ползала, и пошёл навстречу входившему Аннинову. Лицо музыканта было, как всегда, бледно, придавая ему вид аскета; но выражение глаз, что-то неуловимое во всей фигуре, несмотря на радостную улыбку, с которой он встретил И., говорило о его большом страдании. Если бы И. и не сказал мне ничего, я воззвал

вами. Я даже не знаю, что во мне сейчас сильнее: радость, что я получил дар от вас, или грусть, что я покидаю вас. Я буду стараться трудиться так ревностно, чтобы не оказаться больше ни разу в роли вора, утаившего частицу тех сокровищ, что мне дано постичь в музыке. Я буду жить так, как вы сказали, думая, что в каждый новый день я живу свой последний день. И если проживу какой-то отрезок времени достойно, буду надеяться, что перед смертью я ещё раз увижу вас.

— Я вам это обещаю, мой милый друг, — ответил И.

Он обнял ещё раз каждого из присутствующих, сказал Бронскому, чтобы он шёл с нами, а Аннинову предложил помочь художнице, прибавив, что пришлёт ещё на помощь Зейхеда.

Простившись с Беатой и музыкантом, лица которых, несмотря на разлуку с И., сияли энергией и радостью, мы вернулись в парк и прошли прямо в комнату И. Усадив нас, он взял большой фолиант с полки и сказал Бронскому:

— И вам, и Лёвушке надо прочесть вот эти страницы книги, которые заложены здесь лентами. Вы языка пали не знаете, но Лёвушка им владеет уже настолько, что может перевести их вам. Здесь вам обоим будут даны указания, как вести себя в пути, который будет частично не особенно лёгким. Кроме того, вы поймёте, как вести себя с теми людьми, к которым мы поедем. В тех домах Общины, где вам необходимо побывать, вы увидите людей, идущих очень тяжело свой земной путь. Среди всей массы людей, собранных в этих частях Общины, вы не увидите ни одного счастливого лица, за исключением тех, кто пришёл туда отсюда, из нашей Общины. Чтобы вам понять, как труден день несчастного, всё мечтающего о каком-то дивном “завтра” и не умеющего прожить в радости своё “сегодня”, вам надо быть в полной освобождённости самим. Все эти остающиеся короткие дни жизни здесь и то время, что мы будем в пути, трудитесь над вырабатыванием самообладания. Чтобы *мог* в человеке раскрыться его внутренний, духовный глаз, сам человек должен войти в иное понимание собственной жизни. Это данное мгновение для обоих вас не составляет только внутреннего минутного раскрытия духа и разрешения мучительных вопросов творчества и бытия. Это мгновение — мгновение рождения новых сил для дальнейшей повышенной формы вашего труда. Если человек призывается к более высокому труду с Учителем, то в его внешнюю и внутреннюю жизнь входит полное раскрепощение, освобождение от всех пут условного, поглощавшего до этого часа его духовные силы, вернее сказать, связывавшего его чехол тугими тесьмами условностей. Вновь наступающий период раскрытия “Я”, высшего сознания в каждом из вас должен быть подготовлен сознательно. Нет в ученичестве таких ступеней, куда можно было бы войти чужим опытом, чужими знаниями. Каждая искра нового Света в себе раскрывается *самим* человеком, *его* трудом. Но это вовсе не значит, что указания и опыт тех, кто пришёл к освобождению раньше, не нужны ученику. Они ему более чем нужны. Но нужны не как менторское указание, не как воспитательный приём, а как *сила Любви* и доброжелательство, которые помогают человеку вскрывать в себе и легче находить свой собственный путь в той гармонии, что ему льют Старшие Братья. Те в ученичестве “старшие”, в ком сила *гармонии* звучит громче. Учителем может быть повар на чёрной кухне, а учеником его — настоятель в игуменских палатах. Раскрепощению от условностей помогает Любовь старшего к своему младшему брату совершенно так же, как нежная мать своей лю-

ни здесь настолько, чтобы снова идти в мир и быть там *действенным* проводником людям. Тебе, Беата, надо самой отвезти свои картины в Париж, где они произведут немалый переполох. Тайна той манеры, в которой изображён мой образ на картине, тайна прозрачных красок завесы, за которой он виден, — эта тайна умрёт с тобой. Она не для широкой публики. Тебе послушание: молчать об истинном происхождении моей фигуры на полотне. Ласково улыбаясь, отвечай на все просьбы открыть секрет для преуспеяния потомства, выдать тайну красок, что ты ни у кого не просила помощи в раскрытии тайн и секретов, когда достигала побед в своём искусстве. Отвечай, что ты хорошо помнишь те штыки, какими тебя встречали при первом появлении в залах выставок. Пусть каждый сам достигает совершенства в своём творчестве. Есть вещи, которых не указывают, до которых талант доходит сам. И чем меньше ему мешают указаниями, чем больше ему предоставляют самостоятельности, тем выше и скорее талант может развиться. Не смущай своего сердца тем, что ты вынесешь в мир якобы ложь. Ты не можешь ещё так ясно видеть, чтобы знать, для чего надо твоей картине увидеть свет именно в таком виде. И потому я даю тебе в послушание охрану тайны, но не могу открыть тебе сейчас больше того, что сказал. Иди, друг, весело, легко, без смущения в мир. Ты здесь не только отдохнула, но и переродилась. Теперь пора влиять на встречных не только полотнами, но и собственным живым примером.

Я видел, как была поражена художница тем, что ей надо ехать в Париж, оставить Общину. Я читал на её лице страстную борьбу и желание умолить И. отдалить её отъезд. Но лицо И. было теперь твёрдо: точно стальной клинок, лился какой-то блеск из его глаз. Беата поклонилась и попросила Бронского помочь закрыть полотна.

И. взял руки Аннинова и сказал ему:

— Вам тоже, мой друг, я даю послушание: уезжайте обратно в Америку и не теряйте там времени в пустоте. Не занимайтесь спорами, так или не так идёт момент исторической жизни вашего народа. Все ваши споры не принесут пользы ни одному человеку. Но один аккорд, взятый вашей рукой, может *двинуть* десятки и сотни людей к новому росту, к новой силе. Уезжайте, вы здоровы. Живите эти годы так, чтобы не упрекнуть себя в последний час, что мало сделали в своём отрезке вечного труда за это воплощение. Не забывайте, что человек сам прокладывает себе путь к следующему воплощению; сам *творит* своё “завтра”; сам притягивает своё окружение следующей жизни той энергией, в которой он живёт своё “сегодня”. Изжитая сегодня *вся полнота* чувств мчит дух к *цельным* чувствам завтра. Только этим путём изживается компромисс. Поезжайте, и вот вам мой подарок.

И. снял с руки прелестное кольцо с топазом и надел его на безымянный палец левой руки музыканта. Я никогда раньше не замечал на руках И. никаких драгоценностей и не знал, что сегодня на его руке был этот перстень. Ещё раз я должен был убедиться в своей рассеянности.

Я посмотрел на лицо Аннинова. Слёзы текли по его щекам. Но какая разница была между его слезами сейчас и час тому назад. Весь он представлял из себя одну благодарность, когда благоговейно целовал данное ему кольцо.

— Я сделаю всё, Учитель, чтобы руки мои были чисты, чтобы я мог достойно нести ваш дар до конца жизни. Я не буду говорить вам, как мне грустно расставаться с

бы к Флорентийцу, как привык уже делать это всегда в тяжёлые моменты встреч с духовным разладом людей.

После первых радостных слов привета Аннинов поглядел на меня пристально и сказал:

— Как исключительно счастливо вы переменились. На моих глазах совершилось живое чудо, как из Золушки вы превратились в сказочного принца. Жаль, что я так печально настроен, и мне под стать писать сейчас только Реквием, не то я написал бы сонет, как проснулся очарованный лебедь.

Он ласково держал меня за руки, я же всем сердцем творил то великое моление, о котором говорил мне И. Внезапно я почувствовал знакомое мне содрогание во всём теле. Я понял, что моя мысль достигла Флорентийца, что Его сердце видит Аннинова, что помощь и поддержку Он ему пошлёт.

— Удивительное в вас свойство, доктор И., — сказал Аннинов, выпуская мои руки и поворачиваясь к И. — Стоило вам войти — точно живой водой всего меня вы сбрызнули. В моей душе царил такой хаос, такой разлад, что я готов был убить в себе или сердце, или ум. Я думал, что не сумею примирить их никогда больше. А вот увидел вас, и какая-то мгновенная тишина охватила меня. Я думал, что не только написать больше ничего не сумею, но даже и играть не смогу. И вдруг почувствовал сейчас страстное желание написать прелюд и воспеть в нём мир и гармонию, что вы несёте в себе.

— Вам пришла эта мысль только потому, что мир и гармония вдруг охватили вас. И вы их поняли, оценили и сразу же захотели осчастливить ими всех тех, кто может понять ваш язык — язык музыки. Нельзя дать кому-либо того, чем не владеешь сам, чего не имеешь сам. Потому-то среди проповедников новых идей так мало тех, кто проповедуют их успешно, что проповедь их чисто формальна. Призывая к жертвам и лишениям ради высоких идей свой народ, проповедники чаще всего издают законы и обязательства, исключая из них самих себя и оставляя себе все привилегии и преимущества. Те же из них, кто несёт проповедь *не* словом, а *собственным живым примером*, всегда достигают успеха. Вам хочется отдать людям всю красоту, какая вскрылась в вас сейчас. Что же может быть прекрасней такого пути, где *одному человеку* дана мощь *пробуждать к действию* благородство тысяч, мчать их дух к желанию *творить* в своей области только потому, что творчество одного *пробудило* их?

— С вами, доктор И., я не могу быть лицемерен. Вы думаете, что всё творчество, всю свою жизнь я несу для блага и счастья людей? О, если бы действительно я *мог* сказать, что это так! Правда, у меня бывают длительные периоды, длительные порывы, когда я живу в мыслях красоты. Когда я рад, что имею *что* сказать на моём языке звуков. И тогда, в эти блаженные периоды, я счастлив. Я сознаю, что *служу* своим братьям-людям, как могу и умею. Меня не волнуют вопросы политики, социальных рамок, лжи, воровства, нищеты и обманов. Я весь живу в *космической* жизни, я *стою* у порога Вечности, вижу и ощущаю *Её* величие. Мои личные силы замирают для жизни земли, я шлю тогда звучащее мне небо любимой земле. И тогда я понимаю моё место во вселенной и знаю, что *сила* Любви несёт *меня* и несётся *во мне* для земли, для людей, для священного труда: поднимать выше дух человека. В эти

периоды я сознаю себя человеком, то есть человеком, несущим века и века частицу Бога...

Аннинов ходил, широко шагая, по залу. Его лицо аскета было вдохновенно. Глаза зажглись, он глубоко дышал, казалось, он слышит, как движется вокруг него красота, как она поёт и летит в Свете, звуча и животворя. Он довольно долго молчал, потом остановился перед И. и продолжал:

— Но... краткими мгновениями кажутся эти периоды, когда я *сознаю*, что я *человек*, что во мне живёт дыхание Бога. Каждый раз какая-нибудь мразь земли кладёт конец всей моей песне торжествующей Любви. Не великое и мощное выбивает меня из священной литургии, где я живу. Но какая-нибудь низкая сплетня, ничтожная мерзость, как гнусная клевета, ревнивая страсть, заставляют меня покидать моё небо, мою музу. Я начинаю видеть людей не человеками, какими я
их видел и любил в моём счастье творчества, но гадами, смердящими ядом, наполняющими им несчастную землю. Жало впивается в моё сердце при виде тюрьмы, арестанта, нищеты и унижений, а я живу с царской роскошью, в то время как стонет и бедствует мой народ. Кнут бьёт тех, кто несёт в себе Бога. Кнутом бьют те, что носят в себе Бога!.. Несчастная, рожая в позоре, вне брака, прячась под забором, тоже несёт в себе Бога? Несчастные крепостные, продаваемые за жалкие рубли врозь с детьми, несут в себе Бога? И... Вы живёте на земле, говорите о силе Любви и мира... И помощь ваша, ощутима ли она для несчастных земли? Мне вы помогали и помогаете. Не будь вас и священного места вашей Общины, где я нахожу силы приходить в норму, я не мог бы прожить и года, я умер бы от ужаса тех страданий, что вижу, что видеть не хочу... Вы говорите, что у меня есть свой язык, которым я вещаю людям порывы к Свету. Ах, если бы вы могли прочесть тот мрак, что царит в моём мозгу! Я не в силах был пережить мук моего народа, я бежал в Америку, чтобы там найти сил жить. Я их не нашёл. Я видел то же страдание, правда, на иной лад, но страдание, нищету и рознь не менее страшные, чем на моей родине... Я встретил вас. Я понял многое. Я нашёл силы жить. Но мой дух, вернее мой мозг, не имеет сил выносить тех адских распятий, через которые мне приходится идти. Сердце говорит мне: “Любя побеждай”, а мозг говорит мне: “Ненавидя борись”. Где же истина? Где, какой путь? Я снова готов писать Реквием, от которого отказался, пожимая руку этого юноши, этой дивной расцветающей жизни. Но для чего жить и ему? Семья? Слава? Путешествия? Труд? Наука и творчество?...

Аннинов махнул рукой и снова стал шагать по залу. Теперь он напоминал фанатика. Взор его блуждал, глаза горели, он сжимал до боли свои прекрасные огромные руки, он не то готов был поднять их в мольбе и любви к Богу, не то в угрожающем жесте спора и проклятий.

— Помните ли вы, друг, как однажды в Нью-Йорке весь зал ждал вас на концерте более сорока минут, а вы всё не выходили на эстраду? Помните, как я пришёл к вам, в вашу артистическую комнату? Как мои несколько слов, переданные вам от Флорентийца, подняли вас *над* всем личным, что вам казалось *обязанностью* гражданина и высшей честью человека-джентльмена. Помните ли вы, как изменилась тогда ваша психика, как весь ваш личный бунт, которым вы были заняты, показался вам сразу мелким и недостойным человека-творца и как, наоборот, вы поняли *свою* преступную небрежность к ждавшей вас терпеливо, боготворившей вас публи-

— Как странно слышать от вас слова о вашем несчастье. Человек, порывами звуков вырывающий целую толпу людей из какого угодно уныния, даже из предельного отчаяния, и пришивающий ей крылья восторга, уверенности и энергии, вдруг говорит о собственном разладе. Мне всегда казалось, что у вас может быть недовольство собой, потому что вы слишком далеко видите в искусстве, слишком высоко слышите его, и средства земного выражения его для вас уже недостаточны, чтобы передавать людям всё то, что ваш дух постигает. Эту неудовлетворённость в художнике я хорошо понимаю. Но чтобы вас, такого гиганта, грызли сомнения и личный разлад, чтобы вы — утешитель — нуждались в утешении, этого я никак предположить не могла.

— Вот этот случай, мой друг, пусть будет тебе примером, как мало люди задумываются о душе другого, встречаясь на пути с человеком, — сказал Беате И. — По всей вероятности, ни один из вас во всю свою жизнь не останется заполненным *только* своими собственными мыслями и чувствами. В каждом из вас великий художник и слуга Учителя, как путь для помощи людям, будут на первом месте в земной жизни. И тем не менее при всём *знании* величия человеческого пути на земле ни один из вас не может найти такой освобождённости, чтобы быть радостным и счастливым. Почему в каждом из вас нет удовлетворённости? Почему нет спокойствия? Потому что по своему каждый из вас приписывает качества своего дара себе, труду именно данного воплощения. Мысль, что каждый из вас *заслужил* своё положение, что всем, что он имеет, он обязан самому себе, стоит отправным и основным пунктом жизни каждого из вас. Между тем в помыслах освобождённого человека не живёт понятие “заслужил”, как там не живут понятия страха, самолюбия, любопытства, ревности, зависти и так далее. Это понятие “воздаяния” за какие-то доблести — понятие одной земли, живущей по закону справедливости. Во вселенной всё движется закономерно и целесообразно, всё подчинено закону причин и следствий. Во вселенной нет суеверия; там всё следует *точно* закону вечного движения. Ни одно светило не может засиять ярче или раньше времени, хотя бы ему самому и миллиардам жизней на нём казалось, что оно *заслуживает* большего. Но в его окружении могут произойти катастрофы распадения ближайших к нему миров; и, если оно окажется *гармоничным* в колебании своих волн *жизни* тем мирам, что погибли близ него, оно притянет к себе свет гибнущих светил и засияет ярче. Все вековые труды человека-гения это труды *освобождения* его духа в бесчисленных земных жизнях. Это его бескорыстная преданность тому роду искусства, которое он принёс с собой. Мир его неугасимого духа, заключённый в тленный чехол, который должен был много раз гибнуть и снова воссоздаваться, возвращался на землю как повышенный тип сознания. Достигал той или иной ступени совершенства через неустанное освобождение и соединялся со всё более высоким кольцом невидимых помощников, в гармонию духа которых он становился *способным* проникать. Он соединялся с *их* гармонией, чтобы переносить Свет *их* сияния через свой проводник на землю. Вы видите сейчас, как тяжко гнетёт одарённого человека каждый из тех моментов, когда он думает о себе; когда он забывает о радости *жить*, служа людям источником Света и Любви, которые ему *шлют* его *со*трудники трудящегося неба. Пойдёмте, друзья. Скоро я покину вас на некоторое время. Не тоскуйте, не делайте таких печальных лиц. Каждый из вас уже вырос за эти несколько месяцев жиз-

— Так ли я помог отразиться на полотне твоей мысли, друг? — спросил И., улыбаясь художнице.

— Так, Учитель. Только моя рука не могла бы никогда изобразить подобного образа. Он отражён здесь гениально. Но не я изобразила его, и пусть эта картина остаётся навеки в Общине как драгоценный дар вашего милосердия.

— О нет, мой друг, — ответил ей И. — Картина пойдёт в широкий мир, пойдёт под твоим именем. Я только собрал твою мысль, твой труд и усердие. Ты всё равно сделала бы сама мой образ таким же, только не так скоро. Смирись и иди по жизненному пути так, как вижу и указываю тебе я. Становись в ряды тех наших гонцов, где уже нет “я” и “меня”, но простая радость: “через” меня. Тому легка жизнь, кто знает, что каждый миг, каждое его дыхание — только простая, чистая доброта. Не стремись выше, пока земля нуждается в тебе. На этой картине будут учиться толпы людей, ты же забудь о себе и думай о них.

И. поцеловал высокий лоб художницы и подозвал нас с Анниновым. Обратившись ко мне, он сказал:

— Лёвушка, ты видишь себя здесь красавцем. Куда же ты смотришь, друг? — рассмеялся И., увидев, что мой взгляд прикован к его лицу. — Я кажусь тебе красивее тебя? — продолжал И. смеяться.

— Ах, И., дорогой мой Учитель. Я действительно заслуживаю, чтобы вы надо мной смеялись, потому что я снова стал “Лёвушкой — лови ворон”. Но я весь так активно живу сейчас в том моменте, когда мы плыли с вами на пароходе и когда кончилась чудовищная буря. Ваше лицо тогда и ваше лицо сейчас — одинаковы. Выражение неземное было на нём тогда — оно лежит на нём сейчас, оно живёт и на картине. Мне хочется стать на колени и молиться, не говоря уже о красоте и жизни всей вашей фигуры на полотне. Поистине можно сказать: счастлив тот, кто увидит вас хотя бы только на этой картине. Он будет *знать*, что такое человек, чем он *может* быть и каким счастьем может быть жизнь для тех, кто знает, *кто* живёт на одной с ним земле.

— Хорошо, Лёвушка, но в данную минуту я прошу тебя обратить внимание на твой собственный портрет. Ты должен быть джентльменом и кавалером и поблагодарить синьору Беату за прекрасное изображение тебя.

— О, Учитель, я глубоко, более чем глубоко благодарен синьоре Беате. Я никогда не ожидал такого счастья, такой ничем не заслуженной чести, как быть изображённым рядом с вами. У меня нет слов, чтобы благодарить вас, синьора. Но, если когда-либо сила и красноречие моего пера смогут быть равны таланту вашей кисти, я воспою вам славу в романе. И постараюсь по памяти так же точно отобразить ваш портрет, как вы, по словам нашего Учителя, отразили мой. Всё, чего я желаю — чтобы люди так же много пережили великого и трепетного у вашей картины, как пережили подле неё все мы.

Аннинов поцеловал руку художницы и тихо сказал ей:

— Если бы я был так же молод, как этот пробуждённый лебедь, я написал бы вам сонет “Волшебница-освободительница”. Как много я понял из ваших полотен сейчас. Я пришёл сюда несчастным и ухожу счастливым и утешенным.

Художница, поцеловав прекрасный лоб Аннинова, сказала:

ке? Тогда ваша духовная жизнь, жизнь творца и музыканта, висела на волоске. Вы могли остаться в артистической комнате и совсем не выйти к ждавшей вас толпе. И тогда вы сами *сожгли* бы плоды всех своих вековых трудов в искусстве в своём личном, эгоистическом бунте. И в этот миг сгорел бы для вас *весь* путь красоты. Не только единить людей вы не смогли бы больше, но для вас *закрылось* бы звучащее небо. Вы говорите, что нет ваших сил выносить распятия, через которые вы проходите этапами вашего искусства? Но искусство, каждый шаг *в нём* вперёд, приходится выносить с трудом лишь тому человеку, который выхватил кусок красного огня с неба и не выработал *того самообладания*, где чистота сердца *равна* мощи духа. Если бы вы в вашем сером дне *каждое* мгновение *жили* у черты Вечного, вы бы *знали*, что у человека нет двух миров, разъединённых во вселенной, нет *двух* мест для его творчества и для его служения людям. Вы не различали бы людей от тех сияющих гениев, которых видите в часы творчества, но знали бы твёрдо, что *каждое* мгновение только и может быть дыханием Вечного. Я спрашиваю вас, что заставляет вас страдать от тех или иных *людских* пороков? Вглядитесь, вдумайтесь, и вы увидите: только те трещины неуверенности в *вашем собственном* миросозерцании, которые вы сами расширяете, *выливая и прибавляя* к яду людей *своё раздражение*. Посмотрите, жизнь в этом доме была нерушимо спокойна, когда вы сюда вошли. Первое, что вы сказали: “Наконец-то! Наконец я нашёл мирный угол! Здесь я буду творить!” Много ли прошло для вас здесь мирных трудовых дней? Родина тревожит вас? Смута и нищета народная? Мелкие люди, обман и фальшь? Но ведь сейчас всё это от вас так физически далёкое клокочет бурно в вас самом. Если бы вы *могли* видеть себя, *видеть* то кольцо огней, в котором вы движетесь, как в костре, и которое вы же сами создали, вы пришли бы в ужас и отчаяние и, пожалуй, ваш Реквием был бы готов завтра. Принося земле звуки, которые помогают людям жить, вы забыли о силе дисгармонии, которая бьёт людей, как кнут, всегда, когда *вы творили*, измученный своим собственным разладом. Задумайтесь, дан ли вам дар, чтобы им *бить* людей? Кроме знания своего места во вселенной, у гения есть ещё и обязанности, разнящиеся от обязанностей прочих людей. Гений, неся свои дары земле, не может выбиваться из *лёгкой радости:* быть *гонцом* Света. Для гения нет пути, обычного для средних дарований. В его труде всегда *со*трудничество неба и земли. Но труд-счастье переходит для него в наказание, если *он* перенёс центр тяжести так, что *душа* его *слабее* мощи его дара. И в этих случаях, друг, помощь может быть только одна: надо забыть о себе и думать о тех, для *кого* вам дан дар. Вы сказали мне прошлый раз: “Я не могу безнаказанно спускаться на землю”. Да, если вы *спускаетесь* на землю, то это будет всегда трагедией. Лично для вас это будет наказанием и проклятием, для дара вашего — потерей, а для людей — лишением, ибо гений — это человек, *не разъединяющийся* с Теми, Кто с ним вместе творит. Творить... О, это не значит всегда побеждать или неустанно заниматься своим ремеслом и его деталями. Это значит *крепить своей* верностью искусству *связь* людей с Теми старшими братьями, что приняли на себя *со*трудничество земное с вами. Каждый раз, когда гениальное вдохновение было *задержано* вами или *растрачено зря*, не достигнув цели, вы оставляли энергию Любви неиспользованной. И *она возвращалась* к своему первоначальному источнику, не принеся пользы и счастья людям, так как вы, её приёмник, были не в силах её принять и передать встречным. Вы возмущаетесь ло-

жью, обманом, воровством. Подумайте глубоко, встаньте в космическое понимание своей жизни и решите сами: чем отличалось ваше поведение в этих случаях от поведения любого вора, обворовывающего свой народ? Ведь вы, имея все возможности, *не* передали им сокровище, которое было послано через вас *им.* Не вам оно было дано, но *через* вас *им* назначалось. И вы лишили *их* не только красоты как таковой, но и знания новых сил в себе, новых восторгов, которые могли и *должны* были пробудить в них энергию Света для труда и *действия* в *их* простых днях и отношениях с людьми. Не стойте поражённым, друг. Сделайте выводы и учтите их в будущем. Чем выше человек, тем больше он должен думать о тех своих братьях, что мало имеют духовных возможностей. Не нищетой материальной потрясайтесь. Но нищетой их духовной, которую вы много раз делали ещё беднее. Ваш путь — не путь политика и устроителя земли, но путь ускоренного пробуждения духовного Света в людях через музыку. Не путайте этих путей. Можно и должно быть патриотом, честным и деятельным гражданином своего отечества. Но путь, каким несут своё гражданство, свою любовь к родине и свой труд для неё, остаётся индивидуальным путём, и перепутывать секторы труда вовсе не значит расширить своё собственное сознание или сделать свой труд более полезным для сознания встречных. Пойдёмте с нами. Вам необходимо пройтись по воздуху. Кстати, вы посмотрите новые картины синьоры Скальради. Не стойте же в такой недоумённой, рассеянной позе, — прибавил И., улыбнувшись артисту. — Можно подумать, что вы вывели из моего разговора заключение, что музыканту, кроме его музыки, закрыты все другие пути знания и деятельности. Это неверно, и я этого не говорил. Не суживать горизонт дел и мыслей, но ширить его так, чтобы *вся* вселенная вошли в ваше сердце. И чтобы вы стали *сыном её*, а не только сыном родины. Гению все пути открыты, но только тогда, когда он не бьётся *между* небом и землёй, а когда *оба* мира *слиты в нём воедино*, ибо в нём самом Гармония кончила счёты своего “я” с единой землёй.

Взяв под руку растерянного Аннинова, И. вывел его из дома и пошёл по направлению к Общине.

— Я опомниться не могу! Я мог себе представить себя в разных ролях. И чаще всего, признаться, я мнил себя великим музыкантом, просветителем, благодетелем и джентльменом. Но чтобы я оказывался в конце концов вором!.. Слуга покорный! Этого только недоставало на мою бедную голову.

Аннинов был так комичен в своих жестах, изображая, как он представлял себе своё величие и куда попал, поверженный словами И., он так уморительно размахивал руками и делал такие громаднейшие шаги, голос его взлетал до высоких нот и падал вниз. Забыв о нашей пыли, он поднял целое её облако, в котором казался огромным привидением. Я не выдержал и залился своим хохотом.

Музыкант остановился, точно громом поражённый. Он смотрел на меня во все глаза, очевидно крепко забыв о моём присутствии. На его подвижном лице боролись разные чувства, но всё казалось мне так смешно, что я не был в силах остановить своего глупого смеха.

— Вот она, комедия человеческой жизни! — сказал наконец Аннинов. — Я распят, а ему смешно! Каково же действительно, должно быть, Величайшим из людей наблюдать мелкого воришку, расточающего без пользы *их* духовное добро! О Господи, только сегодня, сейчас я уразумел, *что* это такое “Вечное Движение” и *кто* —

Я обернулся к И. Лицо его всё сохраняло то же выражение мира и благословения Жизни. Он держал свою левую руку вытянутой, подняв ладонь к полотну; я повернулся снова к картине, и фигура И. на ней показалась мне ещё законченней. Лицо его на картине сохраняло в точности то выражение, что сияло сейчас на его живом лице.

Я терялся в догадках, не понимая, что за игра света совершается на полотне, и думал, не исчезнет ли чёткость образа И. на полотне так же внезапно, как сказочно быстро она там проявилась. Но фигура сохраняла свою законченность. И. опустил свою руку, и в ни чем не нарушаемой тишине раздался его голос, голос такого очарования, такой ласки, каких я ещё никогда не слыхал.

— Не плачьте, мой друг и брат. Вы присутствовали сейчас не только при первом крещении картин художницы. Вы видите и новое её рождение. Дух человека — на ваших глазах — принял новую сферу влияния в себя. Человек-творец не может стоять на месте. Как нет двух нот, имеющих одинаковое количество колебаний в физическом мире, — что вам, музыканту, хорошо известно, — так нет и двух планов, которые может отражать художник, оставаясь включённым только в план физических колебаний. Дух, не имеющий мощи держаться в атмосфере своих невидимых *со*трудников, не может двигаться и повышаться — как провод, как гонец неба — для помощи людям земли. Вы сейчас наглядно видите помощь, *со*трудничество наше с людьми. Силой творческой Любви я привёл в образ мечты Беаты, мечты всей её жизни: изобразить кистью Учителя и ученика. У неё не хватало уверенности и спокойствия. Но, когда верность её победила даже страх смерти, помощь пришла гораздо скорее, чем её руки могли бы закончить картину и написать ту фигуру Учителя, о которой она мечтала. Взгляните на синьору Беату. Разве это та женщина, которую вы только что видели? Это вновь рождение к жизни и творчеству существа совсем иного. Это уже жизнь после смерти всего личного; жизнь нашего гонца для труда на земле, для единения людей в красоте. Перестаньте страдать. Поймите, путь Голгофы у каждого свой. И этот путь на земле — путь единственный для каждого, чьё сердце предназначено быть источником знания. Только умирая страстями, творец-человек начинает путь творца-слуги и помощника Учителю. Дышите, не яд пошлости вбирая в себя, но дышите, *сжигая вокруг себя* то несчастье, что выносят люди на поверхность как показное и условное, думая, что оно лучшее. Дышите так легко, чтобы каждый ваш звук *мог* проносить ноту сердца вашего Учителя. Чтобы он звучал не только как вашего сердца нота, но *всегда*, как нота того аккорда, что родился у сердца Учителя.

И. обнял Аннинова, подал его руку мне и подошёл к Скальради. Она всё ещё стояла на коленях, он обнял её, поднял с коленей и прижал к своей груди. На мгновение мне показалось, что оба они исчезли и только пламя — огромный шар, сияющего оранжевого цвета, со всевозможными языками и полосами всех цветов, — пламя дрожащего огня колеблется и движется в том месте, где они стояли.

Через несколько минут пламя рассеялось, и я снова увидел И., державшего за руку художницу. Но Боже мой! До чего она преобразилась. Её глаза сияли, вся фигура отражала силу и волю, движения, походка, когда она решительно подошла к полотну, были быстры, гибки.

— Я знаю, Учитель, что мне надо или вступить в новую фазу жизни моего духа и в искусстве, и в делах дня, или смерть должна наступить. Я знаю и чувствую, что я остановилась всем своим сознанием; я начинаю понимать, что в этой стадии развития больше ни жить, ни творить не могу, что ни духу моему, ни творчеству нет дальше развития, пока я не двинусь дальше по пути освобождения. Но... открыть перед вами сейчас мою новую картину — это и значит умереть Беате, — той, что жила до сих пор. Да будет ваша воля выполнена. Хватит ли у меня сил родиться вновь у полотна, которое я открою вашим глазам, я не знаю. Быть может, я там умру, но я иду.

Художница направилась к противоположному выступу скалы, где я только теперь заметил большую раму, закрытую полотном. Как медленно она шла! Казалось, ей вдруг стало сто лет и на каждой её ноге висят пудовые гири. Я подумал, что она не дойдёт, такие усилия она делала, чтобы пересечь небольшую сравнительно площадку.

Наконец руки её коснулись шнура, который она с трудом потянула. Первые её усилия не привели ни к чему. Я уже хотел броситься ей на помощь, как взгляд И. остановил меня и одновременно напомнил мне о творческом *действии* сердца и мольбе к Флорентийцу. Я почувствовал, как сам И. помогал Беате, вливая ей уверенность и мощь. Я сосредоточил все мои мысли на призыве в помощь ей Флорентийца и не отрывал моих глаз от художницы.

Она всё продолжала тянуть шнур, и когда уже, так мне показалось, силы её иссякли, а она всё же не выпускала шнура и почти падала, полотно вдруг дрогнуло и сразу раздвинулось. От чрезмерных усилий и внезапно подавшегося полотна художница упала на одно колено и не могла подняться, оставшись в коленопреклонённой позе, с тяжёлым шнуром в руках.

В маленькой группе вокруг И. мне послышалось сдержанное рыдание. Я повернулся туда, оторвавшись глазами от лица Беаты, и увидел Аннинова, который, закрыв лицо руками, весь вздрагивал от тяжёлых рыданий. У меня ещё не было времени взглянуть на полотно, так как лицо Скальради притягивало меня, как магнит. Теперь, взглянув на И., который смотрел на картину и, казалось, забыл всё окружающее, я узнал в его лице то необычайное выражение мира и благословения, с которым он стоял на корме парохода после бури, в тот момент, как за нами пали два столба смерча на Чёрном море.

Я почувствовал, что сейчас совершилось нечто великое, повернулся к полотну и отскочил в полном смущении. На меня шёл, неся на плече Эту, я сам. То ли игра света, то ли на картине действительно была ухвачена экспрессия, почти невероятная для кисти, но мне показалось, что Эта собирается спрыгнуть с моего плеча и я ему улыбаюсь. Я попробовал, нет ли на моём плече моей дорогой птички.

Но на этом картина не кончалась. Из-за прозрачной завесы между двух колонн видна была фигура И., к которой мы с Этой спешили. Но что творилось с этой фигурой, — я понять не мог. Фигура И. на моих глазах становилась всё чётче, хитон его делался всё яснее оранжевого цвета, а в руках его были те оранжевые цветы, что росли и цвели на дереве в его домике в скале. Одна рука была вытянута по направлению к Эте, как бы предлагая птице цветы.

Его носители на земле и над нею. Носители Его на земле только те, что *могут* понять — внутренней, интуитивной верностью — *силу* в себе *не* как *собственный* дар, выработанный своими достоинствами, а как движущееся во времени *слияние* с Силой, живущей вечно. Ах, если бы мне больше никогда не забыть ни на минуту, что *моя* земная жизнь — не простое чередование дней, удач или неудач в них. Но Движение *Силы*, вечно живущей и вечно творящей. *Движение Её* в творчестве, к которому я только и *могу* присоединиться, сливаясь в спокойствии и чистоте с Нею в музыке. Как легко и просто было бы мне тогда жить! Каким озарённым и наполненным казался бы мне мой каждый день, вереницы которых я пропускаю сейчас так бессмысленно, тоскуя по небу, воруя его дары у несчастной земли и жалуясь на своё одиночество.

Мне было глубоко жаль Аннинова, голос которого теперь звучал глухо и скорбно. Я чувствовал себя виноватым и хотел уже обратиться к нему с извинением, как снова заговорил И.:

— Друг, дело не в том, что в эту или другую минуту вы *помните* или забываете, что вы *гонец* высших Сил на земле. Но дело в том, чтобы вы, человек гениально одарённый, помнили, что на вас лежит ещё и *долг* небу. И долг этот заключается в том, чтобы *сердце* ваше *не мрачнело* так легко, подпадая влиянию чуждых вам эманаций. Удары этих чужих мыслей только тогда разбивают психику человека, когда он слаб *в своей верности* Тем, Кого он признал высоким источником своего благоговения, *чьи* идеи его пленяют, *чьё* озарение он считает счастьем своей жизни. Много творческих восторгов вы вызвали в толпах людей, передавая им плоды своего счастливого дара. Не одну Голгофу вы прошли, чтобы войти в ту ступень творчества, где *могут* отдавать люди-гении своим братьям Свет слышимой или видимой ими Гармонии. Вы часто задумывались о встречах с отдельными людьми. Вы не раз поражались, почему вы не дали счастья ни одному живому существу подле себя. Но вы никогда не задумывались о ваших встречах с толпами людей. Почему вы ни разу не подумали, как велико ваше счастье, что вы *можете* вводить в храм Света, в блаженство Любви и мира толпу тех, кто пришёл слушать вас? Как же вы представляете себе ваш подвиг пробуждения к высоким чувствам и силам толп людей? Можете ли вы *безнаказанно* для вас проносить по земле *молчание* этих толп, *их* умолкание к мелочи земли и *их* слёзы благоговения, восторга и благодарности их ощущения великого сияния неба, когда вы играете? Восторг, вызванный в человеке, как и ужас, и скорбь, и страдание, — всё ткёт нить связи, *за которую* гений несёт гораздо больший ответ, чем простой человек. Если гений вытащил людей из болота страстей в сияющее благородство, хотя бы только на те часы, когда они его слушали, читали, смотрели, то море их благородства и благодарности ляжет *стеной* вокруг гения, если его *гордость* и сознание своей *власти* над ними было преобладающим чувством. В этих случаях связь гения с толпами людей может стать тяжёлой рамой, упругой перегородкой между ним и его окружением, между ним и его Учителями. Я не говорю о тех печальных случаях, когда гений вводит тысячи людей в заблуждение, прививая им самые разнообразные пороки и затемняя им путь к Гармонии всякими видами собственных изломов, выдавая их за новые искания Истины, к какой бы отрасли творчества эти изломы ни относились. Восторги, вызванные в людях, все слёзы, скорби, страсти, подобранные вами, исцелённые или утешенные вашей

музыкой, если вы не радовались, что можете подбирать их усердно, благоговейно в чашу вашего сердца, с тем чтобы подать её как слезу вашей радости — слезу кристальной чистоты, как Господне вино — вашему Учителю; если вы не молили вашего Учителя *сжечь* все эти страдания в огне Его пламенного духа, они лягут вокруг вас, строя только ещё новые перегородки условного между вами и ближними, между вами и вашими Учителями. С этого дня, подходя к роялю, выходя к толпе, не думайте больше о той или иной *форме* своей передачи, о силе и степени *своего* темперамента и возбуждения. Но думайте о *величии* момента, в котором принимаете участие: о пробуждении в людях *новых* сил к жизни, о *раскрытии* в них совершенно иного *пути* для действий в жизни только потому, что *через* вас шёл *им* толчок. Вам, выходя на эстраду, надо помнить одно: руки ваши ударяют вместе с рукой вашего Учителя по клавишам; звуки ваши — это пули, летящие и светящиеся, метко бьющие каждого в толпе. *Как* они бьют, *что* ранят и пронзают в сердце человека, об этом вам не дано задумываться. *Ваше* дело — *знать*, что нет *пустого* пространства *между* вами и Теми, Кто сходит в своём духовном образе *творить вместе с вами.*

Мы подошли к нашему дому и встретили Бронского и Скальради. Артист нёс огромный зонт-палатку и ящик с красками, а в руках художницы, прятавшейся под зонтом вместе с Бронским, было целое ведёрко со всевозможными кистями.

— Мы поспели как раз вовремя, чтобы полюбоваться вашими новыми картинами, синьора Беата, — сказал И. художнице.

— О, что вы, доктор И., — беспокойно воскликнула та. — Одну картину я пишу по памяти, без модели, как вы хорошо знаете, и показать её совсем не могу. Это только ещё жалкий набросок. Другая, хотя модель служит мне усердно и тратит для меня очень много времени, всё же ещё не закончена. Я не могу её показать, так как разочарование ваше и ваших друзей может убить во мне всякое желание работать дальше. А вы знаете, сколько раз уже разочарования в моей работе доводили меня почти до психического расстройства нервов.

— Однако вещи, о которых вы много раз уже говорили, что они не готовы, покупались лучшими картинными галереями и были признаваемы великими художниками как законченные и первоклассные ценности. Ведите нас, синьора, в своё святая святых. Пора уже вам утвердиться в верности своему гению, а не ломать линию творчества, всё время делая зигзагообразные дорожки и заставляя целый круг ваших помощников и спутников распутывать петли, создаваемые вашей неуверенностью и сомнениями. Если бы вы могли себе представить ваш путь искусства в виде каната, вы увидели бы на нём целые тысячи узлов и узелков, которые связаны любящими руками ваших милосердных друзей. Идёмте сейчас же. Хоть в эту минуту соберите энергию радости и не отрицайте, а утверждайте и ведите нас смотреть ваши новые победные достижения.

Скальради стояла в нерешительности, и только сейчас я заметил, как много в её фигуре, взгляде и, главное, в движущихся всё время руках и пальцах неуверенности. Никаким счастьем и не веяло от этой фигуры женщины, которую И. назвал сейчас гением.

— Если бы на моём художественном пути не было связано так много узлов вашими руками, Учитель, я бы не послушалась вас. Но ваше слово для меня закон, и я повинуюсь вам, не отвечая за последствия, какие будет иметь этот преждевременный, по-моему, просмотр, — тихо и печально ответила художница.

Она повернула обратно, миновала несколько аллей и вышла к гроту, войдя внутрь. Я никак не мог сообразить, куда мы шли. Я знал несколько гротов, однако в этом не был ни разу. Здесь было темно и прохладно, но рисовать здесь было совершенно невозможно. Между тем Бронский не закрывал зонта и шёл в темноте уверенно вперёд, где было ещё темнее.

Через несколько времени ходьбы по широкому, прохладному и полутёмному коридору грота мы вышли на большую площадку, где росли три высокие пальмы в сыпучем песке и у выступа одной из скал лежал прелестный мехари.

— Ну, уж мехари-то вам совершенно не нужен больше, — смеясь сказал И., — Нельзя сказать, чтобы вы были очень милосердны, синьора Беата, и спешили возвратить мехари Зейхеду.

— Вы сами увидите сейчас, Учитель, что картина ещё не окончена. Тогда и решите, нужен ли мне ещё чудесный мехари, — всё с тем же волнением ответила снова художница.

Она поставила на землю своё ведёрко и прошла к самой дальней скале. Только теперь я увидел там нечто огромное, вроде движущегося шкафа, который Скальради с помощью Бронского поворачивала к нам лицом. Большущее плотное покрывало было отдёрнуто, и моему взору представилась картина — нет не картина, а живой Бронский в одежде бедуина, на живом мехари. Поза его, лицо, руки — я так и ждал, что сию же минуту Бронский спрыгнет с мехари и скажет мне: “Лёвушка, где вы всё пропадаете? Я соскучился”. Я вскрикнул от восторга, не мог сдержать порыва радости, бросился к художнице и, обхватив обеими руками её шею, горячо поцеловал. Только когда раздался общий смех, я понял, какую мальчишескую выходку я снова устроил, и переконфузился совершенно.

— Простите меня, синьора Беата, — сказал я, целуя обе руки художницы. — Я не мог сдержать восторга и благоговения перед таким совершенством. Ведь это не портрет Бронского, о котором я мечтал для него, — это сама жизнь. И увидеть такую картину — значит понять совершенство гения, для которого “знать” значит “уметь”.

— Я также прошу вас простить Лёвушку за его восторженное и непрошеное объятие. Он выразил и за нас восторг в своём поцелуе. И я, целуя эти руки, воздаю только должное силе чистого сердца, которое сумело обогатить мир такой красотой, — сказал И. — Уверьтесь же наконец в силе своего таланта. Отдайте себе отчёт, что не сомнение заставляет вас прятать свои картины от глаз людей, а страх, претворившийся в вас в ложное самолюбие. Начинайте с этого момента освобождаться от страха. Представьте себе, что вы живёте сегодня свой последний день. Неужели у вас не хватит сил сбросить плесень страха и сомнений? Неужели не сможете воспеть Жизнь без язвы отрицания и страха? Начинайте новый этап творчества, крепко возьмите мою руку и в полном самообладании покажите нам вторую картину, — говорил И., держа обе руки художницы в своих руках.

Ручьи слёз катились по прекрасному лицу Беаты. Теперь это лицо было очень бледно, но совершенно спокойно.

не убил. Всю жизнь буду быка того благословлять и благодарить судьбу за пережитый ужас. Бегу, друг. — И засмеялась Марта, как давно не смеялась, чистым, радостным смехом и побежала, как бегала в былые годы взапуски с мужем.

Остался Александр один в благодатной тишине цветущего лета и снова стал думать о словах отца, что приснились ему ночью. Только стал он их передумывать, как снова почудился ему голос отца, и слова его будто ясно зазвучали:

— Ты никогда не один, сын мой. Всегда я с тобой, если сердце твоё спокойно, мысли чисты и радостно идёшь по своим делам дня. Всякие бывают дела дня. И простые, и очень сложные. Но все они важны постольку, поскольку творил ты их *со мной, для меня* и нёс в них каждое мгновение одно *знание*: всё, что живёт в *видимой* форме, — всё есть *Вечное*, размноженное по каплям. И каждая капля Вечного — целый отдельный мир. Человек — одна из форм Вечного, и в нём живёт *весь* мир страстей, как и *весь мир красоты*. Нет людей, обладающих преимуществами духовных сил. Но есть люди, великие труженики, отдавшие много сил на труд разыскивания и распознавания, *как* войти в тропу любви и как *саму любовь* так *подать* своим ближним, чтобы она не была им тяжела. Много есть людей любящих, но мало таких, что *умеют* подать свою любовь, не требуя взамен *себе* благ и благодарности за неё. Много есть матерей и отцов, любящих своих детей, но мало кто из родителей не давит детей своей любовью. Редко родители умеют уважать своих детей и себя в них настолько, чтобы быть с ними дружными и радостно воспитывать их. Мало кто из родителей понимает связь между живыми тружениками земли, которых они видят, и такими же тружениками неба, которых они не видят, и потому воспитание ими детей не может быть ни правильным, ни радостным. Ты пойми эту связь. Неси свой труд дня и сознавай, что *ты* связан со всей вселенной не только мыслями и делами, но и каждым вздохом. Если утром ты проснулся и уныло вздохнул, так ты уже начал свою связь с людьми плохо. Каждый, кого ты встретишь, хотя и ничего не знает о твоём унынии или раздражении, но он уже не так весело и просто ответит на твоё приветствие, как мог бы это сделать, если бы сердце твоё было чисто от забот о самом себе и твоя простая доброта была бы лёгкой и спокойной. Запомни слово моё и воплоти его в дела земные: нельзя себя отъединить от людей, можно только или способствовать миру и счастью людей своим спокойствием и выдержкой, или можно ещё больше засорять пути людей своими страхами, невоздержанностью и постоянными мыслями о самом себе. Не сомневайся. Действуй просто и спокойно в каждую текущую минуту до конца, со всею полнотою чувств и верности, и ни одно мгновение твоей жизни не пропадёт в пустоте, хотя бы тебе казалось, что ты делаешь самые маленькие дела.

Александр увидел издали подходившую из-за поворота дороги Марту с детьми, и голос отца перестал слышаться. Улеглось волнение, вызванное сомнением, так ли он поступал. Он мысленно благодарил отца за поданные ему помощь и просветление и понял, что нет дел малых или больших, что не так важно, скоро ли он доберётся до города, где ему назначено жить, а важно, как соединить в себе понимание истинной чести и доброты с умением передать это понимание каждому встречному.

“Только бы *всегда* помнить, что в каждом человеке живёт огонь Жизни, и Ему служить, к Нему обращаться, а не к тому, что видишь как внешнюю форму”, — подумал Александр.

Глава 12

Мы читаем книгу в комнате Али. Древняя сказка

Когда мы вышли из комнаты омовений, я взглянул на Бронского и был тронут необычайным для него выражением лица. Вместо всегдашней бодрой энергии и радостности, которые сменили теперь его прежнее скорбное выражение, на лице его лежал отпечаток полной растерянности. Он, этот огромный человек, напоминал сейчас ребёнка и старался держаться ближе ко мне, со страхом ступая по белым плитам коридора. Очевидно, не только внешний вид домика Али, но и самая его атмосфера сильно действовала на чуткую и тонкую организацию артиста.

Я вспомнил, как я сам был поражён, когда И. ввёл меня сюда в первый раз, как страдала Андреева в комнате Али, и всем сердцем воззвал к Флорентийцу, прося его помочь мне облегчить моему другу его первые шаги здесь. Я знал милосердие Флорентийца, знал и мужество Станислава; и я не сомневался в успехе нашего сегодняшнего дела, если буду мужествен и чист я сам.

Когда мы приблизились к заветной двери комнаты Али, я вложил в замок ключ, распахнул широко дверь и увидел на пороге сияющие огненные знаки.

— Видите ли вы огненное письмо, мой друг? — спросил я Бронского.

— Нет, Лёвушка, я совсем не вижу никакого письма, но двинутся вперёд я не в силах. Ноги мои точно прилипли к полу, и сам я как будто весь налит свинцом. Мне не победить притяжения земли и не пройти в тот свет, что сияет за дверью. Идите один, дорогой мой мальчик, я буду, как в карауле, стоять здесь и ждать вас, сколько бы вы там ни пробыли. Верьте, если бы я здесь должен был бы даже умереть, истощённый силой этой невероятной тяжести, я не сдвинусь с места. Я буду вас ждать. Если бы мне случилось у этой двери умереть, передайте И. моё ему благословение, мои ему верность и благоговение. Идите, я чувствую, что через несколько минут я упаду.

Голос Бронского, хотя очень глухой, звучал ласково, от него веяло миром и всё той же детскостью. Я ему сказал:

— Вот какие здесь горят слова, Станислав: “Только мужественный, до конца верный и умеющий молчать о тайне своего пути может войти сюда”.

Над дверью сверху сияло:

“Входи, путник, не испугавшийся тяжёлой ноши. Входи, учись, будь благословен. Уйди отсюда с новым знанием и приложи его к своему творчеству так, и там, и теми способами, что подскажут тебе твои дары приспособления и твоя интуиция. Помни, путник, что ученику не даются знания, чтобы они лежали под спудом втуне. Но даются для того, чтобы он, понимая и учитывая здравый смысл земли, нёс их ей. Чтобы он встречал в них каждый свой день, как чудесное счастье прожить своё “сегодня” как благословенный день мужества, мудрости и единения с трудящимися неба и земли, в неугасимой любви Великой Матери".

Я увидел мелькнувшее на мгновение, улыбнувшееся мне лицо Флорентийца и услышал его голос, приказывавший мне подать руку моему брату.

Я повернулся к Бронскому, подал ему руку и спросил, хорошо ли он понял и запомнил всё, что я ему перевёл, что надписи ещё горят и я могу ему прочесть их вторично. Тяжело опираясь на мою руку, он мне ответил:

— Я понял и запомнил. Мне теперь гораздо легче, и, если вы позволите мне опираться на вашу руку, быть может, смогу пройти в комнату.

Письмена погасли, мы вошли в комнату и подошли к столу Али. Я усадил Бронского в кресло возле стола, и, пока я открывал крышку стола и разворачивал книгу, что я делал умышленно медленно, артист собирался с силами. Но я всё ещё читал на его лице растерянность от невероятного изумления. Я помолчал немного у раскрытой книги, и наконец он сказал:

— Я готов, читайте, Лёвушка.

И это был уже обычный бодрый голос моего друга. Я стал сразу переводить ему текст.

«Люди, ища ученичества, стараются соединить в своей обычной жизни идеи высокого духа с самыми простыми делами дня. До тех пор пока они ищут “теоретически” соединить небо и землю, их время пролетает бессмысленно, не принося плодов творчества ни им, ни их встречным.

Только с того момента, как дух их освободится от гнёта постоянной мысли: “Что говорит и чему учит тот или иной Учитель человечества” и *сам* человек начнёт понимать, что “путь” — это и есть *он сам*, — с этого момента его жизнь земли обретает смысл и он перестаёт тратить время в пустоте.

Передвигаясь день за днём, постепенно усваивая из опытов труда, в чём застревал *его собственный* дух, где он *мог* поступить по высокому зову, а поступил по зову плоти и *само*любия, человек приходит к первому знанию:

Он движется или останавливается только потому, что *входит* в волну движения всех его окружающих *любя*; или проходит свой день, стараясь *отстраниться* от серых дел земли и взвалить их на плечи тем, кто не ищет высот духа и доволен материальными буднями.

Просыпаясь к духовной жизни, надо помнить, что *встреча с Учителем* есть всегда результат *радостно* и *легко* проживаемой земной жизни. Только тот, кто умеет нести своё *тяжкое бремя дня*, улыбаясь встречному и помня, что *чужая* скорбь священнее своей, — только тот найдёт Учителя. Ибо путь к нему ведёт через любовь к людям.

Страстное желание *быть* учеником и такое же страстное и бурное изживание *своего* дня не приведут к встрече до тех пор, пока страсть не перейдёт в радость.

Без сомнений в самом себе, без измен и колебаний *никто на земле* не может выработать верности до конца. Но однажды путём распознавания поняв, как шатка *верность в себе*, человек устремляет всё своё внимание на укрепление *этого* качества. Когда такой момент пережит, человек, постепенно расширяясь сознанием, вступает на путь освобождения и мира, то есть на путь ученичества.

Однажды поняв, что сила собственного раздражения и требовательности к людям составляет *главные* крючки собственного закрепощения, ученик начинает сбра-

здесь нужен. Жизнь сама укажет тебе и день и час, когда тебе больше здесь оставаться не будет надобности. Живи и не жди благодарности за *свои* труды, ибо они *мои*. Я тебя послал, чтобы ты был моими ногами и руками, моею головой и моим сердцем на земле. Живи же на ней до тех пор, пока мне твой труд на ней нужен.

Только хотел Александр поблагодарить отца за его слова, вскочил с постели, как видит, что уже светает, и слышен голос Марты, зовущей его вниз завтракать. Удивился Александр и никак не мог взять в толк, куда же девался отец и каким образом уже утро, когда минуту назад светил месяц. Вторично раздался голос Марты.

— Вставай, Александр. Ты ведь сам наказал будить тебя с рассветом. Мне так жаль тебя тревожить, но я не решаюсь нарушить твой приказ, — говорила Марта, стоя на лестнице.

— Иду, иду, Марта, через минуту буду, — весело ответил юноша и побежал к колодцу.

Вскоре, оставив детей под надзором верного пса, вышли Марта с Александром на луг. Дорога была не дальняя, всё ещё спало, и даже стада ещё не выходили из деревни. Когда Марта привела Александра на луг, где у всех было не только всё скошено, но и свезено, из глаз её снова полились слёзы.

— О чём же ты плачешь, Марта? Тут мне работы не больше, чем на три-четыре дня. Я косарь первоклассный, — улыбаясь несчастной женщине, сказал юноша.

— Ах, Александр, ты ошибаешься. Тут и в неделю не скосить тебе одному. Да кроме того, как вспомню радость былого, как весело мы с мужем косили да убирали сено, так в сердце точно игла кольнёт, — всё ещё плача ответила Марта.

— Это нехорошо, сестра моя, вспоминать прошлое слезами, если говоришь, что мужа ты любишь. Это большая неблагодарность к нему. Ты всё о себе думаешь, что у тебя было да чего ты лишилась. А я тебе говорю: не трать времени попусту на слёзы. Живи бодро, зови мужа и каждую минуту думай, что он рядом с тобой. Старайся так поступать, чтобы ему нравились твои поступки, чтобы не ложилась тень скорби твоей на его лицо, но чтобы свет твоей улыбки ему облегчал путь во всякой темноте, куда бы он ни попал. Не теряй и сейчас времени зря. Иди домой, приготовь обед, возьми детей и приходи с ними сюда. К обеду я накошу травы уйму. Принеси вторые грабли, часть пересушим, часть сложим вечером в копны. Беги весело, да смотри, чтобы слёз я больше не видел.

Стёрла Марта слёзы, постаралась улыбнуться, но у неё вышла гримаса вместо улыбки.

— Нехорошо, уж как нехорошо, — снова сказал Александр Марте, начиная косить богатырским размахом. — Неужто дети, такие милые дети, тебе даны на то, чтобы ты их жизнь своими слезами темнила? Думай о них. Старайся их рассеять и обрадовать каждым словом. Особенно сегодня, когда они недавно так напуганы быком. Старайся, чтобы они забыли страх перед стадом. Беги скорее домой и возвращайся с обедом.

Давно не слышала Марта ласковых слов. Давно никто не интересовался её делами, её детьми, её жизнью. Горячая волна благодарности наполнила сердце женщины, она радостно улыбнулась и сказала:

— Прости, милый Александр. Так ты меня утешил, так ты меня ободрил, что и высказать тебе не умею. Счастливый то был день в моей жизни, когда бык меня чуть

— Коса готова, теперь спать пора. Нет ли у тебя горенки, где бы мне поселиться у тебя? Да и звать тебя как, не знаю, милая сестра, — сказал он, весело поглядев на спящих малюток.

— Есть у меня светёлка наверху, да не знаю, будет ли тебе там удобно. Она очень маленькая, но постель там удобная. А имя моё — Марта, — ответила женщина, подметив ласковый и нежный взгляд, брошенный Александром на её детей, и на сердце её стало ещё теплей.

Взяв с печки вторую крошечную лампу, Марта проводила гостя в светёлку, поблагодарила его за доброту, ещё раз благословила за своё и детей спасение от смерти и спустилась вниз.

Впервые тёмная ночь не видала слёз Марты, впервые со дня исчезновения её мужа на сердце её было тихо и мирно. Перекрестив детей, послав любовь своему отсутствующему мужу, легла спать Марта и задумалась о словах Александра: “Начинай весело свой новый день и думай, что муж твой рядом с тобой ходит”. Как же это так представлять себе, что он всё время рядом, когда его нет и даже неизвестно, где он, всё думала Марта, но утомление и пережитый страх сломили её мысли, и вскоре в маленьком домике не спал один Александр. Он потушил лампочку, открыл в душной светёлке небольшое окно, сел подле него и, наблюдая игру облаков и сияющего месяца, крепко задумался о своём отце.

— Хотел бы я знать, что и как мыслит отец мой о моём поступке. Так ли я поступил, оставшись работником этим беспомощным детям и Марте? Или не должен был я здесь останавливаться, а идти в шумный город, где велено мне мир проливать?

Юноша вспоминал, как поступал его отец, никогда не оставляя без внимания нужд своих соседей, как он их, сыновей, посылал иногда в соседние деревни помогать тем семьям, где почему-либо было трудно справиться с необходимейшими работами. И чем глубже он думал, тем легче становилось у него на сердце, тем проще и правильнее казалось ему его поведение.

— Ах, если бы я мог услышать словечко от тебя, отец, как счастлив был бы я, — в последний раз подумал юноша, поднялся, оставив окно открытым, и лёг спать.

Утомлённый долгим путём, борьбой с быком, трудом над кое-какими хозяйственными делами Марты, а также всем пережитым за последние дни, заснул Александр мгновенно. И приснился ему чудной и чудный такой живой сон, точно наяву он всё видел и слышал. Слышится ему голос отца, и видит он, будто сам отец стоит у открытого окна светёлки, говоря:

— Что же ты сомневаешься, мой сын? Ведь не тот день важен, что настанет, а тот, что сию минуту бежит. Разве плохо ты поступил, что спас жизнь трём душам? Разве ты не внёс мира в осиротелый дом? Чем выше поднимается дух человека, тем проще его поступки и тем легче он забывает о себе для счастья других. Ни о чём не заботься, кроме одного: *что* бы ты ни делал, *делай до конца. Где* бы ты ни жил, *не поступайся честью* ни на минуту. И с *кем* бы ты ни общался, *не суди людей*. Здесь люди угрюмы и злы, о себе одних помнят. Им непонятно, как можно жить свой день, не ища себе наживы. Не суд им неси, но улыбку мира. Не просвещать их я тебя послал, но показать им чудо в человеке, *его живой свет*, на своём собственном примере труда и чести. Не задумывайся, что будет дальше. Живи и трудись, пока ты

сывать с себя условные ценности и *вскрывает в себе* источник Вечного, ту Любовь, что таит в себе все чудеса и даёт силу для чистого и бескорыстного *действия*».

Лицо Бронского было совершенно спокойно и радостно. Я стал переводить дальше.

СКАЗКА ДРЕВНЕГО СТАРИКА

Жил на свете мудрый старик. Жена его умерла рано и оставила ему трёх сыновей да маленькую дочь.

Росли мальчики легко, не знали ни болезней, ни слёз, ни зависти. Мудрый отец никогда их не бил, не наставлял длинными и умными нравоучениями, но собственным примером научил трём правилам:

1. Никогда ничего не бояться;
2. Не думать о будущем, а трудиться изо всех сил сейчас;
3. Не брать чужого и быть милосердным, не осуждая людей.

Сыновья выросли и применяли правила отца в своей жизни. Девочка же росла, всего боясь, никогда и ничем не была довольна, не замечала, как проходило её “сейчас”, но всё мечтала, когда наконец начнётся для неё настоящая, блестящая и заманчивая жизнь, шумная и прекрасная. На вопросы отца и братьев, о чём она мечтает, почему не наслаждается жизнью, красотой гор и ручьёв, реки и чудесной зелени, девушка отвечала:

— Да какая же это жизнь? Живём мы в глуши, точно медведи. Правда, красиво здесь, ах, как красиво! Даль широкая открыта, луга и сады, цветы и певчие птицы, песни людские — всё красиво. Но людей здесь мало, люди серые, одеты кое-как! Разве *это* жизнь? Жизнь, наверное, там, где шумят в городах толпы народа, где люди много чего-то знают, где песни иные, где наряды цветные, где вещи золотые.

Братья смеялись, не корили сестрёнку за её детские мечты, но добродушно шутили, что всех краше живёт где-то принц, и он-то непременно за нею приедет, пленится её красотой и увезёт в своё далёкое и шумное царство. Один из братьев принёс ей однажды зеркальце, чтобы она могла любоваться собой не только в зеркале реки.

Возмужали сыновья, вошли в силу, и сказал им однажды их мудрый отец:

— Вот что, дети мои, должен я вам передать. Приходил ко мне старец из дальнего монастыря и велел мне отпустить всех вас троих в широкий мир. Сказал он мне, будто воспитал я вас в твёрдых правилах чести и доброты и что надо вам нести их в мир, чтобы людям было легче и радостнее жить рядом с вами. Идите, дорогие мои. Каждый из вас пусть идёт один; не берите много вещей и пищи с собой. Вы молоды, здесь и там зарабатывая, дойдёте до шумного города. Там разойдётесь в разные стороны, и каждый найдёт себе город, где будет жить среди людей, им служа, как сумеет. Так просил сказать вам старец.

Опечалились сыновья, что надо покинуть отца, родной дом, любимые места, леса и горы, красоту которых они так ценили. Но утешил их мудрый отец, напомнив им, что нет ничего вечного на земле, кроме тех любви и мира, что носит человек в себе. Рано или поздно расстаться придётся, смерть непременно разлучит. Ну, а любви и мира, вероятно, людям в шумных городах не хватает; и служить ими людям — долг каждого, кто дошёл до такой радости, что сумел их обрести в себе.

Сыновья если и не сразу утешились, то примирились со своей судьбой, а вскоре и успокоились, поняли, что не одна их деревня на свете, не один их дом или улица в мире, но всюду люди, всюду жизнь, и надо всё единить в любви.

Девушка же оставалась безутешна. Не разлука с братьями огорчала её. Но то, что братья пойдут в широкий мир, будут жить в блеске и шуме городов, а она останется в глуши и неизвестности, в серых буднях. Её душило раздражение на старца, что велел уходить братьям, — правда, они статные, всеми признанные красавцы, — а ей, самой первой по красоте не только в собственном доме, но и во всей округе, велит сидеть дома.

И чем дальше шли дни, тем всё пуще её разбирала досада; не захотела она даже помочь братьям в их сборах. Не верила она, что им тяжело расставаться с любимым отцом и с нею. Много раз пыталась она просить их всех вместе взять её с собой, но братья ей отвечали, что дали слово отцу и должны его выполнить. И не потому они не хотят взять её с собой, что не дорога она им, а потому, что они верят отцу, любят его и счастливы выполнить его волю.

Каждый из них говорил ей, что охотнее всего остался бы дома, в благословенной тишине, и переменился бы ролью с ней, но приказ отца — закон для их собственной любви и воли; и, как ни трудно расставание, всё побеждает его радость желания служить людям так и там, как и где хочет их мудрый отец.

Раздражённая девушка возмущалась, без всякой сдержанности обвиняла братьев в фальши и лицемерии, уверяла их, что отец давно перестал быть мудрым, что от старости он лишился здравого смысла и всё путает — вероятно, перепутал и слова своего старца, который, впрочем, тоже не очень нормален.

Натыкаясь каждый раз на непреклонную стойкость своих братьев и видя бесплодность своих усилий добиться чего-либо от всех братьев вместе, девушка решилась попытаться разжалобить их каждого поодиночке.

Старший брат дал сестре суровую отповедь с первых же её слов и указал ей на её святой долг: оберегать отца, если она считает его слабым и немощным. Много суровых и горьких истин высказал он ей и прибавил, грозно поглядев на неё:

— Дитя безжалостное, немилосердное, недовольное своим домом, не могущее оценить уюта, радости и чистоты его, не сможешь ты нигде ужиться с людьми. Не ждать надо, чтобы кто-то тебя приветствовал миром, но надо самому держать в руке ветвь мира и протягивать её каждому, с кем встречаешься. Если будешь так поступать, то будешь видеть, что всё вокруг тебя утешаются и успокаиваются, потому что *ты* им вносишь свою ветвь мира. Жаль мне тебя, сестра, но помочь тебе нечем. Только ты сама должна утихнуть, и тогда ты увидишь, какое дивное чудо — наш отец и наш дом.

— Не нужны мне твои наставления, — раздражённо ответила сестра. — Воображаешь, что ты старший, так можешь мне и проповеди читать. Я всё равно отсюда уйду, и способ вырваться в светлую и блестящую жизнь я найду. Я прекрасна, хочу жить в богатстве и известности, а не работать, как батрачка.

— Бедная, бедная сестрёнка моя. И кто смутил твой дух? Когда ты видела среди нас ссоры или недовольство? Откуда явилась в тебе эта страсть к богатству? Разве блестящая жизнь, это та, что вовне блестит? Я не знаю, какая жизнь в городах, куда меня посылает отец. Но я твёрдо знаю, что более блестящей жизни, чем жизнь моего

Когда гость вернулся в комнату, женщина посадила его в деревянное кресло и поставила перед ним белую тарелку с дымившимся супом, очень вкусно пахнувшим, и подала большой ломоть хлеба.

— Кушай, друг. Это место и тарелка моего дорогого мужа, — сказала хозяйка, и слёзы покатились по её щекам. — Как тебя звать, наш дорогой спаситель? Ведь если бы не твоё бесстрашие да не твоя гигантская сила, лежать бы нам теперь убитыми быком. На мои крики эти люди, что прибежали к тебе на помощь, и не подумали бы с места двинуться. Мой муж, женясь на мне, привёл меня издалека, а здесь такой обычай, чтобы парни женились только на своих. Вот мы и попали в опалу. Тесть выделил мужа, дав ему самый плохой кусок земли, и пришлось нам кормиться ремеслом, с трудом добывая средства к жизни. Всё было ничего, сводили концы с концами. Да вот ушёл он в город больше года — и нет от него вестей. Кто говорит, в больнице умер, кто говорит, по дороге убили его в пьяной ссоре. Да не похоже это на него, был он тихий и приветливый, никогда не пил и ссориться ни с кем не мог.

И снова полились по щекам женщины слёзы. Она почти ничего не ела, кормила детей да подливала супа своему голодному гостю, рассказывая ему, как, выбиваясь из сил, старалась поддержать своё убогое хозяйство, но не успела ещё сжать целой полосы хлеба да трава так и остаётся нескошенной на лугу. Чем будет кормить корову, как сама с детьми проживёт зиму, Бог один знает. Задумчиво и печально говорила хозяйка, радуясь, очевидно, редкой возможности поговорить о своих бедах с доброжелательным человеком.

— Звать меня, сестра, Александр. Считай, что я тебе брат, твоим детям — дядя. Буду я у тебя жить и служить тебе как работник, а звать и считать меня ты будешь братом. Спешить мне некуда. Куда иду — туда поспею. Покажи твою косу, надо её хорошенько наточить да наладить. Скошу траву, высушим сено, за рожь примемся. Не тужи, ободрись. Вернётся твой муж — тогда я дальше пойду. Верь, не моя рука тебя от смерти спасла, а рука отца моего милосердного и мудрого, что велел мне в мир идти и людям мир нести. Если же от мгновенной смерти его рукой тебя я спас, так же его руками и хозяйство твоё спасу, и тебя с детьми от голодной смерти избавлю. Уверься, утвердись в спокойствии. Смейся весело, встречая каждый новый день, и живи его так, как будто бы муж твой любимый рядом с тобой ходит. Детей к радости приучай, а не к слезам своим постоянным. Ну, пойдём же, покажи косу.

Чудны показались женщине слова гостя, и вместе с тем, почудилось ей, точно светлее стало в избе и на её усталом лице, а в измождённом сердце будто вдруг стало не так холодно и безнадёжно. Провела она Александра в сени, где были аккуратно прибраны все хозяйственные инструменты, и вернулась в избу к детям. И дети как будто стали живее и тянулись к матери, спрашивая, будет ли большой дядя с ними жить.

Укладывая детей спать, мать радовалась каким-то новым звукам в доме, где давно уже её да детей шаги и голоса были единственными звуками жизни.

Долго возился Александр, налаживая косу, наконец привёл её в полный порядок и возвратился в избу. Дети давно уже спали, а хозяйка сидела за вышиванием у крошечной лампы.

Всё дальше шёл путник, много прошёл деревень, немало встречал людей, а ни одного приветливого слова ещё не услыхал, никто даже не взглянул на него ласково.

Уж и солнце стало склоняться, стада возвращались к своим хозяевам, а юный путник всё шёл так же одиноко, и мир, живой и шумный, был для него как бы мёртвой пустыней, где он брёл одиноким и отверженным. Точно тень холода стала забираться в сердце юноши, как вдруг уши его пронзил крик о помощи и увидел он страшную картину: женщина с двумя маленькими детьми, прижавшись к камню, в ужасе кричала, а прямо на неё нёсся разъярённый бык. Казалось, спасения ни ей, ни детям нет.

В одно мгновение сбросил с себя котомку путник, побежал наперерез быку, легче орла вспрыгнул ему на спину и схватил кольцо, вдетое в ноздрю дикого животного. Взревев от боли, бык пригнул голову к земле, как тянула рука смельчака кольцо, и стал извиваться и бить копытами, стараясь сбросить и ударить непрошеного гостя. Но могучая рука держала кольцо с такой силой, что бык не мог выдержать боли, остановился, в своём бешенстве дико ревя.

— Уходите скорее, — крикнул женщине путник, — скройтесь в доме.

На свирепый рёв быка уже бежали со всех сторон люди, и через несколько минут укрощённый бык был благополучно водворён в своё стойло, откуда он вырвался неожиданно для своих надсмотрщиков.

И ещё раз поразился путник мрачным и неприветливым лицам людей. Никто не только не поблагодарил его за спасение женщины и её детей, но даже не счёл нужным спросить его, кто он, не голоден ли, не нуждается ли в крове на эту спускающуюся ночь.

Вздохнул усталый юноша, решил пройти ещё и эту деревню, где его помощь была так плохо принята. Вот уже и последний домик виден вдали, решил он заночевать голодным возле дороги, как открылась дверь последнего домика и на пороге показалась спасённая им женщина.

— Войди, пожалуйста, быть может, не побрезгуешь моим бедным ужином да отдохнёшь под моей крышей. Ты, видно, издалека идёшь, усталый у тебя вид. Не побрезгуй моей бедностью, зайди. Я и слов не подберу, как мне тебя благодарить за твою услугу. Ведь ты мне и детям жизнь спас, — говорила женщина, утирая слёзы и приглашая путника в свой бедный домик.

Вся хижина состояла из одной комнаты, но пол был чисто вымыт, на столе лежала чистая скатерть и стояла простая, но чистая посуда. Перепуганные дети были тоже чисто вымыты и не менее чисто одеты.

Введя гостя в дом, женщина пригласила его во внутренний дворик, где у колодца был пристроен рукомойник, подала ему мыло и чистое полотенце, попросила умываться не стесняясь, так как в доме никого, кроме неё и детей, нет, и возвратиться в комнату, где будут его ждать привет и ужин.

Лицо женщины, молодое и очень красивое, носило следы тяжёлого труда и переутомления. Голос её, печальный и слабый, звучал уныло и на всей её фигуре лежал отпечаток не только уныния, но и безнадёжности. Сейчас в голосе её звучала беспредельная благодарность человеку, спасшему ей жизнь.

мудрого отца, я не встречу, хотя бы я увидел тысячи внешне блестящих жизней. Ты же, бедная сестрёнка, останешься самой несчастной, пока всякая чужая жизнь будет тебе казаться заманчивой, пока ты не полюбишь трудиться и не найдёшь мира в своём собственном простом труде. Может быть, будешь и богата, но всегда тебя будут беспокоить люди, чья жизнь будет богаче и будет тебе казаться более блестящей.

— Замолчи, пожалуйста, — с досадой перебила его сестра. — Не разоряйся на наставления, я тебе уже раз об этом сказала. Я здесь всех красивей, а здесь много красивых. Наверное всюду я не осрамлюсь с моей красотой. Не желаешь мне помочь и не надо. Только нечего прикрываться мудростью отца да твоим сыновним послушанием. Об одном себе думаешь! Как пришло испытание твоей любви ко мне, вот я и увидела, чего она стоит. Того же стоит и твой пресловутый мир. Уезжай, пожалуйста, и без тебя обойдусь.

Хлопнула сердито сестра дверью, убежала от старшего брата и пошла искать брата среднего, что всегда старался чем-нибудь её побаловать, всегда был к ней особенно добр и приветлив. Сидел этот брат под деревом и прилаживал ремни к кожаной сумке, что велел ему отец взять с собой в дорогу. Подойдя к нему, ласкаясь, нежно сказала доброму брату сестра:

— Милый братец, всегда ты был добрее всех в доме. Наверное, ты не откажешь мне теперь в последней просьбе.

— Конечно, не откажу, дорогая моя. Разве может быть у тебя такая просьба, чтобы кто-нибудь мог тебе отказать? Говори скорее, сейчас всё сделаю.

— Ну, так я и знала, что в твоей доброте ошибиться не могла. Вот что я хочу, братец. Я хочу тихонько уйти с тобой в шумный город, и именно в тот, куда ты пойдёшь. Я буду жить с тобой и всё для тебя делать. Кроме того, ты ведь такой добрый, тебя все будут обижать и обирать, а я тебя в обиду не дам. Здесь я всего боюсь, а там ничего бояться не буду. И тебе со мной не будет страшно.

Усмехнулся брат добрый детскости своей сестры и ответил:

— Ты ещё совсем ребёнок, сестрёнка, хоть лет тебе уже пятнадцать. Что значит твоё всегдашнее слово “страшно”? Этого я никогда не понимал и сейчас не понимаю. Всякие пустяки тебя всегда пугали, о которых и говорить-то не стоило бы. Я для тебя жизнь отдам, если надо тебя защитить или трудом своим тебя содержать в довольстве. Но о чём ты сейчас просишь? Ведь я тебе могу простить твою просьбу только потому, что ты сама не понимаешь, о чём просишь. Ты хочешь, чтобы я нарушил приказ отца? Да разве ему легко отослать нас всех троих и остаться одному, старенькому, и нести весь труд по дому, хозяйству и полю? Разве ты ему помощница? Он и о тебе заботу должен будет нести теперь один. Но он не боится своей тяжёлой ноши. Он хорошо понимает, что расставание с нами когда-то неизбежно. Потому что он мудрый и нежный, он легко отсылает нас вдаль, чтобы ещё при его жизни мы начали жить самостоятельно, и, быть может, его любовь поможет каждому из нас выйти на верный путь, если мы заблудимся. Если бы ты не была так занята одной собою, ты сумела бы быть просто доброй, чтобы лаской и нежной заботой помочь отцу переносить тягостное молчание дома без нас, где всегда было так многолюдно, так много смеха, песен и веселья, к которым он привык и которые он так любит.

— Ах, так вот чего стоят твоя доброта и любовь ко мне! Вот так доброта и любовь! И ты проповеди мне читать вздумал? Вот так верный брат, — едко рассмеялась сестра.

— Бедная сестрёнка, — ещё раз ласково сказал брат. — Ты по неведению и неразумию своему упрекаешь меня в неверности. Нет, мой друг, я не только верен до конца тебе и твоей дружбе. Я и отцу моему верен и буду верен всю жизнь. Потому что и он, и я — мы одинаковы, как два пальца одной руки. И дружба моя с ним — наша единая любовь, единое сердце, единая мудрость. Братьям же и тебе я верен, как руки одного тела. Пути наши могут быть разны, а остов один и тот же. И не могу я двоиться в моей верности, могу только свято нести каждому свою чистую нежность, любя истинно каждого из вас. Доброта моя, которую ты коришь и называешь лицемерием, не может им быть, ибо она — вся моя жизнь. Нет мне выбора, пойми, если отец сказал, как должен я дальше жить. Видит Бог, как жаждал бы я поменяться местом с тобой, остаться здесь, в этой благословенной тишине, в этом дивном воздухе. Где ещё есть такие луга и цветы? Где ещё есть такие леса и горы? Ведь это очаровательный край, столько здесь мира и чистоты. И покинуть всё это чудо блеска и света для мути и грязи шумного города!.. Но мудрый отец видит яснее моего. И плоха была бы моя доброта, если бы я только об одном себе думал. Здесь всех я люблю, здесь нет злых, здесь легко быть добрым. Видно, знает отец, как нужна в шумном городе усталым людям доброта...

И этого брата прервал едкий смех сестры.

— Видно, вы со старшим братцем одним миром мазаны, пальцы и руки одного тела. Ну, нечего сказать! Твоя пресловутая доброта стоит его проповедей о мире. Ну и братцев же послала мне судьба! Можешь успокоиться, больше тебя просьбами не побеспокою. А только думаю я, что когда-нибудь сам приползёшь ко мне с просьбами, как я в славе и силе буду. Придётся тебе с заднего крылечка попроситься ко мне в мой чудесный дом.

— Несчастная сестрёнка... Как бы я был рад твоей славе! Но, видит Бог, славу-то и блеск ты странно понимаешь. Будь благословенна, бедняжечка. Тяжко человеку в такой тьме, как твоя, жить.

Ещё раз рассмеялась сестра, сделала несколько нелестных замечаний о доброте-глупости брата и пошла прочь. Долго ходила девушка по большому саду отца, где росли прекрасные цветы, но ни на что не обращала она внимания. Сердце её грызла тоска, ей хотелось людей, людей и людей, хотелось, чтобы все восхищались её красотой, хотелось первенствовать, не быть никогда одной, видеть балы, зрелища, богатство домов и нарядов. Переходя с дорожки на дорожку, добрела девушка до высокого обрыва и увидела сидевшего там на высоком камне третьего, младшего брата. Печален, ах, как печален был юноша! Глаза его с тоской смотрели в безбрежную даль, открывавшуюся с высокого обрыва, и слёзы текли по его прекрасному лицу.

И удивилась сестра. Никогда она не видела слёз в своей семье, кроме своих собственных, когда плакала, злясь и капризничая или чего-нибудь боясь. Особенно весёлым и лёгким характером отличался этот третий брат, и смех его звенел целыми днями, наполняя дом весельем, точно в нём звенели колокольчики.

Поняв всю глубину скорби брата, тосковавшего о разлуке с родными местами, задумала сестра коварный план. Тихо подкравшись к брату, она обхватила его шею

Долго он думал, как ему разыскать свой путь, как распознать свою тропу среди бесчисленного множества дорог, как вынести в люди не зов к миру, а самый мир. Впервые оглянулся он назад и пересмотрел всю свою жизнь. Ни одного раза он не вспомнил, чтобы ему пришлось с кем-то ссориться, в ком-то разбудить его злобу, кого-то раздражать, но всегда подле него все утихали и каждое чужое сердце находило примирённость.

Только одна его прекрасная сестра, очаровательнее всех лесных фей, никогда не жила в мире. Всегда её желания превышали все её возможности. Что бы ей ни подарили, куда бы её ни пригласили, ей всегда казалось, что можно было сделать лучше, чем сделано для неё, и радость ничто в ней не будило.

Крепко задумался старший брат, почему же не могла его сестра воспринять ни мудрости отца, ни мира старшего брата, ни доброты брата среднего, ни радости младшего спутника её жизни...

Куда же теперь надлежало ему идти? В какой стране искать возможности служить людям, зовя их к примирённости со своими обстоятельствами. И решил он не загадывать о дальнейшем, о том, что будет завтра, а жить только всею полнотою сердца и мысли каждое мчащееся мгновение, каждую свою встречу. Он осознал свою полную освобождённость сейчас от каких бы то ни было цепей, какой бы то ни было давящей или стесняющей любви, какого бы то ни было страха, сомнений и беспокойства за близких или далёких людей.

Мудрость отца, пославшего всех их в далёкий мир раскрепощёнными от всяких долгов и обязательств, ещё раз пронзила сердце старшего сына. Он решился идти в новый путь не задумываясь, *куда* он пойдёт и *что* будет делать, но *как* он пойдёт, *что* будет жить в *н*ём *самом* и *как* он будет протягивать людям свои дощечки мира.

За окном светало. Он оглядел комнату, где расстался со своими любимыми братьями, благословил её и заботливых хозяев и тихо вышел из дома, стараясь никого не разбудить.

Не зная шумного города, спавшего ещё в этот ранний час, он долго шёл из улицы в улицу, пока не выбрался на широкую дорогу, которая вела на запад.

Через некоторое время ему стали попадаться возы и телеги, гружённые сеном, хлебом, овсом, овощами и фруктами, гурты скота и всевозможная птица, что поедал огромный город. Но не размеры товаров, ещё не виданные молодым странником, поразили его, а мрачные, угрюмые и деловитые лица мужчин и женщин, а иногда даже и детей, сопровождавших их.

Несколько раз его задевали озорники-парни и насмешливые девушки, спрашивая, откуда взялся такой умник, что уходит из города от самой большой ярмарки и самых весёлых балаганов. Но юноша не обращал внимания ни на насмешки, ни на обидные слова. Ничто не нарушало мира в его сердце. И чем злее было брошенное слово, тем яснее было ему, что плохо и темно живут здесь люди и трудно им увидеть красоту вокруг себя, не только в себе или в другом.

Долго он шёл. Вот кончились возы и телеги, стали попадаться красивые экипажи с дорогими упряжками и разряженными людьми. А лица и этих людей, — судя по их нарядам, не имевших забот о хлебе насущном, — всё так же были угрюмы, злобны и неприветливы.

вас и через вас, потому что понял я *одно* в каждом из людей благодаря вашей любви и помощи.

Взял младший брат свою лиру, поклонился своим братьям и пошёл из города, хотя вечер уже спускался.

Проводив брата, поужинали оставшиеся и осиротевшие путники, помогли хозяевам в их домашних делах и сказали, что завтра на рассвете уйдут и они. Покачал старик головой, пожалел о таких прекрасных постояльцах и спросил:

— Вы знаете ли, куда идёте и чего ищете?

— Чего ищем, очень хорошо знаем. А куда идём, о том Бог один знает, — ответил старший брат.

— Везде есть люди, — прибавил средний, — была бы охота их любить да с ними в мире жить.

— Да, это верно. Если не за счастьем вы гонитесь, то много можете людям помочь, — снова задумчиво сказал хозяин. — Вот на север от нашего богатого города, верстах в двухстах, есть очень большой город на чудесной широкой реке. Там у меня живёт сестра с мужем, я мог бы рекомендовать ей одного из вас. У неё умер сын, точь-в-точь как вот ты, — обратился он к среднему брату. — Такой же добряк, такой же статный и здоровый. В одну ночь унесла его чума, и больше половины города съела она в самое короткое время. С тех пор город захирел, бедность в нём повсеместная. И живут в том городе люди, как в городе слёз и проклятий, пожалуй, даже забыли, как и имя-то Божье помянуть. Все бранятся и ссорятся друг с другом, а некоторые, как сестра моя, оставшиеся кроткими и смиренными, впали в такую тоску и уныние, что и не передать словами. Сестра моя в наше последнее свидание, печальное свидание, говорила мне, что ясно сознаёт, как глубоки её грехи перед жизнью, что потеря сына пришла по её огромной вине. Я знаю, что она только тогда успокоится, когда милосердное небо пошлёт ей человека, который захочет стать ей сыном вместо утраченного. Но кто захочет войти в унылую семью, живущую в погибающем городе? Знаю я и тайную мысль моей сестры, что если придёт к ней юноша тех же лет, каких был её сын, и станет жить у неё в семье как родное дитя, то это будет ей знаком, что её грех прощён и приняты труды её жизни. Если ты, друг, — обратился он к среднему брату, — не на словах, не в мечтах и обетах, а на деле простого дня ищешь возможности подать помощь и доброту людям, иди в несчастный дом и город, отыщи мою сестру, которая теперь, вероятно, впала в бедность, и принеси ей в своём сердце, в своей доброте прощение небес.

Ничего больше не спросил средний брат, взял свою котомку, поклонился хозяевам, обнял старшего брата и сказал ему:

— Я нашёл свой путь, дорогой брат. Постараюсь заменить чужой матери её сына и буду чтить её, как чтил бы родную мать. Проста моя маленькая задача. Постараюсь помнить мудрость и честь нашего дорогого отца и действовать по его примеру. Будь благословен.

Расспросил он про дорогу в гибнущий город и, не смущаясь наступившей ночью, пошёл на север.

Оставшись один, много дум передумал старший брат. Не было у него чувства одиночества, не было тоски и неуверенности, а было на сердце его спокойно, и сознавал он, что его задача сложнее и больше, чем задачи братьев.

руками, губами своими осушила и выпила его слёзы и, усевшись к нему на колени, нежно к нему прильнула.

— Милый, милый братик. Мы с тобой ближе всех друг к другу. Не тоскуй и не бойся. Ты не уедешь отсюда. Я придумала план. Вечером, как станут братья собираться в путь, я переоденусь в твоё платье, а ты в моё. Ты покроешься моей шалью, будто у тебя болят зубы, а я спрячу косы под твою шапку, как делала это не раз в шутку. Похожи ведь мы с тобой, что близнецы, часто и отец нас не различал. Все будут заняты каждый собой, никто не обратит внимания на наш маскарад. Ты только смотри не рассмейся, потому что смехом-то мы с тобой очень разнимся. Темнеет теперь быстро, подделаться под твою походку я сумею. Лишь бы из дома выйти, а там уж я найду, как мне устроиться. Да и братья увидят, что все их наставления ни к чему не привели, и бросить меня среди дороги они не решатся. Но ты будь спокоен, обратно уж я, наверно, не вернусь, и ты останешься дома вместо меня. Тебе ведь так нравится наш дом и вся здешняя жизнь.

— Господи, какое же ты ещё дитя, сестрёнка. Я, признаться, думал, что ты уже больше понимаешь жизненные обязанности дочери и единственной хозяйки дома, а ты ещё сущий ребёнок. Мы с тобой часто и теперь забавляемся детскими играми, меняемся платьем и хохочем, когда отец не различает нас сразу. Но чтобы ты в делах серьёзных была ещё таким ребёнком, этого я даже себе и представить не мог.

— Что же тебя так удивляет? При чём здесь моё ребячество? Я ведь так тебя люблю, что готова за тебя уйти отсюда. Тебе будет хорошо здесь, а обо мне не беспокойся, мне будет хорошо всюду, — нежно прижимаясь к брату весело говорила сестра, наученная горьким опытом двойного провала у старших братьев.

— Бедная, любимая сестрёночка, — отвечая на ласки сестры, сказал третий брат. — Ты даже не понимаешь, по своей чистоте и невинной наивности, что уговариваешь меня пойти на ложь и обман. Ну как же можно солгать отцу и братьям и начать новую жизнь без правды? Какая же это будет жизнь? Ведь жизнь — это радость. Вся сила дня в том, что можешь радоваться красоте *без* угнетения в сердце, в том, что ты свободно и спокойно любуешься красотой мира и людей. Тогда и песня поётся радостно, потому что в сердце легко и свободно. Тогда и ценишь семью и любовь, когда ложь не давит. Всякое твоё действие правдиво и свободно и радостью своей ты каждому человеку можешь украсить жизнь, если не давит тебя лицемерие. И надо мне идти в мир, раз отец так говорит. Мало в городах, вероятно, радости у людей, и надо мне её приносить каждый день, сколько смогу.

Вскочила сестра с колен брата, как ужаленная, пуще прежнего досадуя на неудачу. Топнула своей хорошенькой ножкой, упёрлась красивыми ручками в бока и закричала:

— И ты с наставлениями лезешь? Кто-кто бы ни читал мне проповеди, да уж, наверное, не от тебя мне их выслушивать! Под носом у себя не видишь! Не понимаешь, как я тебя всегда надувала, сколько и как только хотела! А туда же! Лезешь со своей правдивостью да радостью. Да что вы все разом с ума, что ли, мигом сошли? Что вы, сговорились надуть меня? Поверю я вам, что вам люди дороги и вы им служить хотите. Подумаешь, праведники выискались! Рады из глуши убежать, а стыдно признаться, что рады бросить отца и от сестры избавиться, которая правду видит да обличить в любую минуту может. Радость дурачок проповедует, — не

унималась она, всё пуще хохоча, всё больше приходя в гнев и азарт и видя по лицу брата, что ничего от него не добьётся ни лаской, ни злобным криком. — Радости твоей — копейка цена, если ты безжалостный эгоист. Чужой старец сказал, видишь ли, ну и давай бежать к чужим, пусть свои погибают, как хотят, гниют в глухом углу. Зато мы уж в городах повеселимся! О, лицемеры, злые, бессовестные лгуны, что для вас свои кровные родные!

Поднялся юноша с камня, где сидел, и темнее тучи стало его прелестное лицо.

— Да, действительно, права ты, несчастная сестрёнка, что я был до сих пор сущим дурачком. Но ты помогла мне в эту минуту раскрепоститься от слепоты, раскрылись мои глаза. Помогла ты и сердцу моему мгновенно постареть на многомного лет. Знало моё сердце одну радость и видело оно одно счастье — правдивость в людях. Не видело оно в них лжи, и не было в нём печали. Легко мне было быть всегда радостным и весёлым при этих условиях. Сейчас поняло моё сердце страшное в человеке: его ложь и зависть. И понял я теперь, как трудно сохранить радость, как стойко надо держаться, чтобы не меркла радость в сердце, когда ложь бьёт и зависть раздирает всё самое прекрасное, что только дано человеку от Бога. Ещё понял я сейчас, что *жив Бог* в человеке, когда может он устоять и не впасть в *уныние*, если *увидит* в другом, как гниение внутри точит чудо его внешней красоты. Урок твой мне, дурачку, был необходим. Всю жизнь свою буду славить Милосердие, открывшее мне глаза и освободившее меня от иллюзии прекрасного. Я понял, *что* есть *самое* прекрасное в человеке и *что* его оболочка. О Господи, что было бы со мною, если бы я не здесь узнал правду, а там, в шумном городе. Я думал бы, что только там живёт в человеке всё плохое, что только там люди гниют во лжи и соблазнах, а здесь живёт всё святое, чем я считал тебя. Теперь я понял, что *всё* живёт в человеке, и не окружение делает его, а *он творит* своё окружение. Я понял, каким стойким и мужественным надо быть, как спокойно надо идти по делам и встречам, как тих должен быть внутри человек, чтобы радостность его не меркла никогда. Я только что был так печален, так тосковал о разлуке с родным домом и всего больше о разлуке с тобой. Сейчас я понял, что для одной тебя остаётся ещё жить здесь отец, а нас посылает, чтобы мы закалились и, служа людям, служили Богу и великим Его. Я умею только песни петь и ими радовать людей. Какое счастье, что здесь, через тебя, я понял, что *может* жить в человеке и *как* он может быть далёк от чистоты. Как мог бы я петь, если бы этот удар сразил меня и раскровянил мне сердце там? Моя песня остановилась бы в горле. Теперь я имею время закалиться. И верь, не дрогнут больше ни моё сердце, ни мой голос. О тебе пролил я здесь сейчас мою первую в жизни слезу. Да будет она последней! Я буду петь во славу жизни и радости, я буду стараться будить в человеке его лучшее, его любовь и милосердие, его неосуждение и кротость и никогда больше не буду ждать от встречного его даров, но буду нести ему мою твёрдую, верную всему светлому радость. Пойдём, сестра, Бог тебе судья, но не я. Будь благословенна, какая ты есть. Если подле отца ты не выросла светлой, видно, тебе самой искать свой собственный путь. Никто тебе указать его уже не сможет. Но помни, дорогая, не начинай никакого нового пути с обмана. Ты ничего на нём не добьёшься, во лжи счастья нет не потому, что она греховна. Но потому, что лгущий *сам* себя засаживает в крепость, сам себя приковывает к столбу цепями.

Брат хотел взять ручку сестры и ещё что-то сказать ей, но девушка вырвала руку, резко захохотала и крикнула:

— Вот и ещё явился проповедник. Три праведника шествуют в город просвещать людей и обучать их новой жизни. Небось, как засадят тебя за решётку, в крепость, за твою дурацкую правду, пришлёшь ко мне гонцов просить о свободе, да я припомню тебе этот час. Всё тебе припомню и поиздеваюсь над тобой не меньше, чем ты надо мной сейчас.

И убежала девушка, скрылась от всей семьи и не пожелала ни проститься с братьями, ни проводить их за околицу, хотя вся деревня, от мала до велика, пошла проводить трёх молодых путешественников.

Шли братья долго. Зарабатывали на пропитание работой. Всюду охотно принимали трёх статных молодцов, прекрасных работников, всюду радовались их обществу и песням младшего брата и с благословением отпускали дальше, изредка только кое-кто покачивал головой, говоря: “Далеконько”, когда братья называли большой город, куда послал их старец.

Долго ли, коротко ли, но дошли братья до большого города и в самом центре его, на базарной площади, нашли домик, где и сняли комнатку у двух бездетных стариков.

Поотдохнувши от дальнего пути, стали братья думать, как им идти дальше. Впервые приходилось им разлучаться. Впервые решать самостоятельно каждому свои жизненные дела, без мудрых советов отца. Печально было на сердце у каждого, вспоминался чистый и радостный родной дом, где так беззаботно жилось, где не вставали на каждом шагу вопросы: как поступить, что отвечать на слова встретившегося, чем утешить скорбящего.

И чем глубже думали братья о прежней своей жизни и о протёкшей сейчас минуте, тем яснее видели, как много счастья дал им их отец, развив в них уверенность в своих силах и понимание, *что лежит остовом* и хребтом в человеке и на чём создаётся весь его характер.

Первым стряхнул с себя печаль брат меньшой, рассмеялся своим смехом — переливчатым колокольчиком — и сказал:

— Чего это мы затосковали перед разлукой? Разве не несём мы в себе образ нашего дорогого отца? Разве не держим руку его милую в своей? Разве не слышим голоса его благословляющего? Все наши слова и поступки теперь должны идти не от нас самих, но от высоты той чести, что передал нам отец. И как радостно нам теперь, что мы поняли его, поняли и оценили его стойкость, мир и спокойствие, и теперь можем сами, своими действиями доказать ему свою беззаветную верность. Не будем же сидеть в тоске — возьму я свою лиру и пойду первым на юг искать тот большой город, где будет мне суждено служить людям своими песнями и, как сумею, делами любви. Прощайте, братья мои дорогие, верю я, что мы ещё свидимся на земле счастливыми и благословляющими друг друга. Если же не суждено встретиться, то я буду в каждом встречном видеть одного из вас и передавать ему весь мой привет, как я его подал бы вам. Проста моя задача, легко мне идти, и не подвиг тяжкий несу я на плечах, но одну радость. Прощайте, дорогие, родные, будьте благословенны. Ни вы, ни отец, ни бедная сестра не в разлуке со мною, но живёте в сердце моем. Куда бы ни бросила меня жизнь, всё славословие моих песен будет звучать для

От удивления голодный ребёнок долго не мог понять, что видит горячую кашу с маслом не во сне. А сам Ангел спасения, отказавшийся было взять в дорогу запасы, был благодарен своим братьям, настоявшим на этом, и радость его была не меньше, чем счастье его голодных спутников.

Когда согретые и сытые, завёрнутые в тёплый плащ бедные бродячие музыканты заснули вместе со своей собакой, прильнув к своему спасителю, сам спаситель стал обдумывать свой дальнейший план действий. Как кстати пришлась первая встреча! Никому не сумел бы он быть так полезен своей лирой и песнями, как этим нищим бедняжкам.

Вспомнил он о своём доме, о своём отце, весёлом детстве, о своей сестрёнке. Как часто он стремился научить и развлечь её своими песнями! Но каждый раз она с досадой обрывала его, говоря, что детские развлечения ей надоели, что в их доме так много поют и смеются, что ей уже опротивели и песни, и смех.

Вспомнились ему и слова отца, которые он нередко говаривал, поглядывая на хмурое личико дочери: “Бедное дитя! Только злые не ведают ни песен, ни смеха”.

И сейчас припомнил путник, как томился отец, видя вечно нахмуренное лицо дочери. Сейчас он вспомнил, окружённый успокоенными и утешенными им бездомными сиротами, своё последнее свидание с сестрой, свою скорбь и слёзы о разлуке с нею, любимой, и свою боль сердца, разочарование и удар, что причинили ему её слова.

— Ах, если бы я мог всю свою жизнь нести людям успокоение и радость, как в эту минуту. Если бы в мыслях людей оставались уверенность и бодрость от встреч со мной, как в этих маленьких сердцах, что прильнули ко мне в эту первую ночь. Да будет благословенна моя встреча! Встаёт солнце! Я воспою эту первую встречу, пусть моё славословие летит в мир, быть может, кому-то станет легче от моей песни. Услышь меня, мой мудрый отец, благослови и наставь к новой жизни!

И, взяв свою лиру, взглянув на мирно спавших у его ног детей и собаку, юноша запел, неся свой привет расцветающему дню. Обо всём он, казалось, забыл. Он жил только всей силой мысли в этот момент в красоте, он молился об одном: жить, объединяя людей в красоте, будить в сердцах необходимость в ней, необходимость трудиться в гармонии.

Окончив песнь, путник оглянулся вокруг и увидел, что с обеих сторон возле него стоят на коленях дети, сложив ручонки, как для молитвы, а у самых ног его стоит собачка, поднявшись на задние лапки и умильно помахивая передними. Весёлый путник готов был уже рассмеяться, как услышал голос девочки:

— Теперь я уже совсем знаю, дядя, что ты Ангел спасения. Только ангел и может так петь. Ах, если бы мне перенять от тебя эту песню! Уж, наверное, люди всегда давали бы нам хлеба и не выгоняли бы нас на ночь из дома. Как ты думаешь, Монко, смогу я перенять песню? — обратилась она к брату.

— Нет, Фанни, так ты спеть никогда не сможешь, — ответил мальчик. — Но ты не огорчайся, я всю песню запомнил, я буду её играть людям на скрипке, а дядя скажет тебе слова, и ты будешь петь её по-своему. Дядя, ангелы не рассердятся, если мы будем твои слова петь? — с большой серьёзностью спросил он их нежданного спутника.

Марта, приведшая детей и принёсшая обед, даже с некоторым испугом смотрела на количество скошенной Александром травы.

— Что ты так удивляешься, Марта? Мы были приучены у отца ко всякой работе, и всегда он учил нас искать способы самые лёгкие и удобные в каждой работе. У меня свои приёмы, вот я и работаю скорее других. Чем стоять попусту в удивлении, бери-ка грабли да начинай ворошить подсохшую траву. Ишь солнышко-то жарит! Я дойду полосу до конца, приду тебе помогать. А там и обедать сядем, — сказал Александр оторопевшей женщине.

Усадив детей в тени под деревом, Марта пошла к дальним кустам, откуда Александр начал косьбу. Много лет работала она на лугах и полях, видела и прекрасных косцов, но такого чудо-богатыря не могла себе и представить. Изо всех сил старалась она сейчас работать скорее, но все её усилия не могли идти ни в какое сравнение с работой Александра, который уже и полосу докосил, и, также взяв грабли, уже догонял её на соседней полосе.

Переходы в мыслях Марты совершались без всякой логики. Сейчас ей казалось, что всё её прошлое куда-то провалилось, точно и не было тяжёлых лет одиночества, непосильного труда и слёз, точно Александр был с нею всегда, так уверенно и спокойно она себя чувствовала подле него. То снова скачок мыслей бередил сердце её страхом, что станется с нею, если Александр вдруг так же внезапно уйдёт, как пришёл, а муж не вернётся. Как поднимет она детей? Что будет с коровой и домом? И мысли её бежали назад, к пережитым горю и слезам, а сияющего солнца, радостно щебетавших птичек, аромата травы и всей красоты природы Марта не видела.

— Что ты всё хмуришься, Марта? — вдруг услыхала она голос догнавшего её Александра.

— Да так, что-то на сердце нелегко, так много выстрадано, а впереди что? Одна неизвестность, — вот страх и сжимает сердце.

И понял Александр, к чему говорил ему отец о летящей минуте. Понял, что живёт человек на земле и всё думает, что было и что будет, а идёт его “сейчас” кое-как, даже и не замечает он этого летящего “сейчас”. Мысли не полные, не ценные и не цельные давят его дух, и не только не *живёт* человек счастливым, радуясь, но боится даже того, чего ещё и нет или что уже было.

— Ты радуйся, что трава косится, что дети играют, что сено у тебя теперь будет хорошее, Марта. Чего вперёд забегать? Вороши веселей, вот дойдём полосу, да и сядем обедать.

Марта покачала головой, видно было, что непонятно ей, как это такое жить “сейчас” и не думать, что будет завтра, но слов она никаких не нашла. Не успела она дойти свою полосу, как Александр уже сидел с ребятишками, и все вместе звали её обедать.

До позднего вечера косил Александр, отправил загодя Марту с детьми домой встречать корову, сказав, что придёт поздно, прямо к ужину. Не успели затихнуть голоса уходивших детей и Марты, как снова послышался голос отца, и на этот раз ещё яснее разбирал Александр слова:

— Сын мой, милый и близкий. Где бы ты ни был, я с тобой. Что бы ты ни делал, если мысли твои чисты, я с тобой. Старайся *выбирать* свои мысли, храни и *удер-*

живай мысли светлые и бодрящие и прогоняй мысли унылые. Нет ни болезней, ни злой судьбы человека, есть одна *та* судьба, что он *сам* себе создал, судьба — следствие, судьба — результат его *собственных мыслей и дел*. Не смущайся, если долго не будешь слышать моего голоса. Действуй дальше, как начал, и в один из дней вновь услышишь мой голос.

Запомни твёрдо: ты и я, луна и солнце, травы и деревья, всякий человек и всякое животное, всё — *Он, Единый Великий Мировой Разум*, проявленный по-разному в каждой форме. Нет смерти, не бойся её и каждому объясняй, что он бессмертен, что его «Я» есть *Бог*, неумирающий и вездесущий. Если к кому-то приходит смерть тяжёлая, в болезни мучительной, значит, мысли злые, себялюбивые и унылые владели человеком и привели его к такому концу. Радуйся, выбирай мысли чистые, не отделяйся от вселенной, и ты не будешь знать болезней. Всем им начало — страх и себялюбие. Береги сердце от мусора, и тело твоё останется крепким и свежим.

Замолк голос. Постоял на лугу Александр, благословил отца ещё раз за его заботу и проработал до темноты, не заметив, как она спустилась. Возвратился Александр домой, поужинал, приласкал детей, и покатилась с этого дня жизнь его в труде, всем озаряя день улыбкой. И даже хмурые и угрюмые соседи стали заговаривать с братом, работником Марты».

Забывшие обо всём на свете Лёвушка и Бронский были внезапно, точно от сна, пробуждены стуком и голосом Яссы, который звал их ужинать. Ясса снова провёл их в комнату омовений и предложил каждому опять вымыться в бассейне и переменить одежду, чем очень удивил обоих. Им казалось, что они только что мылись и надевали чистые одежды. Но когда Лёвушка посмотрел на свою бывшую утром белоснежной одежду, то увидел, что вся она была в тёмных пятнах. Невольно он взглянул на одежду своего друга и с удивлением воскликнул:

— Станислав, где же это мы с вами так выпачкались? У нас такой вид, точно оба мы измазались в чёрной краске.

Ещё не совсем вернувшийся к действительности Бронский, весь под впечатлением комнаты Али и прочитанного в ней, посмотрел на Лёвушку, потом на себя, покачал головой и ответил:

— И мы могли такими грязными сидеть в божественной комнате Али? Как же мы не заметили, что надевали грязное платье?

— Нет, платье вы надевали безупречно чистое, — вмешался в разговор Ясса, — но каждое пятно на ваших одеждах выдаёт ваши мысли, в которых не было достаточной устойчивости в чистоте и самоотвержении. Каждый раз, когда в вашем уме проскальзывала мысль полноценная, но в ней не было достаточной сосредоточенности, когда в вас проносился отголосок прежних суеверий и предрассудков, страха или внезапного уныния, из ваших тел проступал липкий пот, который давал на ваших платьях эти грязные пятна. Когда вы станете умываться, то и вода будет мутной и нечистой, так как теперь вы оба поднялись к той степени освобождения, где безнаказанной не остаётся даже неполноценная мысль, не только дело. Вот вам ясное и неопровержимое доказательство, что не Учитель держит ученика в той или иной ступени, не пуская его дальше или скрывая от него какие-то тайны высшей жизни. Но собственная атмосфера ученика не даёт ему возможность жить всею полнотой силы и Света *его* Единого. И только это составляет препятствие в пути, — говорила вперёд, как бы приглашая его следовать за собою. Идя за собакой, под кустами какого-то цветущего ароматного растения он увидел девочку лет десяти, державшую на коленях голову ребёнка и горько плакавшую.

— О чём ты плачешь, милая девочка? — спросил он, наклонившись к девочке и ласково касаясь рукой её головки.

Очевидно, во всей полноте своего горя ничего не слышавшая и не видевшая девочка вздрогнула, открыла своё заплаканное личико, по которому катились ручьём горькие слёзы, освещённые лучом проглянувшей среди туч луны и сказала:

— Мой братик умирает, взгляни, он уже ничего не отвечает мне. А без него и я, и наша собачка Беляночка тоже умрём. Мы только тем и жили, что братик мой играл на скрипке, я пела и танцевала, а Беляночка прыгала и делала фокусы, которым мы с братом её научили. Сегодня нам не посчастливилось. Мы ничего не заработали, и никто нас не оставил ночевать. Я думала, что мы доберёмся до города засветло, но братик мой так ослабел, что едва шёл, и ночь застала нас здесь.

Всё это говорила девочка рыдая, и едва можно было разобрать её лепет. Путник сел на землю рядом с ней, расстелил свой тёплый плащ, положил на него бедного мальчика, подложив ему под голову свою маленькую подушечку, что велел ему отец взять с собой из дома и которой брать он не хотел, считая себя выше предрассудка нужды в дорожной подушечке. Теперь он улыбнулся, укладывая на неё голову ребёнка, и мысленно поблагодарил отца, которому пришлось дважды повторить это своё распоряжение.

Прислушавшись к слабому, но ровному дыханию мальчика, он ласково сказал всё продолжавшей плакать девочке:

— Не плачь, девочка, твой брат не умер, он просто устал от голода и труда. У меня есть молоко, хлеб, яйца. Сейчас все вы будете сыты. Ты выпей пока молока холодного, поешь хлеба и покорми Беляночку. Я попробую собрать сучьев и веток, разведём костёр, сварим твоему брату и всем вам кашу. Забудь о своём горе. Теперь я с вами, и всё будет хорошо. Ты ведь девочка мужественная, вот и не подавай примера слёз никому. А то проснётся брат твой и тоже начнёт плакать, а Беляночка и без того, видишь, скулит. Мужайся, оботри слёзы и покорми скорей собачку да сама кушай.

Юноша встал, чтобы пойти за сучьями для костра, но его удержала за платье маленькая детская ручонка.

— Ты ведь от Боженьки к нам пришёл? Ты ведь Ангел спасения? Ты ведь теперь не уйдёшь от нас? Не оставишь нас одних? — робко спрашивала девочка.

Весело засмеялся юноша наивности ребёнка, пожал трепетную ручку, поласкал головку ребёнка и ответил:

— Верь, верь всей душой, крепко, до конца, что нет брошенных людей на свете. Все найдут своё счастье, если будут идти, честно трудясь. Верь, как умеешь. Это не важно, кто я сам по себе. Важно, чтобы встреча со мной принесла тебе радость и чтобы ты и твой брат стали бодрее, веселее и счастливее. Кушай, корми собачку и ни о чём больше не думай. Раз я сказал, что иду за дровами, я их найду, и мы будем варить ужин. Смотри же не плачь.

Вскоре ночной покровитель вернулся с дровами, весело запылал костёр, отогрел детей и собачку, и когда проснулся мальчик, ему была готова тёплая каша.

ли, очищать их именно сию минуту, потому что следующая минута рождается из текущей.

— А текущая темнит те глаза, что плачут, и не даёт им видеть ясно, — рассмеялся Глеб, обнимая мать.

— Нет, сынок, глаза уже не плачут и видят всё яснее, как им трудиться, чтобы становиться силой для радости.

Дни текли, и в городе завелось много друзей у матери и её приёмного сына. Не было просьбы, в которой отказал бы соседям приветливый дом. Не было сердца, которое не унесло бы утешения из дома прежних скорбей и слёз, ставшего теперь домом мира. Каждый, уходя из него, думал: “Вот наконец нашёл я себе верных друзей”.

И в сердцах многих новых знакомых Глеба точно таяли какие-то перегородки, мешавшие им до сих пор быть простыми с людьми. Одни прежде всегда думали, как сохранить своё достоинство во встречах с людьми; другие старались всеми силами быть полезными своим близким; третьи верили твёрдо в Бога и хотели учить всех встречных, как им надо жить, их собственными идеалами меряя каждого; четвёртые, стремясь, чтобы их время не пропало в пустоте, в каждом своём слове и движении стремились воспитывать людей, думая, что именно в этом наибольшая заслуга, а простая и легко даваемая доброта не шла из их сердца. Всё что-то мешало ей литься. И только со встречи с Глебом многие поняли, что не люди встречные мешали им быть добрыми, а в них самих лежали пластины условности, на которых они сами записывали так или иначе образы своих встречных, видя в них не Вечное, но преходящее.

В каждом сердце становилось светло и радостно, как только оно видело, *что* мешало в нём самом простоте его отношений с людьми. Многие, многие, говорившие прежде: “Да откуда её возьмёшь, радость-то?” — теперь улыбались своему прежнему невежеству, которое было единственной причиной их неполноценно прожитого дня.

Мысли Глеба часто возвращались к моменту разлуки с братьями. О старшем брате он не беспокоился. Он в прежние годы видел его неизменное спокойствие во всех обстоятельствах жизни, сам чувствовал и на других наблюдал, как в каждом человеке укреплялся его мир сердца подле Александра. Он был уверен, что тот не только выполнит, но и превзойдёт заданную ему задачу.

Но мысли о брате меньшом, красавце-певце, бередили сердце, составляя его единственное волнение. Как будет жить красавец-мальчик в огромном городе один? Будет ли его дивная песня достаточным оружием для его единения с людьми? Ведь не все любят песни, не всем они нужны и не все могут откликнуться на этот язык любви.

А младший брат, ушедший первым, последним пришёл в незнакомый огромный город. Шёл он всех дольше, так как в первую же ночь встретил трёх бездомных спутников, к которым и присоединился.

Не успел он отойти и пяти вёрст, как услышал в темноте спустившейся ночи чей-то тихий плач, как показалось ему, детский. Остановился путник, прислушался и пошёл, свернув с большой дороги, к кучке деревьев. Ему навстречу выскочила небольшая собачка, обнюхала его, подпрыгнула, лизнула ему руку и, заскулив, побежала обратно. Глеб, помедлив, пошёл за ней. Собачка, то отбегая, то возвращаясь, вывела его к ручью, у которого сидела на корточках женщина, обнимая ребенка, лицо которого было в крови. Глеб, не спрашивая, что случилось, перенёс ребенка к ручью, промыл его лицо, перевязал его голову своим платком, и ребенок перестал плакать. Женщина, не сказавшая ни слова, ушла с ребенком в ночь, а Глеб, вернувшись к дороге, пошёл к городу.

рил обоим друзьям Ясса, помогая им вымыться и одеться. — Пойдёмте же, дорогие мои. Теперь вы уже хорошо отмыты. И. ждёт вас в своей столовой, — прибавил он ласково, видя растерянность новых учеников.

Им обоим казалось, что есть они совсем не хотят, и даже мелькала мысль, что не напрасно ли Ясса потревожил их в самом важном и интересном месте сказки. В первый раз Лёвушка шёл к И. без торжествующей радости о предстоящем с ним свидании, так ему было трудно расстаться сегодня с комнатой Али, с чудесной книгой, с какой-то ещё не испытанной новой жизнью, которой он прожил все часы, проведённые сегодня в божественной комнате. И возврат к жизни обычного дня был ему сию минуту труден.

Глава 13

Беседа с И. Мы продолжаем читать сказку. Отъезд Беаты и последнее напутствие ей И. и Франциска

Войдя в комнату И., Лёвушка очутился в объятиях Эты, которого И. приказал перевести к себе. Что-то вроде угрызений совести кольнуло его в сердце. Он даже позабыл о существовании своей дорогой птички, не только не подумав о её нуждах, но даже позабыв попросить кого-либо о ней позаботиться. Обняв Эту, Лёвушка подошёл к И.

— Мой дорогой Учитель, мой милосердный друг. У меня язык не поворачивается признаться вам в своём эгоизме. Я не только забыл об Эте, которого не забыли вы, но я и к вам возвращался, разрываясь между желанием читать дальше драгоценную книгу, желанием поскорее постичь мудрость того, что читаю. Я даже не подыщу слов: но вроде того, что был недоволен зовом Яссы. Найду ли я когда-нибудь то равновесие сил в себе, которое введёт меня в полное самообладание?

— Полное самообладание, Лёвушка, это не что иное, как полная трудоспособность организма при всех обстоятельствах жизни, — обнимая горячо прильнувшего к нему Лёвушку, ответил И. — В каждой болезни человека есть тот высший смысл, которого люди не видят. Всякая болезнь есть освобождение человека, всего его организма, от мусора страстей, накопленного в мыслях и действиях. Даже смерть, всякая смерть: смерть в страданиях, смерть без мучений, смерть в страхе, смерть благословляющая, смерть в бою, в борьбе с врагом на поле битвы — всё есть тот *Единый,* в котором застряли иглы страстей человека и *который* очищается им в *каждой* земной жизни особенным и неповторимым путём. Садитесь, друзья, будем кушать. День поста напомнит вам об аппетите.

— Когда я шёл сюда, доктор И., я был так поглощён прочитанным, что забыл начисто о том, что я из плоти и крови и что на свете существует еда и потребность в ней. В голове моей была тысяча вопросов, о которых я хотел спросить вас. Теперь я вспомнил не только о том, что на свете есть еда, но очень хорошо знаю, что я хочу есть. А весь миллион моих вопросов я, к моему отчаянию... забыл, — сказал Бронский, растерянно глядя на И.

— Не огорчайтесь, мой друг, — рассмеялся И., глядя на детски растерянное лицо артиста. — Кушайте, я уверен, что и Лёвушка не менее вашего вспомнил о плодах земных. Пока оба вы будете утолять свои аппетиты, я расскажу вам о некоторых приготовлениях к нашему отъезду. Во-первых, Зейхед привёл целый караван мехари, уверяя, что между отъезжающими будет немало неопытных ездоков, которые будут быстро утомляться и утомлять животных, и их придётся часто сменять. Затем, вместо одного дня пути до первого оазиса пустыни каравану придётся идти не менее двух, так как женщины, которых мы с собой берём, не будут в силах проехать так долго без остановки — так утверждает Зейхед вопреки торопящейся Наталии Владимировне, спорящей, что день пути в пустыне — пустяк и каждый здравомысля-

— А меня зовут Глеб. Вот и выходит, что я сыну твоему брат, — смеясь ответил юноша.

— Как странно, мой новый и дорогой сын Глеб, — задумчиво сказала мать. — С самого детства часто говорил мне мой Борис, что у него непременно будет брат Глеб. Но не я родила ему брата, а Жизнь-матушка послала ему Глеба, да только тогда, когда его уже нет. — И снова покатились ручьём слёзы по щекам женщины.

— Снова ты плачешь, мать. А ведь уж как ему, Борису, наверное, больно сейчас. И желание его исполнилось, и не одна ты сейчас, а всё не можешь послать ему улыбки радостного привета, чтобы ему было легче. Как думаешь? Мы с тобой только что решили, что будем жить весело, чтобы каждому было возле нас проще, легче и веселее. А вот тому, кого зовёшь самым первым, самым близким и любимым, его ты сейчас снова огорчила, ты отяжелила его путь, создав из своих слёз новое болото вокруг него и себя.

— Не буду больше плакать, Глебушка. Вот видишь, там, подальше, сарай. В нём дрова сложены, только наколоть надо помельче. А как обогнёшь сарай, увидишь ручей с маленьким водопадом. В нём чудесная вода. И вид с того места — просто загляденье, его Борис очень любил.

Глеб взял ведро и сделал вид, что не заметил, как при последних словах украдкой отёрла мать слезу...

И потекли тихие дни Глеба. Через несколько дней он привёл весь дом в порядок, починил крышу, наладил всё хозяйство, и день за день всё здоровее становилась мать. Всё реже и реже лились её слёзы, всё веселее становилось её лицо, всё бодрее звучал голос. Но привычка бояться людей, создавшаяся за годы несчастий, выпавших городу и лично ей, всё так же крепко держала её в цепях...

Немало усилий положил Глеб на борьбу со страхом матери. Но всё же одолел и это препятствие и уговорил её раскрыть ворота, раскрыть постоянно запертые двери и окна дома и позволить людям приходить к ним.

— Подумай, мать. Зачем ты прожила сегодняшний день? Чтобы бояться? Тогда ты смело могла и не занимать места на земле. Ты боишься, значит, ходишь в смерти, а не в жизни. Ты не подала привета доброты ни одному человеку — значит, только одна смерть жила в тебе и ты в ней. А должен быть твой привет людям: Жизнь с Богом и для Бога. Если не было людям привета, ничего кроме смерти для тебя и не было в дне, чего тебе её бояться? Бояться её тебе нечего, потому что ты и не жила в этот день.

Постепенно, пережив все стадии страха, доходя не раз до отчаяния от смелого поведения своего нового сына, входившего без страха в больные дома, упрекая Глеба, что судьба послала его ей в помощь, а он и не думает о ней, с большим трудом и страданиями сбрасывала с себя мать жгущие кольца страха.

— Я и вообразить себе не могла, какое счастье жить на земле, когда сердце свободно от страха, когда легко и спокойно работаешь, — сказала однажды Глебу мать. — Когда ты мне говорил, что важно только то, что и как ты делаешь сейчас, мне казалось, что ты просто ещё дитя и в голове твоей живут одни детские мысли. Что самое важное для человека серьёзного и практичного — это позаботиться о своём и близких “завтра”. Недавно я поняла, о чём ты говорил, утверждая, что жизнь — это “сейчас”. Только твоё “сейчас” объяснило мне, как надо освобождать сердце и мыс-

— Прости меня, глупую. За всё время со дня смерти сына я в первый раз видела его во сне. И так живо он мне представился, что я спутала его с тобой и, проснувшись, не сразу поняла, где кончалась иллюзия сна и где начинается действительность. Поэтому я не сразу улыбнулась тебе, такому доброму и ласковому. Но ты ведь сам понимаешь, что такое для сердца матери собственный сын. Я постараюсь в дальнейшем быть тебе благодарной, как только смогу.

— Полно, мать. Не думай о благодарности мне, как не думай и о смерти сына. Ты только представляй себе, что он живёт и думает о тебе точно так же неотступно, как ты о нём. Ну каково же ему видеть твои слёзы, твоё беспокойство, твои муки? Ты не сознаёшь, а если вдумаешься, то выйдет, что сын твой виноват в твоей муке. Оплакивая его, ты его обвиняешь в своих мучениях. И все твои слёзы так струями и бегут по его сознанию, по его теперешним делам и кладут на всё отпечаток скорби. А между тем тебе бы следовало свидетельствовать перед всеми, как чист и свят он был в своей любви к тебе, как оберегал тебя, как старался наполнить каждый твой день весельем и миром. Старайся теперь доказать всем, что он недаром жил подле тебя, что в твоём сердце осталась вечная память о его трудах для тебя и что не слезами и унынием ты хочешь поблагодарить его за его жизнь с тобою, но своим трудом для ближних. Тем счастливым и спокойным трудом, который он недоделал, уйдя так рано. Но который *за* него доделаешь *ты*. Думай о *его* освобождении, о том, что *помогаешь* ему освободиться, а не о своей печали. Сколько бы ты ни спрашивала матерь-Жизнь и всех мудрецов, почему, зачем умер твой сын таким молодым, — ты *не можешь* получить ответа, потому что глаза, которые плачут, не могут увидеть истины. Плачут всегда о себе, хотя бы и искренне думали, что плачут о других.

— Мне никогда не приходила в голову мысль, что мои слёзы могут беспокоить и мешать моему сыну, друг мой. Но сейчас меня точно озарило, как молния пронзила мысль, что между людьми существует живая связь, хотя они и не видят друг друга. Спасибо тебе. Будь же мне сыном, что мне послала судьба. Не раз я думала, что, если бы Милосердие послало мне юношу, который захотел бы быть мне сыном, я знала бы, что я прощена, что я могу надеяться искупить всю неправду моей жизни. Я по-новому старалась бы любить посланного сына, по-новому передавала бы ему все силы сердца и мыслей, в его лице я благословляла бы Божий мир. А сейчас, когда ты пришёл, я ничем, кроме тоски и слёз, тебя не встретила, — всё плача говорила женщина.

Нежно погладил сын протянутые ему руки и ответил:

— Как бы ты ни поступила, — уже улетело время и унесло твой поступок. Если в эту минуту говоришь,

что поняла духом, как надо действовать в жизни, зачем же нам с тобой так много говорить о прошлом? Вставай, выздоравливай, и будем оба каждый день приносить во все дела уверенность, что именно данное текущее дело и есть самое важное и самое главное. Будем его делать со всем полным вниманием и добротой, а остальное пусть складывается как возможно легче для всех. Не будем тратить время на слова. Я вижу, у тебя нет дров и воды. Скажи мне, где их взять, чтобы было на чём сварить пищу.

— Я всё тебе объясню. Но скажи, как мне тебя звать? Моего дорогого сына звали Борис.

щий сумеет справиться с такой несложной задачей. По существу, как вы знаете, нас здесь держит профессор. Через некоторое время, когда вы прочтёте книгу, мы пойдём его будить. Он спит сейчас здоровым, крепким сном, отсыпаясь за лишения всей своей прежней жизни, и уже начинает отдыхать и даже молодеет.

И. всё время удерживал мысли своих учеников на вопросах окружающей жизни, давая им отдых от всех пережитых ими напряжений в комнате Али. Окончив ужин, собеседники вышли на балкон, где И. усадил их и сказал:

— Сегодня вы оба имели вещественное доказательство, как выглядят мысли человека недостойные в сочетании с другими его творческими, полноценными и жизнедеятельными мыслями. Почему до сегодняшнего дня ни один из вас не ощущал, не видел и не предполагал даже, что на его одежде могут отражаться его малоценные, или ничтожные, или даже грязные мысли? Потому что сегодня впервые вы оба достигли *той ступени*, где уже стал вашей *атмосферой* ваш Свет в себе. А негармонирующие и беспокойные, нарушающие Свет этой атмосферы мысли лишь прорезают её, как молнии, отражая вдруг порыв страстей; порывы страстей бороздят уже устойчивую, точно плотная масса, слившуюся в *цельное* кольцо, светящуюся материю Любви, Мира, Радости и Бесстрашия. Когда вы в своей атмосфере достигнете незыблемо устойчивых сил такта, чистоты и света, ни одна мысль уже не оставит тёмного следа на вашей белоснежной одежде. Ни одно пятно ядовитого пота не сможет выделиться из ваших тел, так как его не будет в ваших мыслях. Что такое *внутренний* человек? Только частица Бога, *проявленная* в той или иной форме и степени. Если мысли человека — сплошной ком злых змей, где страсти кипят и выше земли не поднимаются, то заметить какое-то пятно на этом ужасающе безобразном клубке, который зовёт себя “человек”, можно, пожалуй, только тогда, когда оно кроваво-красное и кровоточит среди общего зловония, в месиве едких, жадных мыслей. Если атмосфера человека, которую он создал в себе и вокруг себя, полна мыслями о себе, о семье, наживе для них и себя, заготовках для одних собственных животов, разрезана завистью к более удачливой судьбе ближних, к их блеску, цветам и фруктам, — *такой* клубок мыслей *не может* подойти к Учителю, хотя бы жаждал, звал Его имя и искал путей к скорейшему освобождению. Если человек дошёл до той ступени, где *нашёл* слово Учителя, непосредственно ему данное, — это не значит, что он получил *гарантию встречи* с Учителем, гарантию *правильности* своего поведения в пути. Путь — это непрестанное движение, где не может быть ни момента остановки. Как только в путь, то есть в действие самого человека, ворвались гнев или раздражение, так *весь* путь остановился. *Перестала звучать его гармония*, и снова надо искать, *как* включиться в симфонию вселенной, ушедшей в своём творчестве вперёд, пока человек стоял на месте. Нет ни для кого возможности *двигаться* по ступеням *вселенной*, если он тяжёл своим встречным, если его раздражённый окрик или нравоучительная, недовольная речь не помогают человеку встречному успокоиться, но вызывают в нём протест и оскорбление. Только тогда человек может встать в число учеников, когда его помощь людям, его милостыня делаются его молитвой, его приношением Богу, которого он видит *за* лохмотьями убожества и скорби. Простой день жизни *прожит* учеником только тогда как день *пути*, как день движения *во вселенной*, когда радость знания стала не ароматом и приправой, но неизбежной атмосферой, *вне* которой ему *нет* возможности ды-

шать, а *внутри* которой сияет простое: там, где я — *Он*, там, где *Он* — я, там, где каждый встречный — *Он*. Идти по ступеням совершенства в том смысле, как идут по ступеням мастерства, — это бред безумных. Творчество сердца не рождается как следствие произнесённых или не произнесённых формул. Оно не приходит от натуги и тяжелодумия, от сознания, что я — веская и великая величина общества. Оно выливается светом и бодростью во всякое мгновение, потому что движется *весь* человек в звучащей атмосфере вселенной. И это совершается не тогда, когда *осознано*, что такое Жизнь в человеке и человек в Жизни, но когда *звук сердца слился* со звучащей силой Радости и жизнь стала не рядом фактов и встреч, но активной молитвой, святой песнью, где не может быть выпадений в мелочь суеты и раздражения, но где вся суета только та *неизбежная* каждому *своя* условность, куда человек должен внести *примирённость*. Наиболее страдают те, что не научились *терпеть и отдавать*, но лишь требуют и ждут. Идите теперь, друзья мои, каждый к себе. Не обменивайтесь мнениями, не ищите поделиться светом духовных достижений. Старайтесь научиться слушать Безмолвие и радуйтесь каждому мгновению свободы, когда можете утихнуть для внешнего и крепить ту атмосферу Чистоты, слабость которой вы наблюдали в себе сегодня.

И. отпустил своих учеников и пошёл к домику профессора. Лёвушке, добравшемуся как в тумане с Этой в свою комнату, лёгшему в постель в каком-то восторге, когда ему казалось, что он ощущает, как в его сердце выстроились и настежь открылись в своём привете любви каждому встречному не двери, но ворота, показалось, что не прошло и пяти минут с тех пор, как он лёг, а между тем голос Яссы звучал настойчиво и предлагал ему поторопиться, потому что Бронский уже ждёт его в столовой.

Мигом вскочив, недостаточно соображая, как это так быстро мелькнула ночь, Лёвушка развил максимальную быстроту и через несколько минут просил прощения у Бронского за своё промедление.

— Ах, что вы, Лёвушка! Какое тут промедление с вашей стороны. Это моё нетерпение, моя жажда гонят меня. А так как без вас я только жалкий созерцатель книги, то мне надо просить вас простить мою поспешность. Не раз у меня мелькала мысль в эту ночь о чуде моей встречи с вами, о безграничной моей благодарности вам...

— Станислав, дорогой, вы не пугайте меня. О чём вы говорите? При чём я здесь? Что же тогда говорить мне об И. и других, столько сделавших для меня? Оставим эти разговоры, иначе снова на наших белоснежных одеждах пойдут пятна. Я со вчерашнего вечера не чувствую, что у меня есть сердце, но на его месте ощущаю ворота, точно дыра во мне насквозь. Мне кажется, что ничто больше не могло бы заставить меня волноваться и огорчаться, даже если бы И. велел мне сделаться смотрителем сумасшедшего дома или содержателем злющих обезьян.

Бронский весело рассмеялся, ярко представив себе Лёвушку в обеих этих ролях, и сказал:

— Я не только не чувствую в себе дыры, Лёвушка, но я себя-то почти потерял и не знаю, где мои границы.

Пошутив насчёт своих ощущений, друзья, предводимые Яссой, снова отправились в комнату Али. И снова поразило их при омовении, что вода, скатывавшаяся с

Сейчас я тебе сварю молочной каши и яичко. Скажи только, есть ли у тебя печь? — спросил он, оглядываясь по сторонам и не видя никакого намёка на печь.

Женщина указала ему на тяжёлый пёстрый занавес в дальнем углу комнаты. Отдёрнув его, юноша увидел маленькую печь, рядом дрова и кучу мусора. Быстро разведя огонь, он сварил пищу, накормил больную, которая поела и тотчас же заснула. Воспользовавшись её сном, гость убрал комнату, вынес мусор и вёдра с застоявшейся водой, привёл всё в порядок в сенях и сел у кровати, ожидая пробуждения своей названой матери.

Мысли его вернулись к словам отца. Он вспомнил свой родной дом, сравнил слова отца с его собственной жизнью, год за годом внимательно рассмотрел поведение своего отца и убедился, что сам отец жил именно так, как говорил ему во сне. Он силился вспомнить хоть раз раздражённое или сердитое лицо отца, хоть одно слово, сказанное в повышенном тоне, но ничего, кроме всегда приветливых слов, иногда добродушно-юмористической улыбки, вспомнить не мог.

Он стал внимательно вглядываться в лицо спящей. Как много страдания и беспокойства лежало на этом стареющем лице! Юноша от всего сердца пожалел бедную женщину и мысленно сказал себе: “Я буду любить тебя всем сердцем, я буду жить у тебя, как будто отец мой рядом со мной, как будто самое главное дело моей жизни — заменить тебе сына и пробудить в тебе радость. Я буду жить подле тебя так, чтобы сердце твоё отдохнуло, чтобы расширился Свет в тебе. Я буду стараться передать тебе твёрдость и уверенность, что отец мой рядом, что он видит, слышит всё, что делаем мы. Я буду усердно служить тебе, и ты убедишься, что не только кровная связь радует людей. Убедившись, ты и сама найдёшь новую цель жизни в отдавании людям простой доброты. Тогда я пойду дальше, и не будут тебе нужны ни костыли, ни подпорки. Они нужны человеку до тех пор, пока он думает о себе. Как только перестанет о себе думать и при всякой встрече первой его мыслью будет нужда встреченного человека, так легко и весело побегут дни и радость зазвенит в сердце”.

По мере того как углублялся так в самого себя сын, мысль его всё теснее сливалась с отцом, и ему стало казаться, что не сам он говорит себе, но снова отец его посылает ему своё благословляющее слово. И такой радостью, таким спокойствием наполнилось существо юноши, что, как ему показалось, счастливее дня он за всю жизнь ещё не знал. Он улыбнулся мнениям встречавшихся ему по дороге людей, говоривших ему о тяжёлом и страшном подвиге, что он берёт на себя. Не подвигом он ощущал свою настоящую жизнь, но торжествующей радостью.

Он снова поглядел на лицо спящей и заметил, что выражение его стало иным. Вместо скорби и беспокойства лицо дышало примирённостью и спокойствием, тем спокойствием, которое даёт начало радости. Не успел юноша удивиться такой перемене, как женщина шевельнулась, открыла глаза и, улыбнувшись, протянула руку.

— Неужели же это действительность? Неужели ты подле меня, мой сын?

— Я давно уже караулю твой сон, мать. В последнюю минуту мне показалось, что ты лучше себя чувствуешь, что болезнь тебя меньше мучает.

На лице больной мелькнуло какое-то разочарование, снова облако печали легло на него, но она сделала над собой усилие, приподнялась, протянула гостю обе руки и сказала:

шире проявить *его*, — важно, что *твоя* Доброта *вызвала* к деятельности Доброту соседа. Живи же отныне не в границах одного места или времени, где всё подвержено изменению, разложению и смерти. Но во *всей вселенной*, всюду поклоняясь *Неизменному*, что живёт внутри *всякой* видимой формы. Будь благословен, сохраняй спокойствие при *всех* обстоятельствах жизни и передавай каждому — без слов и наставлений, — *свою* молитву к *Его* Единому. Перед тобой бесчисленные миры, которых ты не видишь. И во всех этих мирах бесчисленны формы, на них живущие. Никогда не забывай благословить *все* миры и послать привет *каждому* светлому брату, где бы он ни жил и какова бы ни была *его* форма труда и действия. *Твоя* молитва, *твой* поклон *огню* человека не зависят ни от места, ни от времени, но только от твоих чистоты, бесстрашия и доброты".

Проснулся средний брат, точно живой росой его сбрызнуло, так ему стало легко и весело. Все его сомнения показались ему смешными, и пошёл он дальше, глядя на встречаемых людей иными глазами. Должно быть и люди стали воспринимать юношу иначе, ибо никто не зазывал его к себе и не называл его больше ни чудаком, ни странным. Никто не уговаривал остаться и отказаться от замысла идти в страшный город. Признавали его задачу и только ещё внимательнее становились к нему люди, и всё чаще чья-то милосердная рука совала ему скромный узелок, а губы застенчиво шептали: "Прими, Бога ради. Не обессудь, что мало, может, пригодится". И чаще всего то были цветущие девушки и дряхлые старики.

Наконец дошёл до города средний сын, разыскал дом, где решил служить помощью и радостью своей названой матери. Вошёл он в этот дом, твёрдо помня слова своего отца, явившегося ему во сне.

Едва войдя в дом, он увидел в сенях женщину, ещё не старую, красивое лицо которой было измождено болезнью и скорбью.

— Здравствуй, мать, я пришёл к тебе вместо сына, которого ты потеряла. Прими меня вместо него и разреши помогать тебе в работе.

— Бог с тобой, юноша, понимаешь ли ты, что говоришь? — с испугом отвечала женщина. — Дом мой заражён, болезнь перебросилась на наш квартал. Правда, на этот раз умирает мало народа, но болезнь тянется много недель и истощает людей всё равно до смерти. Уходи скорее. У меня нет сил даже говорить с тобой. Я ничего не могу тебе дать, потому что там, куда пришла болезнь, всё опасно, всё грозит заразой.

Говоря, женщина тяжело дышала и с последними словами так сильно пошатнулась, что едва не упала. В одно мгновение сбросил юноша котомку с плеч, подхватил женщину на руки и сказал:

— Ничего не бойся, мать. Скажи только, куда тебя отнести, и будь спокойна. Я вовремя пришёл, чтобы выходить тебя.

С трудом подняв руку, женщина молча указала юноше на дверь в комнату. По лицу её катились слёзы, когда нежданный гость укладывал её на смятую постель, очевидно давно не перестилавшуюся. Воздух в комнате был тяжёлый и спёртый, на полу, также давно не метёном, валялось много сора. Юноша открыл окно и, улыбаясь плачущей женщине, сохранял полное спокойствие.

— Не плачь, мать, я сказал тебе, что пришёл выходить тебя. Вот я сейчас накормлю тебя. Точно знали добрые люди, как скоро понадобятся мне их дары.

их чистых тел, была мутной и тёмной, точно они целые часы брели в ураганной пыли пустыни. Лёвушка с удивлением поглядел на Яссу, и тот, точно поняв немой вопрос, ответил:

— Что же тут удивительного? Ведь вы ещё сравнительно так недавно были очень раздражительны. Почти во всех ваших нервных узлах образовались сцепления вроде склеенных жёстких узелков. Теперь они расходятся, а вся скопившаяся в них энергия раздражения сейчас выходит наружу, вроде того как раздавленный старый гриб-дождевик выбрасывает из своей скорлупы тёмный порошок. Вода с вашего тела только мутная, так как вы ещё очень молоды и большая часть ваших скорбей и слёз — только детские печали. Взгляните на воду, катящуюся с вашего друга. Она почти чёрная, так как его печали — глубокие застарелые скорби и огорчения. Они смываются трудно, потому что вся прожитая в печали жизнь сложила эту печаль в твёрдые камни, которые теперь с трудом лопаются и пробиваются через кожу вон из организма, по мере того как радость движет вашего друга в его труде дня.

Пока Ясса говорил, вода становилась всё чище, и наконец оба вышли из прозрачных бассейнов. Снова переодевшись в чистое платье, друзья пошли по коридору к заветной двери. Бронскому казалось, что он помолодел на много лет, дышалось ему легко, шёл он быстро и в его сердце не было ни одной капли печали. В первый раз за всю жизнь он не ощущал в себе тяжести и понял, что значит быть свободным, что значит *легко* начать свой день жизни.

Как и в первый раз, их остановила огненная надпись у порога двери. Бронский её не видел, но должен был остановиться, так как внезапно почувствовал какое-то неодолимое препятствие, которое его не пропускало дальше. Теперь он уже сам понял, что его не пропускало то огненное письмо, которого без помощи Лёвушки он понять не мог, но *смысл* которого ему необходимо было понять раньше, чем он войдёт в божественную комнату Али. Мысленно преклонившись перед безграничным милосердием высокого покровителя, посылавшего им свои заботы и любовь, Бронский стал слушать слова, которые ему переводил Лёвушка:

"Братья и друзья! Не то считайте милосердием, что даёте сами или даётся вам как долг, обязанность, тяжёлая ноша. Ибо то ещё стадия рассудочная, стадия самая близкая к полуживотному существованию.

Но то считайте милосердием, что даёте в радости, в сияющем счастье жить и любить.

Не тот *любит*, кто несёт свой *долг* чести и верности. Но тот, кто *живёт* и дышит именно потому, что любит и радуется, а *иначе не может*.

И любовь сердца такого человека не брага хмельная и чарующая, создающая красоту условности, но *сама* чистая Красота, несущая всему *примирённость*, успокоение.

Там, где ты — ныне призываемый мною в ученики и сотрудники друг, прочёл моё слово, там, где ты *претворил* его в примирённость в сердцах людей, — там *ты* основал *новое* колесо для жизни сердца человека, ибо там ты *помог двинуться* в новом вихре чакрам человека.

Вступайте в день, поняв на себе, как освобождается человек от застарелых ран и пятен. Как *пробиваются* к новому пониманию и восприятию дня борозды в мозгу.

Как *могут* они проложиться, развернуться, стать *действием* только тогда, когда закрепощающая сила, жившая в организме как старый предрассудок, сгнила и *вышла* из него, *освободив* место для радости.

Радостью ткётся светящаяся материя духа, радостью вводится человек в единение с людьми, а следовательно — с нами и со всей вселенной".

Сила, державшая ноги Бронского приклеенными к полу, внезапно исчезла, и он легко вошёл в раскрытую Лёвушкой дверь. Впервые Станислав ощущал счастье, полное счастье, горячая волна которого заливала всё его существо, сияла ему из каждого предмета комнаты, показавшейся ему сегодня особенно прекрасной и белой. Когда он взглянул в сияющее лицо Лёвушки, то не смог удержать возгласа:

— Лёвушка, Лёвушка, как вы прекрасны. Я даже не думал, что вы можете быть так нечеловечески прекрасны!

— Если бы здесь было зеркало, вы бы и себя увидели нечеловечески прекрасным и совсем молодым, Станислав, — ответил Лёвушка, и даже голос его был новым, звучнее, ниже и мелодичнее того, к которому привык Бронский.

Большое удивление обоих вызвала книга, уже раскрытая на столе, которую вчера так тщательно и осторожно убирал Лёвушка, закрывая стол Али. Чьи же заботливые руки открыли её? Чьё любящее сердце посетило и благословило своим милосердием их рабочее место? Но думать об этом было некогда. Принимаясь за чтение, Лёвушка с удивлением заметил, что целая пачка листов книги была точно склеена после того места, где они остановились в сказке вчера, и в заголовке стояло:

Путешествие, жизнь и уроки второго сына

Переведя Бронскому заголовок и показав ему склеенные, вернее сказать, слипшиеся листы, Лёвушка снова стал переводить ему книгу:

«Ушёл второй сын, полный энергии, долго шёл, разыскивая путь в страшный город. С кем ни встретится, кому ни скажет, все со страхом смотрят на путника и говорят ему: "Что ты, друг, аль жизнь тебе надоела? Ты ведь там не только от чумы умрёшь, но если даже выживешь, то от вражды тех горожан зачахнешь. Оставайся лучше с нами. Работы у нас сколько хочешь, земля хорошая. Мы тебе поможем дом построить, женишься, заживёшь в своё удовольствие. Девушки у нас одна другой лучше. Оставайся, брось думать об этом несчастном городе, никому ты там не поможешь, только себя погубишь".

Но не слушал путник заманчивых предложений. Он всем своим существом стремился в дом несчастной женщины и, ещё не зная и не видя её, мысленно говорил ей: "Милая мать, будь спокойна. Я иду к тебе, как только могу и умею быстро. Не лей слёз. Жизнь посылает тебе прощение и утешение в той форме, как ты просила. Как хотел бы я подобрать все твои слёзы и заменить их радостью. Верь мне, я буду видеть в тебе мать и служить тебе так, как я служил бы своей родной матери".

И много, много новых дум передумал средний брат за своё долгое путешествие. Не раз смущали его люди, которым он рассказывал, куда и зачем идёт, своими разговорами. Особенно сильно повлиял на юношу разговор с одним стариком. Узнав, что целью путника было стать сыном неизвестной ему женщины, старик сказал:

— Ох, и горькое же дело ты затеваешь. Взять дитя чужое на воспитание — и то дело трудное. Надо любовь в себе к нему найти, будто к родному. А этого почти невозможно сделать. А уж мать человека взрослого, как же ты, не видев её, можешь

чтить и любить перед Богом? Вдруг она тебе не понравится? Перед людьми-то ты сможешь это скрыть, а перед Богом и своей совестью как?

Задумался юноша и не знал, что ответить старику. Действительно, он видел и слышал не раз, что хорошие люди стремились облегчить другим жизнь и брали к себе их детей. Но часто приходилось им возвращать детей родителям, так как дети их раздражали, заставляли постоянно повышать голос, и кроме обоюдного неудовольствия и даже детских слёз из их воспитания ничего не выходило.

Чем дальше шёл путник, тем слова старика всё сильнее въедались в его сердце как ржавчина. И не мог он найти разъяснения, но твёрдо знал, что он задачи своей не оставит, от неё не отступится. И взмолился средний сын своему мудрому отцу, прося помочь ему понять свой мучительный вопрос и указать, как же ему поступить. Прилёг он отдохнуть в тени деревьев, и снится ему, будто пришёл к нему отец и говорит:

Сын мой добрый. Доброта — это качество твоё, человеческое, как *тебе* это кажется и каким ты его считаешь. На самом же деле это *не* твоё качество, но качество Бога, в тебе живущего. Оно не может изменяться в зависимости от качеств тех людей, которым *ты* подаёшь свою доброту. И подаёшь ты её *не* потому, что так хочешь или не хочешь; и подаёшь её *не* тому, что есть видимый глазами человек, но тому Свету, что живёт внутри каждого встречного, что вечен и неизменен, как твой собственный Свет, что ты знаешь в себе как Доброту. Если Доброта твоя шла из сердца, как частица Бога в тебе, то она и подавалась той частице *Бога*, что *ты мог* увидеть. И тогда нет и места рассуждениям, что люди, будь то дети или взрослые, могут быть для тебя "своими" или "чужими". Что они раздражают, мешают, нарушают гармонию твоего дневного труда и дома. Ты не *их* видел, когда их брал или им помогал, но *Ему, Единому*, молился, когда с ними входил в общение. И сейчас ничем не смущайся. Иди смело и легко к той, что сердце твоё назвало матерью. Доверься мудрости сердца и миру его, неси радость Тому, что живёт в оболочке женщины. С этого дня перестань думать, что есть разобщённые, отдельно существующие люди. Есть *Единая Мировая Душа*, что живёт во всех формах земли. Не зри своей особой задачи в том, чтобы поклониться своим трудом всем этим формам. Но легко и просто *молись* Единой Душе во всех встречаемых *Её* воплощениях. В минуты смущения и неуверенности всегда зови меня, чтобы скоро кончались эти минуты. Каждая такая минута засоряет выход чистой силе из твоего сердца, и нарастают вокруг твоего сердца корочка и узелки. И какими бы короткими и поверхностными ни казались тебе мелькнувшие минуты сомнений, трудность *выхода* из сердца доброте так ощутима, как будто между тобой и человеком легла перегородка. Иди весело. Не отталкивай людей, не отказывайся выслушивать их мнения, но улыбайся им, как детскому лепету, когда видишь их неразумие, их полное незнание истинной сути вещей. Доброта, поданная тобою как молитва, как поклон Единому в человеке, проникает *не* в те *видимые* оболочки, что доступны разложению и смерти, но в то Вечное, *что* неизменно и *что ты* восхваляешь, радуясь, что *мог* подать встречному *свою* Доброту. Проходи свой день труда легко всюду, где остановит тебя встреча, и знай, что день *был*, если *твоя* улыбка привета *помогла* расшириться и светлее засиять Единому во вселенной от твоей встречи с человеком. Не важно, *как* засветился круг *Единого* шире на земле. Не важно, *чем* помог ты людям

ла, и научи их святости любви. Она подала мне ожерелье и упала навзничь. Я думала, что она уже умерла. Ужас объял меня. Я хотела бежать, как вошёл хозяин и с ненавистью взглянул на меня. Увидев на мне драгоценное ожерелье, он бросился на меня с криком: “Уже обокрала? Подай сию минуту!” Но вдруг госпожа поднялась и каким-то не своим, свистящим голосом сказала: “Не она, а ты обокрал меня и её. Отдай ей ожерелье. Храни тайну рождения дочери, и пусть раба моя живёт при ней мамкой и нянькой столько, сколько будет жить на земле”. С этими словами она вторично упала, чтобы уже не подняться больше. “Ступай к себе и не смей сюда входить. Живи, как приказала твоя госпожа, но не попадайся мне на глаза”, — сурово сказал мне хозяин. С тех пор живу я мамкой у моей молодой госпожи, но любви, о которой говорила покойная, я её научить не сумела. Жизнь моя и всегда была ужасна в доме, я боялась выйти лишний раз из комнаты, а с тех пор как больна моя теперешняя госпожа, я молю только о смерти и стараюсь найти в ожерелье силу любви, что передала ему моя добрая умершая госпожа. Пойдём, господин, может быть, ты спасёшь жизнь больной. Я не потому прошу тебя, что боюсь, как бы отец её не убил меня. В смерти, верно, легче, чем в моей жизни. Но потому, что страшно мне, если не найдёт успокоения души несчастная дочь моя. Чёрный демон злобы, злой любви, я уверена, держит её крепко в лапах, как держал и держит и по сей час меня. Не откажи взглянуть на больную, пойди со мной, — рыдала женщина, цепляясь за ноги Аполлона.

С трудом подняв женщину, он усадил её на скамью рядом с собой, взял её руку в свою и ласково сказал:

— Успокойся, друг. До тех пор пока ты не придёшь в полное спокойствие, мы с тобой не двинемся с места. Чем скорее ты хочешь, чтобы пришла помощь к человеку, тем скорее ты должна быть в полном самообладании, забыть о себе и думать только о нём. Сейчас ты молишь о дочери. Оглянись на свою жизнь. Перестань плакать и подумай, почему ты не сумела выполнить завета твоей умершей госпожи, которой ты была любимой подругой, которая доверяла тебе все свои тайны и которую ты так жестоко обманула. Если бы ты призналась ей во всём, она простила бы тебя. И в вашем доме, если бы не жило счастье, жил бы мир. Если бы ты так не ревновала своего господина и дочь, в вашем доме если бы не жило счастье, жил бы мир. Если бы ты не скрывала в своём сердце лжи и не оговорила бы покойную перед её мужем, в вашем доме жил бы мир. Ты любила и любишь дочь, но она впитала в себя с твоим молоком и лицемерие, и зависть, и ужаленную гордость, и чрезвычайно чувствительное самолюбие — качество рабов. Пойдём. Прижми к себе своё драгоценное ожерелье и призови всю силу любви отошедшей, всё простившей тебе души. Почувствуй себя в этот единственный час жизни освобождённой от всей лжи, от всех цепей, что ты сама и люди надели на тебя, и стой перед Богом, перед Ним одним, как будто всё исчезло, а ты уже умерла и стоишь во всей вселенной, во всей своей правде перед Ним.

Аполлон поднял женщину, которая стала совсем спокойной, и пошёл за нею в темноте спустившейся ночи. Путь оказался не длинным. Женщина ввела его в дом, который спал мирным сном в глубокой тьме, провела его с зажжённым светильником в большую роскошную комнату, еле освещённую и пустую, и ушла за тяжёлый занавес, отделявший часть комнаты.

— Глупенькие мои детки, не вбивайте себе в голову сказок, — весело смеясь, ответил тот Монко. — Жизнь не сказка, и вы очень хорошо это знаете по собственному опыту, хотя короткому, но печальному. Я такой же человек, как и вы, у меня также нет дома, как и у вас, и я иду таким же бродячим музыкантом, как и вы, без денег и хлеба. Жизнь, которая всегда знает, что она делает, послала вам меня, а мне вас, чтобы нам легче и проще было жить на свете. Выбросьте из своих милых головок всякие бредни о путешествующих и спасающих ангелах и крепко верьте, что всё ваше спасение, как и вся ваша жизнь, в ваших собственных руках. Если вы будете бодры, не будете плакать от тяжёлого труда, а будете радостно трудиться, ваша жизнь будет самая счастливая. Не будем тратить попусту времени, наберём дров, у меня есть ещё кофе и немного молока, сварим завтрак и решим, как нам жить дальше. Сегодня Монко должен ещё отдохнуть, но завтра мы пойдём по большой дороге. Я уверен, что мы кое-что заработаем и не будем голодать. За этот день отдыха мы составим новую программу, после завтрака подумаем внимательно о ней, а сейчас — за работу.

Весело стала новая музыкальная артель собирать шишки и хворост для костра, так как деревья оказались небольшим леском. Время для детей и носившейся по лесу Беляночки мелькнуло, как самый весёлый праздник. Им казалось, что минут счастливее этого утра они не знали. Накормив свою новую семью, юноша сказал:

— Ну-ка, братишка, сыграй мне мою песню на своей скрипке, я увижу, хвастал ли ты или ты взаправду артист.

— О, дядя, если бы ты знал Монко, ты бы так не сказал, — укоризненно прошептала Фанни.

Мальчик молча вынул свою скрипку, оказавшуюся настоящей большой скрипкой для взрослого человека, настроил её особенно нежно, точно живое существо, погладил её и сказал с необычайной серьёзностью, поразившей юношу:

— Это скрипка отца. Он играл прекрасно, но говорил мне, что я играю лучше него. Иногда, когда я играл, он плакал и говорил: “Боже мой, чем же я так согрешил перед Тобою, что не имею возможности послать учиться это гениальное дитя?” Но, так как Фанни говорит, что ты Ангел спасения, то уж ты сам поймёшь, прав ли был мой отец и надо ли мне где-нибудь учиться.

Монко заиграл, и путник узнал в звуках ту песнь, что он пропел утром навстречу солнцу. Но для его ушей она звучала странно. Он как автор её почти не узнавал. Песнь была та и не та. Мальчик передавал её так своеобразно, что она показалась певцу гораздо лучше в его передаче. Трудно было поверить, что поют её маленькие пальчики ребёнка, а не волшебное существо, у которого особая свирель, умеющая петь человеческим голосом. Только слов не хватало песне Монко и всё сердце юноши она заполнила. Он сидел очарованный, не сводя взора с серьёзной, углублённой, хрупкой фигурки ребёнка, углублённого в самого себя.

Когда маленький музыкант кончил играть, он робко посмотрел на своего покровителя и снова тихо спросил:

— Как же ты думаешь, Ангел спасения? Достоин ли я учиться? Послал ли мне Бог встречу с тобой, чтобы ты стал нашим общим покровителем и помог нам с сестрой сделаться артистами? Если бы ты только слышал, как поёт и танцует Фанни, ты бы, наверное, был милостив к нам. Ты молчишь. Разреши, я ещё сыграю, а Фанни

споёт и станцует. Быть может, хоть её ты сочтёшь достойной учиться, дорогой, милосердный Ангел спасения.

До глубины сердца растроганный, юноша вскочил, поднял, как пёрышко, мальчика, прижал его к груди и несколько раз горячо поцеловал:

— Ты не только отличный скрипач, ты чудесный музыкант, дорогой мой мальчик, моя радость, незаслуженно посланная мне жизнью чудесная встреча. Я даю тебе слово, что ты будешь учиться у самого лучшего учителя, хотя бы для этого пришлось море переплыть.

Он опустился на землю, усадил мальчика и девочку с Беляночкой к себе на колени и, лаская всех троих найдёнышей, продолжал:

— Прежде всего, родные мои детки, запомните твёрдо, раз и навсегда: я такой же человек, как и вы, и ровнёшенько так же, как и вы, никогда не видел ангелов и не бывал в их обществе. Теперь я ваш старший брат и должен заменить вам отца, как смогу и сумею, и этот вопрос кончен. Жизнь не сказка, все на земле трудятся, будем трудиться и мы. Надеюсь, что вместе со мною вам будет легче и веселее. Сейчас мы обдумаем, какую нам приготовить программу, чтобы нравиться людям и иметь всегда хлеб и ночлег под крышей. Здесь проходит большая дорога, мы дойдём до ближайшего городка, где останавливаются проезжающие, и там дадим наше первое новое представление, которое сейчас обсудим и придумаем.

Довольно скоро сыгрались и спелись три артиста, но на четвёртого — Беляночку — пришлось потратить немало труда всем троим. В конце концов усердный пёс понял свою роль во всех деталях, и вновь сформированная труппа, дав отдохнуть Монко, двинулась в путь.

— Дядя, постой, — остановила всех Фанни. — Если ты говоришь, что ты не дядя Ангел и не хочешь, чтобы мы тебя так называли, то скажи нам своё человеческое имя, а то нам никто не поверит, что ты нам брат.

— Моё имя Аполлон, зовите меня братом Аполлоном, как меня всегда звали в моей семье, — ответил юноша, торопя своих спутников, так как солнце уже было высоко.

В ближайшем городке новая музыкальная семья имела большой успех. Был базарный день, многие были хорошо настроены из-за удачных сделок и щедро одарили за песни и пляску красивых детей и их молодого опекуна.

Давно уже дети не были так веселы и сыты, как в этот день, давно не спали на чистом белье и постелях, на которых сегодня радостно отдыхали, так как их заработок позволил им снять отдельный номер. Через несколько дней они уже щеголяли в новых платьях и башмаках, всегда теперь сытые и уверенные в себе. Все три маленьких артиста души не чаяли в Аполлоне. Иногда только, робко прижавшись к своему покровителю, лаская его своими ручонками, они застенчиво шептали:

— Ты ведь, брат Аполлон, никогда нас не оставишь? Без тебя мы теперь уже не можем жить.

— Я вас приведу в большой город. Там вы оба будете учиться, а я буду петь людям и зарабатывать деньги вам на учение. Вот пока для всех нас и программа. Зачем вы так часто думаете о том, что будет дальше! Ваша короткая и тяжёлая жизнь должна была научить вас, что ни одно “завтра” нам неизвестно, а есть только “сегодня”. Радуйтесь, пойте и играйте, учитесь прилежно, вот и всё.

Он понял, зачем нужны отцу его очаги Света, зачем нужны места, где живут освобождённые от страстей, и новая волна счастья и ликования залила его сердце. Какой лёгкой и маленькой показалась ему его личная разлука с детьми, такими близкими и любимыми, и ещё яснее он понял, почему отец его не плакал и не тосковал, посылая всех своих сыновей вдаль. Понял Аполлон, *что* видел отец в пути каждого сына и Кому он служил, отрывая их от своего сердца и родного гнезда.

Аполлон собирался уже встать со скамьи и отправиться в выросшую вместо прежнего заезжего дома большую гостиницу, как его остановила закутанная в шаль женская фигура.

— Господин, сжалься, пойди со мною. Здесь недалеко дом моих господ. Я старая мамка моей теперешней госпожи. Вот уже скоро семь лет, как госпожа моя чахнет и изнывает в никому не понятной болезни. Ни один доктор не может ей помочь. Нам сказали, что со скрипачом приехал его доктор, что ты очень учён в больших городах. Не сердись, что я нарушила твой покой. Муж моей госпожи отблагодарит тебя большими деньгами. Я же во имя Бога вечного, молю тебя, последуй за мной. Госпожа моя ни во что не верит и, когда я ей говорю о Боге, бранит меня и спрашивает, почему же мой Бог не освободил меня от рабства, почему я не вымолю ей у Него помощи и здоровья. Смилуйся, господин, — рыдая и опускаясь на колени, говорила женщина. — Нет, не поднимай меня, позволь мне быть у ног твоих. Точно благая теплота вливается в раны сердца моего, и старый грех не так жжёт меня. Во всём виновата я одна, господин. Была я красоты необычайной, и купил меня мой старый господин своей дочери, которой я понравилась, в приданое. Добра была моя молодая новая госпожа, жалела меня и ласкала. Всё шло некоторое время хорошо, да стал на меня всё чаще и чаще взглядывать молодой хозяин. Дошло дело до того, что сделалась я беременна и родилась у меня дочь, теперешняя моя госпожа. Не знаю я, что произошло между моими господами, только на второй день родов взяли от меня дочь, а к вечеру перевели и меня в барский дом, и поселена я была рядом со спальней моей доброй госпожи. Долго, очень долго я её не видала. Уже стало девочке моей два года, как позвали меня однажды к моей госпоже. Ох, господин, долгая с тех пор прошла жизнь, а минуты того ужасного свидания всё стоят передо мной. Исхудалая, почти один скелет, жёлтая, как воск, лежала она на постели, и глаза её светились, точно лучистые лампады.

— Подойди ближе, бедная раба неверная, — тихо, тихо сказала она мне. — Возьми это ожерелье. Никто не знает, какова будет его старость, оно драгоценно. Многими слезами, стонами и жалобами я его оплакала, но и величайшим прощением моим оно пропитано. Мне его дала моя бабка, сказав: “В нём твоё счастье”. Ах, как плакала я, когда ты отняла у меня мужа. Прижимая моё ожерелье к груди, я всё спрашивала: где же моё счастье? От слёз и горя разбилась грудь моя, и чем больше я страдала, тем яснее понимала, что всякое счастье не вечно, а вечна одна доброта. И простила я тебе, велела дочь твою записать своей родной дочерью. Живи с нею вместе в моём доме, возьми ожерелье, пусть оно будет счастьем твоим и научит и тебя прощать и любить так, чтобы видеть не одно только своё счастье, но и счастье других. Смерть уже возле меня. Она не страшна мне, и ты её не бойся. Она освободит меня от страданий и освободит тебе место для лучшей жизни в этом доме. Только одно запомни: будь верна до конца тем людям, которых ты сама выбра-

Не осудивший и простивший врага, простивший не от ума, но от всей великой, смиренной Любви — *свободен*, и Бог живёт и сияет в нём.

Не принявший великолепия внешних даров, но отдавший жизнь убогому, узрев в нём Меня, — *свободен*, и Бог *живёт* и сияет в нём.

Отошедший от семьи и понявший любовь как ядро Вечного в каждом встречном, не жалеющий о блаженстве прошлого, не печалящийся в настоящем, не ужасающийся будущего — *свободен*, и Бог живёт и сияет в нём.

Иди в те места, что укажу тебе, бесстрашно, легко, весело. Заложи в них путь для встреч и раскрепощения обременённых, чтобы могло приблизиться время понимания, как душу свою за друзей-ближних отдавший кладёт зерно Света, и рождается новая сила для *раскрепощения* людей.

Не иго я возлагаю на плечи твои. Не игом вплетается труд мой в твои дни, но красоту *чаши Любви* понесут руки твои, чтобы мог я разделить иго и скорби *людей*. Из чаши Жизни пролей Огонь в те места, где зароешь Зерцала Мудрости, чтобы легче было людям раскрыть в себе чистоту сердца и услышать озарение моё.

Не звал ты меня, верный сын мой, но действовал на земле, как я тебе указал. Не в мечтах и обетах была твоя верность мне, но в простых делах будней. Раскрыта теперь Радость в тебе. Иди, выполни урок мой и жди дальнейших указаний”.

Не тот Аполлон, почти мальчик, сидел теперь на скамье, вспоминая сцены далёких дней, дней первых бродячих представлений, когда встретил маленьких сирот. Мальчик-скрипач, много с тех пор работавший и учившийся, теперь изумлял мир. Девочка, певица и танцовщица, стала знаменитостью. Сироты не забыли и своего постаревшего пса, видели в нём и сейчас одного из своих лучших друзей и баловали его, как могли, украшая ему существование. Они упросили Аполлона посетить то место, где когда-то с ним встретились, и дать концерт в том городе, где их так жестоко приняли семь лет назад.

Теперь на скамье сидел молодой зрелый мужчина, широкоплечий, высокого роста и с сияющим лицом. Но что-то было в этом молодом лице, что не позволяло людям держать себя с ним развязно, говорить в его присутствии о пошлых вещах и браниться. Каждому хотелось укрыть свои скотские стороны и выказать побольше красоты и благородства, когда сияющие глаза Аполлона смотрели на него.

Сейчас, услышав голос отца, которого он не слыхал с тех давних пор, как сидел здесь впервые и сердце его исходило кровью, он весь точно преобразился. Ему теперь казалось, что именно этого зова отца он только и ждал уже несколько дней. Он понял, что задача его, задача, задерживавшая его перед более широким планом действий, сейчас окончена.

Он тогда сожалел, что у него не было семьи, что он одинок и бесприютен, — и Жизнь послала ему семью, дом, уют. Он узнал всё личное счастье семьянина и понял, что и это иллюзия, что Вечность не там, где проходящее счастье, но там, где *живёт* Она Сама. А живёт Она там, где человек *творит*.

Мысли Аполлона пронеслись вихрем сквозь весь прожитый за этот период времени опыт. Он понял, что людям необходимо искать пути к творчеству, иначе они задохнутся в той атмосфере смерти, которая делается владычицей всюду, где кончается искание свободы и мира.

Погода благоприятствовала юной труппе, не раз им делали заманчивые предложения всякие предприимчивые люди, многие старались сманить детей у Аполлона, суля им исподтишка золотые горы, но никто не смог оторвать их сердец от Аполлона, да и жила в них одна мечта — учиться. До большого города оставалось всё меньше вёрст, у каждого из артистов завёлся тугой кошелёк, потому что они усердно работали, всё больше расширяя свою программу, всюду имевшую успех.

— Знаешь, брат Аполлон, — сказал однажды Монко. — Хотя я и убедился, что ты никогда не говоришь неправды, но всё-таки я не могу тебе поверить, что ты не Ангел. Ты такой добрый и так поёшь, что весь человек тонет куда-то, слушая тебя. Вспомни, пожалуйста, ну, наверное, кто-нибудь, какой-нибудь дедушка или бабушка твои были в родстве с ангелами. Ну вот хоть столечко, такое маленькое-маленькое родство да было у тебя с ними. Вспомни, я тебя очень прошу, наверное, ты забыл, — умилительно показывая крошечный кончик своего мизинца, говорил Монко.

Аполлон, шутя и весело смеясь, отвечал:

— Видишь ли, когда ты играешь песни своего отца, то не только весь человек куда-то тонет, но и вся вселенная вместе с ним точно исчезает. Твои звуки заставляют всех умолкать: и птиц, и собак. Но я тебя не подозреваю в скрытности и не думаю, что ты прячешь от меня своё ангельское происхождение.

— О, я-то человек, самый простой человек. Как помню себя, отца и мать, — всех нас всегда преследовали люди за нашу веру. Только я тебе не могу объяснить, какая такая наша вера и почему за неё нас люди обижали. Иногда отец утешал нашу бедную маму и говорил ей: “Не горюй, Гарань. Это слепцы, полные суеверий. Иди честно, не сворачивая с дороги, и жизнь воздаст если не нам, то детям нашим. Ты до конца верь и, вместо того чтобы плакать, улыбайся невежеству тех сердец, что, преследуя нас, думают угодить своему Богу”.

Помолчав, Монко робко прибавил:

— Я думаю, что отец не ошибался. Мы тебя встретили, значит, жизнь вознаградила нас вместо них. Я верю, что ты устроишь меня учиться, и я буду артистом, как говорил мне отец.

— А я буду учиться танцевать. Ничего на свете я не хочу, только танцевать, — сказала Фанни, бросаясь на шею своему названому старшему брату Аполлону.

— Не знаю, правда ли это, что ты хочешь только танцевать, милая моя сестрёнка, потому что ясно вижу, как сейчас ты хочешь только сладко спать, — укладывая смеющуюся девочку в постель, сказал Аполлон. — Спите, детки, завтра у нас трудная программа. Не забудьте, что завтрашнее представление — наша репетиция перед большим городом. Там мы должны привлечь к себе внимание, чтобы хорошие учителя захотели вас учить. Отдыхайте, наберитесь сил, чтобы завтра быть бодрыми и свежими, а я пойду пройтись.

Поручив своих детей надзору коридорной женщины, Аполлон вышел из дома и присел в саду на одной из самых отдалённых скамеек. Ему хотелось побыть одному, подумать обо всём, что с ним за это время произошло. Только что он начал вспоминать о своих братьях, которых так давно не видал и о которых не имел никаких вестей, как послышались шаги, и к нему быстро подошла укутанная в шаль женская фигура.

— Я видела, как наконец ты вышел один, без твоих несносных ребят, вечно на тебе виснущих. Не вздумай меня обманывать. За тобой я слежу уже целый месяц и узнала всю твою историю. Люди рассказали мне, что дети пристали к тебе в дороге, а вовсе они тебе не родня, как ты всем говоришь. Я хочу поговорить с тобой очень серьёзно о твоей судьбе. По всем твоим манерам видно, что ты очень хорошего происхождения и никак не можешь быть бродячим музыкантом. Я не знаю, что тебя толкнуло на этот путь, но думаю, что не ошибусь, предположив, что неудачная любовь заставила тебя скрываться и скрывать своё имя. Но возможно, что твоя неудачная любовь и не так неудачна, как тебе это кажется. Ты не мог не заметить, что я и мой отец всегда, когда можем, стараемся бывать на твоих представлениях и сидим на самых ближних скамьях, и мы бываем самыми щедрыми из всех твоих слушателей. Я умышленно задерживаюсь повсюду, чтобы дать тебе возможность нас догнать. Мой отец меня обожает и сделает для меня всё. Но моё внимание к странствующему певцу, внимание богатейшей невесты в округе к человеку неизвестному ему не по вкусу, как и мне самой. Я пришла, чтобы сказать, что интересуюсь твоей судьбой. Поступай приказчиком к отцу, хотя он характера и гордого, но я его заставлю приглашать тебя к нашему столу, и мы с тобой будем часто видеться без помехи. Послужишь приказчиком, выкажешь усердие к делам отца, станешь старшим, тогда я дам тебе потихоньку от отца денег, ты сделаешься компаньоном, ну, а тогда можешь просить меня в жёны. Но я требую, чтобы ты оставил своих противных найдёнышей. В нашем огромном городе есть много монастырей, можешь их туда определить. Денег на их воспитание там я тебе дам. Теперь отвечай скорее, согласен ли ты на мои условия. Твой пылкий взгляд я много раз ловила на себе, я знаю, что я прекрасна и не влюбиться в меня трудновато. Не смущайся огромностью расстояния между нами. Если я чего захотела, я всего добьюсь. Предоставь всё мне в нашем вопросе. Я знаю, как тебя должно было поразить это свидание. Понимаю твоё смущение и молчание. Но не бойся, хотя я и царица здешних мест по красоте и богатству. На то я и царица, чтобы презирать общее мнение и поступать как мне нравится. Отвечай скорее, отец может каждую минуту вернуться из кабачка, где он любит посидеть вечерком с приятелями.

Девушка сбросила шаль и придвинулась ближе к Аполлону. Аромат её чёрных кос и сверкающие перстни на руках, чёрные глаза, вся гибкая фигура, даже голос, резковатый и властный, как всё было похоже на его сестру! Юноша,
в течение речи своей собеседницы несколько раз красневший и бледневший от оскорблённого мужского достоинства, вспомнил о своём отце, вспомнил, зачем и куда он шёл, встал, поклонился незнакомке и в полном самообладании ответил:

— Я очень тебе благодарен за твоё внимание к моей судьбе. Но ты ошиблась во всём. Я ушёл из дома не от неудачной любви, а по делу и поручению моего отца. Я не оставлю детей, так как дети эти мои самые настоящие брат и сестра, и их судьба — моя судьба, а от своей судьбы уходить не приходится. Я плохой торгаш вообще. А любовью торговать и вовсе не сумею. Кроме того, не женщины занимают мой ум и моё сердце, но тот Божий путь, о котором ты, очевидно, и понятия не имеешь. Я тебе наименее подходящий из всех мужей, кого ты только могла выбрать...

— Я без вашей помощи не мог понять, *что* говорил Али. Но что *Он говорил* нам, это я ощущал всем своим существом. Впервые сегодня за всю мою жизнь я испытал чувство беспредельной, ликующей радости, в которой не было ни единого момента памяти о земле, времени, пространстве.

Мы вошли в комнату и снова были поражены, что стол был открыт и лежавшая на нём книга была развёрнута не на том месте, где мы остановились вчера. Перед нею в высокой белой, сияющей, точно внутри её был белый огонь, вазе стояли никогда не виданные мною цветы, схожие с розами и лилиями, совершенно белые, с изумительной тонкости и красоты лепестками, издававшие не сильный, но чарующий аромат.

Обоих нас поразило довольно большое количество склеенных листов, отделявших место нашей вчерашней остановки в чтении от места, раскрытого для нас сегодня.

— Очевидно, нам не нужны или недоступны в данное время истины склеенных листов, — сказал Бронский, и я начал переводить:

«“Помнишь, Аполлон, как несколько лет назад ты сидел на этой самой скамье, полный скорбных дум и печали от разлуки со мной? Тогда мой голос ободрил тебя, я указал тебе путь, как идти вперёд мужественно, не показав ни разу детям своего уныния, как вселить в них уверенность в себе при всех неудачах и крепить в них радостность своим спокойствием. Верность твоя моим заветам не поколебалась. Ты не сокрушался, что я, дав тебе заветом широкий урок служения людям-толпам, связал тебя на целый ряд лет двумя нищими сиротами и их спутником-псом.

Теперь дети твои самостоятельные и большие величины в их искусстве, и тебе настало время их оставить, предоставив им, в свою очередь, служить путями красоты людям, как сами смогут и сумеют.

Не ущемляйся сердцем, покидая детей, которых любишь, как самых близких родных. Оставь последнюю условность личной привязанности и иди в те места, что тебе укажу.

Нет на земле суеверно благословенных мест. Но есть места, где много праведников, самоотверженных и чистых, долгими годами чистой радости очистили на много миль вокруг атмосферу земли.

В несколько таких мест ты пойдёшь и оставишь там Зерцала Мудрости, что я тебе скажу, что ты сам запишешь. Часть их, что укажу тебе, ты вынесешь в песнях и молитвах людям, встречаясь с ними повсюду. Особо же священную часть укроешь в земле и камнях. Сила их Света будет видна тем, чьи сердца будут чисты. И много веков там будут селиться ищущие Истины и путей *Её*.

Не думай, что, обходя мир, ты оставишь заветы мои для определённых сект и людей, узко видящих Бога в одних обрядах людей. Не для праведных, но для грешных, ищущих и жаждущих освободиться, ты пойдёшь.

Здесь сидел ты несколько лет назад юношей, не знавшим всей бездны греха и скорби, всей тьмы падений и лицемерия людей. Здесь ты простил и благословил женщину, обрызгавшую тебя ядом лжи и проклятий за отвергнутую любовь плоти. И как твоё сердце сумело вынести ей не приговор осуждения, но подать дар любви Единого, так моё сердце слилось с твоим в Любви Единого, для труда твоего в каждом простом дне.

либо бедствие преградит вам путь к исполнению задачи Учителя? Вы всё бросите и побежите спасать тех, о ком *вам не* сказано, и забудете всех тех, о которых *сказано именно* вам?

— Сейчас я не сумею ответить на ваш вопрос, Ясса. Но он для меня и чрезвычайно важен, и более чем своевременен и серьёзен. Спасибо вам за него, я в нём усматриваю нечто вроде предостережения.

Мы быстро вышли из комнаты и увидели внизу Бронского, мощного, светлого; мне показалось, что из него шли лучи силы. Весело поздоровавшись со мной, он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал:

— Как это странно, у вас, Лёвушка, сегодня лицо менее обычного спокойное. У вас случилась какая-нибудь неприятность?

— Нет, Станислав, я очень счастлив, я был немного слаб, но И. прислал мне пилюлю, и я чувствую себя прекрасно.

Мы прошли в комнату омовений, и на этот раз вода с меня текла гораздо чернее, чем с Бронского. Он и шёл сегодня совсем легко, фигура его за эти дни поста стала гораздо стройнее. Его глаза сейчас пристально искали светящуюся надпись. Он подошёл к самой двери и только на пороге её остановился. Я понял, что его остановило огненное письмо, но я его сегодня не видел на пороге, где оно обычно сияло прежде всего. Удивлённый, я поднял голову вверх и высоко на двери прочёл:

“Мучения любви — плод суеверия земли. Жажда близости ощутимой — сила закрепощения человека в его собственных желаниях.

Ученичество — наука освобождения. В ученике любовь его не сохнет оттого, что он освобождается и развивается. Он не останется равнодушным к ближним. Но в нём рассеивается туман страстей, и он видит *ясно* и *всегда всю* жизнь окружающих, а не *один* момент личной их жизни и своей связи с ними.

Не забывай, ученик, что указания твоего Учителя даются *тебе сейчас*, даются *тем, кто* знает и видит и твой, и всех окружающих тебя пути.

Иди в законе вечного, добровольного и нерушимого повиновения, ибо оно ничто иное, как *верность твоя*, в которой следуешь за ведущими тебя”.

Надпись погасла. Но мы не проходили в распахнутую дверь, нам обоим хотелось сегодня особенно крепко сосредоточиться, призвать чудесное имя Али, комната которого стала для нас таким святилищем, и послать Ему нашу благоговейную благодарность. Внезапная дрожь потрясла всё моё тело сильнее обычного, и я услышал голос Али, такой громкий и ясный, точно он был рядом с нами:

— Помните, друзья мои, что радость знания, даваемая вам, — это не сила наших забот о вас, но возможность создать *через* вас новые пути помощи людям, показывая им на живом примере, *где* путь к нам и *как* он достигается. Каждый, общающийся с вами, должен освободиться от суеверия и предрассудков: что вы, ученики и сотрудники, — святые или особо счастливые избранники. Но в поведении вашем, в вашем сером трудовом дне они должны видеть нерушимую верность вашу нам — ваше единение вечное с нашим трудом и путями.

Я передал Бронскому, что сказал нам Али в ответ на наше благоговейное приветствие Ему. Он пожал мне руку, впервые назвал меня дорогим братом Лёвушкой и сказал еле слышно:

Девушка вскочила как ужаленная, снова закуталась в шаль и свистящим, бешеным шёпотом перебила Аполлона:

— Жалкий нищий! Фигляр! Я отомщу тебе жестоко. Ни гроша не заработаешь в нашем городе, подыхай с голоду. Я отомщу тебе так, что до смерти помнить будешь.

— То воля Бога надо мной твоими руками свершится, если я такой кары заслужил. Но в моём сердце нет к тебе зла и не будет. Живи, всегда благословляемая мною, сколько бы зла ты мне ни сделала. Бог живёт и в тебе, как во всяком существе, и рано или поздно ты Его в себе узнаешь непременно.

Что-то вроде удивления мелькнуло на лице девушки. Но она ничего не сказала, резко засмеялась, чем снова напомнила ему сестру, и скрылась во тьме.

Аполлон прошёл ещё дальше в глубь сада и сел в самой густой тьме, где его никто не мог увидеть. Какой-то разлад он чувствовал в себе. В нём не было тоски или уныния, но мысли об отце, о своём одиночестве без него, точно стон и жалоба, неслись из его сердца...»

Унёсшиеся мыслями за героями сказки, Бронский и Лёвушка вздрогнули от раздавшегося в дверь стука. Голос Яссы говорил:

— Я уже вторично вас зову. Пора в столовую.

С удивлением закрыл книгу Лёвушка и, взглянув на Бронского, прочёл и на его лице не меньшее удивление.

— Как странно, Лёвушка, я только что сосредоточился, а выходит, что надо кончать. Куда же девался день? — удивлённо сказал Станислав.

— Очевидно, я так медленно перевожу. Хотя только сейчас чувствую, что у меня затекли ноги и одеревенела спина.

Друзья подошли к двери, и Бронский внезапно остановился, точно стукнулся о невидимую стенку. Лёвушкино лицо просияло, и он сказал:

— Нас задерживает огненная надпись. Вот теперь она сложилась вся:

“Мир в сердце — *не* принесённый с собою на землю *дар* самообладания. Но *из* самообладания и бесстрашия *выросшая мудрость* человека.

Раскрыть в себе какое-либо свойство или талант — значит *освободить* в себе тот или иной участок *Любви* от страстей.

Если слово *встречного* задело тебя — значит, твоё самообладание не было в тебе частью Мудрости веков, но лишь внешней выдержкой. Разберись бдительно, *что* есть *внешнее* приспособление *условной* вежливости и *что* есть *внутреннее* самообладание Любви, знающей *человеко*-, а не *само*любие”.

Когда друзья, умытые и снова сбросившие с себя потоки мутной воды, вошли в столовую, И. уже ждал их там. Ласково здороваясь, он пригласил их к ужину. Он весело рассказывал им о жизни и делах, Общины, о здоровье всё ещё мирно спавшего профессора и о нескольких вновь приехавших людях.

— Сегодня мы пойдём проститься с Беатой, которая на рассвете уедет, увозя свои картины. На ваших лицах печаль, мои друзья. Особенно вы, Станислав, имеете огорчённый вид. Но о чём же вы печалитесь? Если Беата выросла и созрела, чтобы жить среди жаждущих и ищущих счастья людей, если она может послужить людям путём к раскрепощению и утешением в их скорби и беспомощности, — неуже-

ли в вашем сердце вы находите только печаль о личной разлуке с нею и только эти чувства можете послать ей как свой привет её новой жизни?

— Я понимаю, Учитель, что высокое благородство, если бы оно стояло у меня на первом месте, заставило бы меня думать о ней, о её жизни, о её светлой и новой дороге, — ответил Бронский. — И этот случай доказывает мне, как я эгоистичен, как много во мне личных чувств и привязанностей. Я очень полюбил Беату, ещё больше Лёвушку и... окончательно влюблён, отдал всю свою душу, сердце, труд, словом — всю жизнь я отдал вам, Учитель И. Жить дальше, не имея связи с вами, не следуя за вами, не ища вложить в каждое своё движение прославление вас, для меня больше невозможно. Жить для меня — это значит участвовать в той жизни, делах и трудах, что исходят и окружают вас. И дышать — это значит принимать от вас определённые указания для каждого дня. Мелькнула во мне мысль, что и я, как Беата, получу в какой-то день указание покинуть Общину, должен буду расстаться с вами, — и в сердце моё пробрался холод, точно я услышал отдалённый погребальный звон колокола.

— Мой бедный друг, по этой минуте резкой боли, когда одна мысль о разлуке вызывает в вас такую скорбь, вы можете судить, насколько вы ещё живёте, общаетесь с людьми и воспринимаете жизнь текущего дня как жизнь конечную, жизнь разложения и смерти, а не *всю* Жизнь, Единую и Вечную, живущую в каждом *за* его внешней формой. Ваша привычка единения с людьми остаётся ещё привязанностью плоти и крови, а единение Духа и Света занимает второстепенное место в ваших встречах. Отсюда, из Общины, *уходят* люди, раз они так или иначе сюда попали, только тогда, когда они *готовы* к новой жизни, то есть когда они *привыкают* жить, поклоняясь в человеке Тому, что живёт *за* внешней формой. Никто, раз он принят Учителем, не может быть им оставлен без каких-либо особых, даже ужасных причин. Никто не может быть отослан в новую жизнь, пока он к ней не готов. Другое дело, через *какую* внешнюю форму вскрывается его готовность или *не* готовность к той жизни, которой он восхищается в своём Учителе и которой активным членом он хочет быть в своих мечтах, в своих размышлениях и идеалах. Мысль человека — это ещё не действие, но только подготовительный период. И пока ученик не созреет *до конца,* то есть когда *его* мысль и сердце сольются в действие, тогда только для него наступает момент *нового слияния* с Учителем, когда его не печалят уже ни расстояние, ни разлука, потому что их больше для него не существует. Как никто не может умереть ни раньше, ни позже времени, но только *именно* тогда, когда он *всё* сделал, что *мог* в данное воплощение, так и ученик *может* быть принят или отослан Учителем только тогда, когда *он* готов. Перестроить ход всего своего организма — задача для ученика непосильная. Но *приготовить* в своём организме те или иные основные пути и иметь возможность выполнить те задачи, что даёт ему Учитель, — это не что иное, как ежечасное, полное, бдительное *внимание* ко всем делам и встречам, вернее сказать, к тому поведению в полном *самообладании*, которое ученик *проявил* в них. Вам и проверять себя нечего. В эту минуту вы сами ясно видите, насколько ваш талант, ваши любовь и труд ещё задавлены личным восприятием дня. То, что вы только что читали, что так волновало вас как проявление высшего героизма самоотверженных чувств людей, сейчас потухло в вас только потому, что земная привязанность оказалась ещё такой *силой,* что наносит *раны* сердцу. Не

напутствии, что она готова к труду среди людей, к труду *его* через неё, — надо быть только счастливым и радоваться её новой жизни, но не тревожиться за неё.

И ещё раз я увидел, как во мне много остаётся условного. Ещё жили, активно пронзая меня, такие понятия, как разлука, расстояние, время, отсутствие известия о человеке. Как же тяжело должно житься людям, в чьей жизни главное место занимает земля и все её условности, в ком живут лишь изредка мелькающие порывы к небу и его Мудрости. Я понял, как далеко мне ещё до простых подвигов тех людей, о которых я читал в древней книге.

Постепенно моя печаль проходила. Меня всего обнимал новый Свет, по мере того как я сосредоточивал свою мысль на Флорентийце и просил его благословить отъезжающую Беату, и мысль моя переходила в ликование, в радость и полное мира спокойствие.

Я всем сердцем пел Беате песнь торжествующей любви, желая, чтобы её путь никогда не разрывался в труде с путём И. и Франциска. Я старался перелить всю энергию моей чистой любви и уважения к художнице в её новый путь, чтобы он крепился от моих мыслей, а не вбирал в себя ещё и их неустойчивость. Внезапно я ощутил знакомое мне содрогание всего организма и мгновенно услышал голос моего дивного друга:

— В первых ступенях ученичества нет большего подвига, как разлука ученика со своим Учителем. Каждый ученик проходит эту неизбежную для каждого ученика ступень. Но лишь тот ученик восходит в своём знании высоко, кто уже в первой разлуке не думает о себе как об отъезжающем и печальном сердце, но видит тот труд Учителя, который он для Него может выполнить и тех людей, которым может перенести *Его* помощь.

Иди вперёд, не думая, что *ты* идёшь, но иди, *зная, как* несут в себе Единую Великую Жизнь во все места и как учатся развивать в себе и окружающих все дары приспособления, чтобы легче, проще, выше, веселее выполнять урок вечного среди внешних условностей.

Мужайся и помни: друг — тот, в ком *ты* знаешь Вечное. Поэтому у ученика не может быть личного врага. Ученик может быть послан даже орудием смерти. Но он не будет слепым орудием, а будет освободителем земного мира от безнадёжно скованного на земле в данной форме зла.

Мне казалось, что я и часа ещё не провёл на балконе, как Ясса уже стоял передо мной и покачивал укоризненно головой.

— Учитель И. приказал передать вам эту укрепляющую пилюлю, и теперь я понимаю, почему он посылает её вам. Он велел вам лечь спать, а вы не выполнили его распоряжения, — с укором покачивая головой, подал мне Ясса пилюлю Али.

— Ясса, миленький, мне казалось, что два часа — это уйма времени. А оно улетело вместе с моими мыслями буквально в одну минуту.

— Идите, идите, господин летящая минута. Бронский, отлично выспавшийся и сильнее тигра, ждёт вас с нетерпением. А вас, как младенца, пришлось подкреплять в самый важный для вас момент. Ну как же на вас вообще положиться? Подумайте, вы рассеялись от врезавшейся в вашу жизнь разлуки. Что же будет с вами, если в момент, когда надо будет выполнить великое задание Учителя, в ваши личные чувства врежется смерть близкого вам человека, или случится пожар, или ещё какое-

Глава 14

Мои размышления о новой жизни Беаты. Мы кончаем чтение древней книги. Профессор Зальцман

Войдя в свою комнату и приласкав вскочившего мне навстречу Эту, я уговорил уснуть снова моего белоснежного друга, сам же сел на балконе, не будучи в состоянии справиться с целой бурей мыслей и чувств, наполнявших меня.

Каким далёким казался мне сейчас тот день, когда я приехал в Общину и впервые увидел прекрасную седую голову Беаты. И вместе с тем точно вчера это было, точно вчера я увидел впервые это лицо. И почему я ни разу не подумал, сколько лет Беате Скальради. Молода она или стара? Я осознал, что за время своего пребывания здесь я перестал воспринимать человека как возраст, как тело, вообще как внешность.

В данную минуту духом своим я был не на балконе, мысль моя неотступно следовала за Беатой. Я летел в тишине пустынной ночи вместе с ней в новую, далёкую, шумную жизнь. Я ощущал в сердце какую-то ещё мне неведомую боль, точно я не мог примирить две жизни: жизнь здесь и жизнь среди суеты и страстей.

Но разве здесь нет суеты и страстей? Я вспомнил дико сверкавшие глаза монаха, вспомнил оспаривавшую в беседе с Франциском свою правоту старушку, профессора, несколько тяжёлых сцен Аннинова, Андреевой и понял, что двух жизней нет, что нечего и примирять их, так как вся суть вещей в самом человеке, в его освобождённости и готовности, в его умении вынести из себя чистоту и всюду устоять в ней.

Мыслимо ли представить себе И. скорбящим о том, что ему надо покинуть то или иное место в мире или оставить тех или иных людей? И кто же больше, ярче и тоньше него мог ощущать окружающую атмосферу, слабость и неустойчивость людей? Тем не менее он, иногда утомлённый, никогда и нигде не воспринимал окружения болезненно, каким бы напряжённо- и тяжело- страстным оно ни было. Я вспомнил лица И. и Франциска в моменты борьбы со злыми карликами. Какая необычайная мощь лежала на этих лицах, какое величавое, сосредоточенное спокойствие...

Я летел мыслью всё дальше и дальше за Беатой, мне хотелось ещё и ещё повторить ей слова Флорентийца и И.: “Самообладание — это трудоспособность организма при *всех*, даже ужасных, обстоятельствах жизни”.

Я представлял себе, как тяжело будет Беате очутиться в Париже, утонуть в гуще города, в зависти и сплетнях, в интригах и происках её коллег, которые будут потрясены её картинами и попытаются сделать всё, чтобы их не пропустить. Но тут же вставало понимание, что Беата теперь уже не та, которую я знал и к колебаниям которой привык.

Надпись, горевшая нам с Бронским, говорила, что каждый идёт в путь гонцом Учителя только тогда, когда *он* готов. И. послал Беату, говоря ей в последнем

страдайте сейчас, не рыдайте сердцем. Я ведь вижу, как капли крови сочатся из него, хотя глаза ваши сухи. Вспомните слова огненной надписи, что вы читали сегодня: “Если слово встречного *задело* тебя — значит, твоё самообладание *не* было в тебе частью Мудрости веков, но лишь внешней выдержкой. Разберись бдительно, что есть внешнее приспособление условной вежливости, а что есть внутреннее самообладание Любви, знающей *человеко*-, а не *само*любие”. Ещё только один день остался вам, чтобы прочесть всё то, что вам надо знать перед отъездом. Не теряйте времени в пустоте. Становитесь требовательнее к самим себе и не ослабляйте внимания, проходя этот трудовой день. Простая сказка, которую вы оба читаете, зачем она нужна вам сейчас? Что скрыто в ней, *без* чего вам, таким далёким от неё по времени и по вашей внешней деятельности, нельзя выйти из ворот Общины, даже под моей охраной и защитой? Мудрость в переживаниях простых людей древней сказки, как и Мудрость ваша, идёт по вечному и *единственному* для всех людей руслу: простой чистоте, не знающей *компромисса* в верности. Древняя Мудрость, как и Мудрость человека сегодняшнего дня, движется не по искривлённому пути зигзагов, метаний в стороны, страстных исканий и остываний, взлётов в порывах и падений в уныние, но по прямому пути того самообладания, что раскрылось не как результат воли, а как результат *раскрепощённой* любви, перелившейся в Радость жить. Вы не представляете себе счастливого дня вдали от меня. А разве люди в сказке думали о себе, когда оставались в полном одиночестве в чужом краю, в темноте окружающего зла? Вечное Движение Жизни есть результат тех активных духовных сил, что *выливают* в день *люди*. И иного *двигателя* духовной жизни человечества *нет*. Вот сюда подходит человек, взгляните на него, дайте себе отчёт, почему ещё на расстоянии вы уже ощущаете его влияние на вас. Ваше дыхание ровнее, ваши лица просветлели, ваши позы легче, ваши мысли и сердца освободились от всяких зажимов.

Раздался стук в дверь, и мы увидели чудесное, улыбающееся лицо Франциска, который сказал, приветливо здороваясь со всеми нами:

— Я, пожалуй, пришёл слишком рано, брат И. Но я так спешил, чтобы Беата не подумала обо мне плохо и не увезла с собой впечатления, что я не был рыцарски вежлив в последнюю минуту. Я помню, как однажды, давно, Али мне сказал: “Можно быть занятым очень сложными делами. Но если напутствуешь человека в новую жизнь, надо быть рыцарски вежливым и напутствовать человека, сообразуясь с *его* временем, надо так обдумать свои дела, чтобы не внести ни капли волнения своим опозданием”. Иногда я бываю рассеян, но, провожая людей из Общины, вспоминаю слова Али, — прости, если я пришёл рано и нарушил вашу беседу.

— Мне не приходится тебе ничего отвечать, брат Франциск, ты видишь лица этих неофитов, ты читаешь их восторг, который ты пробудил в них сейчас. Но пойдёмте. Ты дал мне очень хороший урок, Франциск. Я рад, что мы придём к Беате раньше назначенного срока и облегчим ей начало её новой жизни.

Мы вышли молча и так же молча дошли до домика, где последнее время жила Беата. Трогательную картину мы застали там. Беата была не одна, возле неё среди уложенных вещей на маленьком, низеньком кресле сидел Аннинов, и его высокая худая фигура с аскетическим лицом казалась особенно нескладной среди баулов и маленьких изящных сумок и сумочек художницы.

Лицо музыканта было так печально, точно он навеки расставался с ближайшим другом. Мы услышали последнюю фразу его разговора с Беатой.

— Я чувствую, что это наше последнее свидание, больше я не увижу вас. И никто не будет утешать меня в моих припадках отчаяния, когда я не смею взывать к милосердию И.

— Вот я вас и застал в вашем миноре, мой милый друг, — улыбаясь сказал И. — Как вы думаете, ваша любовь к Беате много посеяла сейчас зёрен светлой бодрости ей в её новый путь? Если бы я был на её месте и меня так провожали бы мои добрые друзья, вероятно, мои крылья повисли бы в бессилии за моей спиной, и я представлял бы из себя жалкое зрелище как новый воин для мужественной жизни. Беата, Франциск привёл нас сюда немного раньше назначенного часа, и я понимаю, как любовь его провидела, что нам надо было вытащить вас из сетей уныния, которые наш великий музыкант развесил здесь по всему дому. Дайте ваши руки, мой дорогой друг, моя новая помощница и сотрудница в борьбе за счастье и мир людей. Идите смело вперёд. Звук моего сердца не может умолкнуть для вас нигде. Начинайте каждый рассвет *вечной* памятью, что *этот* день — мгновение, одно короткое мгновение вашего вечного труда. И что теперь уже нет *только* вашего труда, но есть труд *мой* и ваш, ваш и *Франциска*. Куда бы вы ни ехали, что бы вы ни делали, даже очень далеко от вашего обычного труда и таланта, — важно не то, *что* вы делаете и где вы это делаете, но *как* вы делаете *всё*, что встречается в дне. Вам важно помнить, что ни единого мгновения уныния для вас быть не может, что вы идёте *не* от себя, не за *свой* страх и риск, но идёте по дню *гонцом* мира и Света людям, *гонцом*, которого Община послала им. Несите не труд-послушание, ибо это больше не ваш личный труд. Это уже *слияние* в труде-радости со мной и Франциском. Чувствуйте в своей руке всегда, всегда, всегда его или мою помогающую руку. Будьте благословенны. Не поддавайтесь вибрациям уныния или скорби. Твёрдо стойте. Помните о нас, и вся муть, которой будут заливать вас люди, будет рассеиваться вокруг вас.

И. пожал руки художницы, нежно поцеловал её в лоб и передал её дрожавшие руки Франциску. Как ни старалась сдержать своё волнение Беата, крупные слёзы текли по её лицу, и видно было, что никакие усилия не остановят этого потока.

— Бедное дитя моё, — нежно сказал Франциск, отирая платком слёзы Беаты и прижимая её к себе. — Как трудно рождаться новому человеку, как трудно освобождать в себе своё Святая Святых от предрассудка *привычки* любить плоть, видеть плотью, быть счастливым в пределах времени и места. Расти, мой друг, расти легче. Поверь мне, пройдёт не так много дней, и ты уверишься, что я всегда буду подле тебя, как только *ты* будешь звать меня всей Любовью в себе и будешь обращаться к Любви во мне. Нет преград для такого единения, но надо знать одно твёрдо и незыблемо: если сегодня ты жила в компромиссе, то именно потому, что *ты* так жила, *моего* ответа не будет. Любовь-Жизнь может отвечать на зов, посланный во всей мощи верности. А верность Учителю — это тот день, что прожит без страха и сомнений, в *полной* вере, а не в частице её. Возьми с собой этот платок. Ты найдёшь на нём мой портрет, который я даю тебе на память. Но его воспроизводить для кого-либо ты не должна, он дан лично тебе одной.

В комнату вошёл Кастанда, говоря, что их проводники предлагают не дожидаться рассвета, так как ночь светла и прохладнее обычного. Видно было, что Беате не хотелось уезжать несколько раньше положенного срока, что ей была дорога каждая минута, но, посмотрев в лицо И., она вытерла слёзы и тихо сказала:

— Я готова, как скажет Учитель.

— Поезжайте, друг. Вы готовы к новой жизни. Начинайте её немедля, — ответил ей очень ласково И.

Бронский, растерянный, по-детски светящийся добротой и лаской, нежно целуя руки художницы, торопясь шептал:

— Благодарю вас за всё. Хочу одного: стать готовым к деятельности и, уезжая, увозить такое же напутствие, какое получили вы.

Лёвушке, подошедшему проститься, Беата сказала:

— Юность ваша пленила меня. То чудо, что случилось с вашей внешностью здесь, заставило меня глубоко задуматься о чуде, что должно было совершиться внутри вас. Я навек останусь благодарной вам за ту картину, что теперь увожу. Я постараюсь быть достойной того портрета, который вы обещали мне изобразить в одном из ваших романов когда-нибудь. Я верю и надеюсь, что мы ещё встретимся.

Никто не слыхал, что говорили И. и Франциск художнице, когда она собиралась сесть на опустившегося на колени мехари. Но лицо её, освещённое луной и факелами, было так необычайно счастливо, что Бронский и Лёвушка забыли обо всём, забыли, что надо что-то пожелать Беате в последний раз, что они провожают человека куда-то далеко, что они стоят среди других людей.

— О чём же ты мечтаешь, Лёвушка, ведь мехари уже далеко, — услышал я голос И.

— Я, я... я даже забыл о мехари. Я видел чудо: человека, в котором вдруг внезапно проглянул на минуту Бог. Видеть высшее совершенство в вас, Франциске, Али я уже привык. Но увидеть Бога в человеке, в Беате, было для меня потрясением.

— Идите оба спать, через два часа вас разбудит Ясса, и вы снова отправитесь в комнату Али читать. Подкрепитесь сном, времени мало.

И. обнял каждого из нас, мы с Бронским простились с Франциском и расстались, разойдясь по своим комнатам, до нового скорого свидания.

даст ему возможность следовать за вашей энергией духа, не отставать и не мешать ей своим бессилием.

И. подал Зальцману оранжевую коробочку, из которой тот вынул, усмехаясь, небольшую пилюлю, иронически на неё поглядел, держа её в руке, проглотил и заявил:

— Если бы мысли моей вздумалось в беседе с вами летать не только на земле, но и над землёй, ей хватило бы сил моего тела на много лет, а не только на тот час, который мы будем беседовать с вами. Да и вообще впервые слышу, чтобы духовная материя двигала мыслями человека. Тело, материя плоти, выделяет силы для невидимой материи мысли и даёт ей первоначальный источник и пределы, *за* которыми ничто не существует. Если я иногда необдуманно говорю привычное с детства слово “Бог”, то я говорю его совершенно так же, как сказал бы “ветер”, которого не вижу, или “эфир”, о котором предполагаю, или о любой иной гипотезе, мало нужной и вообще совершенно бесполезной в науке, где нужны талант и знания, точные и неподдельные, то есть отнюдь не метафизические разглагольствования.

— В этом и состоит ваша *первая* ошибка, что вы рассматриваете вселенную, как оператор разглядывает распростёртое перед ним тело, где его нож может быть *конечным* хозяином и чудотворцем. Чудо знания постигает как действительность тот, кто *смог* проникнуть и осознать *в себе* часть Бесконечного, не подлежащего измерению, разложению и времени, что составляет *основу* его жизни, неизменную и вечную. Подойдя к источнику духовных сил *в себе,* учёный постигает, *где* вход в тот мир сверхсознательного знания, которое он хочет путём сознательно приложенных знаний, из математического расчёта выведенных формул подать людям. А также он открывает путь к новому, облегчённому для них достижению знаний в своей отрасли науки. Если геометр истратил половину своей жизни на чистый труд исканий многомерных пространств и оставил в стороне все формы движения механики, он не дойдёт до той гармонии, где два начала, два движения: тело и энергия *могут* достичь новой точки слияния. Ибо *новая* отправная точка *каждой* дисциплины, — это *его* собственное духовное видение, которое выражается человеком в знаках, ухваченных его интуицией. Вы, в вашем труде, сделали всё, что мог сделать *ум*. Теперь вам надо ухватить новую силу озарения и пройти *за* ту черту, *за* тот барьер, где вас держит ум. Ваша задача: ввести в умы людей не только усовершенствованный метод и облегчённые способы, *как* сделать науку прикладным ремеслом для жизни данного момента. Ваша задача ещё и *раскрыть* в умах людей новую *щель*. Чтобы каждый приближающийся к науке человек мог сознать в ней не только проходящее течение потребностей человечества в данное сейчас. Но понять в ней то творческое начало, что вводит в *единение* людей, даёт ещё одну новую *возможность* постичь Единство всей жизни вселенной. Конечная материя, с которой вы привыкли иметь дело, выведенная вами формула *нового* сцепления частиц открытых вами же новых веществ, не что иное, как всё та же Единая материя, о которой вы не желаете ничего слышать, атомы которой расположены в своём вечном движении иначе. Вы открыли не новые вещества как таковые, а новые способы вращения атомов, которого в этом случае не могли подметить другие, менее внимательные и менее верные в своей преданности науке учёные. Ваша интуиция, гармония всего вашего существа, ваша преданность науке *до конца* дали вам возможность проникнуть в это звено Мирового Разума. Но это не значит, что на нём заканчивается цепь тех знаний, что

Через несколько минут она снова появилась, пригласила гостя идти за собой, приподняв перед ним тот же занавес, и молча пропустила его в другую половину. Сильный аромат носился в комнате, воздух был спёртый, тяжёлый, жаркий. Несколько светильников с ароматным маслом горело в комнате, убранной роскошно, по-восточному. И несмотря на свет, горевший во многих местах, комната казалась еле освещённой. Аполлон разглядел лежавшую на высоком диване неподвижную женскую фигуру.

— Мамка, это ты? — раздался голос с дивана.

Голос был слаб, и Аполлону показалось, что он уже где-то слышал этот голос, суховатый и резкий.

— Я привела к тебе нового доктора, госпожа. О нём все здесь говорят, что он очень учёный и многим помог, — необычайно нежно и ласково ответила мамка.

— Ты становишься всё глупее с каждым днём, не только с каждым годом, — ответила с большим сарказмом госпожа. — Сколько раз мне повторять тебе, что я не желаю видеть никаких докторов и имею достаточный опыт, чтобы знать их близорукость в моей болезни. Ведь ясновидца ты привести мне не можешь. Извинись перед своим доктором и уведи его обратно. За беспокойство проси мужа уплатить, — не открывая глаз, продолжала больная.

Аполлон подошёл к одному из светильников, взял его в руки и поднял высоко над изголовьем больной. Внезапно освещённая ярким светом, больная широко открыла глаза и резко приподнялась на постели. По злому выражению её лица можно было ожидать резкого выговора вновь явившемуся доктору, осмелившемуся нарушить заведённый в доме порядок. Но первый же взгляд, брошенный на лицо вошедшего, оборвал её речь. Уставившись в его лицо неподвижным взглядом, больная вскрикнула:

— Ты? Ты? Возможно ли это? Ведь вся моя болезнь — это ты, злой демон! Как осмелился ты переступить мой порог? Ступай вон, старая дурища! — крикнула она мамке, указывая ей на дверь. — Не смей входить сюда, пока я тебя не позову. И если кто-нибудь войдёт сюда, пока я говорю с этим человеком, тебе не сносить головы.

Покорно поклонившись своей грозной госпоже, мамка бросила молящий взгляд на гостя и тихо вышла из комнаты.

— Ты для чего пришёл сюда? Ты знал, куда тебя ведут? — обратилась больная к Аполлону.

Поставив светильник на место, последний вернулся к постели женщины и сказал:

— Я не знал, куда меня ведут и кого я здесь найду. Но я знал, что иду к страждущей душе, потому и пошёл.

— Ах, вот как! Ты, наверное, ждал увидеть молоденькую красавицу, мечтал прочесть ей проповедь, — едко рассмеялась больная. — Можешь полюбоваться на дело своих рук. Где моя юность? Где мои краски? От тоски, от колдовства, которым ты меня околдовал, я вся иссохла. Любуйся теперь результатом своего поведения! Ты бросал на меня пламенные взгляды, очаровывал ими, а в последнюю минуту струсил и бежал, бросив меня. Хорошо, что ты явился сам. Я всё равно решила тебя отыскать и засадить тебя в тюрьму за твоё колдовство.

— Мне очень жаль, бедная женщина, что ты всё остаёшься в том же зле и ненависти, в которых ушла из сада семь лет назад. Целая вечность прошла с нашей первой встречи, а ты не двинулась вперёд, и всё вокруг тебя говорит о ненависти. Подумай, кому, начиная с тебя самой, стало веселее или легче жить оттого, что ты свою ошибку стараешься приписать мне или моему колдовству. Если бы я имел целью сделать себе карьеру с помощью богатой семьи и дома, то и тогда я не мог бы разделить твоей любви, так как ты хотела построить своё счастье на несчастье сирот, встречу с которыми послала мне жизнь. Я далёк от мысли упрекать тебя в чём-либо. Ещё дальше я от желания копаться в прошлом, которого уже нет. Если я сейчас заговорил о нём, то только для того, чтобы объяснить тебе, что я ни разу не видел тебя во время моих представлений. И мои пламенные взгляды, если они тебе такими казались, относились к тем песням, что я пел, к тем действиям, в которых я принимал участие вместе с моими маленькими артистами, и у меня не было времени заниматься рассматриванием публики. И в песнях, и в представлениях я воспевал любовь и радость отцу моему, пославшему меня выполнять одну из его задач. Если бы я попытался объяснить тебе, какова эта задача, ты в этом ничего бы не поняла. Но понять, что для выполнения какой бы то ни было задачи в жизни человек должен знать на опыте своих дней, *что* такое самоотверженная любовь, — это ты можешь и должна.

Резкий смех прервал Аполлона.

— Продолжение проповеди у скамейки? Глупец, был жалким фигляром, выбился в учёные докторишки и стремишься теперь стать не менее жалким и фальшивым моралистом?! Так для этого жизнь дала мне вторую встречу с тобой! Яд в сердце ты влил мне, отравой твоей налились все мои вены, ни пища, ни роскошь, ни красота моя, которую я так любила, ничто не может ни развлечь меня, ни утешить, ни избавить от твоего несносного образа. Твоя ненавистная фигура днём и ночью выжигает мой мозг, сушит моё тело, вынимает волосок по волоску из моих кос. И ты осмеливаешься разговаривать о самоотверженной любви? Если такова твоя установка, ты должен был оставить всё и жить подле меня. Ты фальшивый человек, все твои слова любви и помощи не что иное, как испорченные старые монеты, которыми ты гремишь, соблазняя глупцов.

— Я буду спорить с тобой. Каждый день человека — это его действия в нём, а не слова. Смотря на тебя, видя твоё несчастное положение, я вижу и твои действия за эти годы, и им я не судья. Если ты хочешь видеть мои действия за эти годы, хочешь судить хотя бы о некоторых плодах моей самоотверженной любви, приходи завтра на концерт и послушай моих маленьких сирот. Если ты вообще следишь за какими-либо новыми величинами в искусстве, ты, наверное, слышала имя Монко, под которым выступает мой найдёныш, теперь знаменитейший скрипач, со своею сестрою, не менее известной певицей и танцовщицей. Если бы ты на самом деле решилась послушать их концерт, мой тебе совет: прикажи вынести себя из этой ужасной духоты в чистый и свежий воздух и прими в течение суток шесть раз вот эти порошки. Это тебя укрепит, даст тебе сон, а свежий воздух унесёт часть яда, которым ты себя отравила, вдыхая удушливый аромат твоих духов.

Глава 15

Первые опыты новой жизни профессора. Его беседа с И. Сцены из его прошлых жизней. Франциск и ещё раз карлики

Я видел много очень хороших аппетитов, и мой собственный заслуживал не раз ироническое одобрение И. Но как уплетал блюда профессор, этим я был так удивлён, что сидел истуканом, совершенно неприлично уставясь на него. И., говорил, что профессору было необходимо отоспаться за всю жизнь лишений. Я сейчас думал, что если он будет и дальше так есть, то, пожалуй, наестся на три жизни вперёд.

Наконец он отодвинул тарелку с последним куском дыни и сказал:

— Если бы я не собственным мозгом наблюдал, что это именно я так ел, я разорвал бы на куски каждого, кто решился бы мне сказать о такой для меня возможности.

— Я рад, что вы убедились на этом пустяке, как многое, *кажущееся* невозможным, оказывается *реальнейшей* действительностью, — войдя незаметно для всех нас, сказал профессору И.

Он протянул обе свои руки окончательно сконфуженному учёному, весело улыбнулся ему и нам и пригласил нас всех в следующую комнату. Здесь, к полному удивлению Зальцмана, были разложены в полном порядке все его тетради и записи, карты, книги и словари, которые он оставил в домике отдалённой Общины, в своём первоначальном жилище, откуда его увёл Франциск в памятную для меня ночь.

— Мой Бог, всё, всё в порядке, ничего не забыто, ничего не разбросано. Кто же всё это сделал? — нервно рассматривая свои научные материалы, спрашивал профессор, бросаясь от столов к полкам, к другим столам и табуретам, поражая нас гибкостью и молодостью своих движений.

— Это сделал Никито со своими племянницами, опытными библиотекарями, которых вы видели в большом зале библиотеки, — ответил И.

— Которых я видел не только в большом зале, доктор И., но и ещё кое-где, о чём вам хорошо известно, но чего вы не желаете уже вторично заметить, — стоя посреди комнаты сказал Зальцман, и нечто вроде укора И. прозвучало в его голосе.

— Присядьте, друг. Для вас лично и для всех, кто сейчас здесь, не бесполезно будет прислушаться кое к чему в нашей с вами беседе, — обратился И. к учёному, пододвигая ему к столу большое, удобное кресло и садясь сам в другое. — Хотя вы и чувствуете себя очень сильным, хотя пища подкрепила вас, как вам кажется, на много дней, всё же скушайте эту бодрящую пилюлю. Ваши отдохнувшие мысли получили возможность быстроты и новой точности движения. Ваши обновлённые нервы освободили в вас теперь так много скованной прежде духовной энергии, что ваше тело, как бы оно ни казалось вам обновлённым, не будет в силах повиноваться вашей воле и поспевать за работой вашей мысли. Оно будет уставать. Эта пилюля

нейших путешествий, следовательно, только для этого была прожита вами вся ваша трудовая жизнь, со всей её преданностью науке и лишениями для неё.

— Да, да, конечно, всё это так. Надо оставить мысли обо всех этих бесконечных вопросах и не искать сейчас на них ответов. Надо всю мысль сосредоточить на главном, когда буду беседовать с вашим мудрецом И., которого вы мне сулите увидеть по-новому, — лукаво улыбнулся Зальцман, кинув взгляд в мою сторону.

Он взял меня под руку, к чему не особенно был склонен несколько минут назад, шёл со мной, весело улыбаясь, как будто что-то знал особенное, о чём никто, кроме него самого, и не подозревает. Никито провёл всех нас в другую половину дома, где был приготовлен завтрак, но где мы И. не нашли.

Аполлон положил на стол небольшую коробочку с порошками, которую вынул из кармана, поклонился хозяйке и сделал несколько шагов к двери, как больная снова заговорила:

— Постой, я не могу поверить, чтобы судьба привела тебя ко мне снова для проповеди. Ты должен мне помочь. Сними с меня своё колдовство, я под ним умираю. Неужели и в эту минуту ты не понимаешь, что не ненависть к тебе меня губит, но безумная, ничем не заглушаемая любовь. Нет мгновения, нет дыхания, нет кусочка солнечного света и хлеба, которые не были бы напитаны жаждой видеть тебя, желанием, чтобы ты любил меня...

— Подумай, есть ли смысл в твоих словах? Если бы ты любила меня так, как говоришь, цельно, верно, до конца, могла ли бы ты выйти замуж за другого? Если любишь, есть один и нет других. Если *говоришь*, что любишь одного, а живёшь с другим, проверь себя, и ты поймёшь, что никого, кроме самой себя, ты не любишь. И так оно и есть, бедный друг. Ты всегда любила и любишь только себя и потому нигде и ни в чём не можешь найти ни счастья, ни примирения. Если и дальше ты будешь так же упорно настаивать всё на том же, всё так же будешь продолжать свой спор с Богом и судьбою, ты только уморишь себя, прожив всю жизнь без смысла и толка для вселенной, бичом и скорбью для самой себя и окружающих. Перестань думать, что ты больна. Ты задавила себя мыслями об одной себе, а человек так создан, что в яде одного себялюбия он жить не может. Человек должен иметь возможность любить что-то помимо себя, чтобы освобождать в своём организме место от эгоистических мыслей; иначе он задохнётся от яда, который носит имя самолюбия, страха, самовлюблённости, самомнения. Прости. Сейчас я должен уйти. Ты всё равно пока меня не поймёшь. Но если послушаешь концерт и захочешь ещё увидеть меня, пришли свою несчастную мать-рабу, которой тебе давно следовало дать свободу.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Попробую принять твои порошки и послушать твою музыку. Вряд ли есть такая волшебная музыка, чтобы люди от неё выздоравливали. Но пусть, я приду. А раба моя мне мамка, простая нянька, а не мать-раба, как ты выражаешься, хотя предана она мне до смерти.

— Попытай счастья сразу в нескольких направлениях. Присмотрись к своей рабе, лица которой ты даже хорошенько не знаешь, хотя всю жизнь она подле тебя. Быть может, и здесь освобождёнными от себялюбия глазами, подумав пристально о ней, а не о себе, ты откроешь нечто для себя неожиданное и новое.

— Загадки ты мне загадываешь, — устало сказала больная. — Иди, я постараюсь выдохнуть яд, если он мой собственный, а не твой. Боюсь только, что все это твои фантазии и, по всей вероятности, твой музыкантишка ничем не лучше любого нищего фигляра.

Она ударила молоточком в маленький гонг, и мамка вошла в комнату, закрывая шалью своё лицо.

— Проводи гостя и возвращайся с четырьмя рабами. Я хочу спать сегодня ночью на плоской крыше, — нервно засмеявшись, сказала она слуге.

Выйдя от больной, Аполлон прошёл снова в сад. Мысли его понеслись к его сестре, голос и жестокость характера которой ему ясно напомнила и в первый, и во второй раз эта ночная встреча.

Снова мысли его вернулись к отцу. Почему отец отправил в широкий мир всех своих сыновей, без которых жизнь его стала пуста и бедна, и оставил дочь, чьи мысли, поведение, идеалы и намерения не совпадали ни с одной минутой его труда для людей? Почему отец, почти совершенный человек, имел такую жестокую, преследовавшую только одни личные цели дочь?

Аполлон вновь передумывал свои встречи за эти годы. Как много монастырей он видел! Как много сект и религий разного рода он встречал! И всюду все *говорили*, что ищут Бога, ищут Его путей, но слова их летали, точно назойливые мухи, не отражая в себе действий сердца.

Редко встречал он людей, *не* говоривших пышных слов, но умевших подать каждому приветливую улыбку. И, встречая таких, Аполлон всегда знал, что *их* любовь — *живая* сила, что люди бодрятся возле них и несут дальше эту их улыбку как *свою* доброту.

Почему дочь жестокая живёт у доброго и мудрого отца? Что значит такая встреча в жизни?

И Аполлон не мог найти ответа. Он всё шёл вперёд и не заметил, как вышел из парка на поляну, увидел невдалеке костёр и пошёл на огонёк. У костра сидел старый-старый дед и ласково уговаривал своего пса не лаять попусту на прохожего, потому что он человек добрый.

— А как ты можешь знать, дедко, что я человек добрый? Может быть, я очень злой, даже разбойник?

— Нет, дружок. Я стар и уже почти слеп. Но людей перевидал я много. Когда идёт добрый, он весь светится. И дышать подле него легко. А идёт злой — тьма вокруг него, и все гады его сердца, вся ложь, так и ползут за ним и вокруг него, даже смрад от них в нос ударяет. Будешь стар, сам их увидишь, гадов-то человеческих. Ты молодой, и судите вы все, молодые так: красив — хорош. Нет, ты не смотри, молодой, что девушка красива, значит, и душа её хороша, и правда живёт в ней. Не смотри и на то, что живёт она подле высокого и мудрого отца и хороших братьев. Бывает, живёт дочь в мирной семье только для того, чтобы гады её сердца не задушили её же, и от мудрости отца да от света братьев становились бессильными попытки окончательно погубить девушку.

Чудно показалось Аполлону, что не мог он найти ответа на свои вопросы, а вот случайно встреченный старик, нищий дед, ответил ему, хотя вопроса своего он ему не задавал. Присел Аполлон возле деда, захотелось ему узнать, почему старый человек одинок и бездомен.

— Садись, садись, браток. Вот поспеет моя кашка — не обессудь, раздели ужин, — приветливо говорил дед, подстилая Аполлону своё ветхое одеяльце и освобождая место поближе к огоньку.

— Спасибо, дедушка, я не голоден, но посидеть подле тебя, если позволишь, посижу с радостью. Уж очень ты меня удивил. Шёл я и думал: почему девушка, красавица видом, а сердцем жестокая, живёт у мудрого и доброго отца? А ты взял да без моего тебе вопроса и ответил.

— Видишь ли, сказал я тебе уже, что большая старость, если ты старался Богу служить, раскрывает мысли встречного. Только ты подошёл, увидел я девушку, о

сеянности, почему же он показался мне таким дряхлым и бессильным, когда шёл по библиотечному залу, освещённый ярким светом восточного дня.

Всё ещё негодуя на всех и вся, с досадой надевая восточный костюм, профессор завязывал сандалии, как я ему говорил, в своё время обученный этому искусству Яссой. Вдруг он остановился в своей усердной работе над левой сандалией, опустил на пол ногу и поднял на меня такие детски недоумевающие глаза, что я готов был прижать его к сердцу, как самое маленькое дитя, забыв, что это великий учёный Европы.

— Скажите, дорогой Геркулес, что же это такое со мной творится? — обратился он ко мне доверчиво и ласково, хотя бурлил минуту назад. — На этой ноге у меня уже лет двадцать была незаживающая ранка, всегда причинявшая мне нудную боль вроде зубной. Сейчас от неё и следа нет. И сам я не только не чувствую утомления, но полон сил и энергии. Точно молодость ко мне вернулась. — Он посмотрел на свои руки и продолжал, всё так же беспомощно спрашивая у меня ответа глазами: — Руки мои всегда были красны, так как я вечно их отмораживал, теряя свои перчатки. На них были мозоли и шишки, сейчас они гладки так же, как ваши. В чём дело? Я, правда, очень рассеян во всём, кроме науки. Я не обратил внимания ни на ногу, ни на руку, когда входил в воду. Неужели этот бассейн нечто вроде Силоамской купели, и вода в нём может так исцелять человека, чтобы уничтожить все его раны и даже возвратить силы молодости?

— Мы сейчас пойдём к доктору И., — ответил за меня Никито, — и вы убедитесь в беседе с ним, что в мире нет чудес, а есть та или иная ступень знания. Позвольте вашим новым друзьям — Голиафам, как вы их называете, одеть вас поскорее. И. ждёт нас, да и вам пора кушать.

— Да, есть я хочу. Но я так озадачен всем происходящим, что ничего не могу сообразить, ничего не связывается в моих мыслях в логическую связь, точно в моём сознании вдруг открылся ряд дыр, — задумчиво отвечал профессор.

— Разрешите мне взять вас под руку, дорогой профессор, — сказал я. — Я ни в коем случае не могу идти с вами в сравнение как зрелая и дисциплинированная мысль. Но я перенёс очень много горя, и мне понятна та растерянность, в которой вы находитесь сейчас. Здесь всё поражает. Но такую огромную духовную силу, как вы, ничто не может расстроить, с чем бы вы здесь ни встретились. Эта полоса раздражения, которая мучит вас сейчас, минует и приведёт вас к новой гармонии, в которой вы иначе увидите И., чем видели и понимали его до сих пор.

— Беседа с И. стала для меня теперь кульминационной точкой всего существования. Дальше или я должен что-то понять, что было недостаточно для моей мысли и недоступно ей, или он должен убедиться в легкомыслии всего того, что он мне говорил.

— Не сомневаюсь, профессор, — смеясь сказал Никито, — что сила юности, которую вы с удивлением ощущаете во всём своём организме, перелилась также и в ваш мозг. И всё, что вам казалось прежде конечным результатом, может оказаться теперь только началом ваших дальнейших достижений. Идёмте же, оставьте все сомнения, не думайте ни о прошлом, ни о будущем, а только об этой текущей минуте, о вашем свидании с И. Ведь только для этого вы совершили одно из самых труд-

что вам будет гораздо удобнее. Возвращайтесь омытым и переодетым и ешьте ваш ранний завтрак. Оглянитесь, наша короткая ночь уже минула, уже занимается заря, — сказал И., и лицо его ласково улыбалось, но улыбались одни уста, а взгляд был глубоко сосредоточен и серьёзен.

Мы вышли вместе с Зальцманом из комнаты, Никито шёл впереди, указывая нам дорогу. Когда я судил о домике по его внешнему виду, я никак не предполагал, какой он поместительный и комфортабельный внутри. Дойдя до комнаты с круглым бассейном, куда бежала вода из пасти льва прямо через стену, профессор, оглядывая комнату, прошептал:

— Как всё не по-европейски, как не по-европейски.

Он нехотя сбрасывал с себя одежду, но, как только вошёл в тёплую воду бассейна, рассмеялся в полном удовольствии и принялся плескаться в прозрачной воде.

— Никогда не воображал, что ванна может быть таким блаженством.

Это его последнее слово напомнило мне о духовном блаженстве, так недавно испытанном мною, и я подумал, скольким людям я глубоко обязан за те духовные ванны, в которые я погружался за это долгое время, начиная с моего знакомства с Али и пира у него.

— Бог мой! Что такое? Почему вдруг вода бежит такая грязная? Где-нибудь в этом водопроводе что-то случилось! — вдруг услышали мы вопль профессора.

Но вода продолжала бежать такой же чистой и прозрачной, как и сначала, вокруг же профессора она действительно была неприятного бурого цвета. Заметив это, Зальцман снова возмущённо сказал:

— Это не водопровод, это мыло ваше восточное такое безобразное.

Никито подошёл к бассейну, взял из рук Зальцмана мыло, намылил им свои руки и показал их ему в белоснежной пене.

— Это не вода и не мыло, профессор. Это ваше собственное тело выбрасывает свой липкий пот. Наверное, И. объяснит вам, что влияние нашего климата, наших лекарств и того очищения всего вашего организма, которое совершается со всеми, кто живёт в нашей Общине вблизи таких совершенных людей, как Франциск, И. и многие другие, приводит именно к тому, что организм человека выбрасывает из себя нечто вроде духовных отбросов, — сказал он, приглашая профессора выйти из ванны и убеждая его, что не только сегодня, но и в течение многих ближайших дней, а может быть, и лет он не сможет смыть со своего тела отживающих страстных эманаций. Эманаций, которые будут освобождать его мысль только постепенно, по мере того как очищающийся организм будет выбрасывать их всё больше. Соответственно этому очищению всего организма будет расширяться и очищаться вся его мысль.

Профессор был возмущён до крайности словами Никито.

— Ах, я не чистый? — воскликнул он. — И мои мысли не чисты? А вот эти Голиафы чисты? — указывая на нас с Бронским, негодовал он.

— Нет, — ответил Станислав. — Мы гораздо менее чисты, чем вы, профессор, и вода с нас текла и течёт почти чёрная, особенно с меня.

Нисколько не успокоенный таким заявлением, профессор вышел из воды, бурля сам не менее, чем бассейн. Помогая ему одеваться, я был поражён, как молода и свежа стала его кожа, как гладки и молоды были его руки. И я удивлялся своей рас-

которой ты думал. Увидел и дом твой, и отца твоего в нём. Да уж девушки там нет, убежала из дома, богата теперь, но покоя в ней нет и сейчас.

Ещё больше удивился Аполлон и спросил:

— Как же это пришло к тебе, дедушка, что ты на расстоянии видеть можешь?

— Да, по порядку-то тебе и не расскажу, браток. Жил я долго служкой в одном монастыре. И монах, которому я служил, никогда ни с кем не разговаривал, а всё чётки перебирал да молитву тихонько шептал. Да и молитву всё одну и ту же. И так он её постоянно шептал, что привык я под неё работать. То ли дрова колю, то ли кашу ему варю, то ли одежонку его да свою ветхую чиню, всё его молитва простая, как волны припев, в ушах журчит. И стал я замечать, что монашек мой стал мне чаще улыбаться. Но, как говорить он не любил, молчал и я. Бывало, он улыбнётся, ну я ему поклонюсь, он ещё шире улыбнётся и кивнёт мне головой. Иногда замолкнет да целыми часами как застылый и сидит. Ну и я утихну, возьму его чётки да повторяю его молитву. Раз очнулся он после такого сидения, да и говорит мне: “Завтра я умру. Но ты знай твёрдо, что смерти нет, только люди её так звать выдумали. Возьми мой посох, мои чётки и иди отсюда. Если будешь жить чисто, я всегда буду с тобою, и каждому человеку ты будешь знать, что сказать. Я тебе буду показывать мысли тех, кому тебе надо будет что-либо сказать. И будешь ты слышать мой голос — как, кому и что сказать. Иди, не ищи себе прочного жилища, помни, что смерти нет. Есть Жизнь вечная, Единая. Ей служи в каждом человеке. Когда придёт тебе время оставить землю, увидишь меня, если будешь верно служить Богу в каждой живой душе”. Долго я странствую, и нигде ещё не приходилось мне передать неправильно слова моего доброго монашка, он мой верный спутник всюду. Чуть где остановлюсь — всегда, всегда придёт человек и, не спрашивая сам, получит свой ответ. Тебе велит сказать мой наставник: “Если пошёл верностью, дойдёшь любовью. Думал ты, умеешь только петь, а понял, что и песня твоя — Любовь. Не размышляй, зачем велено тебе в особые места Мудрости закон положить. Знай, что в тех местах наиболее свирепые войны людей будут не раз, и там же Мудрость создаст очаги спасения людям. Перед тобой лежат три дороги: мир, доброта, радость. Но все они соединяются в Любви. И тот, кто может идти путём любви, — тот всё великое горе земли на себе испытает. Но он же и самый чистый огонь в чаше своей людям подаст. Уходи отсюда. Не задерживайся. Не думай, как дальше будут жить дети твои. Жизнь для каждого — только его собственная форма. И никто не может ей помочь до тех пор, пока в человеке живут его страсти выше любви. Иди, мужайся. Не думай теперь о временных встречах, ибо задача твоя сейчас иная. А к детям своим и к злой женщине пошли дедушку моего, я ему всё скажу, как с ними говорить. Он им поможет”.

С удивлением смотрел Аполлон в лицо говорившего деда, и лицо это было совсем иным — светлым, сияющим. Ни мгновения не сомневаясь, Аполлон посидел ещё подле деда, пока он поел свою кашу, помог ему сложить его немудрящее добро в мешок и отвёл его в свою комнату в новой гостинице, где всё спало крепким сном. Уложив спать деда, Аполлон набросил на плечи плащ, взял лиру, немного хлеба и денег и вышел из дома».

Снова листы книги крепко склеивались, и на развернувшемся новом месте Лёвушка стал читать:

«Долго шёл Аполлон с караваном, высадившись с итальянского корабля, и пришёл наконец к реке Ганга. И ещё дальше пришлось ему идти, пока не нашёл он нужного ему места среди лесов Индии. Здесь он внезапно услышал голос отца: “Последнее Зерцало Мудрости положи в яму у подножия скалы, укрой камнями и возвращайся ко мне. На этом месте будет Община, что поддержит людей в страшные минуты. И к этой Общине смогут подойти люди разных путей, религий и исканий, но только те, чьи сердца и ум сольются в гармонии. Те же строптивцы, что не смогут дойти через века и века своих жизней до гармонии, те будут жить в дальних местах отсюда, где уже не твой урок класть мои заветы. Возвращайся домой, будь благословен. Как был ты верен мне в этой жизни, так укрепится верность твоя и в жизни следующей, где чаша Огня будет для тебя равносильна земной смерти”.

Весь обратный путь Аполлон совершил в великой задумчивости, и никто сейчас не узнал бы в исхудалом, оборванном путнике того весёлого красавца юношу, что вышел когда-то с лирой из дома отца.

Но аскетическое лицо путника сияло необычайным, светлым спокойствием, его ласковый голос ободрял даже отчаявшихся, и добрался он до дому, идя в благословениях людей, как в сияющем шаре».

Снова склеенные листы перевернулись целой пачкой, и Лёвушка, с трудом разбирая, перевёл:

«Читающий, чем дальше ты идёшь в своём знании, тем легче ты должен понять, что ведёт тебя по пути и как ты можешь принять участие в общей жизни вселенной.

Только тот входит в жизнь вселенной, кто научится не только видеть Бога в каждом человеке, но и чтить его в своих буднях.

Тот же, кто научится поклониться Огню встречного, войдёт в общение с идущими впереди своего века как руководители и вожди своей современности.

Дошедший до этой ступени не возвращается больше в заурядное воплощение, но переходит в путь гениев и идёт дальше, руководимый Теми, Кто невидим людям, не умеющим покорить свои страсти и стать господином самого себя, не теряющим полного самообладания ни в какие минуты жизни земной.

Прочитавший эти строки, пойми ещё раз: нет тайн, нет рангов, нет условных делений на высших и низших. Есть только освобождённая Воля-Любовь, освобождённое от условностей зрение, освобождённая от скорбей Радость».

Ясса стучал в дверь. Мы уложили книгу, закрыли стол и, полные чувства благодарности, вышли из комнаты Али.

На этот раз надпись нас нигде не задержала, но, когда мы вышли в коридор, перед комнатой омовений точно висела в воздухе огненная надпись:

“Храм не там, где сияют лампады. Храм — сердце человека; и куда бы он ни пришёл, он может видеть только то, что в его сердце выросло.

Учитесь, неофиты, не судить людей, в каком бы виде они пред вами ни предстали. В тех местах, где живут грешные, — грешнее всех тот, кто грех, а не Бога в грешнике увидал”.

Слова погасли. Мы совершили обычное омовение и прошли за Яссой в столовую И. гораздо раньше, чем приходили все эти дни.

Встреченные, как всегда, приветливой улыбкой И., мы не могли не заметить, что сегодня на его лице была какая-то особая серьёзность.

— Разве вы не помните, что Франциск привёл вас в Общину, что вы заболели здесь от нашего солнца?

Некоторое время Зальцман молчал, потом вздрогнул и сказал:

— Да нет же, не солнце, а женщина, которая горела в доме со своими мыслями-образами, и эти живые мысли меня убили. Где же я теперь? Да, да, я вас знаю и... вот этого Геркулеса. Остальных никогда не видел. Но пощадите! Неужели же вы проделываете надо мной гипнотические опыты вроде Франциска?

— Я был бы по меньшей мере полубогом, если бы мог оставить вас в гипнозе столько часов, сколько вы мирно проспали, и сохранить вам жизнь. Понаблюдайте себя. Вы называете Лёвушку Геркулесом. Но, по-моему, Геркулес — это вы, если судить по той силе, с которой стучит ваше сердце и переливается в жилах кровь.

— Да, я действительно точно вернулся к тому давно прошедшему, когда мне было двадцать лет. Я чувствую совсем необыкновенный для меня прилив сил.

— Вот поэтому не тратьте времени напрасно, вставайте и начинайте новую трудовую жизнь. Лёвушку вы уже знаете, а это мои близкие друзья — Никито и Бронский. Пока этого довольно для первого знакомства. Вы будете ещё иметь время узнать о них больше. Сейчас знайте о них, что они такие же близкие вам, доброжелательные люди, как и все те, с кем я познакомлю вас здесь. Влезайте в халат, что вам даёт Никито, и бегите в ванную.

— Всё это более нежели странно, доктор И. Что вы — доктор И., это я ясно сознаю. Что я силён, точно молодой, мне не менее ясно. Что... я хочу есть, как будто я дня три не ел, а не вчера вечером лёг спать, это мне тоже более чем ясно. Но вот почему во всём моем теле зуд, точно меня обглодали москиты, почему я весь такой липкий, точно я всю жизнь не мылся, этого я не постигаю, просто возмущаюсь, — разводя руками, говорил Зальцман, и голос его, точно голос оперного певца, гремел.

Он сам это заметил, снова с удивлением взглянул на И. и продолжал:

— Что же это такое будет дальше? Я говорю сейчас, как привык говорить всегда, а выходит у меня какое-то львиное рыкание.

Я не смог удержаться и залился смехом. Бронский, очевидно давно сдерживавший смех, раскатился пуще моего.

— Извольте видеть, этот Геркулес со своим приятелем Зевсом меня на смех поднимают, а я уверяю вас — дайте этому великану бороду, и выйдет подлинный Зевс.

Никито, улыбаясь, предложил профессору пройти скорее в ванну. Я и Бронский, поклонившись Зальцману, просили у него прощения, уверяя, что нам и не снилось над ним смеяться, но что моей смешливости ещё не положен конец, и она, охватив меня, заражает всех.

Зальцман пристально посмотрел на меня, точно забыл обо всём, и со вздохом сказал:

— Вы юны. Ах, как вы юны! Если бы мне было столько лет, как вам! Как много я бы мог ещё сделать, как ужасно, что жизнь так коротка. Только едва подумал всерьёз, что-то понял, как уже всё кончено, пришла старость, и труд не выполнен до конца.

— Полноте, вам ли говорить о старости, когда сердце бьётся и вопит: “Я молод, силён, хочу трудиться”. Идите же в ванну, смойте с себя пыль пустыни, как вы думаете, и липкий пот её жары. Ваши новые друзья помогут вам одеться по-нашему,

ему придётся начать следующее воплощение не в человеческой, а в животной форме, — и ты будешь нести ответ и за него, и за себя. Путь духовного общения — не обычная форма обывательской дружбы, в нём или славится Единый, или опошляется Вечное. Сосредоточьте сейчас все свои мысли на пути той великой души, что вы встретили в оболочке профессора. Отдайте ей всё своё цельное внимание, чтобы она могла продолжать свою жизнь земли, вынести в мир свою преданность науке не как личное своё дело и достижение, но как великую радость труда на общее благо. Профессор всю свою жизнь забывал о себе, но и не думал о людях, которые населяли мир рядом с ним. Он забывал о себе, но помнил все свои лишения, нёс их как тяжкое бремя, добавочный груз к науке. Теперь надо помочь этой душе узнать свободное служение своему Богу, свободному потому, что часть Его — вечно свободная — живёт в нём самом и не может быть никогда и ничем связана. Надо приложить все наши усилия ума, духа и сердца, чтобы профессор это понял и создал себе жизнь освобождённого существа.

И. вошёл в дом, мы прошли за ним. Никито осветил комнату и... я едва не превратился в “Лёвушку — лови ворон”. На постели лежал человек, профессор и не профессор, если не совсем юный, то во всяком случае настолько молодой, что я годился ему в товарищи. И воспоминания не было о том измождённом старике, которого я увидел ночью, не говоря уже о том полутрупе, который мы уносили из библиотеки.

И. подошёл к кровати больного, — но теперь это слово совсем не вязалось с видом нового профессора, — указал нам с Бронским, где нам стать, чтобы ясно видеть лицо Зальцмана, и положил свою руку на его голову.

Я пристально вглядывался в лицо учёного, и чем больше я смотрел, тем чётче видел, что это действительно тот же профессор, но кожа его гладкая, нигде ни одной морщины, рука красивая, с длинными тонкими пальцами, не рука старика, а рука молодого человека в расцвете сил. Я был так поражён, что потребовалось прикосновение Никито к моему плечу, чтобы я вернулся в самого себя, вспомнил, где я и зачем я здесь.

От прикосновения руки И. профессор улыбнулся, лицо его стало счастливым, но он продолжал спать. И., не отнимая руки от его головы, сказал:

— Проснитесь, мой друг. Вы уже вполне отдохнули, вам надо приниматься за работу.

Профессор вздрогнул, сразу гибко, по-молодому сел на постели и с удивлением посмотрел на И., на меня, на никогда не виденных им Бронского и Никито.

— Что за чертовщина, — пробормотал он, протирая глаза. — С тех пор как я добрался до этой проклятой страны, жара помутила мои мозги, иссушила меня хуже любого голода, а сны хотят, кажется, свести меня со всякого ума.

— Напрасно, профессор, вы в претензии на нашу милую и гостеприимную страну. Не трите ваши глаза, а скажите нам лучше, как вы себя теперь чувствуете? Помогла ли вам наша медицина? — улыбаясь, спрашивал И.

Профессор имел вид упавшего с неба и, раскрыв рот, уставился ничего, кроме испуга, не выражавшими глазами на И. И. взял его бессильно свесившуюся руку и спросил, ласково нагибаясь к нему:

— Как только вы поужинаете, — сказал он нам, не прикасаясь сам к еде, — мы отправимся будить профессора. Читая сказку древнейших времён, вы поняли, что ни в какие времена не было иных принципов движения людей к совершенству, как именно те, с которыми вы встретились в вашей современности. Древнейшая Мудрость, как и мудрость наших дней, говорит об одном: о раскрепощении в себе зерна Вечности от давления собственных предрассудков, суеверий и страстей. Об укреплении освобождающихся частиц любви в себе умением жить во всей полноте чувств и сил, не поддаваясь компромиссам. О достижении этой цельности, вскрывающей внутреннее зрение и слух, через ряд путей, облегчающих человеку это достижение. И наконец о главных условиях, приводящих каждого человека к самому лёгкому, самому короткому и самому простому его пути: верности до конца, послушанию до конца. Сейчас вы будете присутствовать при пробуждении человека, не знавшего компромисса в своём служении науке. Наука была его Богом, которому он поклонялся, не будучи в силах даже представить себе возможности отойти от неё на одну минуту. Перестаньте думать, что путь человека к совершенству — это только духовное искание, религия, искусство или проповедь любви, где всё отдано прямой своей цели: служению людям. Эти пути редки.

Чаще люди стремятся по ответвлениям, даже не нося в себе идеи служения человечеству, вроде профессора. И тем не менее путь их велик, они живут в той гармонии, которая делает их движущимися точками вселенной. Их самолюбие, их личные желания не закрепощают их. Они видят своего Бога и поклоняются Ему без тех перегородок, которые выстраивают между собою и Богом узкие религиозники или искатели, мечтающие войти в новое царство добра и любви, оставаясь сами в старых шкурках собственных страстей. Сосредоточьте свои мысли, думайте о профессоре со всей широтой вновь открывшихся или, вернее сказать, ещё раз осветившихся для вас древней мудростью знаний, несите всю чистоту и мир ваших сердец, и двинемся к домику профессора.

Сегодня вы оба поймёте на деле, что такое действенная встреча. Не присутствие ваших тел, наблюдающих тот или иной факт, мне нужно. Но активная сила вашего творческого духа, Любовь — действие, Любовь — полное внимание к жизни другого, Любовь — забвение себя как единицы плоти, Любовь — единение в Духе и Огне как Свет вселенной.

Раскрыв широко руки, И. прижал нас обоих к себе, и на миг я точно утонул в блаженстве. Когда И. отодвинулся от нас, я был ослеплён, мне казалось, что в одну минуту я проскочил целую вечность. Я ощущал себя необычно сильным, бодрым, счастливым. Такое спокойствие царило во мне, точно вся земля и всё небо поют мне песнь привета и я отвечаю им, не зная, где граница моей возможности их любить и им поклоняться.

Я взглянул на Бронского и подумал, что до сих пор вовсе не знал этого человека, что только сейчас я понял, как он гениально талантлив, — таким огнём сияли его глаза, такой силой веяло от его богатырской фигуры.

Молча, в благоговении, точно три шара любви, мы шли к домику профессора. Но мне казалось, что мы не идём, а мчимся, таким лёгким я себе казался и такими же лёгкими казались мне мои спутники.

В домике профессора мы нашли полную тишину. На крыльце нас встретил Никито, провожавший от себя Лалию и Нину, поклонившихся нам и быстро скрывшихся во тьме.

— Привет, Учитель, привет, друзья, — сказал Никито, здороваясь с нами. — Всё сделано, как ты приказал, Учитель — обратился он к И.

— Хорошо, отпусти сестру Герду и прикажи ей сейчас же лечь спать в своей комнате. Ей нужно успокоить и подкрепить свой организм. Оба вы были все эти дни так усердны, что ты не учёл, сколь хрупок организм женщины и повёл её слишком скоро и далеко в её новых знаниях и опыте. Ей было достаточно тех рамок, которые я тебе наметил, для полной подготовленности к путешествию. Теперь же, пожалуй, придётся задержаться нам всем и обождать, чтобы её организм пришёл в равновесие.

В словах И. не звучало ни упрёка, ни выговора. Но каждый из нас остро почувствовал, что Никито неточно выполнил то послушание, которое на него возложил И.

— Прости, Учитель, вновь моя неустойчивость, которую я счёл добротой, ввела меня в заблуждение. Сестра Герда так молила меня помочь ей пройти дальше указанного тобою в знаниях. Она уверяла меня, что ещё никогда не была так сильна и не чувствовала себя здоровее и увереннее. И я не устоял против её мольбы. Я предполагал, что помогу ей крепче закалиться и лучше приготовиться к её путешествию. И только в эту минуту я понял, что принёс ей вред, а может быть, повредил и всему твоему делу, задерживая твой караван здесь. Прости, Учитель, только на один миг я выпал вниманием из орбиты данного тобой поручения, на один миг поддался личному восприятию текущей минуты, подпал под его влияние — и совершил непоправимую ошибку, поддавшись личной мольбе человека. Да будет мне это вечным уроком, который я прочно знаю в теории и мечте и плохо выполнил в простом действии обычного дня. Теперь я всегда буду бдителен и буду помнить: зрение и слух, знание и милосердие Учителя моего больше и яснее моих. Я должен идти только так, как видит, знает и ведёт меня мой Учитель. Сестра Герда жаждет видеть тебя и говорить с тобой. Можно её позвать к тебе?

— Это было бы возможно, мой дорогой друг, — с необычайной нежностью сказал И., — если бы Герда, удержавшись в границах, указанных ей мною, продумала, прочувствовала полученные ею знания и привела себя в полное и устойчивое самообладание. Теперь же она похожа на бурлящий самовар, выбрасывающий кипяток и пар из всех своих щелей и пор. Отведи её домой, передай ей моё приказание, научи в эти короткие минуты понять её собственные и твои ошибки и, кроме того, так перелей любовь и мир своего сердца в её, чтобы она поняла, что надо забыть о себе и своих желаниях, а думать об общем великом деле, которому она хочет служить и ради которого хочет ехать в дальние Общины. Это не пикник или прогулка в оазис с роскошной растительностью, которую можно встретить только в оазисах пустыни. Это великая сила Любви, которую несёт каждый из намеченных к путешествию путников для радости и примирённости тех, к кому едет. И чтобы суметь принести и подать свои дары встречным, надо самому стоять в полном самообладании и беспристрастии к тем, кто живёт и дышит вокруг нас. Я предупреждал и тебя, и Герду: ленивый не всегда может быть принят в Общину, но только тогда, когда его лень происходит от физической слабости, которая легко читается в его ауре. И такой ленивый никогда не бывает неряшлив. Чрезвычайно же суетный и тормошливый, воображающий, что он очень усерден и темпераментен, не сможет продвинуться в ступенях Общины дальше первой, так как его самообладанию мешает его собственная неряшливость духа: ничего до конца, всё в мировом масштабе — и в результате мыльный пузырь. Иди, друг, мы тебя подождём. Возвращайся.

О, как я сочувствовал Никито, молча поклонившемуся и ушедшему в дом. Всем сердцем я понимал, как рыцарски героичен был Никито по отношению к Герде, как он желал помочь женщине и, тронутый её мольбами, увлёкся и вышел из указанных ему И. границ. Всем сознанием я молил моего милосерднейшего друга Флорентийца помочь Никито найти нужные в эту минуту леди Бердран слова, провести её к высшей радости: понять свою ошибку, благословить Свет, показавшийся ей, и творчески, любя и побеждая, смиренно принять идущий урок.

— Ты, Лёвушка, — вдруг услышал я голос И., — сосредоточься ещё глубже, и Вы, Станислав, также желайте Герде и Никито принять данное мгновение не как наказание или раскаяние, но как радость освободиться от иллюзорного “расширения сознания”. Не космическое сознание расширялось в Герде, не ему помогал Никито, но расширялась её личность, и она ослепила их обоих. Этот маленький урок вместе с тем, что вы прочли в комнате Али, пусть будет вам освещением многого, что вы увидите сейчас и кого увидите в дальних Общинах. Там живут люди жаждущие, всегда приподнятые в своих духовных желаниях и достижениях и не имеющие сил забыть о них для общего блага.

И. взял каждого из нас за руку, и я снова ощутил блаженство Любви, мира, радости и бесстрашия, в которых я нёсся за Гердой своими мыслями, точно между мной и ею не было перегородок пространства, времени, пола, формы... Теперь мне показалось, что все мы трое понеслись вместе над Никито и Гердой, о чём-то говоривших. О чём-то плакала Герда, но я знал, что все мы поём им песнь торжествующей Любви...

Сколько прошло времени, я понять не мог. Для меня снова мелькнула целая вечность. Я почувствовал какой-то толчок и увидел себя и Бронского стоящими на том же крылечке, с которого мы вошли в дом, и услышал слова И., обращённые к Никито:

— Аминь, мой друг. Да будет вовек в тебе знание, что и доброта может не только вредить движению человека, но может даже и погубить его, низведя его из высшей формы в низшую. В данном случае ещё не совершилось ничего ужасного. Но могут быть случаи, где доброта, ложно понятая, мешает развиться самообладанию другого человека. Если твой друг не может сдерживать своих страстей и своего раздражения в твоём присутствии, если ты не содействуешь его умиротворённости и не видишь успехов в его самообладании, Ты виновен. И виновен не только перед тем, что видишь, то есть перед временной его формой, но виновен перед его вечной жизнью, в которой твоя любовь помогла ему понизиться в его ступенях вечного совершенствования. Твоё иллюзорное милосердие, твоя призрачная любовь к другу в данном случае могли быть причиной даже того, что ему в следующее воплощение пришлось бы нести тяжкий урок зависти и к знаниям, и к положению других. Могут быть и такие случаи, если поведение твоего друга в твоём присутствии часто идёт в напряжённом раздражении и бешеных порывах несдержанности, что

день дорогу, по которой когда-нибудь сможешь возвратиться сюда. Старайся понять, что день человека и всё его счастье или несчастье строит он себе сам. Иди теперь. Мои друзья помогут вам обоим сесть на мехари. Не беспокойся, умные животные дороги в лес не забыли. Тебя же предупреждаю: если попытаешься задёргать животное, оно тебя сбросит, и звери пустыни растерзают тебя. И в этой позорной и бесславной смерти ты потеряешь все возможности вернуться сюда обратно и когда-либо получить спасение на земле. Ты уйдёшь на планету злых и будешь судим там по её законам, как по её законам ты жил на земле.

Франциск приказал нам с Бронским усадить несчастных на мехари, подать им уже собранное для них в путь продовольствие и дожидаться его на дворе, куда он к нам выйдет.

К нашему полному изумлению, когда мы вышли с карликами из трапезной, у самого порога стоял Зейхед, уговаривая и лаская волновавшихся животных, которые при появлении карликов стали ещё больше беспокоиться. Не без труда удалось Зейхеду уговорить и успокоить верблюдов. Мы усадили на них карликов с их багажом, Зейхед прошептал что-то каждому верблюду на ухо, те испустили нечто вроде вопля, сразу помчались галопом, и вскоре мехари исчезли из наших глаз, унося на себе двух еле видных крошечных человеческих существ, с огромным количеством их невидимых дел и задач.

Зейхед ласково разговаривал с нами, говорил, что каждому из нас уже выбрал великолепного и опытного скакуна, не раз носившего людей по пустыне. Он всячески старался рассеять наше тяжёлое состояние, которого мы не могли, да и не хотели скрывать от него.

Через некоторое время к нам вышел Франциск. Боже мой, как он был непередаваемо прекрасен! Точно сияние шло от его головы, лучи лились из его глаз! От всего его существа, как нечто живое, как движение нагретого воздуха, распространялась доброта. Как только я взглянул в это лицо, вся тяжесть моего сердца растаяла. Вместо скорби, которая тяжёлым грузом только что давила на меня, всего меня залила радость.

Что я понял, вернее, осознал ещё раз, когда смотрел в сияющее лицо Франциска? Прежде всего я понял, что *весь* он был одна *молитва*, что он и вселенная были едины. Я понял величие и ужас человеческих путей на земле. Я понял, что всё, в чём участвует человек на земле, доброе и счастливое, злое и несчастное, — *всё,* вплоть до последней встречи, только действия самого человека. Я понимал это и раньше, но сегодня я точно прозрел, как будто *сразу* увидел длинную ленту записей, развернувшуюся, как древний свиток пергамента, перед моими духовными глазами.

— Пойдёмте, друзья, — обратился к нам Франциск, беря меня под руку. — Вот видишь, Лёвушка, какая сложная вещь самообладание человека. Только что ты нёсся ко мне на своём мехари, полный радости жить, полный юношеского подъёма и влюблённости в меня. Следующее твоё “только что” было полно опасения “не так” выполнить приказ И. и промедлить с порученным делом. Не успела мелькнуть эта забота, как жизнь приковала сердце и мысль к созерцанию ступеней чужих жизней. Подумай, приведи себя к полному пониманию и бдительно распознай: был ли ты, уж не говорю, в полном самообладании, но был ли ты хотя бы в полном спокойствии?

смогут дальше открывать люди и выносить их в мир. Вам надо понять, что *не* материя тела вела, ведёт и будет вести вас к откровениям. Но те порывы *интуиции*, которые вы сможете раскрыть в себе как озарения для вашей мысли. Ваше сознание — только путь к сверхсознательному творчеству. И на этом пути, допущенные вами ошибки ничтожны. Вы это сами сейчас увидите. Ваш труд может стать великим сдвигом в истории человечества. Но “может” ещё не значит “будет”. Для этого вашей мысли, вашему сердцу надо уловить *ритм* не останавливающегося Движения *всей* вселенной. Материя видимых вещей не составляет основного фона *всей* Жизни. Вся Жизнь не может изменяться в зависимости от формы. Изменяется временная, земная *форма* в зависимости от той части Жизни, которая в *ней* раскрыта, тех пределов, в которых свет *может* быть постигнут человеческой формой как своё собственное основное ядро. И чем яснее, точнее, шире эта форма *постигла,* в какой мере и степени *она связана* со всей Единой материей вселенной, тем дальше она может проникнуть в *законы* этой *вечной* Материи своей интуицией. Тем шире форма может *ввести* эти законы вечного Движения в русло обыденных человеческих пониманий как ту или иную отрасль науки или искусства и вылить в толпу малотворческих и малоодарённых людей как простые знаки формул, слов, нот или красок для нужд обычного серого дня людей. И чем выше верность человека своей отрасли творчества, тем выше его служение людям, тем большей толпе людей он создаёт не серый, а сияющий день жизни. Вы стоите сейчас в тупике. Вы запутались в сетях материи и считаете, что бредни о Боге, заигрывания с Ним в виде церкви и религии — всё судьба узколобых, чьи силы малы, чтобы дерзать строить жизнь без глуповатой гипотезы Бога. Если бы по вашему пониманию могла идти счастливо творческая жизнь народов, зла давно бы не существовало в мире. Зло искоренялось бы теми принципами ограниченного разума, который вы зовёте знанием. Выгода и практичность каждого существа держали бы его крепче всего в пределах добра, и ни один человек не мог бы быть вором или убийцей, так как знание наполняло бы в нём *всё*. Но в человеке *не* всё конечно, и *за* всем тем, что в нём конечно, живёт часть *вечной материи*, которая *не* подлежит влиянию конечного знания, конечного пространства и времени. Эта Вечная часть формы подлежит только законам Вечности: причине и следствию. Если бы вы не имели в себе этой частицы вечности, если бы вы уже много раз не приходили на землю как форма конечная, вы не могли бы быть здесь сейчас, где один из нас вам многим обязан в своём прошлом, в одной из своих прошлых жизней, прожитой возле вас.

— Доктор И., помилосердствуйте, — сказал профессор, и лицо его носило злое, саркастическое выражение. — Я ехал сюда для великой науки, я шёл сейчас для важнейшей беседы с учёным, и вдруг... Я даже не знаю, как мне выразиться о ваших словах. На мой взгляд здравомыслящего человека, это всё бред, то, что вы мне сейчас говорите. Простите, но всё это отдаёт плохим душком шарлатанства.

И. улыбнулся, как улыбаются глупеньким детям, остановился возле негодующего профессора и сказал:

— Чтобы что-либо утверждать или отрицать, надо иметь веские данные, опытом вынесенные в жизнь дня. Всё то, что я вам сказал, — это опыт моей жизни. Хотите ли вы, чтобы я помог вам сейчас вспомнить маленький факт одной из ваших предыдущих жизней? Но предварительно скажите мне: верно ли, что вы великолепный

пловец? При всей вашей занятости вы находили время заниматься плаванием и довели его до совершенства. Почему?

— Что у меня была всю жизнь страсть к плаванию, это вы угадали. Что я довёл эту страсть до совершенства и даже до науки, это точно. Не менее точно и то, что я желаю приобрести с вашей помощью опыт воспоминания чего-либо из моего прошлого, если только и вам удастся меня одурачить, как это удалось однажды Франциску. Но в эту минуту я уже не тот бессильный старик, который еле плёлся ночью в пустыне. Я крепок и силён и надеюсь, что ничья воля не согнёт теперь моей.

Профессор говорил с большим вызовом и уверенностью, И. улыбался ему мягко и снисходительно, Никито укоризненно и грустно покачивал головой, а лицо Бронского выражало полное расстройство, точно он хотел крикнуть Зальцману: “Замолчи!”

И. положил свои руки на голову профессора, и мгновенная перемена произошла во всей его фигуре. Лицо его выразило блаженство, он мягко прислонился к спинке кресла и застыл в позе человека, прислушивающегося к чему-то далёкому и радостному.

Вдруг в полной тишине, водворившейся в комнате, раздался слабый, удивлённый голос:

— Я вижу странный, неевропейский город у моря... Это Япония! — воскликнул он вдруг после некоторого молчания. — Боже мой, неужели этот юноша, самоотверженный и чистый, этот японец, который научил меня так прекрасно плавать, должен утонуть только потому, что мне вздумалось получить приз и неосторожно броситься в воду? Я выплыл благодаря его трудам. Я подзадорил его тоже оспаривать приз, и он не выплывет?! Я, правда, устал, очень устал, — сказал он, вдруг изменившимся, слабым голосом. — Но оставить его одного в минуту опасности, после того как я его вовлёк в эту глупую игру, я не могу. Простите мне, боги, покровители наук, что я не докончил посвящённый вам труд. Оправдайте меня перед судьбой, но бесчестным я быть не могу. Юноша так много сделал для меня. Я сейчас устал, ох, устал, вряд ли ему помогу. Но всё же поплыву ему на помощь.

Вновь наступило полное молчание в комнате, слышно было только усиленное дыхание профессора, лицо его выражало все стадии напряжения и борьбы, наконец ужаса. Дыхание стало похоже на свист. Несколько мгновений мне казалось, что профессор переживает агонию, что сердце его не выдержит неистовой борьбы, в которой он бьётся, но внезапно он выпрямился и почти шёпотом сказал:

— Ну вот мы и выбрались, друг. А я уже думал, что от акулы не уйдём и в последней волне захлебнёмся. Слава богам, теперь мы на земле. Полежим спокойно...

И. сделал движение рукой, точно отодвигая какую-то картину в воздухе, посмотрел на Никито, и тот, повинуясь его взгляду, подошёл вплотную к креслу учёного. И. взял руку Никито, положил её на сердце Зальцмана и, продолжая держать свою руку на его голове, сказал:

— Вы пережили сейчас сцену одной из своих жизней, происшедшую несколько веков назад. Не узнаёте ли вы вашего бывшего друга, которому вы спасли жизнь, в одном из нас?

мне, что я не прав, что я тебя не спасу, но, преступив положенную мне черту действий, возьму на себя тяжёлую ношу, которой на меня никто не возлагал, наберу себе ещё долгов и обязанностей, которых мне никто не предписывал. Так и случилось, как думал мой ум. Любовь моя действовала не в гармонии с ним, и я должен принять от тебя тот удар, которого мне никто, кроме меня самого, не готовил. Ты этого понять не можешь, так как любовь твоя ещё спит и ты не смог её пробудить и освободить среди мирных и добрых, доброжелательных к тебе братьев. Теперь ты от злых отстал и к добрым не пристал. Твоё положение тяжёлое. Чтобы облегчить тебе его, я дал тебе этот платок. Помни, зови меня сердцем, всем сердцем, если тебе будет тяжело. А тяжело тебе будет, потому что лгать и бить безнаказанно, как ты это делал раньше, воровать и грабить, как ты делаешь до сих пор, ты уже не сможешь. Каждый удар, который ты нанесёшь живому существу, вернётся к тебе с удвоенной силой и будет бить тебя по тому месту, где у людей бьётся сердце. Так как у тебя любовь спит и ты не знаешь, в каком месте она живёт у человека, то удары твои по другим будут сыпаться в твоё сердце, показывая тебе, где то место, которым люди любят, скорбят, жалеют других и помогают им. Этот платок береги. Все твои злые дела и мысли будут оставлять на нём пятна и дыры. Все твои добрые дела будут помогать тебе сохранять его целым и новым. Помни, пока хоть обрывок платка будет на тебе, связь твоя со мною будет крепка. Если весь платок истлеет и даже на твой маленький кулачок не хватит твоих добрых дел, связь твоя со мною, твоя последняя надежда на спасение, пропадёт. И только один ты будешь в том виновен. Ты поедешь в свой ужасный лес. И если не выполнишь трёх зароков, что я тебе сейчас дам, то не проживёшь и года среди своих змей и сов, они ослепят и задушат тебя, чему ты не раз был свидетелем и радовался страданьям других.

Первый мой тебе зарок — когда тебя пошлют соблазнять какого-либо сомневающегося в добре и шатающегося в чести человека обещаниями богатств и могущества через науку твоих тёмных хозяев, ты объяснишь ему всё: и куда ведёшь, и к кому ведёшь, и по какой тропе, усеянной гадами, поведёшь.

Второй мой зарок — если человек не послушает твоих предупреждений и всё же пожелает идти к твоим хозяевам раздобывать себе блестящий путь бесчестья и богатства, доведя его до змеиной тропы, остановись и, держась крепко руками за мой платок, думая обо мне и об этой минуте, думая о минуте твоего собственного освобождения от рабства и возврате сюда, предупреди ещё раз человека, которого ведёшь, и скажи, что никому, вошедшему на змеиную тропу, возврата нет в свободную и светлую жизнь. Что змеи пропускают внутрь леса, но не выпускают никого обратно, не поработив его воли, не убив в нём последней возможности возврата к добру.

Третий мой зарок — переверни не в своём уме, но в своей душе, которая затеплилась в тебе сейчас еле видным огоньком, все представления о счастье и мощи человека. Запомни, что *силён* не тот, кто ловко лжёт, но тот, кто *мужествен* и *может* жить в правде. *Силён* не тот, кто знает, как сковать и заговорить на дымящейся крови защитный амулет, но тот, чья любовь может защитить против всех злых амулетов, ибо сердце его чисто.

Иди с Богом. Не плачь. Впервые слеза не бешенства, а сожаления и раскаяния течёт из твоих ужасных глаз, бедняжка. Впервые ты понял, где живёт в человеке хранилище его Любви. Я подаю тебе силу моей Любви в помощь. Строй каждый

голове змеи сверкал крупный рубин. Франциск надел браслет карлику на руку, и пределов его счастью не было. Он целовал ноги Франциска, льнул к его рукам, смеялся и плакал одновременно.

— Помни же, то Великая Любовь посылает тебе свой дар верности и помощи. То амулет добрых, побеждающих зло своей чистой любовью. Встань и подойди сюда, — приказал Франциск звенящим голосом лежавшему на полу карлику.

— Видишь, не могу, нечего больше и пытаться. Чуть спину не сломал и не могу разогнуться, — отвечал тот, точно выплёвывая проклятия.

— Встань, я сказал, — раздался снова голос Франциска, и я ещё раз вспомнил Ананду и его “звон мечей”.

Точно пружиной поднятый, карлик вскочил с земли и ни минуты не медля подошёл к Франциску. Странная происходила с ним вещь. Первые шаги он шёл в полном бешенстве, кривляясь и как бы стараясь сбросить с себя какие-то стягивающие его плечи и руки верёвки, потом на его лице стало меньше гримас, на половине дороги гримасы исчезли и появилось какое-то робкое выражение, совсем неожиданное у этого зверя. Когда же он подошёл вплотную к Франциску, то нечто вроде мольбы, восхищения и удивления застыло в его ужасных глазах. Это выражение делало даже этого урода более достойным человеческого имени.

Минуту-другую молча смотрел на него Франциск, держа в руках тот красный платок, из которого он вынул браслет-змею первому карлику. Потом внезапным и резким движением он бросил свой платок на голову карлика, и, не отрывая взгляда от маленькой фигуры укрощённого злодея, сказал тихо и чётко:

— Лёвушка, оботри моим платком лицо и руки несчастного.

Я так был не приготовлен к обращению Франциска ко мне, так “наблюдал” сцену действий, вместо того чтобы *действовать* самому в своём духе, что не сразу сообразил и потому несколько коротких мгновений промедлил, что заставило Станислава одёрнуть меня.

Я бросился выполнять приказ моего дорогого друга, отёр лицо и руки карлика, усердно призывая на помощь Флорентийца. Карлик не только не протестовал, как я ожидал, но, поняв, что я хочу вытереть его руку повыше, оттянул сам рукав своей куртки до локтя, подставил вторую руку и, когда я кончил, засмеялся в полном удовольствии. Он робко посмотрел на Франциска и потянул из моих рук его платок.

— Оботри ему шею и верх груди и повяжи платок на шею, — снова сказал так же тихо и чётко Франциск.

Когда я выполнил и это приказание, он обратился к карлику, державшему концы платка обеими своими руками. Мне казалось, что сейчас для карлика нет сокровища драгоценнее этого красного платка. Глаз своих он с Франциска не спускал и ловил каждое его слово, стараясь вникнуть всеми силами в смысл того, что слышал.

— Я даю тебе этот платок, чтобы ты понял, что я тебя не отвергаю и сейчас, как не отверг твоих просьб, клятв и молений в первый раз, когда увёз тебя с собою от твоих ужасных хозяев, их сов, заклятых троп и змей. Ты утверждал, что умён, умнее всех карликов, что тебя, как самого умного, ловкого и хитрого, твои хозяева сделали вожаком целого звена. Ты доказывал мне, что умом понял выгоду быть честным, что ты хочешь жить в мире, среди мирных, а не злых. Я знал, что ты не сможешь жить в мире добрых, но я пожалел тебя, пожалел всем сердцем, хотя ум говорил

Зальцман открыл глаза, в первые минуты он как бы ничего и никого не узнавал, потом оглядел всю комнату, послал нам с Бронским улыбку, шепнув: “Голиафы”, и только тогда посмотрел на стоявшего с ним рядом Никито.

Необычайное изумление выразилось на его лице. Он поднял голову, посмотрел на И., ещё раз на Никито и пробормотал:

— Я не могу узнать в этом внешнем виде моего старого друга. И вместе с тем я *вижу* движущуюся, светящуюся ленту, которая связывает тело у моря с фигурой этого человека. Теперь там, на берегу, не лежит тело, но там сверкнуло нечто вроде огня, а сейчас я вижу этот огонь возле сердца Никито, у его горла и у его бровей. Что же это значит? Я ничего не понимаю. Но всем своим сознанием *знаю*, что тот японский друг и Никито — *одно* и то же лицо.

— Вы увидели *суть*, вечную и неизменную, ту частицу Вечности, что живёт во временной форме человека и остаётся в каждой его форме неизменной. Будете ли вы теперь, убедившись опытом в своей предыдущей жизни, пережив ещё раз уже однажды испытанное вами героическое чувство, отрицать, что вы *уже* жили на земле и знаете не впервые кое-кого из нас? — спросил И.

— Нет, я не решусь больше ничего отрицать. Но я не имею права и ничего утверждать, поскольку я убеждён, что вы пробудили во мне какие-то силы вашим гипнозом, — ответил Зальцман.

— Если вы думаете, что силой *моего* гипноза я мог унести вас в далёкую страну, то вы настолько большой учёный, чтобы твёрдо *знать*, что из ничего не бывает ничего. Чтобы воскресить в вас воспоминания, я должен был увидеть их в вашей подсознательной памяти. Вы, глядя на Никито, испытывали не раз нечто похожее на волнение, вызывавшее в вас непонятные вам самому нежность и удовольствие. Верно я понял ваши чувства?

— Определённо и точно. Но как могли вы их угадать?

— Об этом после. Увидев ваши мысли и чувства, я проследил ход ваших предшествовавших жизней и жизней Никито. Я нашёл в них — по светящимся и скрещивающимся линиям вечной материи духа — ту сцену, которую вы только что пережили здесь. Есть ли у вас мужество и хотите ли вы увидеть вашу связь со мной? Я спрашиваю, есть ли у вас мужество, так как в прошедших жизнях каждого человека есть такие страшные страницы, перед которыми замирают в ужасе даже самые бесстрашные сердца. Страница вашей связи в прошлом со мной — одна из горестных и ужасных страниц вашей жизни.

— Если бы вы сказали мне, что я могу увидеть нечто прекрасное, совершённое мною в жизни, или нечто великое, сделанное мною в науке, пожалуй, я остался бы равнодушным к этим фактам. Я *мог* бы себе представить, что совершить их я, конечно, должен был. Но чтобы поверить, что я мог сделать нечто недостойное по отношению к вам, совершенно чужому мне человеку, — это так же глупо, как уверить меня, что я мог убить ребёнка, — расхохотался Зальцман. — Пожалуйста, доктор И., показывайте мне страницы моих преступлений, — прибавил он, саркастически поглядывая на И. и хохоча ещё громче. Он мне показался озорником в эту минуту, но я понял его полную невежественность, и сердце моё глубоко сострадало ему и не осуждало его.

Я посмотрел на И. Лицо его было очень серьёзно. Он ничем не ответил на весёлость профессора, но, печально глядя на него, тихо сказал:

— Я ещё раз предупреждаю вас: вам придётся увидеть одну из самых ужасных страниц вашего прошлого, и для этого вам надо собраться в полной сосредоточенности и в огромном мужестве. Призовите всё самое высокое и ценное, во что верите, и ответьте ещё раз, хотите ли видеть вашу связь со мной в одной из ваших жизней, несмотря на то что она приведёт вас в ужас?

— Ваше лицо так сурово, ваш голос так серьёзен, что они могли бы спугнуть даже очень храброго. Но я так убеждён, что никогда не мог бы быть бесчестным, что желаю знать свою связь с вами. Должен вам сделать одно странное признание: когда я увидел вас в первый раз нечто вроде какой-то вины перед вами мелькнуло во мне. Я почувствовал себя перед вами очень неуверенно и только ваша поистине рыцарская вежливость меня успокоила.

— Смотрите же, мужайтесь и запомните навеки то, что сейчас увидите. Унесите из этого урока, урока ужасного, более расширенное сознание. Поймите роль любви в движении духа человека по векам. Оцените истинную силу любви *во встречах* людей и милосердие их друг к другу. Поймите и запомните, *что* такое “встреча людей”.

И. положил снова свою руку на голову профессора. Лицо моего дорогого друга и Учителя стало прекрасно той красотой, которую я не раз уже видел, начиная с первого случая на пароходе после бури, когда он стоял со мной на корме. Держа руку на голове Зальцмана, он сказал так нежно и ласково, как могла бы говорить только родная мать:

— Я давно простил вам всё, мой бедный брат. Всё, что совершает человек в своём пути, всё делит его дни на горе и радость, на мощь и слабость, на печаль и улыбки. Нет просто текущего благополучия, но есть законы Вечности: закономерность и целесообразность. Нельзя уйти от следствий содеянного, но можно найти *в себе* пламя великой Любви, и все следствия станут только счастьем узнать, *как* перелить из себя силу, величайшую силу-радость, чтобы всё злое от страстей и пороков стало миром и помощью, предостережением и защитой встречным.

Снова водворилось полное молчание в комнате. Я слился сердцем и мыслью с Флорентийцем, моля его помочь профессору в его страшный час, а что он будет страшным, я не сомневался после слов И. Ещё никогда не слыхал я от него подобных слов...

Крик, сдавленный крик переживающего ужас человека заставил меня вздрогнуть. Я взглянул в лицо Зальцмана и вздрогнул ещё больше. Я увидел как бы панораму, целый ряд постепенно развёртывавшихся и гаснувших картин. Я видел дом у моря, видел долину, где он стоял, видел уютную обстановку комнаты, где за ужином сидела зажиточная семья. Я видел гостя, вошедшего во время ужина и особенно ласкавшего небольшого красивого мальчика. К ужасу моему, я понял, что доверчиво ласкавшийся к гостю ребёнок был И., а гость... Зальцман, хотя ничего общего с теперешним обликом в нём не было. То был грубого вида грек, очевидно, имевший большое влияние на всю семью. Я понял, что хозяева, особенно мать, боятся каких-то врагов, а гость их успокаивает и убеждает спать спокойно, насмехаясь над их

— Посмотрите, Лёвушка, какой ужас. Злодей не нож старается высвободить, а он руки своей не может оторвать от ножа, точно невидимая сила гнёт его всего к земле. Это приводит его не только в бешенство, но и в неистовый ужас, — шепнул мне Бронский.

Я пригляделся к действиям злодея и действительно заметил, что он прилагает все усилия, чтобы оторваться от ножа. Разогнуться он никак не мог и наконец с воем упал на пол, колотя ногами.

На этом месте представления дверь открылась и вошёл Франциск. Раскачивавшийся и вывший карлик мгновенно перестал и раскачиваться и выть, встал и робко заковылял через всю комнату к Франциску.

— Я понял, всё понял, святой отец, я знал и раньше, что ты святой, но уж очень я был зол на тебя. Теперь уж совсем знаю, что ты святой, а я пропал. Сейчас ты защитил меня, — он указал на нож и валявшегося на полу карлика. — Там, — он махнул рукой куда-то в пространство, — меня никто не спасёт. Я пропал. Вот возьми, это дал мне старик, которому ты велел учить меня грамоте. Он мне надел, сказал, что это крест и он спасёт меня от беды. Да, видишь сам, не спас. Пришла беда, и не спас, — почти прошептал несчастный.

Он был истинно, глубоко жалок, и у меня даже слеза была готова скатиться из глаз.

— Меня не спас этот амулет, он, наверное, не для злых сделан. Он для добрых — ты добрый, возьми, спасёт, — совал он своими дрожащими ручонками крест в прекрасную руку Франциска. — Ах, мне бы амулет для злых: змею с глазом, тогда бы я не пропал, она бы защитила. Но тот амулет дорогой, его мне не достать. Пропал я. Прости, если можешь. Понял я, о чём ты говорил про верность. Только уж поздно теперь, всё равно там убьёт, если здесь не убил, — снова показал он на лежавшего на полу злодея.

— Бедный брат мой, — тихо сказал Франциск, так нежно, ласково, столько нечеловеческой доброты и любви было в его словах, что слёзы покатились по моим щекам, я готов был броситься к ногам Франциска и молить его о пощаде карлику. — Не один ты виноват, что жизнь здесь оказалась трудной для тебя, — чуть помолчав, продолжал Франциск. — Я не устоял против твоих молений и взял тебя сюда, хотя видел, что ты ещё не готов. И всю твою вину я беру на себя. Вот тебе тот амулет, о котором мечтаешь. Но не думай, что то амулет злых. Это амулет Великой Любви, которая посылает его тебе в помощь и спасение. Если будешь носить его на руке и будешь чист сердцем, ни один злой не сможет ни ударить тебя, ни подчинить твою волю злу. Но для этого ты должен помнить обо мне, оставаться мне верным. И если будешь верен, я часто буду тебе помогать в твои тяжёлые минуты. Три вещи ты должен помнить:

Ничего ни у кого не воровать.

Стараться всюду пролить мир, неся мой образ в сердце.

Не только не убивать людей, но и никогда не бить ни людей, ни животных.

Тогда мой браслет защитит тебя. Если проживёшь, как я сказал тебе сейчас, не только увидишь меня, но и вернёшься ко мне.

Франциск вынул из кармана красный платок, развернул его и вынул из него прелестный детский браслет, изображавший змею, кусавшую собственный хвост. В

Это всё, что я могу ещё для вас сделать. И все ваши мольбы, которые я вижу, будут напрасны. Всему есть мера — вы исчерпали Милосердие. Отойдите к окну и ждите там, пока настанет ваш час и вас посадят на тех же мехари, на которых я привёз вас сюда.

Франциск повернулся к жавшимся вокруг него карликам, так недавно воинственно группировавшимся вокруг урода, и сказал:

— Вы слышали слова мои: “Всему есть мера”. Будьте осторожны и бдительны, чтобы не исчерпать Милосердия. Будьте внимательны, когда сближаетесь с людьми, так как каждый из вас знает, сколько раз в жизни он был предателем, сколько раз давал себе и другим слово — нести всю верность в своих делах и встречах и сколько раз эта верность оказывалась пылью, которую уносит легчайший ветерок. Идите к своим делам. Ещё раз поблагодарите Жизнь за свет и мир, в которых живёте. Ещё раз убедитесь, как трусливость свойственна лицемерам, а бесстрашие живёт всегда в чистом и правдивом сердце.

Отпустив повеселевших и успокоившихся карликов, Франциск благословил детей, помог некоторым из них встать с коленей, перецеловал наиболее маленьких и сказал им:

— Запомните, как сегодня вы видели, что вор, укравший ваши игрушки, сам себя наказал, ударив себя же по голове собственной вороватой рукою. Всю жизнь помните это время и это зрелище и всегда знайте: чужое добро ничего, кроме зла, вам не принесёт. Любите друг друга, прощайте друг другу, не доносите друг на друга. Помогайте друг другу во всех тяжёлых вещах, старайтесь облегчить каждому его тяжесть дня, и радость будет жить в ваших днях.

Отпустив всех детей и карликов, кроме двух, которым он велел раньше ждать себя, Франциск оставил нас в трапезной вместе с сёстрами и братьями ждать его возвращения. Он вышел один.

Мы с Бронским сели на скамью, откуда нам были хорошо видны оба маленьких преступника. Какая это была жуткая пара! Где угодно, в любой кунсткамере, я не мог ожидать подобного отчаяния, какое лежало на этих двух лицах, если это слово можно было применить к этим двум ужасным маскам-пугалам.

Озорник сел на пол, обхватив свою голову руками, он тихо выл и раскачивался, выл, как собака по покойнику. Злющий же метал молнии из глаз; полный ненависти, он делал попытки рукой или ногой ударить своего врага, недавнего приятеля, но каждый раз наносил удары себе самому, что его приводило в совершенное неистовство.

Наконец, потеряв всякое самообладание, он стал буквально бешеным, схватил со стола нож, которым резали в трапезной хлеб, и со всей силы ударил карлика в спину. Но нож скользнул по спине, не причинив карлику вреда, и врезался в собственный сапог поскользнувшегося злодея, разрезал его безобразную, огромную обувь и впился в пол. Сколько ни пытался злодей вытащить нож, все его усилия были напрасны, нож сидел плотно в полу.

Этой сценой были потрясены все присутствовавшие, кроме всё так же продолжавшего выть и раскачиваться первого карлика. Он, казалось, никого и ничего не замечал, кроме своего горя.

страхами. Гость просил отпустить с ним мальчика, но мать категорически ему в этом отказала, чем вызвала его огромное неудовольствие.

Довольно неискусно скрывая свою злобу за отказ, гость удалился, оставив в семье тяжёлую атмосферу какого-то предчувствия беды и страха. Вскоре, помолившись Богу, вся семья легла спать, и дом погрузился во мрак.

Гость, выйдя из большого и красивого сада своих друзей, подождал, пока погас последний огонёк в доме, тихо свистнул и прошёл за угол улицы. Навстречу ему вышел маленького роста человечек в тёмном плаще и по указанию первого нарисовал какую-то фигуру чёрной краской на белых воротах дома.

Через короткое время на улице показалась ватага разбойников, бросившихся к воротам, указанным краской. Появившийся на шум сторож был тут же убит, но крик его предостерёг хозяев в доме, и они бросились через сад к морю, надеясь спастись в лодках. Но в долине, у самого моря, разбойники настигли их, и... случайно упавший с головы плащ обнажил лицо одного из разбойников. То был недавний гость дома, теперь занёсший меч над хозяйкой и убивший её. Мальчик бросился на помощь матери, но и его настиг удар меча, и он упал бездыханным на тело матери...

— Остановите этот ужас, или я сойду с ума! — раздался раздирающий вопль профессора.

— Мужайтесь, друг. Моя любовь не знает предела в своём милосердии. Я счастлив служить вам сейчас и *навсегда* помочь вам выйти из круга тех жутких жизней, где человек *колеблется* в своей верности, ищет истины, хочет войти в Свет, но вновь и вновь впадает в раздражение, лицемерие
и ложь, ища только жизни личной в той или иной форме, а не жизни на общее благо. Встаньте, пройдите со мною в следующую комнату, там вы будете иметь силу прочесть одну запись веков. Она положит конец вашим колебаниям и вместе с тем введёт вас в новый *ритм* движения, который теперь необходим вам, чтобы окончить ваш прекрасный труд. И труд ваш — не *одной* этой жизни задача, но результат *многих* вековых жизней, ваших исканий и страданий в них.

— Я пойду всюду, куда прикажете, но только тогда, когда вы простите меня, — падая на колени и рыдая отчаянным образом, сказал учёный. — Я понял, что мальчик, которого я убил, — это вы. О, ужас, — продолжал он рыдать.

— Успокойтесь, вы не убили мальчика, он только упал в обморок. Он очнулся, остался жив и попал в такие руки, в такую дивную встречу, которой не смог бы так скоро достичь без вашей ужасной помощи. Будьте же благословенны. Пойдёмте, время не ждёт, не надо тратить его попусту в слезах и унынии.

И. поднял Зальцмана, отёр его заплаканные глаза, отдёрнул тяжёлый занавес, за которым оказалась дверь, существования которой никто из нас и не предполагал, и вышел вместе с Зальцманом.

Я взглянул на Бронского. Артист сидел, закрыв лицо руками, из-под которых градом катились слёзы. Никито подошёл к нему и сказал очень тихо, положив ему руку на плечо:

— Нельзя плакать в великие моменты чужой страдающей души, как нельзя плакать и в великие моменты своих собственных страданий в жизни. Чтобы чьё-то сердце вышло очищенным и освобождённым из скорби, при которой вы присутствуете, надо, чтобы ваше сердце не теряло творческих сил и способностей. А это воз-

можно только в полном самообладании. Каждый раз, когда вы сами сильно страдаете или жизнь ставит вас свидетелем чужих страданий, — помните:

Плачут только те, кто не имеет силы любви и мужества думать о *других* и думает о себе.

Плачут только те, для кого *земля* и её обитель, её привязанности, её встречи составляют *первую* и главную основу жизни.

Плачут только те, кто не может *вскрыть* в себе огня Творца, той Его частицы, которой человек общается со своими близкими, которая служит *ему единственным* путём красоты и которая составляет *весь* смысл жизни человека на земле.

Плачут только те, кто в слезах видит доблесть и *не может* проникнуть в центр Любви в себе, в тот центр, откуда идёт *связь* человека с человеком, с Учителем, с Богом. Бог есть Любовь, и слёзы несовместимы с Его Светом.

Через некоторое время дверь раскрылась, в ней показался И. и поманил к себе Никито. Оставшись наедине с Бронским, мы ближе придвинулись друг к другу, и я спросил артиста, что он видел и о чём он плакал.

— Я ничего не видел, Лёвушка. Я только понял, что ужас каждого из нас держит его в своих когтях, называемых “прошлое”. И я действительно плакал о Зальцмане, о каждом из нас и о себе, о том грубом невежестве, которое так трудно сбросить с себя.

— Никито объяснил нам сейчас, Станислав, как надо героически напрягать все силы мысли, чтобы профессор легче вошёл в новое творчество духа. Перестаньте волноваться, соберите внимание, и я расскажу вам всё, что я видел из истории жизни И. и учёного.

И я рассказал ему всё, что я сейчас видел, прибавив, что печальную историю детских лет И. знал давно от него самого. Оба мы глубоко сосредоточили наши мысли на Флорентийце, и, когда профессор вышел в сопровождении И. и Никито, мы низко поклонились его страданию в прошлом и его сверкающему огню Радости в настоящем.

Лицо учёного сияло. Молодость, поразившая меня ещё в ванной, теперь делала его красивым, он весь был полон приветливости, и такой мир лежал на всей его фигуре, как будто ничего, кроме счастья, он в жизни не видел и не знал.

— Я отпускаю вас к Зейхеду, друзья мои, — сказал мне и Бронскому И. — Возьмите у него мехари и слетайте за Франциском, попросите его ко мне в Общину.

Мы поклонились Учителю, разыскали Зейхеда, уселись на мехари и не без буйного удовольствия, как школьники, рады были мчаться вихрем к домику Франциска.

Мы застали его окружённым целой кучкой маленьких кар-ликов, усердно работавших над какими-то мелкими предметами. Так как мы с Бронским ворвались вихрем в комнату, увидев в окне Франциска, карлики, которых мы не видели, погружённые в работу, весьма неодобрительно поглядели на нас, и некоторые из них прикрыли свою работу ручонками и зелёными передниками, которые были на них надеты.

— Вы испугали моих малюток, — ласково улыбаясь, сказал нам Франциск, — а также спугнули и птичек, которые им позируют. Эти малютки — лучшие в мире ювелиры и достигают тончайшей художественности в своей работе. Но, к сожале-

Чудовищной величины брови нависали над маленькими кроваво-красными глазами. Огромная всклокоченная борода и усы закрывали всё лицо и рот почти до ушей. Вдобавок и уши-то были огромны и по-собачьи свисали вниз.

Меня поразило, что дети совершенно не боялись урода, но карлики трепетали и прятались за Франциска. Оставался только буян, похожий сейчас на снежную бабу, истаявшую на солнце, так с него скатились его озорство и наглость.

Маленькое чудовище приближалось медленно и точно приказывало своим ногам бежать обратно, а взгляд Франциска заставлял ставить грубую ногу вперёд. Адская злоба и ненависть сверкнули в его глазах, когда он проходил мимо своего приятеля. Он вытянул руку и хотел ударить его по голове, но Франциск сделал едва заметное движение рукой, и вся сила удара пришлась по собственной голове страшного урода. Взвыв от боли, он хотел кинуться на Франциска и приготовился ударить его головой в живот, но в тот же миг лежал на полу, разбив свой нос в кровь.

— Бедный ты, бедный, жаль мне тебя очень. Но ничего больше сделать для тебя я не могу. Бери своего приятеля, который предпочёл служить тебе, а не мне, и иди с ним к своим хозяевам.

На лице первого забияки мелькнуло нечто вроде ужаса, но через момент он оправился и заорал:

— Как это ты нас отправишь отсюда, когда сам не знаешь дороги? Да и мы желаем ехать в другое место, а вовсе не к прежним хозяевам. Мы желаем ехать в пещеры, к свободному племени.

— Вы оба поедете туда, откуда я вас взял. Я ведь брать вас не хотел. Вы умоляли меня вас спасти, говорили, что замучены, что вам грозит смерть. Я видел вашу ложь, но думал, что Свет, в который вас привезу, поможет вам пробудиться. Ваши товарищи все стали добрыми, только вы двое не смогли освободиться от демонов злобы. Много бы отдал я, чтобы спасти вас от ужасов вашего существования, но насильно никого освободить от его цепей нельзя. Вы не дети. На вашей совести не один десяток загубленных жизней. И несмотря ни на что, Милосердие предоставило вам все возможности пройти в радостное существование. Вы же и здесь не могли жить без лжи, измен и предательства. Всё невинное, что здесь общалось с вами, не боялось вас, потому что в них самих не было и намёков того зла, что живёт в вас. И вы были бессильны перед ними. И сейчас все эти маленькие люди бесстрашно молятся за вас, посылая вам свою посильную помощь и защиту. Боятся вас, прячутся за мою спину от вас только те, кого зло касалось, ибо сердца их носили в себе зло и притягивали к себе зло ваше. Учтите это. Быть может, урок бесстрашия детей пред вами поможет вам в вашей жизни у ваших злых хозяев. Не будьте трусами, и жизнь для вас будет легче. Не просите меня ещё раз оставить вас здесь. Вы уже дважды обещали мне, что будете бороться со своими склонностями ко лжи, воровству и предательству. Сегодня должен был совершиться ваш третий заговор, вы решились даже посягнуть на мою святыню и, когда вам это не удалось, обокрали детей и сестёр, где и как могли. Единственное и последнее милосердие я могу оказать вам: когда вам будет невмоготу, назовите имя моё и защищайтесь моим образом от ваших врагов. Вызывайте в памяти мой образ, и, если в сердце вашем не будет лицемерия, а будет оно полно чистой мольбы ко мне, вы увидите, как образ мой встанет между вами и вашим врагом, и все его усилия причинить вам вред будут напрасны.

— Ты глупый, ты воображаешь, что кто-нибудь здесь тебе верит. Они все говорят, что ты притворщик и лгун, что ты всех нас обманываешь. Ты нам обещал, что сегодня мы увидим чудо, а сам пришёл поздно и никакого чуда не показываешь.

Он гнусно захохотал и стал кривляться до того невыносимо, что я едва находил сил сохранять спокойствие. Точно молния, сверкнул огненный взгляд Франциска, когда он посмотрел на урода.

— Я тебе много раз уже говорил, чтобы ты не лгал и не доносил на своих товарищей, несчастный человек. Ты обвиняешь самых кротких детей и их друга, которых ты обокрал, у которых ты отнял их кукол и сломал игрушки. Они на тебя мне не пожаловались, а ты в благодарность за это их же ещё и оболгал?

— Кто тебе сказал, что это я взял их дурацкие игрушки? Это вот те мальчишки, обыщи их кровати, там всё и найдёшь.

Обвинённые уродом два мальчика лет восьми-девяти, были оскорблены и готовы уже заплакать, как Франциск протянул им руку, улыбнулся и поставил их подле себя. Точно так же он подозвал и обвинённого милого карлика с его детьми, которые со счастливыми лицами уселись у его ног.

Возле злого урода сгруппировались пять таких же уродливых карликов, как он сам, и говоривший вначале Франциску от себя лично урод теперь крикнул ещё более вызывающим тоном:

— Чего ты нас здесь держишь? Мы здесь, в твоём вонючем царстве, жить не хотим. Мы хотим опять в своё, откуда ты нас забрал, хотим к себе, на волю, к нашим совам и змеям. Нам надоели твои противные цветы и все твои притворщики. Выпусти нас на волю, наши хозяева уже три раза нас звали, а мы всё не можем уйти отсюда.

— Кто же вас здесь держит? Здесь нет ни запоров, ни оград, ни злых сторожей. Вы все можете идти, куда только хотите. Я сегодня же отправлю вас к вашим хозяевам в тот дальний лес, где вас сторожат змеи и совы.

Не успел Франциск договорить своих последних слов, как все пять карликов, группировавшиеся вокруг буяна, бросились прочь от него с ужасными воплями, моля Франциска не отправлять их, обещая больше никогда не лгать, не воровать и не лениться. Для меня было ясно, что и сам злодей перетрусил, но озорное упрямство завело его так далеко, что отступать он уже не хотел.

— Хвастаешь всех отправить, хватит ли у тебя умения меня одного отправить? — точно вызывая Франциска на бой, орал буян.

— Нет, несчастный, бедненький дружок. Я не одного тебя отправлю, но вместе с твоим приятелем, приказания которого ты так охотно выполняешь. Выйди сюда, трусишка, прячущийся за чужую спину, — сказал Франциск, как мне показалось, куда-то в пространство. — Повинуйся немедленно, — и на этих словах голос его напомнил мне звенящие мечи Ананды.

Из-под стола в противоположном конце комнаты вылез карлик, страшнее которого нельзя было себе вообразить живое человеческое существо. Да и был ли он человеком, решить было трудно. Он скорее походил на ужасную собаку, по ошибке природы ходящую на двух ногах.

нию, глаза их устроены так, что они могут делать только одно: собирать способом мозаики на любых вещах белых павлинов. Но коробочки они куют из любых металлов, с фоном из эмали любого цвета.

И Франциск показал нам несколько изумительных работ, образцы которых я видел уже на книжке брата Николая, в руках И. и Али и имел сам. Рыцарская вежливость Франциска, который старался не показать нам, что замечает, как мы сконфужены нашим глупым мальчишеским поведением, помогла нам овладеть собой, и я сказал ему:

— Просить у вас прощения, когда мы уже прощены вами, дорогой Франциск, язык не поворачивается. Я думаю, что правильно выражу свои и Станислава чувства, если поблагодарю вас за снисходительность к нашему мальчишеству. Мы были счастливы мчаться за вами, предвкушая удовольствие увезти вас с собой к И. в Общину. Каждый из нас мечтал, что именно его мехари будет иметь счастье нести вас на себе.

— Спасибо, дорогие мои. Ваши мехари пригодятся сегодня очень и очень, но только не мне, а двум несчастным людям. Как нельзя более кстати прислал вас сюда И. Подождите меня в моей комнате несколько минут. Я успокою моих малюток, отдам распоряжение о ваших мехари и моих путниках и вернусь к вам.

Мы прошли в комнату Франциска теперь уже так сдержанно, как будто мы ступали по священной и зеркальной земле.

— Экий я невоздержанный человек, — с досадой сказал Бронский. — Мои нервы, точно старые клавиши, пляшут от легчайшего прикосновения.

— Ваши хоть с клавишами могу быть сравнимы, Станислав. Я же хуже старой гитары. Тронь одну струну — все загудят, не разберёшь и строя.

Каждому из нас захотелось помолчать. Мы сели на маленькие креслица Франциска и через несколько мгновений какую же тишину, лёгкую, благодатную, особую тишину его комнаты, мы ощутили! Мне казалось, что в этой комнате всё говорит: “Любите, и благо вам будет”.

— Лёвушка, всё в этой комнате мне говорит: “Ищите, ищите, трудитесь любя — и придёте к знанию, что всё благо”, — раздался вдруг голос Бронского.

Я не успел ему ответить — в дверях стоял Франциск, улыбаясь нам. Пристально посмотрел он на Бронского и сказал ему:

— Да, да, друг. Для вас не одна эта, но ещё несколько жизней пройдут все в исканиях. И все ваши искания — всё будет Любовь, которую вы понесёте людям в искусстве. Ищите не только приспособлений, *как* вынести людям новые методы понять и передать гениальные произведения великих творцов. Но ищите как *расширить* сердца толпы, увлечь в такую гармонию, чтобы каждый своим сердцем *проникал* в то слово, что *вы* говорите, в те действия, что *вы* творите. Пусть двери вашего сердца откроются так широко в каждой встрече, как я сейчас открываю вам двери моего сердца.

Франциск подошёл к Бронскому, обнял его, подвёл его к своему красному столу и поднял крышку. Как и в первый раз, я увидел на нём полукругом стоящие высокие чаши, среди которых возвышалась красная чаша с горящим в ней огнём. Взяв в руки эту чашу, Франциск опустил её на голову преклонившего колени Бронского.

— Много раз лилась слеза твоя, сын мой. Много раз приходилось тебе приносить чёрные жемчужины в ожерелье Матери Жизни. Но не смущайся духом. И розовая и чёрная жемчужина — всё *единая Жизнь*, единая Радость. Сейчас перед тобой новая жизнь. Много труда, здоровья и усердия вложил ты в течение своих жизней, чтобы нести и выносить в толпу зёрна благородства и помочь человеку искать искусство в себе, а не себя в искусстве. Твоё искусство пробило во многих людях новые борозды знания, помогло им, ища искусство в себе, найти Бога в себе. Путь твой да будет отныне освещён и моей помощью. Поедешь в дальние Общины, чтобы увидеть бездну человеческого горя, бездну человеческой слепоты. Там поймёшь, что можно *ходить* у Света, искавши его всю жизнь, прийти к *черте его* — и всё же *не* достичь освобождения от предрассудков, и не иметь силы *видеть* там, где много ниже стоящий по достоинствам и знаниям не только видит, но входит и действует. Перенеси в себе не муки и радости героев, что изображаешь на сцене, чтобы *их* высочайшим благородством побуждать людей к новым достижениям в красоте. Но любя *вне* пределов формы и времени, неси *огонь своего Бога* и разрывай *условное* в человеке. Пусть рождается скорбь от свиданий с тобою людей. То только *их* форма, *их* путь, ибо иначе разорвать своего *условного* они *не* могут. Форма же *твоего* пути — не земля, не её законы, а Беспредельное, где труд *не* условность, но *путь* веков, и в нём *звук-слово не* знак внешнего призыва, что ты даёшь людям, но *действие* сердца, огонь которого я беру в свою чашу, и переливаю тебе в сердце мой огонь.

Я услышал как бы стон Станислава, упавшего к ногам Франциска, точно его сразила пуля. Но через минуту, поднятый сильной рукой Франциска, он коснулся губами красной чаши, которую держал в руках Франциск.

Бог мой, что за лицо было у Бронского! Я вторично видел Бога в простом человеке, как видел Его недавно в лице Беаты. Не сознавая, что я делаю, я подошёл к Бронскому и поклонился ему до земли.

Я точно провалился куда-то, увидел на мгновение Флорентийца, ощутил его мощное объятие — и очнулся на руках Бронского, укладывавшего меня на диван.

— Это ничего, вы напрасно встревожились, это вовсе не припадок, — услышал я голос Франциска, — это его награда за самоотверженную любовь к вам, за преклонение перед вашим страданием и вашими трудами веков. Вот он уже и глаза открыл, смотрит весело, как не могут смотреть больные.

Я понимал, что Франциск видел всё, что со мной произошло, но так как он не сказал об этом ничего Бронскому, я понял, что и мне надо сохранить в тайне всё сейчас пережитое.

— Теперь мы зайдём к детям в трапезную, немного поговорим с ними и только тогда пойдём к И. Вы не беспокойтесь, мои дорогие, мы будем вовремя и никого не заставим ждать, — прибавил он, подметив в Бронском некоторое беспокойство о нашем промедлении. — Вас беспокоит, что И. послал вас сюда на мехари, и вы думаете, что быстроходные животные предназначались именно для того, чтобы скорее доставить меня в Общину. Вас беспокоит, Станислав, что вы неточно выполняете приказ И. — снова обратился Франциск к артисту. — Сосредоточьтесь, думайте об И., и, когда мы пойдём в Общину, по дороге я постараюсь помочь вам разобраться в ваших мыслях, которые к тому времени накопятся в вас обоих, и найти правильное решение беспокоящего вас сейчас вопроса.

Мы вошли в трапезную, где дети и карлики пили молоко со сладким хлебом. Неожиданное появление всеобщего любимца вызвало восторг не только детворы и карликов, но и всех сестёр и братьев Общины, нёсших своё дневное дежурство.

Где бы и когда бы ни появлялся неожиданно Франциск, никакая дисциплина не могла удержать маленьких людей — они мгновенно бросали всё, кидались к нему, и через минуту он буквально исчезал под грудой виснувших на нём тел. Много раз я видел эту картину неудержимого влечения людей к Франциску, испытывал его сам, трепетал, что больное тело его не выдержит натиска лилипутов, и всегда развязка бывала одна и та же: приникнув к своему другу, маленькие люди складывали в умилении ручонки, становились полукругом вокруг него и ждали в полной тишине, когда он заговорит. И на этот раз повторилась та же сцена, но сегодня она на меня подействовала особенно сильно.

Глядя на умилённые личики детей и на не менее умилённых карликов, из которых некоторые встали на колени, что-то про себя бормоча, иные, раскрыв свои уродливые рты, тяжело дышали, точно бежали десяток вёрст, третьи, вытянув моляще руки, старались обратить на себя внимание Франциска, я подумал: какое это было бы ужасное зрелище, если бы можно было рассматривать его как одно внешнее явление! Толпа прелестных детей, перемешанных с самыми уродливыми карликами, которым ум едва соглашался приписать человеческие имена!

Каким же духовным великаном должен был быть этот человек, чтобы, не употребляя никакой власти, побеждая одной любовью, овладевать той крошечной искрой Божества, что тлела в этих несчастных, более чем полуживотных существах, и увлекать их в красоту, слов о которой они не слыхали за всю свою несчастную жизнь.

Я старался вникнуть в самую глубь этой встречи Титана Любви с лилипутами. И красота, величие героического подвига этого человека, отдавшего всю свою жизнь, не только душу, на помощь и просветление этих духовно немощных, поражала меня как совершенно невозможный и невообразимый для меня феномен героизма.

— Здравствуйте, мои маленькие друзья, — прервал мои размышления голос Франциска. — Отчего вы сегодня так возбуждены и не слушаетесь своих заботливых наставников? Неужели все мои слова вчера я бросил попусту? Вчера вы обещали мне сохранять мир и спокойствие в столовой до тех пор, пока я к вам не приду. Вот я пришёл, а слова своего вы не сдержали.

— Это всё наделали вот эти злющие, — шепелявя и коверкая слова, сказал один из наиболее уродливых карликов, показывая на маленького, с приятным и добрым лицом карлика, державшего на своих крохотных, но, должно быть, очень сильных руках небольшого прелестного мальчика с кротким и болезненным личиком. Рядом с карликом стояла малютка-девочка, похожая на мальчика, и пыталась помочь карлику-няньке держать мальчика. Во всём её существе была видна ранняя забота о чужой жизни и ноше, и я был поражён, что на них, таких невинных видом, таких бессильных и кротких, могло пасть обвинение карлика.

Франциск молчаливо смотрел на карлика-обвинителя, и тот, ещё наглее и злее, глядя прямо в глаза Франциску, завопил:

— Театра в истинном смысле слова, у нас, конечно, нет. Но дедушка увлёк детей, помог им самим написать пьесу, был их первым режиссёром долгое время. Теперь дети повыросли, развились, и некоторые из них стали заправскими актёрами, писателями и режиссёрами. Они мечтают хоть раз увидеть игру настоящего артиста. Дедушка им это обещал. Не знаю уж, откуда он возьмёт здесь артиста, да ещё настоящего. Разве когда-нибудь заблудится в пустыне караван с артистом и забредёт в наш оазис.

— Уж раз дедушка обещал — значит, будет, — вмешалась в разговор младшая. — Вы можете верить или не верить мне, но дедушка знает всё. Знает, когда будет набег зверей, и как от них защититься, и когда надо выезжать в пустыню на помощь заблудившимся, и когда будет недород, и когда близко пройдёт чума, — всё, решительно всё знает дедушка. Он точно в земле и в небе видит, не то что всего человека насквозь видит. Если он что-нибудь сказал, можете быть уверены, что именно так оно и будет. Ни разу не случалось, чтобы душа нашей жизни, душа нашей радости — дедушка — сказал нам неправду.

Ужин кончился, хозяин встал, омыл руки и рот в струе лившейся воды над большой раковиной в конце беседки. Все последовали его примеру, взяв со стола большие бокалы, назначение которых только теперь мне стало ясно. Вся группа сидевших за столом людей, человек около двадцати, большая часть которых группировалась вокруг И. и хозяина в продолжение ужина, двинулась по тёмной аллее.

После светлой беседки аллея показалась мне ещё темней. В конце её, довольно далеко, горел огонь большого костра. Я понял, что к этому-то костру мы и идём. Вскоре глаза мои привыкли к темноте, звёзды сияли ярко, и на лету я поймал взгляд И., как бы говоривший мне: “Помни”.

Бронский взял меня под руку, точно желая защититься от своих словоохотливых собеседниц. Мне и самому хотелось сейчас помолчать, хотя жизнь оазиса очень меня интересовала. Довольно долго мы шли по аллее, дошли до перекрёстка и увидели ряд домиков.

— Вот здесь живём мы, — сказала моя старшая собеседница. — Сейчас всем нам необходимо быть дома. Если завтра ваш караван двинется в путь не так рано и у вас будет время, я и вся моя семья будем рады увидеть вас у себя, — любезно прибавила она, протягивая мне и Бронскому руку на прощание. Не только дамы, но и все шедшие впереди мужчины простились с нами и разошлись по своим домам. С нами остался один Дартан, и из темноты вынырнул Ясса, которому мы очень обрадовались. Настроение всех оставшихся сразу изменилось. Я почувствовал какое-то облегчение и понял, что волна эманаций И., которые всегда и всем помогали жить энергично в его присутствии, шире и глубже охватила меня.

Костёр, и издали казавшийся немаленьким, вблизи оказался огромным и высоченным. Он был сложен на высоком постаменте из чёрного камня и освещал широкий круг пространства, как большущий факел. Горели в костре огромные куски дерева, почти не давая дыма. Когда мы подошли к самому костру, хозяин низко поклонился И. и сказал:

— Будь благословен, Учитель, за всё то, что ты уже для нас сделал и делаешь. Будь дважды благословен за то, что ты заехал к нам сегодня в этот великий для меня день. С тех пор как много лет назад Али прислал тебя в этот день ко мне с драго-

Думал ли ты, мой дорогой мальчик, о тех людях, с которыми тебя сталкивал текущий момент, или ты думал: “Как бы мне не проштрафиться перед И.?” Есть в ученичестве такие ступени, когда человеку уже некогда думать о своём “я” даже в такой форме, как это делаешь ты, то есть ему невозможно больше думать: “я делаю”, “я не делаю”, “я могу”, “я не могу”, потому что это самое его “я” больше не существует. Не существует и его плоть как нечто *от*граничивающее его от всей вселенной. Все дела для ученика — только акты божественной Любви того Единого, через которого, в котором он *живёт*, в котором *общается* и в котором сливается со всем окружающим. У него нет дня, как актов мысли и движения. У него есть *день — молитва Жизни*. Не потому исчезла его отграничивающая плоть, отъединявшая раньше ученика от остального мира, что *он* её уничтожил, её отрицал и терзал. Но потому, что он *утверждал* Любовь, побеждал *Любовью,* защищая всякое встречное существо, видя в нём не плоть, но ту же вечную Любовь. Значит ли это, что надо нарушить вовне все законы земли, распустить всех встречных, уничтожив всякую дисциплину, и открыть всякому свою точку духовной силы и свои понимания? Ничуть не бывало. Чем выше твоя ступень, тем яснее *ты* видишь и понимаешь невозможность перетащить в свою духовную ступень другого человека. Но и тем проще *ты* понимаешь ту несравненную доброту-пощаду, в которой можешь вознести свою чистую чашу творческой Любви к человеку. Чем выше ступень самого ученика, тем ему яснее, в каком месте вселенной стоит тот, с кем он общается. И при каждом общении не человек-форма составляет цель ученика. Его цель — человек-Жизнь, человек в *его* ступени во вселенной. И *действие* ученика — первое, священное — его молитва о человеке к Тем, Кто его направил к встрече, Кто дал ему сил сердца и мысли прочесть *вековое* “сейчас” встретившейся временной формы. Самая частая ошибка начинающих свои вселенские ступени учеников — это чрезмерное старание привлечь человека к тому откровению, которым озаряешься сам. Не тот истинно верный до конца ученик, кто только и думает, где, кому и как подать знание, которое *он* считает истинным. Но тот верен *до конца*, кто закон Учителя, закон *верности* Ему, закон полного и добровольного послушания своего не преступил, хотя бы внешние факты шли вразрез с кажущимся и понимаемым обывательски милосердием. Я пожалел этих карликов, когда был послан спасти других, хотя видел, что их ступень во вселенной так тяжела, что вся окружающая доброта не сможет удержать веса их страстей в высоких ступенях. Давая мне поручение, Учитель видел лучше меня, Его доброта была выше моей, Его дальнозоркость дальше моей, я же понадеялся на энергию сил собственного сердца — и был бит. Ибо нет отъединения, нет *моих* сил, *моей* плоти, есть только та *жёрдочка* вселенной, где в *данный* миг происходит встреча двух движущихся точек Единого. Запомни виденное сегодня и учти как вековой урок: если Учитель велел тебе *ограничить* свой труд теми или иными рамками, если он дал тебе *указание* — из чьих бы уст оно для тебя ни прозвучало, раз *эти* уста несут тебе вообще слово Учителя, — *не входить* в духовное общение с людьми, которые внешне кажутся тебе такими высокими, выполняй, не спрашивая, сохраняй верность Ему до конца и не ищи компромиссов, как бы всунуть им то или иное из своих знаний, что считаешь великими и истинными.

И наоборот: как бы ни была низка *видимость* внешней оболочки человека и его условий, если дал тебе *приказ* Учитель, неси туда *всё* знание, что *он* тебе велел, выполняй, не спрашивая, неси верность до конца.

Франциск умолк на несколько минут, показавшихся мне вечностью, так я жаждал слушать этот нежный и мужественный голос, и снова продолжал:

— Кажущаяся преданность ученика нередко — при проверке его деятельности — оказывается рядом неверных поступков, среди которых можно найти даже неосознанное предательство. Всякий раз, когда ученик *преступил* указание Учителя, хотя бы сам он даже ставил себе это в заслугу, считая, что кому-то активно помог, он не только не был в гармонии с Вечным Движением вселенной, но, наоборот, затруднил тому человеку, которому думал решительно помочь, *его* движение в эволюции Вечности.

Мы приближались к Общине, и я издали узнал шедшего к нам навстречу И. Я сам не мог дать себе отчёта, точного и ясного, что в эту минуту так ошеломило меня в словах Франциска. Казалось бы, я всё то знал, что он говорил мне. Но только сейчас я твёрдо, чётко отдал себе отчёт, что наибольшим врагом человека в его пути к совершенствованию стоит его “я”. И не потому, что может быть он влюблён в себя, что он может ставить себя в своём самомнении выше других, а только потому, что ступень, когда это “я” перестаёт человеку мешать, начинается там, где одиночество человека кончается. Он никогда уже не бывает один, он всегда вдвоём: человек и его Единый. Быть может, по слабости ума и сердца, по узости кругозора, в котором не может уместиться Беспредельное, редко человек *может* дойти до такого слияния с Богом. Но до такого навеки неразделимого слияния с Учителем может дойти каждый ученик, если он *верен до конца*.

Точно молния осветила мне все таинственные уголки моей совести, моего ума, моего сердца, и я понял, как мне казалось навсегда, счастье того ученика, у которого упали закрепощающие перегородки между ним и его Учителем.

Не менее ясно мне стало, почему такие люди, как И., Ананда, сэр Уоми и Франциск, не ищут никаких путей, как *обучать* своих учеников, а просто *живут* рядом с ними и помогают им своим примером деятельности в простом трудовом дне.

Мне вспомнились Генри, Анна, Жанна. Я подумал о той гигантской силе доброты, которую нёс людям Ананда, никогда не оставлявший людей, не имевших сил жить в самообладании и верности благодаря своей строптивости, без полной помощи, без своей им верности до конца...

— Что ты так задумчив, мой мальчик? — услышал я ласковый голос И. и только в этот миг понял, что И. уже поздоровался со всеми, что я один стою столбом на месте, а все уже двинулись вперёд.

— О, дорогой мой И., мой милосердный Учитель, как я туп, как медленно входит в меня понимание всего великого, что я узнал от вас. Я сейчас точно вновь на свет родился и сию минуту только понял ясно, *что* такое освобождённость человека и где начинается его жизнь в ступенях вселенной.

— Ты ещё сотни раз будешь так озаряться и просыпаться к новым пониманиям и к новому осознаванию своего места во вселенной. Дело не в том, что ты ощущаешь, будто в тебе озарился твой дух. Дело в том, что ты видишь, как *движется* в тебе Жизнь, которой ты освобождаешь всё больше места для *Её* действий. Те моменты,

мом лице молодости не было. Какая-то вековая мудрость лежала на нём, точно он жил сотни лет на земле.

Но у меня не было времени размышлять о Рассуле Дартане. Он подвёл меня к двум женщинам, молодым и очень мило одетым в своеобразные длинные, узкие платья, с распущенными волосами, множеством красивых браслетов на обнажённых руках и ожерельями на шеях, представляя меня им как своим правнучкам. Только я подумал, на каком же языке я буду с ними говорить, как одна из них, младшая, сказала мне, хорошо произнося по-французски:

— Мы привыкли называть дедушкой нашего дорогого владыку. Но на самом деле он не только не дедушка нам, но прапрапрадед.

— Вот редкостное счастье иметь живым прапрапрадеда, — ответил я. — Я впервые видел бы и прадеда, не только прапрапрадеда живым, — говорил я, усаживаясь на указанное мне место за столом между двумя женщинами.

Обе мои соседки очень заинтересовались судьбой Эты и спрашивали, почему я везу его по пустыне. Обе предлагали свои услуги поухаживать за моим птенцом, пока я не вернусь обратно, уверяя, что я могу совершенно спокойно доверить им уход за Этой, пока не возвращусь.

— Ведь ни один караван не проходит через пустыню, не заехав отдыхать к нам в оазис. Часто у нас живут подолгу люди, отправившиеся в путешествие через пустыню, здоровье которых не позволило им ехать дальше, — сказала старшая. — В частности, француз, обучивший нас своему языку, должен был прожить у нас более двух лет, пока дедушка помог ему восстановить своё здоровье, чтобы вернуться на родину. У нас живут люди почти всех национальностей, всех профессий. Наши бани, прачечные, ванны выстроены по плану лучшего инженера Америки, который прожил у нас более трёх лет и ни за что не хотел уезжать. Он очень полюбил мою дочь и умолил дедушку разрешить ему на ней жениться и отпустить её с ним на его родину. Как я ни протестовала, дедушка убедил меня отпустить старшую дочь. Мне остались ещё четыре в утешение.

Старшая дама была так моложава на вид, что я с удивлением спросил:

— Во сколько же лет у вас выходят замуж? Я представляю себе с трудом, что у вас может быть пятеро детей. Но если даже и можно это себе вообразить, то всё же старшей из них не может быть больше восьми-девяти лет.

— Это климат нашего оазиса и свойства нашей воды таковы, что мы живём долго и долго сохраняем моложавость. Моей девочке было семнадцать лет, когда она вышла замуж. Дедушка не позволяет жениться раньше двадцати одного года и выходить замуж раньше семнадцати.

Разговор наш шёл о быте и жизни оазиса и не мешал мне слушать о новой, неизвестной мне форме существования целого культурного племени, с одной стороны, и бдительно присматриваться ко всему совершавшемуся вокруг меня — с другой.

Я не видел за столом никого из нашего каравана, кроме И. и Бронского. Последний сидел также между двумя молодыми женщинами, разговор их шёл по-английски о театре, насколько я мог уловить из долетавших до меня отдельных слов.

— Разве у вас есть театр? — спросил я своих собеседниц.

днём от каких-то ламп, горевших ярко и бесшумно в нигде не виданных нами не то горшках, не то светящихся колонках. Тут стояли плетёные из соломы диваны и стулья, на которых мы нашли наше обычное платье.

— Чудеса не прекращаются для нас с вами, Лёвушка, — кивая на лампы и небо, сказал Станислав.

Я ничего не успел ответить ему, так как очутился в объятиях И., смеявшегося моей растерянности.

— Чудеса только ещё начинаются, дорогие мои страдальцы. Но вы можете твёрдо знать, что такого мучительного путешествия для вас уже не будет. Возможно, и даже наверное, вы будете совершать путешествия много более тяжёлые и опасные, но ни одно из них не будет для вас таким мучительным. Только первое путешествие на мехари доводит до смертельного изнеможения, если всадник едет без отдыха в пути, как скакали мы. Пойдёмте же, дети мои, чудеса ждут вас.

Счастливо сияя от близости к И., я попросил его подождать минутку, бросился к Яссе, горячо поцеловал его несколько раз, благодаря за помощь от лица обоих.

— Ясса, Ясса, — шепнул я ему. — Что бы мы делали без вас? Как мы вам благодарны.

— Не за что, дорогой Лёвушка. Благодарите И. и себя самих. Я только возвращаю вам мой долг. Не забудьте взять Эту, он в корзине, в тёмном уголке направо.

Когда я возвратился к И., Эта уже был на его руках, необычайно довольный и забывший все свои обиды в пустыне. Взяв птицу, которая не желала сама идти по незнакомому месту, я шёл сзади И. и Бронского, который всё не мог прийти в себя окончательно от ряда пережитых потрясений и неожиданностей.

Мы шли по прелестной аллее, отовсюду лился аромат цветов, культурно рассаженных в цветники и клумбы. Во многих местах видны были освещённые окна домов. Кое-где женщины укладывали детей спать, кое-где были видны картины уютной и мирной домашней жизни. Мне всё казалось сном, сказкой, я каждую минуту готов был “словиворонить”. Вероятно, поэтому И. взял меня под руку, говоря:

— Будь внимателен, будь воспитанным джентльменом, мой сынок. Постарайся вспомнить наставление Флорентийца о такте и обаянии. И кого бы ты ни встретил сегодня в ночь, будь мужествен и доброжелателен до конца. Забудь о себе, о своём удивлении, всем сердцем стремись растить энергию тем, кого увидишь.

Слова И. перестроили на иной лад ход моих мыслей. Я перестал восхищаться и наблюдать. Перестал жить в одном внешнем мире, я погрузился в глубокое и мирное состояние активного *действия*. Я перестал *думать*, что, кого и как встречу, но в сердце своём ощутил силу *быть* и *становиться* той Любовью, когда видишь только духом своим Единого в оболочке каждого.

Мы подходили к большой беседке из частой-частой проволоки, защищавшей от ночных бабочек, летевших со всех сторон на яркие лампы, которыми она была освещена. Когда мы подошли к самой беседке, тот человек, что замыкал наш караван, вышел из неё нам навстречу. Теперь я мог его узнать только по длинной седой бороде и тёмному, точно из камня высеченному лицу. Я имел возможность, пока И. представлял нас, рассмотреть лицо хозяина оазиса. Оно поразило меня тем, что на нём не было ни одной морщины, кожа была совершенно гладкая, молодая, но в са-

когда ученик, живущий на земле, ощущает как *свои* переходные и переломные грани, представляют из себя не более как спадание высыхающих его суеверий, предрассудков и всевозможных скорлуп его “я”, которым нечем уже питаться в его сердце, и они рассыпаются пылью. В тебе ничего не произошло сейчас, чего в тебе не было за эти дни, чего бы я не видел в тебе уже сияющим. Но в твоё собственное сознание оно дошло только сейчас, после того как сердце твоё нашло силы ещё раз поклониться страданию человека, по внешнему виду хуже животного. Завтра рано утром мы уедем в дальние Общины. Возьми эту маленькую книжечку, мой мальчик, и прочти её леди Бердран. Постарайся найти слова утешения для бедной женщины, жажда к знанию которой чуть не лишила её возможности поехать с нами. Никито легко было отдавать ей свои силы и помощь, и он не рассчитал, что и сколько может вместить хрупкий организм женщины. Он повторил ошибку Андреевой, которая тоже, горя любовью, чуть не разрушила всей нервной системы сестры Герды. Иди, друг. Сосредоточь крепко мысли на твоём вечном наставнике Флорентийце и неси мне помощь в этой встрече. Прочти Герде всю книгу, но ни одного из приложений к ней — а их здесь три — ни ей не читай, ни сам не смотри. Они и тебе, и ей ещё не по плечу.

Я был счастлив выполнить поручение моего дорогого друга, вдвое был счастлив быть полезным милой леди Бердран и, взглянув в лицо И., увидя в его глазах столь знакомое мне ироническое выражение, весело рассмеялся:

— Вы снова подловили мои мысли, дорогой И. Конечно, я проштрафился, так как думал: “Я рад, я счастлив служить вам и сестре Герде”. Неужели когда-нибудь я, наконец, пойму и пойду по ступеням вселенной и для меня зазвучит иная нота в сердце: Мир несу, Любовь пою, красоту творю, живу, дышу, ибо верностью моею иду за Учителем моим. И нет меня, есть только моё счастье жить, единственное счастье — *верность до конца* Учителю и творчество в ней.

— Неси Свет в путь каждого, дитя моё, и Свет этот не ищи в книгах, но в себе. Если несёшь книгу и свой Свет, книга дойдёт, ибо твой Свет — верность твоя Единому, ты *им* общался с человеком и с Учителем. *Эта* нота сердца звучит, и *не* срывается с неё человек, ибо она не им рождена, а он рождён *ею*.

Первый раз рождается человек, когда выходит из чрева матери, неся в себе плод своего вечного творчества на землю.

Второй раз он рождается, когда осознаёт, что он и его Единый живут вместе в его земной форме.

Третье рождение человека — его встреча с Учителем.

Четвёртое рождение человека — его земная смерть.

Периоды между этими рождениями — периоды развития творческого духа — идут только по неизбежным и нерушимым законам причин и следствий. Иди же, милый, храни полное самообладание, в каком бы виде и состоянии ты ни нашёл Герду. Ничем не поражайся, если надо, сражайся и приготовь её к путешествию, забыв о себе и думая только о ней как о деле Учителя.

И. обнял меня. Я понёсся сокращёнными тропами к Герде, забыв, что я из плоти, таким я ощущал себя лёгким и счастливым. Я нисколько не задумывался над словами И.: “В каком бы виде и состоянии ни нашёл ты Герду”. Не всё ли равно было мне: светило ли сейчас солнце, рычала ли буря, грохотала ли битва, — я нёсся в верности

моей. Она была моею жизнью, моей песней, моим дыханием. Иначе жить я уже не мог. Каждое моё дыхание хвалило Бога и пело Ему славословие трудом для людей, поклоном их страданию и радости, их бунту и слабости, их миру и мужеству, *всему* их пути земли, составляющему неминуемую точку в эволюции Вечного для каждого из нас.

Ясса вынимал целый ассортимент щёток, щёточек, мочалок и грубых рукавиц из жёсткой материи, которыми он делал свой знаменитый массаж в воде. Наконец, надев пару таких рукавиц, он подал мне такую же и сказал:

— Наденьте, Лёвушка, плотно застегните и делайте точно всё, что я вам буду говорить.

Как только я надел перчатки, Ясса велел мне стать у ног Бронского и помочь ему опустить тело артиста в кресло из камня, выдолбленное низко в полу, окружённое большой ванной, тоже каменной. С большим трудом я поднимал грузное тело, никак не предполагая, что худощавый человек может быть так тяжёл. Я всё время поддерживал туловище и голову Станислава, пока Ясса тёр его ноги и колени, руки и спину. Через несколько минут, вероятно минут через пятнадцать, Бронский с трудом вздохнул, но глаз не открыл и сидел всё в том же положении.

Ясса открыл где-то кран, приподнял заслонки с обеих сторон ванны, и через минуту полилась тёплая вода, постепенно заполняя ванну. Ясса теперь усердно растирал грудь и шею артиста. Вода поднималась всё выше и дошла ему до колен. На лице больного появилась лёгкая краска, он зевнул, открыл глаза и с удивлением сказал слабым голосом:

— Неужели, Ясса, все уехали без меня?

— Уехали? Да, если вы часто будете так богатырски спать, то, пожалуй что, апельсины и пальмы успеют вырасти до неба из крошечных черенков. Сходите, синьор соня, в воду, мне иначе неудобно вас растирать.

Станислав намеревался сразу встать, но это ему не удалось. Ноги его совершенно не держали; трижды он пытался встать и сойти в ванну и только с моей и Яссы помощью смог это сделать, причём мне пришлось самому сойти в неё, чтобы почти на своих руках опустить его в воду. Он был беспомощен, всё его тело болело, и под ловкими руками Яссы он с трудом сдерживал гримасы боли и стон.

Долго возился с ним Ясса. Потом велел мне помочь Станиславу снова сесть в кресло, что тот сделал уже много легче, растёр всё тело Бронского ароматной водой, и после этого нового растирания Станислав вздохнул как лев, усмехнулся и сказал:

— Теперь я снова Голиаф.

— В этом я ещё не уверен, выпейте это молоко и перейдите в ту ванну, — ответил ему Ясса, подавая питьё и указывая на ванну в первой комнате, где я пришёл в себя.

Легко и ловко, как всегда, Бронский поднялся, перешёл в мою ванну и в восторге сказал:

— Ванна — чудо, вы, Ясса, — два чуда. Но уж молочко ваше, простите, такая мерзость, что хуже и придумать трудно.

Жизнь, силы и энергия возвращались к Бронскому, точно он и не походил на мёртвого час тому назад. И всё же ещё и ещё школил его маленький Ясса своими железными руками, под которыми морщился и кряхтел богатырь Станислав.

— Ну, теперь скорее одевайтесь оба, — снимая перчатки, сказал Ясса, отодвигая ещё одну стенку. Когда мы вошли в комнату, которая перед нами открылась, оба мы замерли от восторга. Над нами сияло звёздное небо, так как у комнаты крыши не было, вокруг нас росли пальмы в огороженном циновками довольно большом квадрате. Судя по небу, был уже поздний вечер, а в загородке-комнате было светло как

пылённых животных, снимем с себя верхнее, наиболее пропылённое платье и отправимся купаться в озеро с прекрасной водой недалеко отсюда.

И. сошёл первым с опустившегося на колени мехари, а меня с Бронским Ясса и И. буквально сняли, так как все члены тела у нас онемели. Я едва стоял на ногах, не лучше был и Бронский. И., смеясь над нашей немощью, сказал:

— Профессор несколько ошибся, называя вас Голиафами. Но всё ваше недомогание скоро пройдёт. Старайтесь ступать по земле, пользуясь всею ступнёй до самых кончиков пальцев. Пойдёмте, хозяева идут нам навстречу.

Я был настолько утомлён своим одеревенением, если можно так выразиться, что даже не имел сил интересоваться, кто шёл за мной, кто впереди меня. Если бы я не опирался на Яссу, я не смог бы и шагу ступить. Я просто был чурбаном без мыслей и сил. Я сознавал, что вокруг меня люди, что слышится говор и даже смех, но самому мне казалось, что у меня вырывается из пересохшего горла нечто вроде стона. Я не помнил, как свалился и как Ясса унёс меня на руках.

Я пришёл в себя и почувствовал, что вернулся к жизни, когда сидел в ванне с тёплой водой, и Ясса, всё тот же милый Ясса, растирал меня.

— Ну, теперь вы отделаны в лучшем виде. Надевайте это платье, выпейте это питьё и помогите мне привести в порядок Бронского. Ему ещё хуже вашего, — говорил мне Ясса, отирая градом катившийся с него пот.

Мне было мучительно жаль Яссу, так много истратившего на меня сил. Но я не решился высказать ему ни своей благодарности, ни своего сочувствия, так как он этого очень не любил.

— Неужели же Станиславу ещё хуже, чем мне — ведь это значит, что он умирает? — сказал я, стараясь как можно скорее одеться и бежать на помощь артисту.

Я оглядывался во все стороны и недоумевал, где я нахожусь. Нечто вроде большой палатки с каменным полом, в котором была выдолблена квадратная ванна, откуда я только что вышел. Всё было очень грубо, но очень удобно и даже комфортабельно для жизни в пустыне. Вода лилась прямо в ванну, тёплая, прозрачная, и уходила в два отверстия с противоположной стороны так, что уровень воды оставался всё тот же и вода на пол не проливалась. По полу были разбросаны циновки, тонкие и красивых рисунков. Но где был выход из этой палатки-купальни и где мог быть Бронский, я угадать не мог.

— Я готов, — сказал я отдыхавшему Яссе, — но где искать мне Бронского и как отсюда выйти, я не соображу. Мы точно в склепе.

— Хорошо бы, если бы из всех склепов на свете так же легко было выбираться, — ответил мне отдыхавший Ясса, встал со скамьи и отодвинул одну стенку из циновки, которую я считал неподвижной.

Не успела отодвинуться стенка, как я был потрясён открывшейся мне за ней картиной. Бронский, бледно-зелёного цвета, лежал на спине, вытянувшись во весь рост на полотняной походной постели. Я был уверен после слов Яссы, что он не умер, но всё же сердце моё больно сжалось, хотелось скорей помочь ему. Учтя прежние опыты своих порывов, никогда не дававшие плодотворных результатов, я собрал всё своё внимание и спокойствие и ждал приказаний Яссы. Протекавшие мгновения казались мне часами, и приготовления Яссы, которых я не понимал, я переживал как мучительное промедление.

Глава 16

Я читаю маленькую книжку Герде. Наш отъезд из Общины. Первый день путешествия по пустыне. Оазис, встречи в нём. Ночь, проведённая у костра. Прощание И. с профессором. Последние его наставления учёному

Я долго пробыл у леди Бердран. Когда я вошёл в её комнату, бедная женщина уныло сидела на низеньком креслице, обхватив голову обеими руками. Бледное, исхудавшее личико казалось постаревшим, Герда совсем не походила на ту чудесную красавицу, с которой я встретился в доме И. после того, как она прожила под его наблюдением довольно долгое время.

Волна необыкновенного счастья, которое я испытывал, когда вошёл в комнату, была так огромна, я чувствовал в себе столько сил, что даже не ощутил ни малейшего колебания в своей ауре от столкновения с тяжёлыми эманациями скорби Герды.

— Лёвушка, как давно я вас не видела, — встретила она меня, печально и равнодушно произнося слова, точно для неё в жизни оставалась одна безнадёжность.

— Это почему вы, дорогая сестра Герда, в таком миноре, точно всё перед вами развалилось? — спросил я.

— Вот уж правильное слово вы употребили, Лёвушка. Действительно, всё, что я с такими усилиями завоёвывала, — развалилось. Вы уедете с И., а я останусь здесь.

— Как странно мне слышать от вас такую личную установку. Наш последний разговор с вами показывал мне совсем другую сторону вашей души. Но об этом после. Меня прислал к вам И.

Не успел я договорить своей фразы, как Герда вскочила, на щеках её заиграли краски, вся она точно ожила и, всплеснув руками, вскрикнула:

— Неужели И. меня не забыл?

— Забыл? Хорошего же вы мнения о верности нашего дорогого друга. И. прислал меня к вам, чтобы прочесть, вернее, перевести вам эту маленькую книжечку. Прежде всего выполним его приказание, а потом уже поговорим о чём-либо другом, если слов книжки окажется недостаточно, чтобы ответить вам на все ваши вопросы и осветить в вас снова вашу энергию. В чём, впрочем, я очень сомневаюсь, так как знаю, как до конца любит И. всех нас и как его сердце, отдавая заботу, отдаёт её во всей полноте сил и чувств.

Я развернул книжечку и стал переводить:

“Раскрытие в человеке его внутренних сил есть путь каждого — неизменный и неминуемый — для людей земли, ищущих освобождения”.

Герда села ближе ко мне, точно ей казалось, что в физической близости она яснее уловит всю мудрость книжки.

«*Сомнение* и *жажда* знания лежат неизбежными этапами на пути развития духовных сил начинающего свой путь освобождения человека. Оба эти качества имеют общее начало: борьба со своим “я".

Чем выше в человеке его понимание *своего* смиренного *места* во вселенной, тем меньше у него и сомнений, и жажды знания. Ибо ясно понимает Беспредельность, окружающую его *со всех* сторон. Ясно ощущает, что вокруг него *нет* пустого пространства, но всё заполнено Жизнью.

Чем больше в человеке инстинктов самости, то есть чем сильнее он сосредоточивает свою мысль на своём “я”, тем больше и глубже его сомнения, тем чаще катятся слёзы из его глаз, тем яростнее его борьба со своей плотью, со своими страстями, со своими буйными, жаждущими, не знающими спокойствия мыслями.

В борьбе с самим собою ещё никто и никогда не обретал спасения. Ибо идут *вперёд* только *утверждая,* но не отрицая. Не борьба со страстями должна занимать *внимание* человека, а *радость* любви к Жизни, благословение *Её* во всех формах, стадиях и этапах бытия.

Чем смиреннее *принял* человек *свой* час жизни на земле, чем глубже и радостнее он прожил день, созерцая *жизнь* в *каждом* живом существе, в *каждой* форме труда, тем больше он сделал для духовного развития сил в *себе*. Он провёл свой день, радуясь всякому достижению ближнего, и в его сердце созрела за этот день *сила*, продвинувшая *его* к знанию и Мудрости.

Нет ни покоя, ни мира в тех существах, что ищут всё новые и новые источники откровения. Всё, что они подхватывают из попадающихся им записей и книг, — всё это они всасывают верхними корками ума, но мало что проникает в их Святая Святых, составляя *зерно* их сердца.

Простые слова, возносимые с радостью, слова благоговения и мира, произносимые в мире собственного сердца, достигают цели скорее, чем сотни переписанных истин, выловленных из разных “источников”.

Не имеет смысла жажда знания без наличия *сил* духа *приложить* эти знания к действиям дня.

Истина, прочитанная глазами, которые *плачут*, не озарит путь человека в его сером дне. И день его с его прочтённой истиной останется днём серым, днём сомнений и терзающих желаний.

Истина, прочтённая глазами, что *перестали* плакать, озарит серый день человека. Она построит в его дне несколько храмов, так как человек *ввёл* её в *дела* своего дня. И день его стал сияющим днём счастья *жить*, а не днём уныния и разложения всех духовных сокровищ, что он собрал раньше.

Печаль сердца, трепет и мука о собственном недостоинстве живут в человеке до тех пор, пока он идёт свой день
в ступенях обывательской земной жизни. Когда раскрылось в сердце зерно Святыни, заботы о своих достоинствах и недостатках умерли, о себе забыл человек — он вступил в великий путь освобождения, где люди идут по ступеням вселенной.

говорю вам об этом не для того, чтобы вы думали, что я везу вас в страну мечтаний, где лучшая человеческая жизнь введена как опыт, методами насильственно принимаемых мер. Нет, культура и живой пример нескольких сотен истинно любящих своих братьев людей помогли их потомкам сохранить мир в себе, и этот мир создал прочные устои доброжелательства друг к другу. Этот маленький, по масштабам вселенной, оазис не знает первого камня преткновения в духовном совершенстве: радости о падении ближнего своего. Доброжелательство друг к другу помогает всему их народу жить защищённым от всякой возможности проникновения к ним зла. Было сделано несколько попыток разрушить в них мир и посеять вражду друг к другу. Но все эти попытки потерпели фиаско только потому, что “просветители” были смешны просвещаемым и должны были удалиться, ужаленные смехом жителей оазиса. Владыку племени зовут Рассул Дартан. Когда мы остановимся в оазисе и он освободится от своих обязанностей хозяина, я вас познакомлю с ним. Теперь же старайтесь приготовить в себе самые чистые мысли. Думайте о нашей конечной цели, *куда* мы едем, о несчастных людях, к которым едем, и о не менее несчастных, которых туда везём. Подъезжая же к самому оазису, думайте о безмерных трудах любви, положенных в жизнь оазиса безвестными, затерянными в пустыне людьми, создавшими на никому не известном клочке земли кусочек царства мира. Несите в это царство всё самое высокое, что в себе имеете, чтобы струи вашей любви-энергии омыли песок под ногами тех, кто будет ходить там в бунте и скорби.

Мы продолжали мчаться ещё более часа, затем И. замедлил ход своего скакуна, и также не менее часа мы шли шагом, чтобы животные отдохнули, затем снова помчались.

Когда верблюды шли шагом, для меня наступали полосы очень мучительные. Я никак не предполагал, что меня будет так мутить, хуже морской качки, медленное движение животных. Кроме того, солнце и песок стали казаться мне огненной печью, а мой белый павлин Эта, который спрятался под мой плащ, вылезши из своей корзины, — пятипудовым грузом.

И., видя, что я изнемогаю, посоветовал мне дышать в ритм с шагами верблюда, что меня очень облегчило, и, подозвав Яссу, приказал ему взять от меня птицу. Это было не так легко, так как мой избалованный товарищ не желал меня покидать. Наконец под взглядом И. он смирился и, недовольно отвернув от нас голову, вместе со своим гнездом был взят Яссой и покрыт белым плотным холстом.

Много раз переходя с карьера на шаг и обратно, причём периоды отдыха были всё короче, а скачка всё длиннее, мы стали приближаться к оазису, который заметили издали по высившимся пальмам. Солнце было ещё высоко, когда мы въехали на территорию самого оазиса, и верблюды ступили на твёрдую землю. Довольно долго мы ехали через редкий пальмовый лес, который мне казался не лесом, а пальмовым садом, вернее, целым рядом пальмовых аллей.

Откуда-то пахнуло свежестью, пронёсся ветерок, зашумела вода, точно журчало несколько ручейков, но их не видели мои жаждущие глаза.

— Мы сейчас остановимся у водопада, — сказал И. — Но воды его пить нельзя. Она очень полезна для почвы, насыщена минералами, но вредна людям. Вы можете намочить ладони, что вас очень освежит, но не более. Здесь мы сойдём с наших за-

века, ехавшего без всякого прикрытия, в одном халате и белом тюрбане, с совершенно тёмным, почти чёрным лицом и длинной седой бородой. На коротком повороте я мог заметить очень немногое, но отчётливо понял, что третий отряд движется гораздо медленнее нас, и расстояние между нами, даже при обманчивости прозрачного воздуха пустыни, очень большое.

— Лёвушка, не вертись в седле, ты ослабишь все свои ремни и завязки, и к концу первого рейса тебе будет очень трудно держаться в седле. Держи поводья осторожно. Хорошо дрессированные животные очень чутки к каждому движению всадника. Первый день путешествия в пустыне, хотя оно и будет таким коротким, как только возможно, заставит каждого из вас, совершающих его впервые на верблюдах, очень утомиться. Закрой плотнее плащ на лице, как бы тебе ни казалось под ним жарко, иначе сгоришь, и придётся тебя оставить в оазисе.

Несмотря на то что верблюды шли галопом, И. говорил совершенно спокойно, даже не повышая голоса. Лицо его было открыто, так же как лица Яссы, Никито, Зейхеда, Кастанды и уже упомянутого старика, замыкавшего шествие.

— Тебя удивляет, что некоторые из путников не боятся солнца и блеска пустыни. Тут нет ничего чудесного. Кожа и тело у всех людей одинаковы, но внутреннее управление ими у всех разное. Тебе пора яснее понять, что между телом и духом так же не должно быть двойственности, как между умом и сердцем. Всё слито в человеке в одно гармоничное целое. Чем выше его духовная чистота, чем дальше он проходит в своих знаниях, тем проще, легче и правильнее он управляет *всем* своим организмом. Если на земле встречаются такие случаи, когда чистые праведники болеют и даже умирают в больших страданиях, то это те исключительные единицы по своему самоотвержению, единицы вселенной, которые *строят усиленный рост своих встречных*, своих учеников или даже всего человечества. Они вбирают в себя мусор грешных эманаций людей за счёт разорения своей плоти. Они, *зная*, нарушают гармонию своего организма, перенося через себя, как через фильтр, чрезмерную для их *физических* сил силу Жизни в план земли. Ты входишь теперь в ту стадию обучения, когда тебе надо выработать из себя шар полной гармонии, то есть научиться полному овладению телом, всеми его мускулами и функциями. Человек, знающий до конца работу своего организма, умеющий всегда перелить в ту или иную часть его поток энергии, не болеет никогда. Всякая болезнь тела — это только та или иная стадия духовного разложения, но никогда не наоборот. Человек, замыкающий караван, поразивший тебя своим видом и ростом, — хозяин оазиса, где мы остановимся вечером и останемся на ночь. Он глава целого небольшого племени, которое он привёл сюда давно, выведя его с острова, погибшего в страшном землетрясении. Он вывел не так много народа, выбрав наиболее чистые создания из развращённой расы, но теперь он глава уже многочисленного народа. В большом оазисе, плодородном и живописном, вы увидите жизнь, культурную во всех смыслах, так как Али много помогал им всеми средствами устроиться в новой жизни. Вы встретитесь с народом, где нет не только неграмотных, но где все образованны, знают европейские языки, где нет ни богатых, ни бедных, где нет личного имущества, но всё добывается коллективным трудом, и где каждому предоставляется всё необходимое. Люди оазиса понятия не имеют о воровстве, хотя выведены из страны, где их предки много страдали от злого, развращённого и вороватого окружения. Я

Мир сердца не потому является признаком великого шествия по ступеням вселенной, что он сам по себе есть *цель* земной жизни, но потому, что он растит и укрепляет *всем* рядом идущим *их* ступени освобождения и помогает строить те храмы Света, где отдыхают от страстей ими одержимые.

Мужество — не качество, которого должен добиваться человек как такового. Мужество — аспект Божества в человеке. Оно может сиять, как храбрость в великом грешнике, и всё же оно будет аспектом, *двинувшимся* к Действию, хотя бы во всём остальном человек не светился ничем. И человек с *одним* двинувшимся аспектом Единого будет выше сотни “праведников”, закутанных в покрывала трусливой богобоязненности. Ибо в них ни одно качество духа не вскрыто до конца, но все утонули в серой массе спутанных представлений обыденности. Они снизили все свои героические напряжения до тёпленькой, внешне ласковой приветливости, коей цены в Вечности нет никакой. В масштабе вселенной эти люди равны паразитам.

Жаждая движения вперёд, люби во встречном *его энергию*. И чем больше *ты* поможешь *его* энергии развиваться, тем дальше пройдёшь ты *сам*, даже не заметив, *как* ты прошёл. Ибо, растя энергию встретившегося тебе сердца, ты строил храм Жизни, и Свет Её залил тебя и путь твой, как и пути встречных твоих».

На этом кончалась крупная печать маленькой книжечки. Дальше следовали приложения, написанные мелким шрифтом. Я закрыл книжечку и положил её в карман.

— Как, — воскликнула Герда, — ведь вы прочли только треть. Зачем же вы спрятали книжечку, раз И. велел вам мне её прочесть?

— Я прочёл вам всё то, что И. приказал. Дальше ни сам не прочту, ни вам не переведу, — ответил я. — Если вы желаете, — я могу ещё раз прочесть вам всё то, что уже прочёл, но не больше.

Герда хотела прослушать ещё раз всё, что велел прочесть И., и я снова перевёл ей все записи книжки, где иногда было только по одной записи на целой страничке.

— Я поняла, как я была ужасающе неправа. Я жаждала знать всё больше и больше, а приложить к делу дня не сумела и капли. Я всё ношусь с собой, со своими недостоинствами, а сейчас поняла, что вовсе не смирение, а скрытая гордость живёт во мне. Лёвушка, не знаю — сила ли слов книжки, сила ли вашей радости, но моё уныние прошло. Если даже И. не возьмёт меня сейчас с собой, я постараюсь не думать о себе, но найти радость и крепить ею энергию тех, с кем буду встречаться. Боже мой, каким потоком лились мои слёзы эти дни! Я раскаивалась, что ввела Никито в неприятности. Но сейчас в сердце моем мир. Мой дорогой Лёвушка, примите мою благодарность за тот Свет, что вы мне принесли, за те ласку и мужество, что вы мне влили.

— Я очень хотел бы приписать себе силу вашего исцеления, дорогая сестра. Но, увы, то только И. шлёт вам свою помощь и свой привет. Сейчас уже поздно. Мы рано выедем завтра. Я нисколько не сомневаюсь, что И. возьмёт вас с собой. Ложитесь спать, и я побегу домой. Мне надо ещё состряпать нечто вроде гнезда для моего

спутника Эты. Он теперь так огромен, что это задача не маленькая, — сказал я, смеясь и целуя ручки леди Бердран.

— Ваш Эта так же огромен, как и вы, Лёвушка, — задумчиво произнесла Герда, провожая меня.

— Давно ли я был “заморышем”, по чьему-то меткому определению, а теперь заслуживаю упрёка в огромности. Недоставало только, чтобы и вы, как профессор, окрестили меня Голиафом, — смеялся я в ответ.

— Как далеко то время моей глупости, когда я подшучивала над вами. Теперь мне даже не стыдно, точно это не я была та глупенькая женщина. Но теперешняя моя глупость много более тяжела по своим последствиям и для меня, и для Никито.

— Не возвращайтесь больше мыслью к тому, что было. Ваше “сейчас” так прекрасно. Пойте ему славу, поблагодарим ещё и ещё раз И. и постараемся в пути и в дальней Общине хоть чьей-либо энергии помочь нашей любовью.

На этом мы с Гердой простились, и я помчался домой строить гнездо для путешествия своему птенчику. Войдя в свою комнату, я был удивлён, найдя в ней свет. Оказалось, что Ясса — всеумелый, всезаботливый, обо всём всегда думающий Ясса — уже смастерил прелестную клетку-гнездо, где важно восседал сейчас Эта и не желал сойти со своей новой постели, несмотря на уговоры терпеливого Яссы. В момент этого комического спора я вошёл в комнату.

Увидев прелесть, которую соорудил Ясса, я бросился на шею моему чудесному няньке-наставнику, благодаря его от всего сердца за его усердие и заботы. Достаточно было мне обнять моего друга, как мгновенно мы оказались втроём, ибо ревнивый Эта не привык, чтобы первое объятие после моего возвращения домой предназначалось не ему, и закрыл нас обоих крыльями, прыгнув на моё плечо. Пошутив над ревностью птички и успокоив её, я сказал Яссе, горячо тронутый его любовью:

— Я положительно не знаю, как я буду обходиться без вас, дорогой мой Ясса, и в дороге, и в дальней Общине. Сколько замечаний я буду получать от И., который и не предполагает, кто заботится обо всём моем виде и вещах.

Ясса усмехнулся, кивнул на стол, где приготовил мне ужин, и сказал своим смешным говорком:

— Мне уже и список вещей прислал И., которые я должен взять для вас и Бронского. А вы сомневаетесь, как поедете без меня! Хотел бы я видеть вас обоих без меня. Вот был бы смех! Наверное, Эта три раза умер бы с голоду, имея такого ветрогона хозяина! Конечно, я еду и, вдобавок к своей нагрузке, ещё и леди Бердран взял на себя. Что же касается остроглазой — так он всегда называл Андрееву, — я сказал Кастанде, что мне её опекать бесполезно. Одеваться аккуратно я её не научу, а вещи её всё равно соберёт очень аккуратно американский лорд.

Пока Ясса, пришивая последнюю ленту к корзинке Эты, разговаривал, я поужинал и так захотел спать, что немедля отправился в ванную, принял душ и через несколько минут уже спал.

Как это очень часто со мной бывало, и на этот раз часы сна мелькнули как одна минута. Меня разбудили усердное дёрганье моей подушки Эты, шаги Яссы и его смех.

— Скорее, скорее, ванна готова, все уже идут завтракать. Остроглазая чуть дышит от нетерпения, чуть ли не на мехари сидит, а вы ещё в постели, — говорил мой друг-нянька, подавая мне совсем другую одежду, чем та, к которой я привык.

На мой удивлённый взгляд он ответил мне, что путешествовать в обыкновенной одежде по пустыне нельзя и что сверх всего того, что я сейчас должен был надеть и что мне казалось таким несносно жарким, когда я вернусь из ванной, он наденет на меня ещё два халата и свернёт на моей голове тюрбан. А когда я сяду на мехари, поверх всего он набросит на меня нечто вроде арабского плаща, так как иначе меня сожжёт солнце пустыни и ослепит её свет.

Я пришёл в истинный ужас от этой перспективы, но делать было нечего, надо было повиноваться. Невольно у меня мелькнуло воспоминание о пире у Али в К. и о том безобразном старике, чёрном и хромом, которого я увидел в зеркале, в тюрбане и с палкой, и в котором никак не мог узнать себя. Смех, мой вечно неуместный смех положительно давил меня, когда я думал о той минуте нестерпимого раздражения, когда я готов был стучать ногами об пол и чуть не плакать от досады, видя своё уродство. Хорош я буду и сейчас в ватном халате, под солнцем пустыни, которое, конечно, сделает меня чёрным, как араб, и уродливым, как старик в зеркале. Недоставало только его неудобной туфли, которая заставила бы меня хромать. Полный смеха над самим собой и своей недавней детскостью, я предоставил свою голову в распоряжение Яссы, который безжалостно обкорнал мои кудри и в момент свернул из длиннейшего куска мягкого прозрачного зелёного шёлка на моей голове большой тюрбан. Затем он подал мне чашку молока и две небольшие, на вид малозавидные, но оказавшиеся превкусными лепёшки, говоря:

— И. не приказал ни вам, ни Бронскому сытно завтракать. Артист сейчас придёт сюда и получит такую же еду. И. просил вам объяснить, что в путешествии надо есть мало — только, чтобы поддерживать организм, но не более.

В эту минуту вошёл Бронский, обливаясь потом и ворча на свой ватный халат и высокие сапоги. Ему был дан такой же завтрак, как и мне, и так же немедленно его голова была коротко острижена и покрыта тюрбаном. Но его тюрбан был из оранжевого шёлка, чем я был и удивлён, и восхищён, так как он ему очень шёл, я же казался себе зелёной лягушкой.

Ясса надел на меня бледно-зелёный халат, подал Бронскому оранжевый, и, изнемогая от жары и непривычной тяжести одеяний, мы спустились вниз, где нас уже ждал Зейхед с нетерпеливо стоявшими мехари. Как только мы были усажены на маленькие сёдла и укутаны, вернее сказать, завёрнуты, а кое-где буквально зашнурованы в плащи, вышел И. — в одну минуту был на мехари, и караван двинулся.

Мы ехали отдельными партиями. Во главе каравана мчался И., по обеим его сторонам — я и Бронский, за нами ещё пять укутанных фигур, в которых я никого не мог узнать, так как не мог поворачиваться, и замыкал наш отряд Ясса. На некотором расстоянии — как только давала возможность разглядеть пыль — нёсся ещё так же построенный отряд, во главе которого ехал Никито, скакуна которого я хорошо знал, и замыкал отряд Зейхед. Я понял, что нас немного, и думал, что это уже все, кого взял с собой И., но я ошибся. Когда мы свернули круто влево и выехали в голую пустыню, я увидел ещё один отряд, гораздо многочисленнее двух первых. Я узнал во главе его Кастанду, а в самом конце увидел совсем неизвестного мне чело-

— Много раз в жизни мне было трудно. Много раз охватывала меня безнадёжность, — всё так же тихо говорил Зальцман. — И всегда преданность науке побеждала всё. Но тогда *она* была для меня целью, возлюбленной, жизнью. Теперь *не* она стала целью, но... через неё, через преданность ей я надеюсь завоевать ту ступень мира и силы, когда стану достойным следовать за вами. Тот Зальцман, что прожил столько лет, умер в эту минуту. Для сердца того человека разлука с вами невозможна, она равна, если не тяжелее, смерти. Только новый человек, который заново начинает строить свою жизнь, с новыми надеждами и пониманиями входит в неё, повинуется вам. Да, вы правы. Бог во Франциске первым говорит мне. И *Он* говорит: ища Света в себе для науки, ты найдёшь меру вещей, где плоть перестанет давить на космос в тебе. Иду, Учитель. Помните обо мне. Я же буду верен вам, как был верен науке.

Профессор поклонился И., отёр слёзы, бежавшие по его щекам, концом плаща, поклонился всем нам и легко сел на мехари, почти без помощи Кастанды.

И. простился с Франциском и Кастандой, те сели на мехари. Франциск повернул своё животное ко мне и Бронскому:

— Голиафы, помните о той бездне человеческого горя, которую вы видели в трапезной, и знайте, что она ничто пред той бездной, куда теперь едете, по силе отчаяния и уныния людей. Мужайтесь. Ищите мужества в любви к Единому в человеке и не забывайте: не для праведников посылает Жизнь на землю своих избранников, но для грешных. И из всех грешных — *грешнее* всех тот, кто *увидел* в человеке *грех*, а не Бога его.

Быстро помчались три мехари по аллее оазиса и вскоре исчезли в облаке пыли пустыни.

ценным для меня письмом, ты ни разу не забыл тем или иным путём дать мне знать, что помнишь и приветствуешь меня. Особенно сегодня я ценю твой приезд, так как чувствую усталость от трудов и необходимость увидеть тебя, труженика Вечности, не знающего ни усталости, ни тоски. Садись, Учитель, разреши представить тебе двоих моих внуков, возвратившихся на днях домой. По твоему приказанию я отправил их в университеты. Один из них учился в Гейдельберге, другой в Оксфорде.

Он усадил И. в плетёное кресло, указал нам с Бронским места за креслом И., где стояло нечто вроде плетёного диванчика, и подвёл к нему двух красивых, молодых, рослых мужчин, одетых в белые длинные платья из полотна, как носили жители оазиса, но с коротко остриженными волосами и с гладко выбритыми лицами.

И. ласково поздоровался с каждым из молодых людей, несколько дольше задержав руку каждого из них в своей, чем это делал обычно, здороваясь с людьми. Новых знакомых, очевидно, стесняло присутствие стольких незнакомых им людей. Я понял, что они, как, бывало, и я в первое время знакомства с И., почувствовали себя вдруг прочтёнными в своём духовном мире, точно стояли обнажёнными, со всеми своими духовными сокровищами в руках.

И. сказал им несколько приветливых и ласковых слов, после которых они стали увереннее и спокойнее, посадил их на наш с Бронским диван и просил Рассула занять место рядом с ним. Несколько колеблясь и застенчиво улыбаясь, великан не решился протестовать и сел рядом с И., фигура его возвышалась как монумент над всеми нами. Я подумал, что он ещё огромнее Али и Флорентийца. Если тех я видел гарцующими на конях, то уж Рассул был невозможен ни на чём, кроме верблюда или разве кентавра.

Только мелькнула в моей голове картина: Рассул на кентавре, как он обернулся в мою сторону и послал мне такой лукаво-поддразнивающий взгляд, которого на его каменно-мудром лице я не мог себе и представить. Я вспомнил слова моей собеседницы за ужином о “дедушке” и решил быть осторожнее в вольном полёте своих картинных мыслей, и как раз сделал это вовремя.

— Ясса, приведи спутников наших двух отрядов и Кастанду, — сказал И., не поворачивая головы и рассматривая толпу людей перед собой, которая была довольно многочисленна.

Пока Ясса отправился исполнять его приказание, И. употребил своё время на разговор с некоторыми пожилыми и молодыми людьми, мужчинами и женщинами, подходившими к нему из темноты за советами, и всех их И. оставил в свете костра. Послышались шаги многих пар ног, и первое, что я увидел... был сияющий Франциск, рядом с ним шёл профессор. Оба были свежи, юны, сильны, точно и не ехали по пустыне.

Я и прильнувший ко мне Бронский были до того поражены, что превратились в соляные столбы. Никого и ничего больше я уже не видел, кроме этой пары. Сверх обычной одежды на плечах Франциска был накинут алый плащ, казавшийся огненным. Свет игравшего костра, падая на это единственное алое пятно среди моря белых фигур, делала его живым, движущимся. Мне положительно казалось, что я вижу какие-то струйки, бегающие по блестящей и лёгкой материи плаща. Голова его не была ничем покрыта, тогда как на голове учёного был тюрбан, менявший его до

неузнаваемости. Рассул встал навстречу Франциску, уступая ему своё место подле И., но тот ответил:

— Сиди, сиди, родной, подле твоего заботливого Учителя. Я сяду здесь, буду всем виден, и сам буду видеть всех, а также усажу своих новых питомцев подле себя.

Он сел на довольно высокий и широкий каменный диван, на котором были положены подушки и циновки, усадил подле себя профессора, по другую сторону — Андрееву, дальше Лалию, Терезиту, Нину и Никито, а у ног его сел милый Ольденкотт, не спускавший с него глаз. Взглянув в лицо англичанина, когда он на момент перевёл свой взгляд на И. и Рассула, я был поражён сходством выражения его глаз с глазами Франциска. Из глаз Ольденкотта лилась такая доброта, такой мир и счастье, что я сразу понял, какой высоты должен быть дух человека, чтобы его лицо *могло* отразить хотя бы на миг божественную доброту.

Боже мой, я понял ещё раз, как мало я вдумывался и вглядывался во встречи. Человек, служивший чем-то вроде вечного уборщика у Андреевой в его внешней жизни, *кем* же был на самом деле этот человек, если лицо его по своей доброте могло быть сравнимо с Франциском?

Не успел я прийти в себя от изумления, как почувствовал лёгкий толчок и сообразил, что Ясса берёт из моих рук Эту, которого я, по своей рассеянности, далеко не элегантно держал.

— Дайте мне птицу, Лёвушка. Это далеко не по-джентльменски так обращаться с Этой, — шепнул он мне, беря от меня павлина.

Слова Яссы напомнили мне приказ И. Я постарался снова влезть в самого себя и держать себя в крепкой дисциплине. Только тогда я увидел леди Бердран и Игоро, севших недалеко от И. Господи, сколько времени я не видел Игоро, даже забыл, что ведь он тоже жил в Общине! Сколькими качествами мне ещё надо обладать и учиться! Я, имевший такое ограниченное количество друзей и знакомств, забыл об Игоро. И И., имевший тысячи людей в своей памяти, не забыл ни разу одного какого-то дня в жизни заброшенного в пустыне хозяина оазиса!..

— Мои дорогие друзья, — раздался голос Франциска, — как я рад, что в эту чудесную ночь, ночь такую значительную для многих из присутствующих здесь, я могу напомнить вам, что нет ни рангов, ни чинов, ни условных путей для каждого из тех, кто ищет мира и счастья. Кто может достичь их в своей земной жизни? Тот, кто выполняет слова Евангелия? Тот, кто служит ежедневно по нескольку церковных служб? Кто совершает путешествия по святым местам? Нет, только тот, кто в своём сером дне пронесёт доброту своим встречным. Доброту в условиях и пониманиях *его современности,* а не по кодексу условных правил, которые определяют, что такое доброта, придерживаясь всех своих предрассудков. На самом деле, можно ли дать наставление каждому отдельному человеку, *как* ему действовать среди людей, если основное его качество, которым *он* понимает и воспринимает дух своих встречных, есть доброта? Такая доброта, которая идёт не от ума человека, то есть когда человек не успевает спросить свой ум: как мне поступить, а мгновенно, любовно обнимает *всего* встретившегося человека, со всеми его пороками, скорбями, слезами, упрямством и муками, составляет не личное, человеческое качество, но является действием аспекта его Единого, оживотворённым и движущимся в путь его

внешней жизни пустынной Общины? Подумайте обо всём том, что вы слышали за короткое сравнительно и такое богатое событиями последнее время вашей жизни. Неужели опыт этих дней не умудрил вас настолько, чтобы понять, *что* может *увидеть* человек, если он *готов*, и чего *не* может увидеть, если он *не* готов, хотя бы чудо Жизни стояло рядом с ним?

— Я всё понимаю, доктор И. Но я хочу непременно ехать с вами. Я не буду в силах заниматься моей наукой вдали от вас. Всё, что хотите, я буду выполнять в путешествии, только разрешите мне быть подле вас, — упрямо, с чисто немецкой назойливостью говорил Зальцман.

— Мой бедный друг, пусть эта минута будет для вас вековым уроком. Вглядитесь в собственное сердце. Подумайте о том великом мире, который в нём царил после вашего пробуждения от сна в Общине. Подумайте о великой Любви к науке, которая жила в вас в течение всей вашей жизни. Вспомните о жертвах и лишениях, которые вы всю жизнь приносили только для того, чтобы дать миру великое открытие. И каприз, одно мгновение иллюзорного счастья, сносит, как ураган, всю ценность вашей жизни: верность до конца. Так недавно вы прочли кое-какие страницы ваших прежних жизней, где пережили и своё вероломство, и... мою безмерную любовь. Неужели всё было напрасно и сердце Ваше вновь изменит?...

Не успел И. договорить, Зальцман бросился к его ногам и тихо, горестно сказал:

— Простите безумному старику! Так много Света вы влили ему в сердце, так много любви там родилось к вам, что мне показалось невозможным расстаться с вами...

— Если так много родилось в вашем сердце любви ко мне, друг, то пусть она ещё больше копится там, пусть выливается целым потоком во всё, что окружает вас, и помогает всему встречному богатеть в мужестве и красоте. Это неважно, каков будет первоначальный, тайный источник вашей накопившейся любви. Любя одного человека до конца, вы — именем его — будете служить миллионам. Точно так же, любя науку до конца и побеждая верностью своею все препятствия в ней, вы будете служить примером живой верности всему человечеству, создавая для него новый этап развития. Возвращайтесь обратно. Я взял вас сюда, чтобы вы увидели воочию, *как* можно трудиться для общего блага и *что* можно создать даже в песках безвестной пустыни. Вам показали музей мироздания, которым вы были поражены, вы видели оазис, вы видели школы и библиотеки, от которых пришли в восторг, видели театр, в котором с трудом верили, что вы не спите. Поезжайте обратно. Пристально вглядывайтесь в своё сердце и запомните моё последнее вам слово: чем ближе вы будете к Богу в себе, тем ярче и яснее будете видеть Бога во встречном. Я уверен, что Бог во Франциске заговорит с вами очень скоро. И так же скоро вернётся ваша поглощающая любовь к науке. Занимаясь ею, как я вам указал, используя людей, которых я вам назвал, вы не успеете дойти и до половины необходимого, как я уже вернусь обратно.

И. обнял учёного, стихшего, умилённого и доброго, такого доброго, что даже трудно было себе представить таким самомнящего профессора. Вся его немецкая самоуверенность исчезла — перед нами было кроткое и нежное существо, с восторгом глядевшее на И.

несите Силу Света, не считая своим подвигом такой образ жизни, но *живите* так, легко улавливая всюду и во всём Звук Вечного.

Франциск умолк. Над всеми людьми, собравшимися у костра, носился точно не тёплый воздух пустыни, но теплота Любви, которую Франциск вылил нам из своего сердца. Как незаметно мелькнула короткая ночь! Я совершенно забыл, где я, что ещё час тому назад ярко горел огонь, а сейчас уже занималась заря, от костра осталась только груда пепла, и в новом, сразу сменившем ночь рассвете ясно были видны лица людей. Франциск поднялся со своего места и, обратившись к Рассулу, сказал:

— Прими мой прощальный привет, дорогой владыка этого округа. Не говори, что ты утомлён, ещё не настало время окончания твоей деятельности на земле. Ты видишь сам, что смена тебе ещё не пришла, хотя ты вырастил уже несколько поколений. Твоя мера вещей ещё не исполнилась, ты ещё не полностью воздал Жизни всё то, что Ею тебе было поручено выполнить. Моменты, когда ослабевает дух, когда сердце не имеет сил мужества *до конца*, бывают у всех, кто приходит на землю выполнить свои задачи Вечного. Но эти минуты мелькают, как капли росы, высыхающие под солнцем, и подают новое мужество сердцу для задач ещё более высоких. Прощайте, друзья и братья. Примите все привет сердца моего. Перед каждым из вас лежит далёкий, беспредельный путь труда. Но не забывайте: как бы ни манило вас далёкое, сверкающее царство Любви, оно достигается каждым человеком постольку, поскольку его “сейчас” наполнено его творящим духом.

Франциск обнял каждого из нас и, подойдя к И. последнему, сказал:

— Проводи нас и благослови в обратный путь, Учитель.

И. велел мне и Бронскому помочь Зейхеду оседлать мехари для Франциска, Кастанды и профессора. Пока мы занимались этим делом, я всё думал о чуде сил в больном теле Франциска. Мы с Бронским стали полумёртвыми от одного, даже не полного, дня путешествия по пустыне, а он поедет обратно, не сомкнув глаз ночью, без всякого отдыха. Поистине Титан духа, он мог управлять своим организмом, заставляя его до сверхъестественности служить и повиноваться своей могучей воле.

— Всё, Лёвушка, знание, а не чудеса, — шепнул мне Зейхед, заправлявший седло на мехари рядом со мной.

Я чуть не выронил ремней, которые держал, так поразил меня Зейхед, прочитавший мои мысли. Но я не успел ему ничего ответить, потому что к нам подходили И., Франциск и Кастанда, беседуя с профессором. Лицо последнего носило явные признаки раздражения и недовольства. Он говорил очень возбуждённым тоном:

— Что же тут особенного, если в эту минуту я не вернусь в Общину? Отчего мне нельзя поехать с вами, доктор И.? Ведь всё равно перерыв в моей работе уже совершился. Будет ли он длиннее или короче на пять-десять дней или недель, не всё ли равно? Я так силён сейчас, что сил моих хватит ещё на много лет.

— Кто вам сказал, что моё отсутствие продлится пять — десять недель? Оно может продлиться много больше. Но дело не во времени. Где же ваша преданность науке? Неужели вы всю жизнь боялись потерять зря одну минуту, упрекали даже бедного Мулгу в том, что он вам мешал своими разговорами и молитвами, только для того, чтобы сейчас, когда вам предоставлены наилучшие условия, когда вы полны сил, изменить вашей богине-науке и нарушить верность ей из-за любопытства к

единения с людьми. Тут не форма управляет действиями человека. Тут непосредственно Единый согревает форму человека своей Любовью так, что она становится мягкой, как воск, и отогревает слои условных корок на встречном. Они размякают от такой встречи с добрым, поры их расширяются и дают возможность собственной доброте просочиться в верхние слои формы и соприкоснуться с Добротой-Любовью доброго. Но случаи путешествия по земле этой категории людей добрых редки. Чаще люди, проходящие свой путь земли добротою, несут её в себе закутанною во многие покрывала разума, скептицизма и даже некоторого рода отрицания. Таким людям приходится постоянно выбиваться из компромиссов, и если они достигают творческого результата в своём единении со встречными, то только в тех случаях, когда через все перипетии сознательных рассуждений попадают в бессознательное творчество, то есть в полную гармонию своего собственного организма. Что такое гармония человека? Можно ли достичь её знаниями, добываемыми извне? Может ли привести человека к гармонии культура и все дары цивилизации? К большому огорчению множества людей, гоняющихся за знаниями, — употребляю сейчас это слово в самом широком смысле и значении, как силу даже космического значения, — нет такого знания, которое могло бы привести к гармонии. Иная сила, иная культура приводит человека к гармонии: *культура сердца*. Почему в большей части человечества все несчастья идут от разлада ума и сердца? Чем особенным обладает культура сердца по сравнению с культурой ума? Чего не может приобрести сердце, что так легко вбирает в себя ум? Ум, как всеядное животное, подбирает весь опыт чужих достижений. И чем меньше творчества в собственном уме человека, тем он более блещет эрудицией чужих достижений, тем ярче он выделяется среди своей среды и носит название “умный”. Редкие умы-*творцы* почти всегда малозаметны в толпе, и суд над ними, признание их величиной того или иного порядка, происходит по их делам и произведениям, а не по талантливости их умения жить с людьми. Умы-*творцы* всегда достигают гармонии, потому что всё великое, что сотворили люди, может быть сотворено только в гармонии. *Культура сердца* — путь индивидуальной неповторимости человека. Никакой чужой опыт помочь в достижении этой культуры не может. Чтобы завоевать ничтожное звено в своей культуре сердца, надо сбросить огромную цепь предрассудков и суеверий. Чтобы выбросить в мир одну истину Любви, надо отдать несколько воплощений завоеванию культуры сердца. Как проходят первый этап пути к культуре сердца? Для всех людей земли, без всяких исключений, он заключается в одном: “Люби ближнего, как самого себя”. Казалось бы, эта истина не мешает уму действовать и достигать своей культуры, не лишает его сил для самых высоких напряжений. Но на деле в жизни обычного, простого дня мы видим обратное. Культура сердца с её словами Любви, как надоедливая муха, мешает учёному в его делах и встречах. Первое, от чего желает отделаться умный, первое, что он желает забыть и *вне* чего хочет себя поставить, есть проблема любви к человеку. Ни как таковую, ни доброжелательство к другому, ни сострадание и заботу о ближнем он не принимает в свой серый день как творчество радости. У него делается сплин от людей, занятых проблемами сердца, если он *лично* в них не заинтересован. Культура сердца, начиная с доброжелательства, переходя в сострадание, становится *молитвой,* когда каждое действие сердца есть привет ума и сердца, поклон *всего* целого в человеке огню его встречного. Дорога — от началь-

ной до высшей ступени в пути культуры сердца, — это ряд раскрепощений человека, где с него спадают целые серии обветшалых пониманий и понятий. В каждой ступени характер встреч человека бывает разный. Но причина этого разнообразия всегда одна: *он сам*. Дойти до полного понимания, что все обстоятельства жизни и все встречи — только твоё собственное творчество, не менее трудно, чем перестать осуждать человека. *Заметить* действие закона причин и следствий в своей собственной жизни так же трудно, как сбросить со своего организма всю нечистоту, прилипшую к нему за века жизней. Когда человек сходит на землю, он *точно* знает, какое новое качество он должен приобрести и какие старые силы страстей он должен перековать в силу радости, то есть в ту энергию, единственную, которая *вводит* человека в творчество, в гармонию. Те люди, что начинают свой новый урок воплощения от культуры сердца, *вводят* в действие своё гармоничное Начало, достигают тех или иных ступеней откровения. Иногда, будучи даже неграмотными, они имеют такую высокую силу верности Любви, что их духовное видение переносит их далеко за границы обычных пониманий их среды. Начинающему жизненный путь с культуры сердца не приходится становиться в постоянной нерешительности перед каждым вопросом, останавливаться перед каждым встречающимся в дне повышением или понижением почвы, с трудом решая, *как* обойти или перепрыгнуть препятствие. Что такое препятствие? Только неготовность самого человека к тому *действию*, которое он взял на себя сам, сходя на землю. Представим себе, что перед двумя людьми — ума и сердца — встаёт одна и та же задача. Скажем, к умному, который *ищет* жить в служении ближним, и к доброму, который ничего не ищет, но *живёт* в доброте, держа в полной верности руку своего Учителя, пришёл друг и просит крова и отдыха. Оба — и умный, и добрый, стеснены в обстоятельствах. Кров их уже заполнен другими, больными, требующими постоянного ухода и забот, — сил физических у обоих мало. Добрый, держа руку Учителя своего, верный *ему* до конца, просто подумает: у меня нет места, дом не мой, а Учителя моего. Если возьму ещё ношу, не снесу ни одной. Знаю, что этот несчастный найдёт себе кров, а те, кого опекаю сейчас, нигде его не найдут и без меня погибнут. Пусть рука Учителя моего поможет мне пронести сейчас Его ношу, как сумею лучше. И он скажет просящему без всякого разъедающего сердце компромисса: “Сейчас не могу принять тебя, друг, даже помня хорошо твоё гостеприимство”. Умный же, раньше чем отказать, измучится сам и долго будет чувствовать рану в сердце, потому что отказал, поступил эгоистично, неблагородно и т.д., вместо того чтобы подумать об одном: есть мера вещам. И какою бы мерою я ни мерил, *сила*, во мне живущая, переносится и мною, и моим встречным в ту меру, какую каждый из нас отмерил в себе Вечному. Нет моего *личного* отношения к другу, в котором тоже не вижу личного. Есть только те обстоятельства, в которых каждый из нас ищет нести Единого и служить Ему. Сохраню *полное* спокойствие и буду нести смиренно Света и служения столько, сколько моя мера вещей позволяет. Признаков культуры сердца, по которым можно было бы делить людей, не существует. Нельзя сказать, что такое или иное действие принадлежит только тем, кто идёт путём доброты. Каждый должен понимать, что важно не то, оценён ли поступок так или иначе, а важно, чтобы поступок *был действием* сердца человека. *Что* побудило, *как* воспринято окружающими это действие сердца, значения никакого не имеет. Всё это относится только к

временным формам. *Весь смысл* каждого действия только в том, сколько отразилось в нём *Беспредельного*, что человек очистил и пролил в путь своих встречных. Едкий яд условностей, овладевающий людьми, не является привилегией больших городов, как шелуха именно тех толп народа и его суеты, среди которых живёт человек, ищущий раскрепощения. Не надо путаться в понятиях. Не то важно, что вы *ищете,* но важно, *чего* вы ищете и *как* вы ищете. Если ищете, *ясно* понимая *своё* место во вселенной, ищете ступать весело и просто по ступеням вселенной, ваше искание идёт от Вечного в вас, и для вас не существует хаоса страстей. Ваша мысль не застревает в кипящей массе условностей, в которых живёт окружающая вас толпа, — вы вращаетесь среди тех вибраций, где творит *мысль*, не спускающаяся к суёте и тлению временного. Вокруг вас носятся толпы молящихся, вечно молящих о помощи. И вы видите ежедневно, как все эти мольбы, возносимые куда-то, в какие-то *вне* человека существующие небеса, остаются всегда без ответа. Почему? Только потому, что нет инертной энергии — Бога, сидящего в мёртвых небесах, а есть творящая, вечно движущаяся Энергия, живущая во всём, как и в каждом человеке. Чтобы пришёл *ответ* мольбе человека — если уж можно говорить о мольбе, называя этим словом личную просьбу, — надо, чтобы *весь* человек был одним чистым славословием Жизни. Но когда он достигает того мира в сердце, который делает его звучащим славословием Жизни, он не возносит личных молитв, так как он сам перестал быть личным. Он ясно знает, по *действию* духа в себе, Безличное, что живёт в его форме. Временная форма даёт *силу* и радость *вносить* Свет Жизни, которая для него и Личное и Безличное в одно и то же время. Всё, в чём он *живёт,* идёт для него как Целое в миллиардах жизней земли, то есть *Её — Жизнь* — он видит в этих миллиардах форм. В эту чудесную ночь, когда в каждом из ваших сердец особенно сильно звучит его нота Энергии Света, оставьте навсегда позади все сомнения, *как* надо разрешать вопросы быта, чтобы они не выбивали вас из чуда радости *быть* единицей Бытия и *становиться* отражающими Его доброту и помощь силами. Надо *жить* всею полнотою чувств и мыслей каждую минуту и помнить только одно: Мгновение — и кончено воплощение. Мгновение — и нет возможности перенести в плотной форме времени и пространства *звучащее* Безмолвие, наполнив день серой земли вокруг себя миром, радостью, уверенностью и добротою. Раскрепостите в себе сегодня ум от его постоянной жажды прочесть всё новое и новое слово Истины. Усвойте, что только те кусочки Истины могут стать *действием* в дне человека, которые он вскрыл в *себе*, омыв их своими трудами на общее благо, *закрепил* их полною верностью своего благоговения и преклонения перед ужасом и величием путей человеческих. И сколько бы он ни читал Истин, если сам живёт в полуусловных компромиссах, ни крупицы Истины не введёт в своё единение с людьми. Тучи кружащихся и жалящих самолюбие человека комаров и мошек — всё только собственная его самодеятельность. Зачем жаловаться, что друг не особенно внимателен к вашим нуждам? Зачем ставить другу в укор *его* разрыв с вами? Если *вы* идёте к другу, идите — так же как и к врагу — только тогда, когда *вы* можете принести в его дом, в его сердце, в его условности величие и силу собственной доброты. С этой ночи перестаньте думать и действовать, ходить и говорить, как ходят и живут обыватели в мире суеты, условности, страха. Двигаясь по миру времени и пространства,